Людмила Сараскина

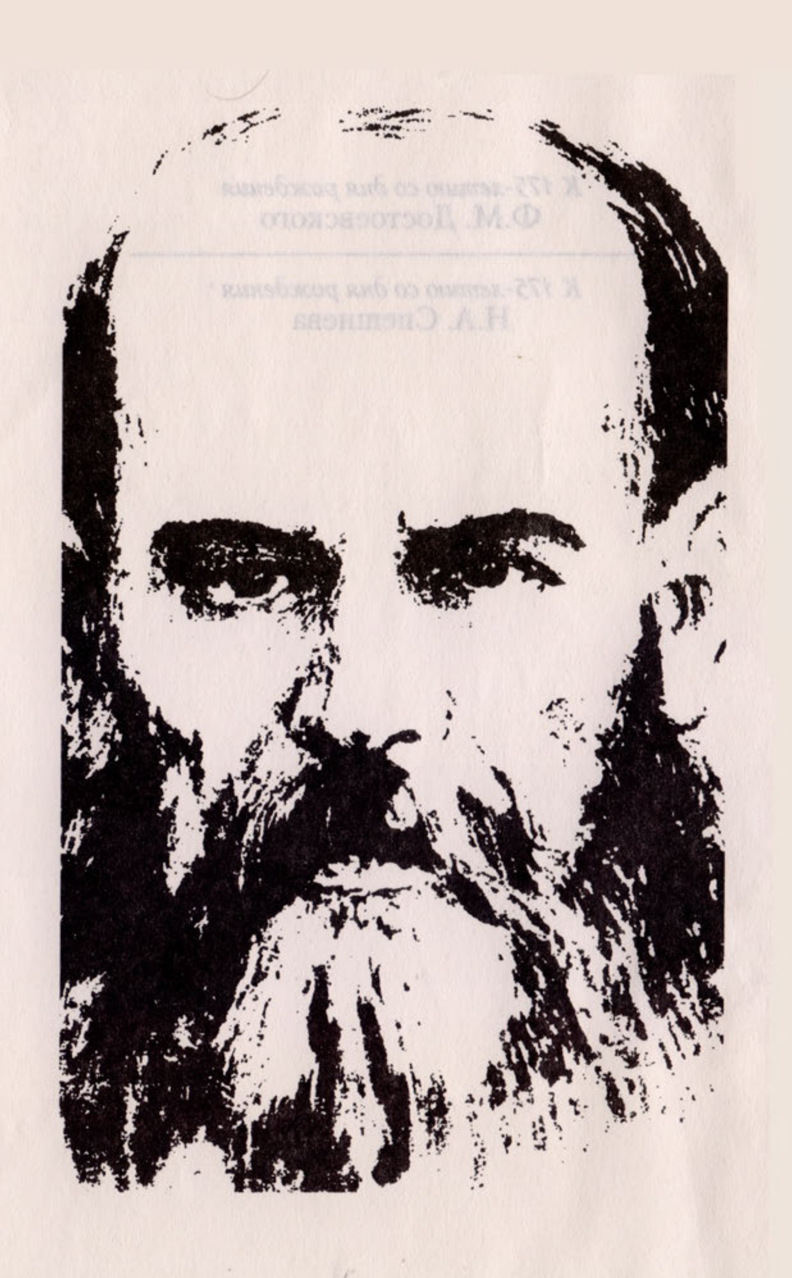
Фёдор Достоевский. Одоление демонов

Людмила
Сараскина

Фёдор Достоевский. Одоление демонов

К 175-летию со дня рождения
Ф.М. Достоевского

К 175-летию со дня рождения
Н.А. Спешнева



Людмила Сараскина

Фёдор Достоевский.
Одоление демонов

МОСКВА
«СОГЛАСИЕ»
1996

ББК 83 3Р7
С 20

Руководитель программы «Согласие»
В.В. Михальский

Редактор
Т.В. Глазкова

Художник
С.А. Стулов

С $\frac{4603020101-022}{8Д1\ (03)-96}$

ISBN 5-86884-048-8

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, в бедности, в изгнании, в степях
Мои утраченные годы.

....

И нет отрады мне – и тихо предо мной
Встают два призрака младые,
Две тени милые – два данные судьбой
Мне ангела во дни былые.
Но оба с крыльями и с пламенным мечом,
И стерегут... и мстят мне оба,
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах счастия и гроба.

А.С. Пушкин. Воспоминание
(рукописная редакция)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первый биограф Достоевского, профессор Санкт-Петербургского университета, историк литературы Орест Федорович Миллер, приступивший к сбору материалов для жизнеописания сразу же после смерти писателя, жаловался на ленивое молчание и неотзывчивость лиц, близко знавших покойного, хранивших его письма, но не торопившихся их обнародовать.

«Смелости не хватает назвать настоящим жизнеописанием то, что может образоваться от приведения в порядок имеющегося теперь материала. Слишком много еще ощущается различных пробелов, пополнить которые зависит от доброй воли тех, кто, должно быть, считает письма Достоевского или же свои воспоминания о нем своей частной собственностью», – писал Миллер в предисловии к биографии, вышедшей в 1883 году и весьма скромно названной «Материалами для жизнеописания Ф.М. Достоевского»[1].

Много воды утекло с тех пор: все, кто имел что вспомнить, вспомнили; все, кто хотел предать гласности дорогие сердцу воспоминания, давным-давно этой гласностью благополучно воспользовались. И, памятуя о том океане книг, статей, изысканий биографического толка, появившихся за сто тринадцать лет после миллеровского «свода материалов», только педант будет указывать на дефицит достоверных фактов и настаивать на существовании пресловутых «белых пятен» – любимом коньке всех биографов-разыскателей.

Честно признаться, я завидую таким знатокам-буквоедам. Что может быть красивей и бескорыстней, чем «радости пушкиниста» – уточнить дату проезда поэта через населенный пункт или узнать имя дамы,

[1] Ор. Миллер. Материалы для жизнеописания Ф.М. Достоевского. Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. СПб.: Изд. А.С. Суворина, 1883. С. 3–176.

махавшей платочком ему вслед. Факт, документ – поэзия архивной пыли и романтика связки писем – дают биографу ту уверенность в своем деле, то моральное право быть летописцем при гении, без которых немыслимо никакое порядочное жизнеописание.

Немыслимо оно и без смелости – которой, как мы помним, не хватало О.Ф. Миллеру.

По другой причине не хватает ее и мне. Меньше всего моя версия жизни и творчества Ф.М. Достоевского имеет право быть причислена к жизнеописанию в традиционном понимании жанра. Да и может ли быть названо биографией повествование, где исследуется не столько жизнь человека, сколько его сочинительская страсть? Может ли именоваться жизнеописанием история о писателе, в которой он, как с равными себе, соперничает и состязается с героями своих произведений – хотя бы для того, чтобы вновь, но уже «на своей территории» встретиться лицом к лицу с их реальными прототипами? Можно ли быть уверенным в своей правоте, когда в ее доказательство приводится не архивное дело, а всего лишь предположение, гипотеза? И когда внутри вполне документальной биографической хроники вспыхивает Сюжет – «автобиографический в психологическом смысле», – о том, как писатель, имея некие сокровенные и глубоко личные мотивы, создавал демонического героя «безмерной высоты», для того чтобы сразиться с ним, хотя более всего хотел бы спасти его...

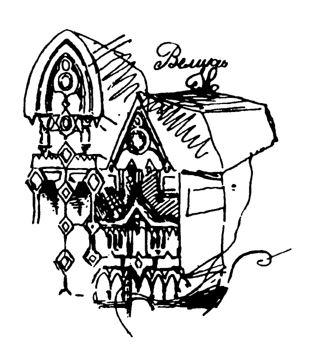
Рискну сказать: жанр этой книги точнее всего можно было бы обозначить как историю страсти Достоевского, имея в виду, конечно, его страсть к сочинительству, к писательству – к своей профессии.

Принято считать, что всякая страсть рано или поздно губит одержимого ею, всякая мания сводит маньяка с ума. Однако литературное призвание Достоевского, воспринятое им со всей страстностью, со всем присущим ему фанатизмом и нарушением чувства меры, в конечном счете спасло его – дало силы выжить, не затерявшись в трагическом хаосе бытия, высвободило энергию сопротивления житейским невзго-

дам и страшным ударам судьбы, помогло преодолеть роковые соблазны и заблуждения. «Трудно было быть более в гибели, но работа меня вынесла»,– написал он однажды. Литературное творчество оказалось – в случае с Достоевским – колоссальной жизнеустроительной силой, помноженной на гигантский инстинкт жизни и гениальную одаренность. Кажется, будто кто-то целился наобум, но невзначай попал в яблочко. Фокус, однако, в том, что яблочко само притянуло к себе божественную стрелу.

Я далека от амбициозной претензии разгадать тайну гения. Но если пристально вглядеться именно в те фантастические мгновения, когда им руководили призвание и предназначение...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Лето 1870-го: несколько черновых набросков на фоне готики

I

ЭТО БЫЛА обычная ученическая тетрадь из восьмидесяти страниц размером в четверть листа («in 4°») – одна из трех, которыми он попеременно пользовался в то лето.

Спустя годы А.Г. Достоевская пронумерует в них заполненные страницы и сделает переплет из коричневой ткани. Спустя десятилетие на первой странице интересующей нас тетради, расположившись между вычислениями, появится надпись: «Эта записная книга Ф.М. Достоевского подарена мною моим внукам, Федору и Андрею Достоевским 28 января 1909 г. *Анна Достоевск.*». На вклеенном с переплетом листе ее же рукой будет проставлен заголовок: «„Бесы". На стр. 57–62 описание припадков падучей болезни в 1869–1870 гг.»[1].

...Заметки располагались как бы особыми гнездами и вносились в тетрадь не в порядке следования страниц, а вразбивку, обнаруживая стремление владельца концентрировать однородные по содержанию записи в отведенных им местах. Тематический принцип записывания, однако, то и дело нарушался: разработка темы не умещалась на предназначенных ей страницах и вторгалась на уже занятые территории. По страницам текста – и среди текста, и на свободных

[1] См.: Записные тетради Ф.М. Достоевского / Подготовка к печати и комментарии Е.Н. Коншиной. М.–Л.: Academia, 1935. С. 37, 396. В дальнейшем цитаты из сочинений и писем Достоевского приводятся по изданию: Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений. В 30-ти тт. Л.: Наука, 1972–1990. Разрядка везде моя (*Л.С.*), курсив принадлежит цитируемым авторам.

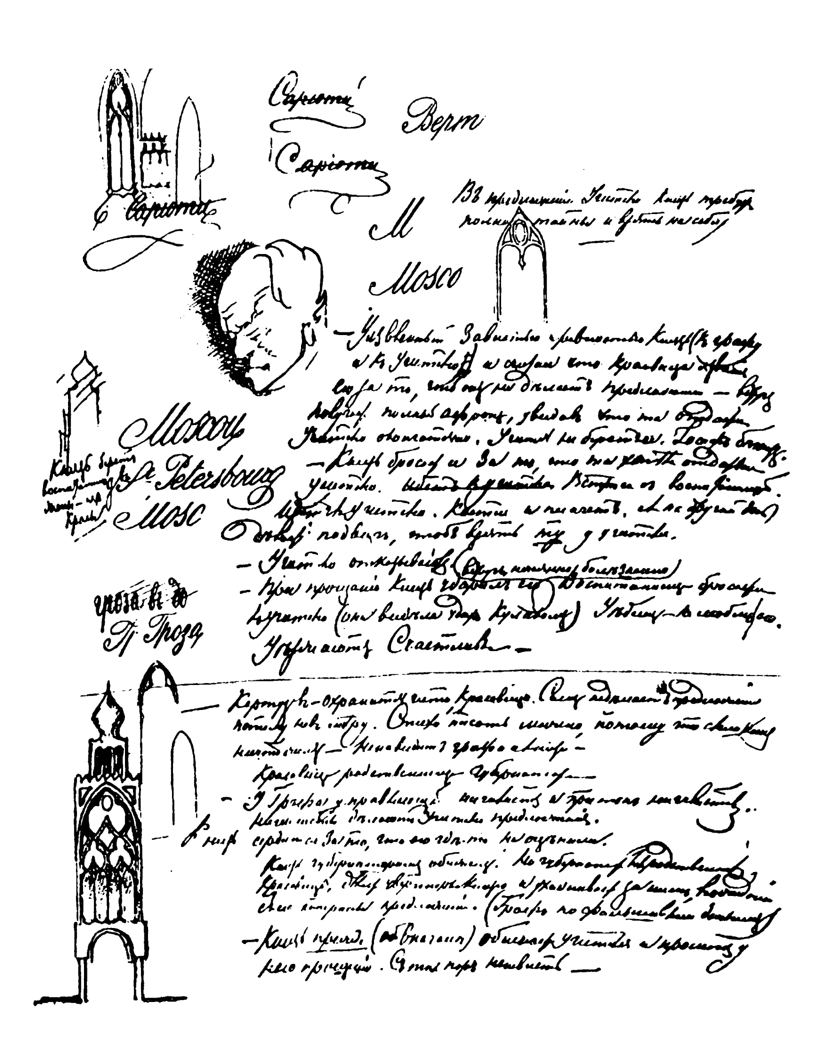
местах – были раскиданы каллиграфические упражнения и пробы пера; чаще других попадались «Julius Cesar», «St. Petersbourg», «Достоевский», «Москва», «Мы», «Произошло». Текст и каллиграфию теснили рисунки: арки, своды, стрельчатые окна готических соборов с богатым узором и тонкой прорисовкой пером, готические башни и целые композиции. Один раз, в окружении проб пера «Capioти», «Moscou», «Гроза», слева от текста [«Уязвленный завистью и ревностью Князь (к Графу и к Учителю) и считая, что Красавица язвит его за то, что он не делает предложения, – вдруг получает полный афрон, увидав, что та отдается Учителю окончательно»] промелькнула голова старика: высокий, с залысинами лоб, курносый нос, выпяченная нижняя губа, острый, выдающийся вперед подбородок. Другой раз на левом поле был изображен водопад и под ним куб, отбрасывающий тень.

А.Г. Достоевская, озаглавливая рабочую тетрадь, невольно сузила ее содержание, не упомянув о присутствии нескольких, посторонних основному, замыслов, а также о наличии сугубо дневниковых страниц с записями весьма личного свойства.

«Сегодня 17 июля (воскресение)... Погода жаркая, 13-го числа было полнолуние, изредка легкие, тепличные дождички. Бьюсь с 1-й частью романа и отчаиваюсь. Объявлена война. Аня очень истощена. Люба нервная и беспокойная... Что-то война? Не помешала бы очень? Избави Боже!»

«Теперь уже 3-е августа... Страшная жара. До сих пор каждый день была гроза, но сегодня не было. Трещат кузнечики. Денег нет. Люба здорова, Аня могла бы быть и здоровее. На Рейн с обеих сторон сошлось тысяч по триста. Еще вчера стояли друг против друга, каждый час готовые броситься один на другого. Курсы падают. Всё дорожает. Ни те ни другие не выдержат долго войны. А между тем собираются долго драться. Что-то будет!»

«1870 г. 9 сентября... Любочку отучают от груди. Аня очень истощена... Роман идет медленно... С день-



Страница из черновой тетради Ф.М. Достоевского с заметками к «Бесам»

гами плохо... Сегодня 14-е сентября, и может быть войска подошли к Парижу».

В промежутке между двумя последними дневниковыми записями – о нездоровье жены и неясном исходе франко-прусской войны – в августовские дни 1870 года в творческой жизни Достоевского, сочинявшего роман для «Русского вестника», произошел перелом. Решительно браковались пятнадцать листов готового текста – итог работы многих месяцев; роман подлежал радикальной переделке и перепланировке: на первый план выдвигалось НОВОЕ ЛИЦО, НАСТОЯЩИЙ герой романа.

16 августа (н. ст.) на тридцать третьей (по нумерации Анны Григорьевны) странице тетради с двумя рисунками готических окон по левому полю и пробой пера «Неведомов» Достоевский записал: «*Князь* – мрачный, страстный, демонический и беспорядочный характер, безо всякой меры, с высшим вопросом, дошедшим до «быть или не быть?» Прожить или истребить себя? Остаться на прежнем по совести и суду его невозможно. Но он делает всё прежнее и насильничает.

Красавица, отдавшаяся ему (за границей), делает теперь вид, что его презирает. Несмотря на все его страдания и вопросы, он, не любя её, все-таки находит тайное и *чрезвычайное* наслаждение выжидать, пока она утомится и придет к нему сама, чтоб тогда иметь удовольствие отказать ей».

В те же августовские дни и недели Достоевский написал несколько писем своим тогда немногочисленным корреспондентам.

Прежде всего следовало объясниться с В.В. Кашпиревым, редактором «Зари», где только что был напечатан «Вечный муж» и куда была обещана новая вещь. 27 августа из Дрездена в Петербург ушло первое извинение.

«Дней 10 назад я сознал положительно слабую точку всего написанного. Теперь я решил окончательно: всё написанное уничтожить... Таким образом, я принужден начать работу почти целого года вновь сна-

чала и, стало быть, ни в каком случае не могу поспеть с обещанным романом в «Зарю» к началу года».

Случившееся Достоевский называл несчастьем, которого не мог предвидеть, и обещал возвратить в редакцию «Зари» взятые в счет будущего гонорара девятьсот рублей. Через два дня он написал огромное, в треть печатного листа, письмо в Москву, своей любимой племяннице и другу Сонечке Ивановой. С ней, двадцатилетней конфиденткой и действительно доверенным лицом, имело смысл говорить начистоту. «Роман, который я писал, был большой, очень оригинальный, но мысль несколько нового для меня разряда, нужно было очень много самонадеянности, чтоб с ней справиться. Но я не справился и лопнул. Работа шла вяло, я чувствовал, что есть капитальный недостаток в целом, но какой именно – не мог угадать... Две недели назад, принявшись опять за работу, я вдруг разом увидал, в чем у меня хромало и в чем у меня ошибка, при этом сам собою, по вдохновению, представился в полной стройности новый план романа».

Каков был этот «капитальный недостаток» и что именно автор «увидал разом», он не сообщил даже дорогому другу Сонечке.

Однако еще в середине августа, 16-го или 17-го числа, нарисовав на левом поле рабочей тетради несколько готических окон, Достоевский предельно прояснил себе суть дела:

«NB. Всё заключается в характере Ставрогина.

Ставрогин *всё*».

К первым числам октября «капитальный недостаток» был в основном устранен; роман сдвинулся с мертвой точки и уже имел н а ч а л о. Требовалось, разумеется, уведомить обо всем случившемся заказчика-работодателя, редактора «Русского вестника» М.Н. Каткова: ему и было адресовано признание о замене ранее обозначенного героя другим главным лицом романа. «Это другое лицо (Николай Ставрогин) – тоже мрачное лицо, тоже злодей. Но мне кажется, что это лицо – трагическое, хотя многие наверно скажут по прочтении: «Что это такое?» Я сел за поэму об этом ли-

це потому, что слишком давно уже хочу изобразить его. По моему мнению, это и русское и типическое лицо. Мне очень, очень будет грустно, если оно у меня не удастся. Еще грустнее будет, если услышу приговор, что лицо ходульное. Я из сердца взял его».

II

ПРИЗНАНИЕ было по меньшей мере странным. Забраковать готовых пятнадцать листов текста, жестоко опаздывая к сроку в один журнал и рискуя потерять уже полученный (и прожитый!) аванс из журнала другого, – ради чего и ради кого? Ради холодного фата, который находил чрезвычайное наслаждение выжидать, пока увлеченная им женщина не выдержит и первая придет к нему, чтобы иметь изысканное удовольствие ей отказать? Ради утонченно обольстительного повесы, попробовавшего большой разврат? Мучиться над черновиками почти год, чтобы такого героя поставить в центр романа, на который возлагались последние надежды? И это после Раскольникова и Мышкина!

«Я... слишком давно уже хочу изобразить его... Я из сердца взял его».

Что же в таком случае значило – взять из сердца? Извлечь из тайников памяти свои сокровенные переживания, создать героя по своему образу и подобию, передав ему тайное знание о самом себе? Чем пленяла писателя его новая фантазия (слово «пленил» стояло в письме к литературному критику и близкому другу Н.Н. Страхову, которое Достоевский отправил в Петербург на следующий день после корреспонденции к Каткову)?

Уже три года Достоевский вынужденно жил за границей, считая себя едва ли не ссыльным. Вернуться домой почти наверняка значило бы угодить сразу по приезде в долговое отделение петербургской тюрьмы. «Ведь я и выехал потому, что Печаткин[1] подал ко взысканию, об чем я услышал заране. Каково бы мне

[1] Книгопродавец и хозяин бумажных складов В.П. Печаткин накану-

тогда, только что женившись, засесть в тюрьму?»– писал он в марте 1870 года своему другу А.Н. Майкову. За три заграничных года Достоевский сменил восемнадцать европейских городов, то останавливаясь в дешевых гостиницах, то поселяясь в скромных меблированных комнатах: для того чтобы писать и отрабатывать долги, необходимо было иметь хотя бы временное подобие дома и рабочего кабинета. Необходимы были, кстати сказать, не только уединенное бытие (чего за границей у него было предостаточно), но и своя среда, свой хотя бы небольшой круг общения, то есть тот «калейдоскоп жизни», о котором ему писал Майков и которого Достоевский здесь был полностью лишен.

Никаких красавиц, которые бы тайно вожделели к нему, но делали вид, что презирают, в той точке времени и пространства, где он находился, сочиняя сюжет для нового героя, не было и в помине. Весь 1870 год он провел почти безвыездно в Дрездене, избрав для проживания этот уже знакомый город только ввиду его относительной дешевизны: Анне Григорьевне предстояло родить во второй раз.

Ему было не до отважных красавиц. Впервые познав счастье отцовства в возрасте уже зрелом, он не успел натешиться родным маленьким существом – в мае 1868 года трехмесячная Соня в одночасье скончалась. Достоевский, нежнейший отец, сам завертывавший после купания свою Соню в пикейное одеяльце, бросавший свои занятия, спеша к девочке на голосок, рыдал, как женщина, у гроба дочери. «Такого бурного отчаяния я никогда более не видала... Мы... вместе заказывали все необходимое для ее погребения, вместе наряжали в белое атласное платьице, вместе укладывали в белый, обитый атласом гробик и плакали, безудержно плакали»[1].

Князю – новому герою нового романа, – сог-

не отъезда Достоевских за границу в апреле 1867 года подал ко взысканию два векселя на общую сумму около тысячи рублей, выданных ему писателем после крушения «Эпохи» (см: Литературное наследство. Т. 83. М.: Наука, 1971. С. 218).

[1] А.Г. Достоевская. Воспоминания. М.: Правда, 1987. С. 199.

ласно программной записи 16 августа, предстояло решать гамлетовский вопрос: прожить или истребить себя. Достоевскому, сочинявшему фантастический сюжет о Князе и Красавице, нужно было постараться выжить, превозмогая хроническое безденежье и опасное нездоровье.

Уже упомянутая тетрадка в коричневом переплете, помимо планов и рисунков, содержала и другие страницы. Достоевский сам дал им название: «ПРИПАДКИ». Ни готических окон, ни водопадов, ни проб пера здесь, понятно, не было.

«NB_2) Сравнительно с прежними припадками (за все годы и за всё время), этот, отмеченный теперь ряд припадков с 3-го августа, – представляет собою еще небывалое до сих пор, с самого начала болезни, учащение припадков; как будто болезнь вступает в новый злокачественный фазис».

«NB.(Вообще следствие припадков, то есть нервность, короткость памяти, усиленное и туманное, как бы созерцательное состояние – продолжаются теперь дольше, чем в прежние годы. Прежде проходило в три дня, а теперь разве в шесть дней. Особенно по вечерам, при свечах, беспредметная ипохондрическая грусть и как бы красный, кровавый оттенок (не цвет) на всем. Заниматься в эти дни почти невозможно».

Совершенно нельзя было предвидеть заранее, когда и где произойдет припадок. Хорошо, если это случалось в постели и во сне; тогда, проснувшись, он догадывался, что припадок был: мучительно давило в груди, болела и долго оставалась тяжелой голова, тоской сжимало сердце. Но приступ падучей мог сделаться и наяву – и он падал в том месте, где его заставали судороги, разбивая лоб или затылок, рискуя когда-нибудь стукнуться насмерть виском об угол. Однажды (это было в мае 1870-го), когда из Дрездена Достоевский поехал в Гомбург играть в рулетку, он упал в комнате отеля; очнувшись же, «довольно долгое время был не в полном уме», ходил по всему отелю и говорил с его хозяином и постояльцами о своей болезни. Лицо синело, он подолгу ничего не помнил и не мог правильно гово-

рить, нервно смеялся и только спустя несколько дней записывал в тетрадь, что был как бы не в своем уме. В один из подобных дней, когда спустя неделю после припадка очистилась голова, на чистой странице все той же тетради, забыв, видимо, нарисовать что-нибудь готическое, он записал:

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ МЫСЛЬ. ИМЕТЬ В ВИДУ.

Идея романа. 16/28 февраля 70.

Романист (писатель). В старости, а главное от припадков, впал в отупение способностей и затем в нищету. Сознавая свои недостатки, предпочитает перестать писать и принимает на бедность. Жена и дочь. Всю жизнь писал на заказ. Теперь уже он не считает себя равным своему прежнему обществу, а в обязанностях перед ними...»

Если бы «великолепная мысль» о романисте, отупевшем из-за припадков падучей, воплотилась Достоевским в роман, это было бы, безо всяких оговорок, автобиографическое сочинение с богатой фактурой. Налицо были припадки, имелись жена и дочь, донимали бедность и работа на заказ. Фантазиям о Князе и Красавице здесь как бы не было места: Достоевский обдумывал возможность писать о себе и своей жизни, о том, как он и его герой подвергались насмешкам, как критики (которых герой про себя называл подлецами) считали писателя за ничто, как господа Тургенев, Гончаров, Аксаков подавали больному и опустившемуся литератору на бедность. В глубине души герой-романист знал себе цену, помнил «о том, как он много идей выдумал, и литературных, и всяких», и о том, что на самом деле он не ниже, а может быть, и выше всех. Финал романа должен был быть, по замыслу рабочей тетради, счастливым: романист, таясь от всех, «вдруг написал превосходное произведение. Слава и деньги. И проч., и проч.».

«NB. Тема богатая», – добавлял уже от себя Достоевский; действительно, он сочинял сюжет о себе самом – писателе, который, несмотря на тяжелейшие жизненные обстоятельства и смертельный риск не очнуться от очередного припадка, обвел судьбу вокруг

пальца, написав произведение, вернувшее ему славу и признание.

Неизвестно, предназначался ли для «превосходного произведения» знакомый демонический лейтмотив. Достоверно судить можно лишь об одном: записи середины августа 1870 года, зафиксировавшие в рабочей тетради с готикой резкий перелом первоначального замысла «Бесов», а также новый план и программу романа, уместились в счастливый трехнедельный промежуток между припадком 7 августа и припадком 2 сентября.

III

ОТКУДА ЖЕ, из каких запасников памяти возникали в черновиках Достоевского демонически порочные аристократы, сумасбродные красавицы и их гибельные страсти? В его окружении, особенно теперь, не было никого, кто бы хоть немного соответствовал таким амплуа. В его письмах начала 70-х, адресованных издателям «Зари» и «Русского вестника», друзьям – Страхову и Майкову, родственникам – пасынку и племяннице, – не было ничего, кроме деловых и семейных подробностей. Правда, в длинных, многостраничных посланиях к Сонечке – в которой он видел «редкое особенное существо» и которую называл «дитя моего сердца» – восхищения и увлечения было на градус-другой больше, чем то принято между дядей и племянницей. Но, даже забывая порой о своем статусе дядюшки, увлекаясь и подписывая письма «дорогой, золотой Сонечке» страстно и романтически: «Ваш весь, весь, друг, отец, брат, ученик – всё-всё!», он настоятельно советовал племяннице поскорее выйти замуж, избрав мужа свободным сердцем и убеждением.

«Счастье раз в жизни дается, а потом ведь всё горе, всё горе. Ну так и надо к нему приготовиться, став в возможно-нормальные отношения», – писал он Сонечке летом 1870 года; и было совершенно понятно, что не она и не их трехлетняя переписка могли служить хоть в самой малой степени источником его романного вдохновения.

Между изнурительными припадками, погруженному в супружество и отцовство («Аня... сама кормит и с ребенком ночей не спит»), замороченному бытом («Нянька здешняя требует себе особую комнату, белье, чертово жалование, три обеда, столько-то пива...»), замученному долгами и безденежьем, являлись ему нездешние фантазии, а значит, и силы, чтобы вырваться из «тягости и ужаса» повседневности. И видимо, действительно чем-то необыкновенно дорог был Достоевскому его новый герой, если писатель готов был поделиться с ним не рутиной бытового существования, а давней мечтой о паломничестве в Святую землю.

«Хочется мне ужасно, до последнего влечения, пред возвращением в Россию съездить на Восток, то есть в Константинополь, Афины, Архипелаг, Сирию, Иерусалим и Афон», – признавался он все той же Сонечке в июле 1870 года. А уже в августе, в те самые поворотные для его нового романа дни, он записывал в черновой тетради (немного готики на странице и рисунок домика с тремя окнами): «Наш принц пропутешествовал 4 года...», повторив запись еще три раза.

«Наш принц путешествовал три года с лишком... Нам же известно было... что он изъездил всю Европу, был даже в Египте и заезжал и Иерусалим...» – будет рассказывать Хроникер, Антон Лаврентьевич, в первой части «Бесов».

«Я был на Востоке, на Афоне выстаивал восьмичасовые всенощные, был в Египте...» – захочет сообщить в своей исповеди сам принц, то есть Князь, то есть Николай Всеволодович Ставрогин.

Сочиняя для романтического героя маршрут экзотического восточного путешествия, Достоевский как будто вспоминал о несбыточном. По свидетельству А.Г. Достоевской, проект такого путешествия занимал писателя еще осенью 1866 года. «Однажды, находясь в каком-то особенном тревожном настроении, Федор Михайлович поведал мне, что стоит в настоящий момент на рубеже и что ему представляются три пути: или поехать на Восток, в Константинополь и Иерусалим, и, может быть, там навсегда остаться; или поехать

за границу на рулетку и погрузиться всею душою в так захватывающую его всегда игру; или, наконец, жениться во второй раз и искать счастья и радости в семье»[1]. Анна Григорьевна не сомневалась в серьезности намерений Достоевского поехать на Восток, так как нашла впоследствии в бумагах мужа рекомендательные письма в русскую миссию в Константинополе. В декабре 1869 года, сообщая Сонечке о замысле нового романа («Этот роман – всё упование мое и вся надежда моей жизни – не в денежном одном отношении»), Достоевский вновь вспомнил свой старый замысел: «Мне бы непременно надо быть в Афоне и в Иерусалиме» – и жаловался, что в настоящее время не может этого исполнить...

Он действительно так никогда и не съездил по «восточному» маршруту – «последнее влечение» лично для него пропало втуне. Но он также не остался за границей навсегда и не погрузился без остатка в игорную страсть.

Выходило так, будто автор намеренно отдавал демоническому Князю то немногое, что оставалось у него за пределами обыденной жизни. И это, по всей видимости, была лишь первая добровольная жертва в пользу героя.

[1] А.Г. Достоевская. Воспоминания. С. 80–81.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Князь А.Б. – эволюция замысла

I

12 НОЯБРЯ 1921 года, в день столетнего юбилея Достоевского, произошло событие, которое для его биографов стало поистине эпохальным: был вскрыт переданный из Гохрана за № 5038 ящик из белой жести с бумагами писателя. В ящике содержалось 23 предмета – записные тетради, деловые документы, свертки с письмами. Одна из тетрадей имела надпись по-французски: «En cas de ma mort ou une maladie grave» («В случае моей смерти или тяжелой болезни»); здесь находились деловые распоряжения А.Г. Достоевской, перечень и место пребывания записных книжек Достоевского с черновыми материалами.

В списке бумаг (одни из них лежали здесь же, в жестяном ящике, другие давно были сданы на хранение в Исторический музей) значилась и тетрадь с вклеенными в нее пятнадцатью корректурными оттисками к роману «Бесы». На первой ее странице рукой Анны Григорьевны было написано: «В этой тетради (в корректурных оттисках) находится несколько глав к роману «Бесы», которые не были включены Ф.М. Достоевским в роман во время печатания его в „Русском вестнике"»[1].

Вклеенные в тетрадь корректурные листы сплошь – и на полях, и в тексте – были испещрены огромным множеством авторских помет и вставок. После обнародования документов из перечня Анны Григорьевны вышла наружу драматически захватывающая ИСТОРИЯ ЗАМЫСЛА.

...Итак, осенью 1870 года, объясняя Каткову при-

[1] Документы по истории литературы и общественности. Вып. первый. Ф.М. Достоевский. М.: Изд-во Центрархива РСФСР, 1922. С. VII.

чины нарушения своих обязательств «Русскому вестнику», Достоевский написал: «Я сел за поэму об этом лице потому, что слишком давно хочу изобразить его». Что означало это признание в свете черновых материалов к роману и в творческой биографии писателя?

Во-первых, хотелось убедить издателя в том, что т а к о г о героя у него, у Достоевского, прежде не было: «хочу изобразить» подтверждало, что «еще никогда не изображал».

Во-вторых, выражение «слишком давно хочу» должно было обозначить то состояние творческого возбуждения, когда писатель, не в силах более противиться мучившему его замыслу, садился за работу, ибо не мог не писать.

В-третьих, адресуясь к издателю и рассчитывая на его благожелательную реакцию, Достоевский представлял дело таким образом, будто давно и точно знал, о ком пишет, и далеко продвинул работу.

Между тем утверждение «сел за поэму об этом лице» – если судить о самом лице по черновым материалам рабочих тетрадей – могло относиться только к разработкам образа, датированным августом 1870 года: ранее (зимой, весной, а также в июне и в июле) Князь как прообраз Ставрогина имел очень мало общего с его августовской программой. Под пером сочинителя – Достоевский то и дело записывал в тетрадях нотабене «подсочинить сюжет», «много работы над характером» – Князь менялся буквально каждый месяц.

Персонаж январского образца мало или совсем не походил на центрального героя романа. Сын крупных землевладельцев, богатый, но безалаберный аристократ, он сглупа завел связь с Воспитанницей, проживающей в доме деспотической княгини, его матери. «Девочка отдалась даже безо всякого сопротивления и кокетства» и забеременела. Главный подвиг Князя должен был состоять в том, что он, будоража общественное мнение, решался жениться на обесчещенной им бедной девушке, отказываясь от предназначенной ему в невесты богатой Красавицы. Подверженный бурным,

но житейски заурядным страстям, Князь оказывался вполне ординарной натурой – ревновал, завидовал удачливому сопернику, оскорблял его пощечиной и, страдая от любовных неудач, готов был даже застрелиться.

В феврале Князя все еще не оставляли разные неприятности – ссоры с матерью, отказ Воспитанницы; получено было также дикое письмо Красавицы, намекавшее, что он «опоздал приехать». Нелепость письма усиливалась тем фактом, что Князь ничего и не предлагал Красавице, когда встретился с ней после продолжительной разлуки.

К началу марта, все еще вялый и индифферентный, Князь обретал сильные жизненные импульсы, стремясь проявить себя не только на любовном, но и на общественном поприще. «Князь и Воспитанница – новые люди, выдержавшие искушение и решающие начать новую, обновленную жизнь». Князю вменялся упорный труд, придавался волевой характер, смягчаемый грустной, застенчивой душой. Ему предписывалось довольствоваться участью простого, доброго, славного и незнаменитого человека, чтобы являть собой скромный идеал «настоящих, хороших людей». Правда, весьма скоро выяснилось, что характер Князя – ревнивый, упрямый, гордый, настойчивый, подверженный сомнениям – противится назначенной роли. Не удался и аристократический мотив: явившись в облике «нового боярина», ненавидящего современный порядок и проповедующего честность, бедность и труд, Князь при всем своем сословном высокомерии тем не менее оставался лицом пресным и скучным – даже когда автор захотел придать ему некоторое сходство с Дон Жуаном и Ноздревым.

В течение всего марта Достоевский бился над Князем, видя его «новым человеком», способным «разбивать кумиры и сожигать корабли». Однако постепенно становилось ясно, что геройские поступки вроде женитьбы на бесприданнице или отказа от наследства для него мизерны и простоваты. Что-то надо было делать с ускользающим Князем и рассыпающейся интригой.

«Кабы от кого-нибудь ему пощечина. Он бы дрался и не стрелял от презрения», – записывал Достоевский.

«Слава о нем в городе и везде (еще прежняя, отроческая) как о развратном, безобразном, нагло оскорбляющем человеке. (Один чиновник, которого он побил, один муж, женатый на растленной им...)»

Князь А.Б. – с такими инициалами появился он впервые в черновиках[1] – из умеренного и порядочного молодого человека начал преображаться в бретера и дуэлянта, коварного соблазнителя и дерзкого прожигателя жизни. Загадочность и неуловимость его облика осложнялись еще и тем, что до самых последних мгновений влюбленные в него женщины не могли определить наличие у Князя ответного чувства. По этому поводу Достоевский сделал специальное примечание: «Колебание, и в этом сладость романа», – прекрасно сознавая, что вероломство героя в делах любви идет только на пользу сюжету. Таинственный герой, высокомерный аристократ, внимательно присматривающийся к нигилистам, выставлялся теперь как их тайный и заклятый враг.

Интрига складывалась.

II

Время от времени Князю придавались высокие мысли и его окружали высокие духовные лица. Однако вернее и интересней всего выходило, когда он держал себя как человек, которому скучно, избегал «идейных» людей – нигилистов или церковников, – но в самом себе не мог найти никаких моральных оснований. Идея автора все больше сосредоточивалась на герое, который сознавал, что ему недостает почвы.

В середине апреля именно такой сплав характера – блистательное, но скучающее НИЧТО – настолько заворожил Достоевского, что, убрав из сюжета цер-

[1] Может быть, поначалу Князь А.Б. действительно ассоциировался у Достоевского с Андреем Болконским (как предполагает, например, Ю.Ф. Карякин, писавший о сближениях «Бесов» с «Войной и миром»); однако весьма скоро возможное сходство было полностью утрачено.

ковного деятеля с ортодоксальными мыслями о России и православии, он решил: «*Голубова* (то есть церковного деятеля, который должен был благотворно влиять на Князя в вопросах веры. – *Л.С.*) *не надо*. Выходит так, что главный герой романа Князь». Убеждая себя, что персонаж, который ко всему приглядывается, всех воспламеняет до энтузиазма и фанатизма, но сам ни во что не верит и остается равнодушным даже к убийствам, и есть искомый герой, Достоевский снова записывал: «ИТАК, ВЕСЬ ПАФОС РОМАНА В КНЯЗЕ, он герой. Всё остальное движется около него, как калейдоскоп. Он заменяет и Голубова. Безмерной высоты».

Через месяц, в мае, эта фантастическая запись, уже, видимо, не терпящая существенных коррективов, обогатилась лишь оттенками: теперь, после того как масштаб личности Князя был задан, оставалось только добавить привлекательные детали – например, обаяние и победительность.

Какая участь, однако, ему готовилась?

На этот счет сомнений у автора не было – он поднимал Князя на «безмерную высоту», а затем безжалостно с ним расправлялся. На одной и той же странице рабочих записей герой витийствовал, воспламеняя своих адептов «огромностью идей», и кончал с собой; кончина его была мрачна и ужасна: «Гражданин кантона Ури висел на веревке, спрятавшись между шкафом и комодом».

Спустя еще месяц, в июне, Достоевский записывал новую программу для Князя. Оставляя за ним великий ум и высокие порывы сердца, он резко снижал итоговую характеристику: «В РЕЗУЛЬТАТЕ: ИСПОРЧЕННЫЙ БАРЧУК И БОЛЬШЕ НИЧЕГО. ОДИН ЛИШЬ БЕСПОРЯДОК». Тем не менее для него сочинялись пламенные речи и вдохновенные монологи, отдавались самые дорогие идеи. Князь в черновых заметках начала лета 1870 года выступал в роли «власть имеющего» публициста и общественного деятеля, предвосхищая заветные мысли будущего «Дневника писателя». Автор не жалел своих интеллектуальных от-

кровений и идейных приоритетов. «Я сам знаю, – говорил Князь, – что атеист не может любить Россию. Это моя мысль. Я еще нигде ее не встречал».

В конце июня, достаточно натренировав своего героя в философских дискуссиях, Достоевский озаботился и его интимной сферой. «ВОПРОС: Обдумать отношение Князя с женщинами...» Имелись в виду две героини – Воспитанница и Красавица, и предполагалось, что герою придется соблазнить обеих. С того момента, как на листах тетради, помеченных заголовком «Фантастическая страница», появилась заметка: «NB) Он должен быть обольстителен», Князь вступил в ту фазу своего развития, к которой, по интуиции автора, он и должен был рано или поздно прийти.

Автор начал усиленно демонизировать Князя.

III

СХЕМА демонического поведения строилась с самого начала на основе любовных отношений – Князь, как бы в подтверждение своего демонизма, должен был совершить ряд неблаговидных поступков с обожающими его женщинами.

«Воспитанницу насилует: конец сомнениям (ибо должен уже теперь жениться, когда дело сделано, а стало быть, жить, как и все, и не делать подвига)».

«Отдается и Красавица раз. А потом бросает его с проклятием; ибо видит, что он не любит ее и что она же принуждена была его соблазнять...»

«Он насилует Красавицу уже после, как изнасиловал Воспитанницу. Ту бросает совсем».

Видимо, жертвы насилия были не слишком обижены на насильника Князя; но поскольку инициатива в делах любви теперь всецело принадлежала ему, обеим женщинам оставалось или смиренно дожидаться своей очереди, или, что называется, лезть на рожон, вовлекая Князя в любовный поединок. Смиренная роль отводилась Воспитаннице, активная – Красавице, при этом «господином разговора» в любом случае оказы-

вался Князь; о нем мечтали, за ним бежали, его готовы были простить всегда и за все; так, Воспитанница, получив от Князя письмо «нежное, ужасное», «мигом жертвует собою и идет к нему, всё забывши. Эта любит его тем более, чем он несчастнее; а она постигла, что он несчастен».

«НОТАБЕНЕ ОТ АВТОРА, – записывал Достоевский. – Итак, с женщинами улажено и трудности побеждены». Сознавая, вероятно, что репутация демона не может строиться лишь на любовных победах (в противном случае победитель мог претендовать только на лавры Дон Жуана), Достоевский искал новые краски и качества. Обаяние и обольстительность героя должны были быть много крупнее, значительнее, чем это нужно для заурядного волокиты. Требовались иные жертвы его обольстительности, иные стихии бытия.

«Князь слушает жадно, но молчит и хоть ничего не говорит, но видно, что он господин разговора. Он прислушивается и приглядывается. Угрюм и важен...

Иногда молчаливо любопытен и язвителен, как Мефистофель. Спрашивает как власть имеющий, и везде как власть имеющий».

«Господином разговора», властным, как Мефистофель, должен был появиться Князь перед Шатовым, своим приверженцем: «Он и его *обворожает*». И далее, под шапкой все того же НОТАБЕНЕ, было проставлено предписание «для себя»: «ВООБЩЕ ИМЕТЬ В ВИДУ, что Князь обворожителен, как демон, и ужасные страсти борются с... подвигом. При этом неверие и мука – от веры. Подвиг осиливает, вера берет верх, но и бесы веруют и трепещут».

Здесь наконец Князь определенно стал нравиться Достоевскому, и вслед за записью: «Князь обворожил и Нечаева» – писатель принялся составлять для героя столь обширные и вдохновенные монологи, что становилось очевидно: герой обворожил и автора.

«ГЛАВНОЕ, – подчеркивал Достоевский. – Главная мысль, которою болен Князь и с которою он носится, есть та:

У нас православие; наш народ велик и прекрасен

потому, что он верует, и потому, что у него есть православие. Мы, русские, сильны и сильнее всех потому, что у нас есть необъятная масса народа, православно верующего...»

Однако этой мыслью был болен сам Достоевский! Демонический герой с повадками Мефистофеля получал от автора излюбленные и дорогие идеи – о назначении России и божественном промысле, об основаниях нравственности и русском Апокалипсисе – чтобы смущать податливые души учеников и покорять их. И один из них, очарованный великой мыслью и силой ума учителя, признавался ему: «Я от вас не могу отойти, вы теперь мой», «закружили вы меня, но я от вас не отстану».

Подняв потрясенных учеников к горним вершинам богословских откровений, подчинив волю своих адептов метафизической риторикой, демон высокомерно бросал их на произвол судьбы: «Я... желаю, чтоб вы меня оставили в полном покое... Более никогда не приду».

Пафос высших философских построений, тайну мистического знания о России, глубину православных интуиций получал «обворожительный демон» для демонических целей. «Записные тетради», заполнявшиеся летом 1870 года, неоспоримо доказывали, что великие сокровища ума и горние вершины духа автор отдавал Князю, когда тот устоялся и укрепился в своем демоническом статусе.

К концу июля обольщенные и завороженные Князем жертвы, потерявшие даже «возможность суда над ним», слали ему проклятия и сходили с ума; но автору как будто было этого все еще недостаточно. «Князю больше роли, значительнее», – записывал он.

Когда наступила та памятная середина августа 1870 года и в рабочей тетради появилась итоговая заметка от 16-го числа, Достоевский почувствовал, что может перейти от планов к тексту. Ради Князя, превращенного в демона и поставленного в центр романа, стоило рисковать: из-за него уничтожалось пятнадцать листов первого варианта и вся работа начиналась заново.

Письма, последовавшие одно за другим (Кашпиреву, Сонечке, Каткову), свидетельствовали: Достоевский не думал, что поиск героя так осложнит его планы и так нарушит его обязательства; не предполагал, что увязнет в черновиках, пока не выйдет на своего демона.

«Отказаться же от новой идеи и остаться при прежней редакции романа я не в силах совершенно. Я не мог предвидеть всего этого», – писал он в «Зарю».

«Идея так хороша, так многозначительна, что я сам перед нею преклоняюсь...» – сообщал он племяннице.

«Я работал все лето изо всех сил... Но не всё мне удавалось... Но теперь всё установилось. Для меня этот роман слишком многое составляет», – признавался он издателю.

Только зная всю подоплеку творческой истории Князя А.Б. и последовательность происшедших с ним метаморфоз, можно близко к истинному и сокровенному смыслу прочесть строки из оправдательных писем Достоевского.

Достоверно известно, что сразу после августовских черновых программ (у Князя были усилены печоринские качества и подробно расписаны сцены, где проявлялась его бешеная, но мгновенно остывающая страстность) Достоевский в течение месяца с небольшим написал первые главы первой части романа.

IV

Творческая история «Бесов» благодаря доступности основных источников по праву считается хорошо изученной: многократно эксплуатировались все черновые и эпистолярные материалы, связанные с романом, и еще А.С. Долинин в редакционном предисловии к первому тому писем Ф.М. Достоевского в 1927 году писал о «нудном однообразии одних и тех же цитат». «Работа над «Бесами» – в высшей степени сложная и тем самым дающая возможность людям, писавшим о Достоевском, строить самые произволь-

ные, самые фантастические гипотезы», – сердился он. Но – «есть достаточно данных, чтобы установить почти точные пределы субъективно измышляемым гипотезам»[1].

Между тем самые интересные гипотезы, связанные с генезисом Ставрогина и восходящие к яркой плеяде первопроходцев, не дополняют, а как бы отменяют одна другую.

Хорошо известно, что в конце 1868 – начале 1869 года, только что закончив роман «Идиот», Достоевский замыслил грандиозное произведение, названное им вначале «Атеизм» («написать этот последний роман, да хоть бы и умереть – весь выскажусь»), а затем трансформированное в «Житие великого грешника». На «Житие», герой которого, грешник, был «в продолжение жизни то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист», Достоевский возлагал колоссальные надежды. Называя задуманную *притчу об атеизме* литературной мыслью, перед которой вся его прежняя писательская карьера «была только дрянь и введение», он готов был посвятить этой идее всю свою будущую жизнь. Но именно будущую, так как писать «Житие» в тот самый момент, когда он им загорелся, не представлялось возможным: для «Жития», которое он видел огромным романным полотном из пяти частей по пятнадцать листов каждая, надо было жить в России. «Без России не напишешь»,– был уверен Достоевский; к тому же на *притчу об атеизме* ушло бы, по самым предварительным расчетам, лет шесть.

Писать тем не менее надо было здесь, в Дрездене, и теперь – когда для «Зари» был окончен «Вечный муж» и наступала очередь «Русского вестника», перед которым имелись обязательства неотложные. 19 декабря 1869 года Достоевский сообщал Майкову: «Через три дня сажусь за роман в «Русский вестник». И не думайте, что я блины пеку: как бы ни вышло скверно и гадко то, что я напишу, но мысль романа и работа его – все-таки мне-то, бедному, то есть автору, дороже всего

[1] Ф.М. Достоевский. Письма. Тт. I – IV / Под ред. А.С. Долинина. Л.–М.: ГИЗ – Academia – Гослитиздат, 1928 – 1959. Т. I. С. 10, 15.

на свете! Это не блин, а самая дорогая для меня идея и давнишняя».

История замысла для «Русского вестника» запутанна и загадочна.

Свою дорогую и давнишнюю идею осуществлять за границей он не собирался; комкать и портить, второпях присылая в Москву обещанные главы нового сочинения (печатание его в «Русском вестнике» должно было начаться с января 1870 года), – не хотел. И тем не менее сел за работу и стал писать, как всегда торопясь и опаздывая и имея в виду ту самую давнишнюю дорогую идею.

Значило ли это, что он и в самом деле, наступая на горло долгосрочному замыслу об атеисте-грешнике, пытался приспособить его к новым обстоятельствам? И что Ставрогин появился на свет как первый осколок несостоявшегося «Жития»?

«Осень 1870 года – период, когда замысел «Бесов» особенно сблизился у художника с замыслом «Жития великого грешника», – утверждал В.Л. Комарович, один из первых исследователей темы, в оспоренной многими учеными статье. – Ставрогин почти отождествляется с героем «Жития»... Вторая часть романа писалась, очевидно, Достоевским еще с твердой надеждой показать исцеляющегося «великого грешника» (Ставрогина)... Но вот, работая только уже над последними главами романа, подходя к разрешительным катастрофам третьей части, увидал, очевидно, Достоевский невыполнимость своих первоначальных религиозно-художественных целей. Исцелить «великого грешника» Достоевский не нашел в себе художественных сил; и все, что вело к этому ожидавшемуся исцелению («глава девятая»), – отпало... Как будто вдруг и неожиданно для самого художника, в момент завершительной работы над романом, греховность героя обнаружила свою самодовлеющую крепость и устойчивость...»[1]

Однако почему-то уже первые наброски к «Бе-

[1] В. Комарович. Неизданная глава романа «Бесы» // Былое. 1922. № 18. С. 225.

сам», рисующие Князя А.Б., который от зависти и ревности хлестал по щекам своих соперников, мало соответствовали литературному типу, намеченному Достоевским для «великого грешника».

Может быть, приступая к работе для «Русского вестника», но имея идею только для «Жития», Достоевский вынужден был сочинять параллельно две вещи, между которыми в творческом воображении писателя происходила неустанная борьба? (А.С. Долинин считал даже, что в процессе борьбы двух параллельно сочиняемых произведений один замысел рано или поздно обязательно бы осилил другой[1].)

Но если Князь А.Б. все-таки мыслился героем «Жития», почему «великим грешником» он стал только на этапе августовской радикальной правки, а не шестью месяцами ранее? Может быть, потому, что замысел «Жития», отодвинутый в связи со срочной работой для московского журнала, не мог не повлиять на образ центрального персонажа, который невольно и взял на себя функции, предназначавшиеся другому?

Однако, если бы действительно на Князя А.Б. серьезно влиял грешник из грандиозного замысла «Жития», он, Князь А.Б., должен был бы, как того и хотел автор, прийти к покаянию, осознав и преодолев свою греховность. Но – как свидетельствовали черновые записи – с ним происходило нечто противоположное самоисправлению; очевидность «обратной эволюции» Ставрогина заставила, например, А.Л. Бема вообще усомниться в возможности осуществления основного замысла Достоевского – спасти героя и привести его к вере. «Достоевскому в этот период его творчества не давался замысел преодоления греховности. В его герое вопреки желанию автора греховность пускает такие глубокие корни, приводит к такому внутреннему опустошению, что путь спасения, несмотря на все усилия востосковавшего о правде духа, оказывается тщетным»[2]. Но, подвергая Князя А.Б. все новым испытаниям и соблазнам, как мог Достоевский предположить,

[1] См.: Ф.М. Достоевский. Письма. Т. I. С. 19.

[2] А.Л. Бем. Эволюция образа Ставрогина // O Dostojévském. Sbornik stati a materialů. Praha, 1972. С. 97.

что герой на любом витке приключений сможет по собственному усмотрению остановиться и покаяться? Ведь с самых первых черновых записей обнаружился категорический императив – целеустремленное намерение автора довести героя до пули или петли: очень скоро ранняя вопросительная заметка «А.Б. может застрелиться(?)?» сменилась неколебимым решением: «Убить Князя».

Как на этом фоне выглядят гипотезы о возможных прототипах Ставрогина?

Если даже согласиться с самыми замечательными из них, вспомнив захватывающие споры 20-х годов[1], то как отнестись к метаниям Достоевского на подготовительных этапах работы? Ведь, строго говоря, он или не сразу понял, какой именно из прототипов ему нужен, или менял прототипов от записи к записи.

Между тем можно было видеть, что Достоевский примеривал на героя в высшей степени противоречивые, а порой и взаимоисключающие свойства.

Князь А.Б. был «взят из сердца», но при этом приговаривался к самоубийству.

Автор поднимал героя на «безмерную высоту», но при этом понуждал к новым преступлениям.

В течение многих месяцев план по А.Б. кардинально менялся, но романист тем не менее утверждал: «Слишком давно уже хочу изобразить его...»

Нельзя в этой связи не задать простой вопрос: кого «слишком давно» хотел изобразить Достоевский?

Здесь проступает центральная тема моего повествования: Достоевский и Ставрогин. Еще предстоит доказать, что центральной она была и для автора «Бесов».

V

Комментируя первую публикацию плана «Жития великого грешника» (вновь напомню о тетради, извлеченной из жестяного ящика), Н.Л. Бродский за-

[1] См., например: Спор о Бакунине и Достоевском. (Статьи Л.П. Гроссмана и Вяч. Полонского). Л.: ГИЗ, 1926.

явил о праве исследователя искать личный авторский ключ к пониманию натуры литературного героя[1].

Как правило, личный авторский ключ ищут на основе сходства – портретного, биографического, бытового – автора и героя. Если сходство имеет место, его немедленно находят. Бродский быстро установил, что герой из плана «Жития» многими чертами характера напоминал молодого Достоевского, каким он выглядел по письмам к брату Михаилу. Но герой «Жития» и должен был походить на автора «Жития», раз главный вопрос задуманного сочинения – существование Божие: вопрос, как сказал Достоевский, «тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь».

Какой, однако, личный авторский ключ мог бы подойти к образу Ставрогина – если, конечно, уйти от общего рассуждения, что художник все берет из своей жизни, а затем известным только ему способом преображает пространство, время, события и людей? Ведь в случае со Ставрогиным и Достоевским всякого рода биографические сближения всегда имели скандальный оттенок и служили внелитературным целям. Так что, например, печально известные страховские разоблачения в письме к Л.Н. Толстому «развратного» Достоевского свидетельствовали лишь о желании автора клеветы заслужить после смерти одного писателя дружбу и доверие другого.

Между тем Н.Н. Страхов был первым, у кого в руках оказалась тайна замысла Достоевского, – ведь, повторю, именно ему в октябре 1870 года Достоевский признался: «...новый герой до того пленил меня...» И если бы Страхова-критика действительно занимали тогда профессиональные вопросы, он бы скорее прочих мог догадаться, почему новый герой Достоевского пленяет автора, как только достигает нужного демонического «градуса».

«Близость наша была так велика, что я имел полную возможность знать его мысли и чувства...» – утвер-

[1] См.: Н. Бродский. Угасший замысел // Документы по истории литературы и общественности. Вып. первый. С. 55.

ждал Страхов в воспоминаниях о Достоевском[1]. Собственно, только он и мог понять, какой же именно авторский ключ вручил ему Достоевский. Но не понял – ни тогда, в 1870-м, когда получал от автора «Бесов» по письму ежемесячно (имея роскошную возможность задавать любые вопросы о новом сочинении), ни позже, когда писал «Воспоминания» (работе над «Бесами», о которой Страхов знал так много из первых рук, была посвящена здесь всего одна строка[2]), ни потом, когда в письме к Л.Н. Толстому корыстно отрекался от них: «Все время писанья я был в борьбе, я боролся с подымавшемся во мне отвращением, старался подавить в себе это дурное чувство... Но пусть эта правда погибнет, будем щеголять одною лицевою стороною жизни, как это мы делаем везде и во всем!»[3]

Что же могла значить лично для Достоевского мрачная стихия души демонически порочного Князя А.Б., каким он представал в записных тетрадях 1870 года? Какой личный смысл мог вкладывать автор, признаваясь издателю, что героя-демона «взял из сердца»?

В подготовительных материалах к «Бесам» есть одна выразительная запись – авторский наказ самому себе: «БЕРЕГИ МЕСТО. Не объяснять сначала интимностей. Всё в своем месте, объективно, внешними фактами и К СЛОВУ, а не залезая вперед».

Не только ради пущей занимательности сюжета «Достоевский и Ставрогин» не буду и я «залезать вперед». Следуя совету мастера – «береги место», рискну использовать тот шанс, который когда-то был в руках у Страхова и которым он так бездумно и бездарно пренебрег.

...Что же случилось с Достоевским в августе 1870 года, когда он решился на радикальную переделку романа? Что в его жизни, в его фантазии и в его сердце востребовало демона?

[1] См.: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 169.

[2] См.: там же. С. 297–298.

[3] Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым // Современный мир. СПб., 1913, декабрь. С. 307, 309.

«Мы не знаем тому причин, почему именно в эту пору мир воспринимался Достоевским в таком безнадежно-трагическом аспекте»[1], – писал А.С. Долинин в связи с финалом «Бесов». «В каком-то соответствии с внутреннею своею жизнью Достоевский необычайно суров по отношению к своему герою...»[2] – говорил и А.Л. Бем об общем фоне романа.

Какие-то непонятные художественные мотивы. Какие-то непостижимые внутренние колебания. Какие-то сложные, запутанные расчеты, в результате которых в роман, задуманный как тенденциозная вещь против нигилистов и западников, вторгается герой-звезда, герой-солнце – «безмерной высоты».

Памятуя совет романиста, не стану «объяснять сначала интимностей». Вновь подчеркну лишь документально подтверждаемый факт: Достоевский начал писать связный текст романа, получивший название «Бесы», как только новый герой, Князь А.Б., утвердился и устоялся в качестве демона.

За полтора месяца было написано пять с половиной печатных листов текста, определена трехчастная композиция романа с заголовками для глав и делением на эпизоды. 7(19) октября 1870 года Достоевский выслал на адрес «Русского вестника» 62 полулиста почтовой бумаги малого формата, которые содержали первую и вторую главы первой части. Обратного хода не было: в январе должно было начаться печатание романа.

На следующий день вдогонку рукописи Достоевский выслал редактору «Русского вестника», М.Н. Каткову, письмо, в котором содержалось волнующее признание о герое, «взятом из сердца».

«Но подождите судить меня до конца романа, многоуважаемый Михаил Никифорович! Что-то говорит мне, что я с этим характером справлюсь. Не объясняю его теперь в подробности; боюсь сказать не то, что надо».

23 января 1871 года обещанный номер «Русского вестника» с началом «Бесов» вышел в свет.

[1] А.С. Долинин. «Исповедь Ставрогина». (В связи с композицией «Бесов») // Литературная мысль. Пг., 1922. № 1. С. 150.

[2] А.Л. Бем. Эволюция образа Ставрогина. С. 119.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Система всегдашнего долга

I

Чем дольше Достоевский оставался за границей, скрываясь от петербургских кредиторов, тем больше он залезал в долги новые. Иногда он даже думал, что если бы не уехал, а остался в Петербурге, то давно бы расплатился с заимодавцами. А так, из-за нетерпения и настырности, они и сами ничего не получили, и ему отработать не дали. «Если б все эти господа, – писал он в начале 1869 года вдове покойного брата, Эмилии Федоровне, имея в виду всех, кому был должен после краха «Эпохи», – дали мне хоть полтора года сроку, для уплаты всего с процентами, и переписали бы так свои векселя или выдали бы мне какую-нибудь засвидетельствованную доверенность, то я бы тотчас же воротился в Петербург, и через год они бы уже более половины всего получили наверно, а через полтора наверно всё».

Между тем ехать в Петербург без шести-семи или на худой конец пяти тысяч наличных денег было бессмысленно, выработать же столько здесь, за границей, ничего не тратя на самые неотложные нужды, не представлялось возможным. На ежемесячный пенсион требовательно надеялась Эмилия Федоровна, малую толику ожидал каждый месяц и пасынок Паша Исаев. И чтобы в Петербурге они могли получить свои пятьдесят-шестьдесят рублей (иногда это могло было быть всего двадцать или сорок), Достоевский из Флоренции или из Дрездена слал в Москву слезное письмо Каткову, у которого уже не имел ни малейшего права просить, так как еще не отработал аванса, и который, никогда не отказывая, без промедления пересылал заветную сторублевку в Петербург на имя Майкова. Преданный друг, еще с 1846 года, Аполлон Николаевич (которому Достоевский уже больше года тоже был

должен двести рублей, но никак не мог выкроить и мучился, истолковывая каждую паузу в переписке как разрыв отношений), разделив полученные деньги в той или иной пропорции, отвозил по адресам получателей.

Кроме того, были долги чести – например, А.Е. Врангелю, и святые долги семье сестры, В.Ф. Ивановой; нужно было платить проценты за заложенные вещи Достоевских в Петербурге (для чего пересылались деньги сестре Анны Григорьевны, Марье Григорьевне Сватковской), и нужно было платить проценты за заложенные вещи (вплоть до белья) в Дрездене – пять процентов в месяц с суммы почти в пятьсот рублей серебром.

Финансовое ненастье продолжалось весь 1869 год.

За месяц до Нового, 1870 года Достоевский почти в отчаянии писал Майкову: «Денег у меня ни малейшей сломанной копейки... И потому (поверьте, *буквально*) не имею и *не могу достать* денег для отправки рукописи в редакцию. Рукопись толстая, и спросят 5 талеров». Речь шла о рукописи «Вечного мужа», и Достоевский просил Майкова, чтобы тот умолил Кашпирева, редактора «Зари», куда предназначался рассказ, выслать пятьдесят или хотя бы двадцать пять рублей, но – тотчас же: «Вы получите письмо в среду. Если б он в пятницу выслал! Просьба моя к Вам – способствуйте этому! Тотчас же по получении денег, на другой же день, вышлю в редакцию рукопись».

Не было денег на покупку теплых вещей, не на что было окрестить новорожденную дочь Любу (только в конце декабря состоялись крестины уже трехмесячного ребенка), и спасение, как казалось Достоевскому, зависело от скорости работы почтальонов и почтовых контор – как в Петербурге, так и в Дрездене.

Он досконально изучил все способы экстренной отправки денег из Петербурга в Германию через банковские конторы. Он доподлинно знал: если петербургский банкир, получив от редакции «Зари» сто руб-

лей для бедствующего литератора в понедельник, оформит в этот же день вексель на дрезденского банкира, то уже в четверг или самое позднее в пятницу литератор, придя в дрезденскую контору с векселем, отправленным по почте три дня назад, получит незамедлительно причитающуюся сумму уже в пересчете на талеры.

Никто, однако, особенно не торопился. И деньги, ожидаемые с таким отчаянным нетерпением, имели обыкновение где-то застревать – по небрежности одних, по неаккуратности других, по нерасторопности третьих. В исступлении разглядывал Достоевский письмо из той же «Зари», пришедшее не на четвертый, как он рассчитывал, а на двенадцатый день, и негодовал: «...заметьте: пишет от 3-го октября (нашего стиля), а штемпель приема на петербургской почте значится 6-го октября. Значит, оно валялось у него (Кашпирева. – *Л.С.*) на столе *так*, без отсылки, три дня. Хоть бы для деликатности зачеркнул 3 и поставил 5! Неужели он не понимает, что мне это *оскорбительно*? Ведь я ему писал о нуждах *жены* и ребенка моего – и после того такая небрежность! Разве не оскорбление!»

Он исписывал десятки страниц деловых писем все к тому же Майкову, вновь и вновь перечисляя свои неотложные просьбы, объясняя правила работы почтамтов при пересылке денег из страны в страну, называя имена наиболее надежных банкиров: Гинцбурга, Ротшильда, Гирша, жалуясь на бестолкового (или бессовестного?) банкира Хессина, выславшего из Петербурга неверно оформленный денежный документ. Каждый день он прибегал в дрезденскую контору Гирша справляться об avis, без которого его вексель был никчемной бумажкой, выданной будто на смех, для отвода глаз. Avis все не было, немецкие клерки посмеивались над незадачливым клиентом и, разумеется, денег не выдавали.

Достоевский во всем винил Кашпирева. «Неужели он думает, что я писал ему о моей нужде только для красоты слога! Как могу я писать, когда я голоден, ко-

гда я, чтоб достать два талера на телеграмму[1], штаны заложил! Да черт со мной и с моим голодом! Но ведь она кормит ребенка, что ж если она последнюю свою теплую, шерстяную юбку идет *сама* закладывать! А ведь у нас второй день снег идет (не вру, справьтесь в газетах!), ведь она простудиться может! Неужели он не может понять, что мне *стыдно* все это объяснять ему? Но это не всё, есть и *еще стыднее:* у нас до сих пор ни бабка, ни хозяева не уплачены – и это всё ей в первый месяц после родов! Да неужели ж он не понимает, что он не только меня, но и *жену мою оскорбил,* обращаясь со мной так небрежно, после того как я сам ему писал о *нуждах жены.* Оскорбил, оскорбил! О, как бы я ему отплатил!»

Но вот приходили наконец спасительные уведомления, а с ними и долгожданные сто рублей; Достоевский получал временную передышку, забывал об оскорбительной небрежности работодателей, радуясь задним числом, что благородный Майков не дал Кашпиреву прочесть горячее, гневное письмо, а лишь пересказал смысл, – теперь Достоевский уверял своего друга, что настоящей злобы в нем не было и быть не могло. Можно было приниматься за литературные проекты, или, как он их называл, комбинации.

II

Комбинаций, на которые можно было полагаться в материальном отношении, собственно говоря, имелось не так много.

Во-первых, дополнительные деньги сулила вещь для «Зари»: вместо обещанных Кашпиреву трех «Вечный муж» тянул на семь-восемь листов. Это означало, что, за вычетом взятого у «Зари» аванса в пятьсот рублей, ему причиталось примерно еще столько же; и тогда двести сразу пойдут Майкову в оплату долга, остальные – на выкуп заложенных в Петербурге вещей из приданого Анны Григорьевны.

[1] Телеграмма на имя Кашпирева была следующего содержания: «Nein Avis. Hirsch giebt nicht Geld» – «Уведомления нет. Гирш денег не дает» (*нем.*).

Во-вторых, можно было продать (об этом Достоевский просил содействия у свояченицы) книгоиздателю А.Ф. Базунову права на отдельное издание «Идиота», печатание которого в «Русском вестнике» завершилось в феврале 1869 года. Достоевский полагал, что за ничтожную сумму в полторы тысячи рублей Базунов, если он хоть сколько-нибудь рассудителен, роман у него купит.

В-третьих, можно было (в том случае, если Базунов откажется) предложить «Идиота» Ф.Т. Стелловскому – хотя бы за тысячу рублей. Действовать необходимо было осторожно, чтобы у обоих издателей не создалось впечатления, будто автор, находясь на мели, навязывает им неходовой товар. «Тут главное – получить деньги», – объяснял Достоевский в письме к пасынку Паше, которому и предстояло как доверенному лицу вести сложные переговоры. Понимая, как нелегко будет склонить Стелловского к немедленной выплате хотя бы половины суммы, автор «Идиота» наставлял доверенное лицо на путь компромиссный и нежесткий: «Спорь и возражай мягче. О пустяках и не о существенном и спорить нечего. Если же заспорите, то беспрерывно показывай вид, что готов уступить, а между тем как можно менее уступай».

В случае успеха у Базунова или Стелловского заветная сумма немедленно делилась в уже известной пропорции: двести – Майкову, триста – на выкуп приданого в Петербурге, четыреста – на выкуп залога в Дрездене, сто – поровну Эмилии Федоровне и Паше, остальное – на жизнь себе, жене и дочке. Правда, если выгорала комбинация со Стелловским, из его тысячи на жизнь не оставалось ничего.

Первым, как того и опасался Достоевский, лопнул проект с Базуновым. Переговоры об отдельном издании «Идиота», которые в конце концов пришлось вести Страхову, окончились ничем; еще летом 1869 года Базунов решительно отказался купить роман, а согласился лишь напечатать его на условиях подчеркнуто унизительных: сперва издатель выручает все затраты от издания и сверх этого берет себе 25 процентов и

только затем продажа совершается в пользу автора за вычетом 30 процентов, которые опять-таки идут издателю.

«Все здешние книгопродавцы, как я узнавал стороной, – сообщал Достоевскому в сентябре 1869 года его пасынок, – не имели, да и не имеют и в настоящее время, охоты купить „Идиота"»[1]. Если же таковые и случались, то оказывались или книжными плутами, или дельцами несолидными: никто из них так и не взялся (не смог или не захотел) выплатить вперед в случае подписания договора требуемых автором пятисот рублей. «Скажу только свое мнение, что, за неимением в наличности других покупщиков, продать «Идиот» Стелловскому все-таки выгоднее. Тысяча руб. чистыми деньгами – куш»[2], – писал Паша Исаев, потерпев неудачу в переговорах с господами издателями Ушаковым, Гавриловым, Катоминым, Ханом и пр.

План продажи Стелловскому отдельного издания романа «Идиот» лопнул, как и все предыдущие; расчет заработать на «Идиоте» деньги для возвращения в Россию не оправдался: роман, огорчался Достоевский, получился «для публики не эффектен».

Годом раньше пасынок Паша, до тонкостей знавший все финансовые дела своего отчима, писал ему, жалуясь на крайнюю бедность: «Я знаю, голубчик Папа, что помочь нам Вы были рады всей своей доброй душой, но помочь через Каткова Вам теперь *положительно нельзя*. (Там только у Вас и есть один источник.)»[3]

Год спустя положение вещей продолжало оставаться прежним: Катков, редактор «Русского вестника», уже напечатавшего «Идиота» и «Преступление и наказание», оказывался единственным из работодателей, кто платил Достоевскому регулярно и – что самое важное – вперед. «Деньги они присылали мне всегда, по первой просьбе, до самого последнего времени», –

[1] Пять писем П.А. Исаева к Ф.М. Достоевскому // Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А.С. Долинина. Сб. 2. М.–Л.: Мысль, 1924. С. 408.

[2] Там же. С. 415.

[3] Там же. С. 403.

замечал Достоевский; он помнил, как в декабре 1866 года выехал из Петербурга в Москву, чтобы предложить Каткову новый роман и получить деньги для свадьбы. Две тысячи рублей в счет будущего сотрудничества были получены сразу, в течение января 1867 года, и еще одна тысяча в апреле; на эту тысячу супруги Достоевские смогли уехать за границу. «Я связан с «Русским вестником» и постоянством сотрудничества... и тем, что Катков дал мне три тысячи вперед, еще до выезда из России, – объяснял Достоевский племяннице Сонечке в конце января 1869 года. – Правда, по расчету я еще очень порядочно должен в журнал и теперь, потому что перебрал всего, с прежними тремя тысячами, до семи тысяч».

Долг «Русскому вестнику» был хотя и обременительным, но не постыдным; в каком-то смысле эти тысячи, выданные вперед, оказывались кредитом литературного доверия – о чем не без некоторой гордости он сообщал Страхову. «Я выехал скоро два года назад из России, уже будучи должен Каткову 3000 рублей, и не по старому расчету с «Преступлением и наказанием», а по новому забору. С той поры я забрал еще у Каткова до трех тысяч пятисот рублей».

Ему предстояло не выплачивать, а отрабатывать долг – и в течение четырнадцати месяцев он писал и посылал в Москву главы «Идиота».

Составляя в марте 1868 года в Женеве проект завещательного заявления в пользу жены, Достоевский специально оговаривал пункты расчета по своим долговым обязательствам: «Насчет же уплаты остального долга, всю обязанность беру на себя доставлением ему (Каткову. – *Л.С.*) продолжения моего романа «Идиот» для его журнала. В случае же смерти моей предоставляю жене моей Анне Григорьевне Достоевской согласиться с г-ном Катковым для уплаты ему остального долга, если таковой еще окажется, деньгами или при издании женою моею моих сочинений. Пишу весь этот третий пункт моего заявления, имея во всяком случае в виду истинное и высокое благородство души Михаила Никифоровича Каткова, неоднократно

мною испытанное при литературных моих сношениях с ним».

Сорок печатных листов уже законченного и опубликованного «Идиота» стоили – при плате с листа ста пятидесяти рублей (которую Катков обычно назначал Достоевскому) – шесть тысяч рублей. В формате «Русского вестника» объем романа «Идиот» равнялся сорока листам; при этом лист рассчитывался путем умножения числа 16, то есть количества страниц в одной книжной тетрадке, на объем страницы в знаках: количество строк умножалось на количество букв в строке, а не на количество ударов, как при современных подсчетах. Поэтому печатный лист одного формата мог не совпадать с печатным листом форматов других изданий[1].

Тысяча, которая оставалась непогашенной, оплачивала вперед семь листов пока не существовавшего, то есть не написанного, текста – четвертую или пятую часть будущего романа, если о его размерах судить по «Преступлению и наказанию». Заканчивая работу над «Идиотом», Достоевский полагал, что его долг «Русскому вестнику» окажется меньшим, а объем «Идиота» бóльшим. «В «Идиоте» всего окажется около 42-х печатных листов, – сообщал он Майкову в декабре 1868 года, когда еще не были дописаны финальные главы четвертой части романа и эпилог. – ...Мне от сего дня надо будет написать и отослать листов 7 печатных в 4 недели». Совокупный объем текста, предназначенного для завершения романа (то есть VII – XI главы четвертой части и заключение), оказался несколько меньше предполагаемого.

Такого романа, ни уже готового, ни еще сырого, который можно было бы немедленно предлагать в «Русский вестник», у Достоевского, разумеется, в тот момент не было; и, когда весной 1869 года он получил через Страхова предложение о сотрудничестве от редак-

[1] См., например, письмо П.А. Исаева к Ф.М. Достоевскому от 3 сентября 1879 года: «...мы рассчитали, что 40 печатных листов «Русского вестника» будут = $32\frac{1}{2}$ листам Стелловского... Приблизительно из 36 листов «Преступления и наказания» издания Базунова выходит $30\frac{1}{4}$ листов Стелловского» (Пять писем П.А. Исаева к Ф.М. Достоевскому. С. 410–411).

тора «Зари» Кашпирева, возникла любопытная и в некоторых отношениях соблазнительная комбинация.

С одной стороны, надо было отрабатываться в «Русский вестник» – туда был обещан большой роман для первых (и последующих) номеров 1870 года, хотя серьезных денег, памятуя об огромном долге, ожидать из Москвы не приходилось.

С другой стороны, явиться перед публикой в новом журнале было выгодно, так как это повышало шансы автора вообще и в «Русском вестнике» в частности: «будут побольше ценить». Был, однако, риск, что «Русский вестник» обидится, – Достоевский наперед просчитывал эту ситуацию и даже сформулировал для себя оправдательную оговорку: «...*я исключительного* сотрудничества «Русскому вестнику» не обещал, а стало быть, могу, в свободное время, участвовать и в других журналах». И все-таки рисковать в данном случае имело смысл только при одном условии: если руководство «Зари» сможет выплатить ему в качестве аванса «сейчас и разом» тысячу рублей.

В какой-то момент перспектива плотного сотрудничества сразу с двумя журналами, которые, возможно, станут соревноваться друг с другом в предоставлении кредитов пусть и вечно нуждающемуся, но талантливому литератору, казалась Достоевскому, по-видимому, весьма соблазнительной. У него не было и не могло быть претензий к Каткову со стороны материальной, но кое-что в отношениях с «Русским вестником» его явно раздражало. «Они никогда не отвечают, – жаловался он Майкову, – так даже, что я не знаю, приятен ли им мой роман или нет и желают ли они моего сотрудничества».

И хотя еще весной 1868 года Достоевский узнал от своего друга, Степана Дмитриевича Яновского, что тот виделся с неким господином, который вхож к Каткову, и что салон Каткова, равно как и семейство издателя, в восторге от первой части «Идиота», это было все же слишком косвенным – даже не из третьих, а из четвертых рук – свидетельством. А хотелось иметь известия из первых рук и в прямых словах.

Кроме того, очень желательна была бы экстренная тысяча из «Зари» – она дала бы передышку, освободила бы от нужды снова писать Каткову и срочно просить новых денег, когда и старый долг не был отработан.

III

Зимой 1868/69 года, едва были отосланы в Москву последние главы «Идиота», Достоевский записал на первой странице тетради (той самой, которая спустя месяцы заполнится планами романа о Князе А.Б. и готическими рисунками на полях), прямо под наброском о ростовщике и Князе, свои расчеты.

Заря 33, 52
Вест. 41, 48

33	41
52	48
66	328
165	164
1716	1968

Что означала эта арифметика? Первым действием Достоевский намеревался выяснить, какие объемы текста умещаются на странице «Зари» и «Русского вестника». Запись «Заря 33, 52» свидетельствовала о том, что владелец записной книжки подсчитал количество строк в журнале (здесь Достоевский ошибся или подсчитывал по неполной странице: стандартная страница «Зари» содержала 34 строки) и количество букв (здесь он, наоборот, взял не среднюю строку в 50–51 букву, а самую густую). Столбик «33 × 52» давал объем страницы в «Заре» – 1716 букв. Затем та же операция производилась над «Русским вестником»: 41 строка умножалась на 48 букв (здесь он опять взял самую густую строку, тогда как средняя насчитывала 43–44 буквы), и получалось 1968 букв.

Запись «В. З
1970 : 1700»
свидетельствовала о том, что полученные результаты были округлены – 1968 до 1970 и 1716 до 1700. Далее,

однако, круглые цифры не использовались; точное количество букв на журнальных страницах «Русского вестника» и «Зари» умножалось на 16, то есть на количество страниц в типографском печатном листе.

Результаты умножения давались в столбик:

$$\begin{array}{r} 1968\\ \underline{16}\\ 11808\\ \underline{1968}\\ 31{,}488 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1716\\ \underline{16}\\ 10296\\ \underline{1716}\\ 27{,}456 \end{array}$$

Они сразу позволяли видеть, что в печатном листе «Русского вестника» букв на четыре тысячи больше. Но поскольку важны были не буквы, а листы, необходимо было сопоставить оба результата в листовом выражении.

Достоевский записал два отношения:

$31{,}488 : 27{,}456 = 16 : x$

$27{,}456 : 31{,}486 = 16 : x$

Первое из них означало: число букв в печатном листе «Русского вестника» так относится к числу букв в печатном листе «Зари», как полное число страниц в печатном листе «Русского вестника» к x, то есть неизвестному числу страниц «Зари», если их напечатать в формате печатного листа «Русского вестника». Второе отношение выясняло, чему будет равно другое x, то есть число страниц в печатном листе «Русского вестника», если эти страницы появятся в формате «Зари».

Чтобы выяснить значение обоих x, производилось еще одно арифметическое действие: количество букв в печатном листе «Русского вестника» делилось на количество букв, содержащихся в одной странице журнала «Заря».

$$\begin{array}{r|l} 31488 & \underline{1716}\\ \underline{1716} & 18\frac{1}{3}\\ 14328 & \\ \underline{13728} & \\ 600 & \end{array}$$

Столбик показал результат $18^1/_3$, означавший:

печатный лист «Русского вестника», будь он помещен в «Заре», уместился бы не в 16, а в $18\frac{1}{3}$ ($\frac{1}{4}$) страницах. Но это также значило, что, если печатный лист формата «Зари» предложить «Русскому вестнику», он потянет всего на 14 страниц. Значит, в случае, если бы автор отдал в «Зарю» текст в десять печатных листов привычного формата «Русского вестника», набежало бы 22 лишние страницы, то есть одиннадцать листов «Зари» и еще шесть страниц.

По-видимому, именно таков был ход мысли, так как запись «160» означала десять раз по 16 страниц, то есть десять печатных листов; запись «22 $\frac{1}{2}$» показывала разницу между 160 и 182 $\frac{1}{2}$ (то есть разницу между десятью листами в «Русском вестнике» и в «Заре», выраженную в страницах); запись «16/6» обнаруживала желание подсчитать, какую часть печатного листа занимает хвост из шести страниц[1].

Очевидно, что при сумме гонорара с листа, который он получал в «Русском вестнике» и который просил у «Зари» (сто пятьдесят рублей), печататься в «Заре» было выгоднее: при продаже «Заре» романа в тридцать листов набегало еще четыре листа, то есть дополнительных шестьсот рублей. Было о чем подумать, вернее сказать, приходилось думать и об этом[2]. И если бы запрашиваемая Достоевским экстренная тысяча была ему экстренно и разом выплачена, его планы на вторую половину 1869 года могли бы существенно продвинуться – в сторону от «Русского вестника» к «Заре». Достоевский, назначавший себе после четыр-

[1] Записи подсчетов типографского печатного листа цит. по: Записные тетради Ф.М. Достоевского. С. 37–38. В комментарии к странице с подсчетами указано лишь, что догадка о содержании вычислений принадлежит проф. А.А. Покровскому, «предполагающему, что Достоевского занимал вопрос, где выгоднее печатать свое произведение» (С. 397).

[2] Тот факт, что к мысли о более выгодном издании своих произведений Достоевский возвращался постоянно, пытаясь путем математических расчетов найти некую оптимальную комбинацию, подтверждала и другая запись с весьма сложными вычислениями (и с ошибкой в подсчетах), помещенная в рабочей тетради к «Бесам», но на полгода позже, чем первая. Здесь уже использованы два неизвестных, но также фигурирует число 16 – в уравнении: $2x + 3y = 16$. Здесь есть и число 14 (означавшее, по-видимому, число страниц в печатном листе «Зари», если их поместить в формат «Русского вестника»), с которым также было составлено уравнение: $2x + 2y = 14$ (см.: Записные тетради Ф.М. Достоевского. С. 39).

надцати месяцев работы над «Идиотом» четыре месяца каникул для «гулянья и отдыха», готов был употребить отпуск для работы в «Зарю». Это значило бы, что, получив вперед требуемую тысячу и уйдя с головой в объемную работу для «Зари», он вряд ли в самом начале 1870 года принялся бы разрабатывать роман о Князе А.Б. в «Русский вестник».

Свободной тысячи у Кашпирева, однако, не оказалось. А стало быть, отодвинулись в неизвестное будущее и планы объемистой повести, которую Достоевский предлагал через Страхова Кашпиреву («величиною с «Бедных людей», или в 10 печатных листов») и которая должна была исправить читательский неуспех «Идиота».

IV

Когда Достоевский узнал, что экстренную тысячу Кашпирев предлагает ему не разом и не сейчас, а в рассрочку, он, отвечая Страхову, немедленно поменял акценты. «Настоятельная *нужда* моя, – писал Достоевский, – была, *месяц назад, ПРИ МОЛЧАНИИ «РУССКОГО ВЕСТНИКА»*, до того сильна, что тысяча рублей *сейчас* и *разом* имела для меня чрезвычайную ценность. Теперь же мне выгоднее сесть, и сесть как можно скорее, за роман на будущий год в «Русский вестник», который до того времени не оставит меня без денег, да и расставаться с Катковым я никогда не был намерен». Теперь – уже отбросив соображения о возможной выгоде – Достоевский готов был предложить «Заре» лишь небольшой рассказ в два печатных листа (он тут же уточнил, что в «Заре», может быть, это займет листа 3 или даже 3 $^1/_2$), который он обязуется поставить через два месяца, но с условием: выплатить ему немедленно, сейчас, триста рублей.

Очень скоро Достоевский увидел еще одно различие между «Зарей» и «Русским вестником». Но если первое – формат «Зари», вмещавший на единицу печатного листа меньше текста, – было в пользу автора, то второе только бесило: точность и аккуратность ре-

дакции оставляли желать лучшего. Не прошло и трех недель, в течение которых немедленные триста рублей должны были быть давно получены, как Достоевский вынужденно напоминал Страхову об обещании и просил его ускорить присылку денег «хотя бы только пятью или четырьмя днями». Напрасно он ждал, сидя на чемоданах во Флоренции и живя в долг, который рассчитывал отдать из обещанных денег, – они так и не пришли. Страхов же, не сумев достать в редакции гарантированный аванс и получив от Достоевского очередное отчаянное письмо («Я рассчитал день и час моего выезда отсюда... Напишите, пожалуйста, *не медля ни минуты*»), просто прекратил переписку.

Подняться из Флоренции с беременной женой и ее матерью Достоевскому опять помог Катков, выславший семьсот рублей в счет будущего романа; им удалось расплатиться, а также совершить переезд через Венецию, Триест, Вену и Прагу с небольшими остановками и осмотром достопримечательностей («Мы проехали через Венецию, в которой простояли два дня, и Аня только ахала и вскрикивала, смотря на площадь и на дворцы»).

Катковские деньги, равно как деньги, все же присланные из «Зари» с двухмесячным опозданием, кончились уже к сентябрю: как раз к рождению дочери Любы. Тогда-то и начался его дрезденский кошмар с банковскими конторами Хессина и Гирша, с добыванием двух талеров на телеграмму, с проклятыми avis и непостижимым головотяпством «Зари», сотрудники которой не отвечали на письма, деньги если и отправляли, то не так, как надо, и даже не туда и забывали высылать подписчикам очередные номера журнала.

И хотя так случилось, что он все-таки написал для «Зари» первоначально планируемый объем, то есть десять-двенадцать листов[1], и заработал-таки свыше полутора тысяч рублей, но забыть, как пришлось буквально вырывать эти деньги, было невозможно:

[1] Достоевский, видя, что «Вечный муж» разрастается, даже оправдывался: «Старался сократить из всех сил, но не мог»; «*Повесть готова*, но в таком объеме, что это ужас... (Не оттого, что расползлась под пером, а оттого, что сюжет изменился под пером и вошли новые эпизоды.)»

один только «деликатнейший, добрейший и благороднейший Михаил Никифорович» способен был понять систему работы в режиме всегдашнего долга.

Всем своим работодателям, а также их посредникам Достоевский объяснял, повторял, внушал, что может работать только в этом, и никаком другом, режиме. «Так как я всегда нуждаюсь в деньгах чрезвычайно и живу одной только работой, то всегда почти принужден был всю жизнь, везде, где ни работал, брать деньги вперед. Правда, и везде мне давали».

Часто, не имея иных подтверждений, что его ценят в журналах как автора, он мог судить об этом по готовности издателя помочь вперед: «Я Катковым не только доволен, но даже благодарен ему за то, что давал вперед... Они сохраняют меня сотрудником и даже с удовольствием... да и не стали бы присылать деньги *вперед*, если б не так».

«Я, по положению моему, нуждаюсь всегда в деньгах *вперед*, а Катков мне всегда давал вперед», – объяснял он даже племяннице Сонечке.

«Не было редакции, с тех пор как я литературствую, которая отказалась бы мне дать вперед настоящим образом (а не то что когда уже рукопись в руках), – уверял он Майкова, обращаясь с очередной просьбой о посредничестве и дружеском участии. – Да и кому не дается вперед? Мы вели журнал – *всем* давали вперед, да и какие суммы!»

Он просил Страхова не сердиться за выдвигаемые условия. «Это вовсе не торг, – оправдывался он, – это точное и ясное изложение моих обстоятельств, и чем точнее, чем яснее, – тем ведь и лучше в делах». «Этот разговор о деньгах вперед, – вновь объяснял он Страхову, когда история с «Вечным мужем» была позади, шел февраль 1870 года и он сочинял роман в «Русский вестник»[1], – не каприз, не заносчивость и не ломанье самонадеянное с моей стороны... Я всю жизнь работал из-за денег и всю жизнь нуждался ежеминут-

[1] В эти дни Достоевский сообщал Майкову, что будущий его роман – «одна из тех идей, которые имеют несомненный эффект в публике. Вроде «Преступления и наказания», но еще ближе, еще насущнее к действительности и прямо касается самого важного современного вопроса».

но; теперь же более, чем когда-нибудь. К весне должен непременно достать денег; за работу же мою мне всю жизнь и все давали вперед и помногу, даже и иначе никогда не бывало. Да иначе и не может быть, ибо у меня никогда не случается зараз значительной суммы, с которою я бы мог выдержать несколько месяцев и уже потом, выдержав, продавать роман готовый, как делают наши старшие литераторы».

И не для того чтобы как-то смягчить свою, быть может, слишком жесткую позицию, а только в целях полной ясности и определенности Достоевский добавил: «Но при этом скажу Вам прямо, что я никогда не выдумывал сюжета из-за денег, из-за принятой на себя обязанности к сроку написать. Я всегда обязывался и запродавался, когда уже имел в голове тему, которую действительно хотел писать и считал нужным написать».

Очень скоро, продолжая вести переговоры с «Зарей» через Страхова, Достоевский вновь в весьма определенных выражениях повторил свои правила. «Я всегда всю жизнь работал тем, кто давали мне вперед деньги. Так оно всегда случалось и иначе никогда не было. Это худо для меня с экономической точки зрения, но что же делать! Зато я, получая деньги вперед, всегда продавал уже нечто имеющееся, то есть продавался только тогда, когда поэтическая идея уже родилась и по возможности созрела. Я не брал денег вперед за *пустое место*, то есть надеясь к данному сроку *выдумать* и *сочинить* роман. Я думаю, тут есть разница».

Итак, Каткову, которому Достоевский оставался значительно должен и продолжал брать вперед все новые суммы, была назначена и запродана идея злободневного романа. Закончить его нужно было к осени.

Весной 1870 года, когда появились новые предложения от «Зари» (в связи с которыми Достоевский изложил принципы литературной работы в системе долга), он уже слишком глубоко погрузился в выполнение заявленной Каткову идеи. Так что, когда в марте, опять же в письме к Страхову, он выставил свои обычные требования – тысячу рублей вперед, при

этом пятьсот сразу, остальные по сотне ежемесячно, – и когда в апреле он получил из «Зари» первые пятьсот рублей, а потом, хотя и с опозданием, деньги за май, июнь и июль, ему было уже не до «Зари».

Железная необходимость отрабатываться в «Русский вестник» приковывала его к письменному столу и требовала сочинять роман, который он сам назначил для этого журнала, – злободневный, современный, острополитический. («На вещь, которую я теперь пишу в «Русский вестник», я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны», – объяснял Достоевский Страхову, как бы убеждая его, что в случае успешных переговоров с «Зарей» роман в «Русский вестник» не будет мешать грандиозному замыслу «Жития». «То, что я пишу теперь в «Русский вестник», – повторил он вскоре и Майкову, – я кончу месяца через три наверно... Над тем, что пишу в «Русский вестник», я не очень устану; зато в «Зарю» я обещаю вещь хорошую и хочу сделать хорошо».)

Однако художественная необходимость, взорвавшая летом 1870 года построение из пятнадцати печатных листов и изменившая пафос романа, заставила отклонить предложение из «Зари»: приходилось отказываться не только от девяти сотен полученного аванса, но и от дорогой идеи, под которую этот аванс был затребован. («...Я постараюсь возвратить Вам забранные мною у Вас 900 руб. по возможности скорее», – писал Достоевский редактору «Зари» в августе 1870 года, когда понял, что его планы закончить роман для «Русского вестника» в три месяца рухнули.)

Между тем в «Зарю» Достоевский назначал «Житие великого грешника»: из этой книги он намеревался сделать цель всей своей будущей литературной карьеры.

V

СИСТЕМА литературного труда в режиме всегдашнего долга, как оказалось, имела некоторые необратимые последствия: то, что поначалу виделось как отработка,

перемещалось понемногу в центр жизни, а потом захватывало целиком – писание из-за денег становилось сочинительством по страсти и вдохновению. В августовские дни 1870 года, когда Достоевский решил уничтожить уже готовые пятнадцать листов романа в «Русский вестник» и начать все заново, он менее, чем когда-либо, ощущал себя литературным поденщиком. Поэтому только те из его издателей, кто учитывал все возможные издержки, а также и все преимущества подобного режима, рано или поздно пробуждавшего у взыскательного автора истинный огонь творчества, могли рассчитывать, что добьются от него результата. Поэтому же и идеи, которые были не только назначены журналу, но и жестко подчинены режиму отработок, имели шанс на воплощение.

«Неужто откажут? – размышлял Достоевский в связи с переговорами об идее «Жития» для «Зари». – Да и 1000 руб. – не Бог знает какие деньги. Как хотят; этак действуя, всё и всех упустят. Впрочем, их дело». И вот другое переживание: «Бедность-то моя меня съела, а то стал бы я лезть сам с предложениями. И заметьте, только что свяжусь с журналом, сейчас торопят сроком, сейчас бы им к самому раннему сроку! Да я лучше умру, чем теперь себя стесню. Один «Русский вестник» меня не стеснял. Благороднейшие люди!»

Идея «Жития великого грешника», запроданная не торопившейся оплатить ее «Заре» в тот момент, когда с «Зарей» автор находился в свободных отношениях (то есть был свободен от долговых обязательств), а с «Русским вестником» накрепко связан огромным кредитом, – эта идея не имела шансов воплотиться в текст. «Вам небезызвестно, может быть, – жаловался Достоевский Страхову на редактора «Зари» Кашпирева, – что Василий Владимирович *дал мне слово* (о чем и писал с точностию и сам определил числа и сроки) высылать мне ежемесячно, 15-го числа каждого месяца, по 100 руб. Первая подобная высылка определена им самим к 15-му мая... И вот уже 28-е мая, а ровно ничего еще я не получил! Вы не поверите, Николай Николаевич, как расстраивает все мои дела и весь мой

здешний быт – такое отношение к делу... Вы не можете себе представить, как это влияет на мои занятия, не говоря уже ни о чем другом. Я на несколько дней иногда не способен работать».

Для того чтобы величественный замысел «Жития», записанный в сжатом конспекте, был реализован в виде пяти книг по пятнадцати листов каждая[1], для того чтобы сюжет о грешнике стал венцом литературной карьеры автора, как того хотел он сам, ему, автору, нужно было вместе с этим замыслом, сюжетом и героем попасть в капкан безвыходности, в сети железной финансовой необходимости.

В соперничестве двух замыслов – замысла для «Зари» и идеи для «Русского вестника» – предпочтение в конце концов было отдано «Русскому вестнику»: и потому, что работа над романом о Князе А.Б. в момент соглашения с «Зарей» уже шла полным ходом, и потому, что долг Каткову, который усадил его за письменный стол, был много больше.

Роману «Бесы» суждено было появиться на свет еще и по той причине, что его первый издатель точно знал, какие чрезвычайные обстоятельства, какие безысходные ситуации требуются бедствующему литератору Достоевскому, чтобы впрячься в литературную работу, которая так или иначе зажжет в нем божественный огонь.

Ни Страхову, ни тем более Кашпиреву понять это было не дано.

Сам же автор, понуждаемый писать ненавистные ему «постыдные просительные письма» к работодателям и издателям, преследуемый видением долговой ямы, усматривал в системе отработок и жизни в кредит вовсе не благо. Это был злой рок, беспощадность судьбы, горький сиротский удел. Он не мог не сравнивать свои жалкие обстоятельства, свою унылую бедность с

[1] Достоевский мечтал, что «Житие» будет объемом в «Войну и мир» и сложится из пяти больших повестей, объединенных только общим названием, а в остальном – автономных, «так что их можно даже пускать в продажу отдельно». В «Житии» должны были действовать герои выдающиеся. «...Тут же в монастыре посажу Чаадаева (конечно, под другим тоже именем)... К Чаадаеву могут приехать в гости и другие: Белинский, например, Грановский, Пушкин даже. (Ведь у меня же не Чаадаев, я только в роман беру этот тип.)»

теми условиями, в каких работали литераторы его уровня.

«Пусть посмотрят, в каком положении я работаю! – восклицал он, жалуясь Майкову на небрежность сотрудников «Зари». – И после того у меня требуют художественности, чистоты поэзии без напряжения, без угару, и указывают на Тургенева, Гончарова!» Достоевский прекрасно знал, что и Л.Н. Толстой, и Тургенев, и Гончаров куда более удачливы в житейском смысле: обеспечены, не нуждаются в инициативе издателей, не зависят от журнальных гонораров, сами определяют сроки публикации своих вещей и не берут деньги вперед. Его задевало, что работодатели, от которых он находился в материальной зависимости, не стеснялись торопить его, и заявлял: «...редакцию (речь шла о «Заре». – *Л.С.*) я был просил не стеснять меня в работе, которую я хочу сделать начисто, со всем старанием, – так, как делают те господа (то есть великие)».

Он ревниво следил и за теми литераторами, кто, находясь в России, имел возможность прямого и потому более успешного общения с издателями. «По газетам я видел, – замечал Достоевский, – что Лескову, например, он (Кашпирев. – *Л.С.*) выдавал и по 1500 р. вперед. А как, должно быть, выдавалось Писемскому, а для меня нет, даже тогда, когда я прошу уже не вперед, а своего и пишу такие постыдные просительные письма». «Давал же Кашпирев и по полторы тысячи вперед за год Стебницкому. (Да и журнала издавать нельзя, не выдавая вперед, иначе всех писателей упустишь)», – опять волновался он, пересказывая Майкову содержание своих переговоров со Страховым и Кашпиревым.

Существовал, кроме того, еще один, особенно мучительный, пункт в системе его отношений с журналами, которым он был много должен, – то, чего счастливо могли избежать более обеспеченные литераторы. Все романы Тургенева – Достоевский хорошо знал это – печатались в журналах уже после того, как авторская работа была завершена: писатель мог прочесть все подряд, внести необходимую правку, как следует почистить текст, а уже потом отдавать его для печатания в

нескольких журнальных книжках, не беспокоясь за вещь в целом. Об этом, а не о системе кабального долга мечтал и Достоевский, понимая, что мечта недостижима: никогда не удавалось ему собрать разом значительную сумму, с которой можно было бы прожить, не беря в долг, и уже потом, выдержав, «продавать роман готовый, как делают наши старшие литераторы». (Майков, хлопотавший по делам Достоевского с «Вечным мужем», писал: «Повесть Ваша всеми друзьями Вашими ожидается с нетерпением. Я рад, что Вы могли ее просмотреть *конченную*, с пером в руках. Это Вам удается редко»[1].)

Обычно он отдавал вещь по частям и, как правило, в тот момент, когда было готово только начало; так что первая порция печаталась, вторая правилась, последующие существовали лишь вчерне, а то и вовсе в планах или набросках, концовка же представлялась в общем виде или даже только в идее.

Так случилось и на этот раз.

Отослав 7 (19) октября в Москву две главы первой части романа (начатые полтора месяца назад, как только определилось лицо центрального героя) и получив январскую книжку «Русского вестника» за 1871 год, Достоевский попал в двойной капкан: некуда было деться от финансового обязательства отработать долг, и появлялось художественное обязательство пройти до конца романа с тем героем, который уже был заявлен в первой части и которому была посвящена вторая глава, «Принц Гарри», отправленная с первой же порцией текста в редакцию «Русского вестника».

Герой, которому назначались демонические свойства и целый ряд экстраординарных поступков, не мог уже слишком меняться от главы к главе – особенно если учесть, что и жить ему оставалось всего месяц: ровно столько должно было продлиться действие романа, в финале которого «принц Гарри» кончал с собой.

Рискнув выпустить на страницы «Русского вестника» начало романа со Ставрогиным, Достоевский

[1] См.: Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений. В 30-ти тт. Т. 29. Кн. 1. С. 418.

уже не мог отступить от «демонического» замысла – это было бы художественно нечестно.

Система всегдашнего литературного долга, загонявшая Достоевского в режим обязательной отработки, обеспечила зависимость всей работы над «Бесами», длившейся не три месяца, а почти три года, от его августовского решения о «характере Князя». С того момента, когда в Москву ушел пакет с рукописью в пять с половиной печатных листов и с сопроводительным письмом («Я слишком опоздал против обещанного мною срока; приношу от всего сердца извинение»), и особенно с того момента, когда начало первой части «Бесов» вышло в свет, герой-демон стал неотменимым обстоятельством жизни писателя.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Жертвоприношение: ритуал и последствия

I

В ТВОРЧЕСКОЙ истории «Бесов» имел место эпизод, которому – по воле автора – был сообщен как бы сакральный смысл: собственноручно, в полном сознании и трезвой памяти Достоевский сжег рукописи к роману.

Прокомментировала это необыкновенное событие много лет спустя А.Г. Достоевская, которая – если полагаться на ее воспоминания – оказалась не только свидетельницей, но и соучастницей аутодафе: по приговору мужа ей поручалось «разжечь костер»...

«За два дня до отъезда[1] Федор Михайлович призвал меня к себе, вручил несколько толстых пачек исписанной бумаги большого формата и попросил их сжечь. Хоть мы и раньше с ним об этом говорили, но мне так стало жаль рукописей, что я начала умолять мужа позволить мне взять их с собой. Но Федор Михайлович напомнил мне, что на русской границе его, несомненно, будут обыскивать и бумаги от него отберут, а затем они пропадут, как пропали все его бумаги при его аресте в 1849 году. Возможно было предполагать, что до просмотра бумаг нас могут задержать в Вержболове, а это было бы опасно ввиду приближающегося семейного события[2]. Как ни жалко было мне расставаться с рукописями, но пришлось покориться настойчивым доводам Федора Михайловича. Мы растопили камин и сожгли бумаги. Таким образом погиб-

[1] Достоевские, как сообщала далее Анна Григорьевна, выехали из Дрездена вечером 5 июля 1871 года. Значит, сожжение рукописей состоялось 3 июля.

[2] Анна Григорьевна была беременна на последних сроках. Сын Федор родился тринадцать дней спустя после описываемого события, 16 июля 1871 года.

ли рукописи романов «Идиот» и «Вечный муж». Особенно жаль мне было лишиться той части романа «Бесы», которая представляла собою оригинальный вариант этого тенденциозного произведения. Мне удалось отстоять только записные книжки к названным романам и передать моей матери, которая предполагала вернуться в Россию позднею осенью. Взять же с собою целый чемодан с рукописями она не соглашалась: большое количество их могло возбудить подозрение, и бумаги были бы от нее отобраны»[1].

Наверное, мотивы и обстоятельства, по которым приговор «толстым пачкам исписанной бумаги» был приведен в исполнение, самой Анне Григорьевне казались вполне извинительными, а аргументы в пользу приговора – неотразимыми. Ее должна была даже тронуть забота супруга, который опасался, что неприятности, могущие случиться на русской границе, повредят ей и будущему ребенку.

Между тем опасения Достоевского – как связанные с предстоящими родами, так и не связанные с ними – при ближайшем рассмотрении могли вызвать некоторое недоумение.

Прежде всего не совсем оправданной была его ссылка на обстоятельства 1849 года. Тогда его бумаги были отобраны, а затем пропали не из-за переезда через границу, а в связи с арестом: жандармы произвели обыск, предъявив предписание («...Они потребовали все книги и стали рыться; не много нашли, но всё перерыли. Бумаги и письма мои аккуратно связали веревочкой»).

Теперь прямой угрозы ареста не было и не могло быть, и таможенный досмотр никак нельзя было равнять с обыском при аресте, изъятием подозрительных бумаг или запрещенных книг.

Конечно, некоторые основания для волнений у Достоевского все же имелись. Еще летом 1868 года он получил анонимное письмо, из которого узнал, что его подозревают, как он выразился, «черт знает в чем»; что велено вскрывать его письма и ожидать на границе, ко-

[1] А.Г. Достоевская. Воспоминания. С. 219–220.

гда он будет выезжать в Россию, чтобы «нечаянно» и с пристрастием обыскать.

Действительно, секретная инструкция в «Деле об осмотре при возвращении из-за границы отставного поручика Федора Достоевского», заведенном на него в ноябре 1867 года, через полгода после отъезда из России, предписывала большие строгости. Согласно циркуляру, «всем таможенным местам» надлежало «при возвращении из-за границы в Россию отставного поручика Федора Достоевского произвести у него самый тщательный осмотр и если что окажется предосудительное, то таковое немедленно представить в III Отделение собственной его и. в. канцелярии, препроводив в таком случае и самого Достоевского арестованным в это Отделение»[1].

Скорее всего, санкции были связаны с женевскими знакомствами Достоевского – неприятности по этому поводу случились еще в 1862 году, когда он был за границей впервые и когда секретные агенты уличили его, что он «свел там дружбу с изгнанником Герценом и Бакуниным»: тогда «таможенным местам» предложено было «при возвращении его из-за границы осмотреть его бумаги и книги» и «в случае открытия... запрещенных книг, газет или подозрительных писем немедленно отобрать оные и препроводить в III Отделение»[2].

Однако при всей свирепости секретных циркуляров речь в них все-таки шла не о любом грузе, а о грузе предосудительном, по поводу которого инструкция выражалась совершенно определенно: запрещенные книги, газеты, подозрительные (то есть полученные от в чем-либо подозреваемых лиц) письма.

В 1849 году его обыскали жандармы, имея ордер на арест. Теперь его могли арестовать только в том случае, если при нем будет обнаружен предосудительный или подозрительный груз. Могли ли к таковому относиться рукописи уже опубликованных в «Русском вестнике» «Идиота» и «Вечного мужа», а также рукопись публикуемых «Бесов»? Ведь Достоевскому дос-

[1] Литературное наследство. Т. 86. М.: Наука, 1973. С. 598.
[2] Там же. С. 596.

таточно было предъявить на таможне любой из номеров журнала со своим сочинением, чтобы чиновники успокоились насчет пачки исписанных бумаг.

Все-таки упрямая решимость Достоевского сжечь свои рукописи спустя три года после того, как он узнал, что петербургская полиция его в чем-то подозревает, не могла быть связана только со злополучной секретной инструкцией. В деле, заведенном на Достоевского в III Отделении собственной его и. в. канцелярии, вопреки общепринятым представлениям[1] разгадка жертвоприношения не содержалась.

Допустим, Достоевский, стремясь избежать неприятностей и боясь чиновничьей глупости, решился провезти через границу минимум книг и бумаг. Допустим, писатель, уже однажды пострадавший от ареста и каторги, не хотел вновь рисковать и в этой связи не желал, чтобы его рукописи пропали так же, «как пропали все его бумаги при его аресте в 1849 года». Иными словами, он надеялся благополучно пересечь границу и во что бы то ни стало уберечь свои рукописи от конфискации и исчезновения.

Но – у б е р е ч ь, а не с ж е ч ь! Ведь таможня в конце концов могла и пропустить бумаги; во всяком случае, риск потерять их навсегда в случае провоза через границу был значительно меньшим, чем при растопке ими камина.

Да и что это был за выбор для писателя, озабоченного спасением рукописей: лучше пусть сгорят в огне, чем сгинут при таможенном досмотре! Ведь, если посмотреть на вещи здраво, им – рукописям – вовсе не обязательно было превращаться в пепел и каминную золу, чтобы избежать цепких рук свирепых таможенников.

II

В ДЕЛЕ сохранения исписанных бумаг от огня, полицейского произвола и пыльных таможенных скла-

[1] См. публикацию и комментарий Г.В. Коган: «Действительно, в этом небольшом, содержащем всего 5 листов «деле» находится разгадка того, почему Достоевский при возвращении своем в Россию сжег рукописи заграничного периода» (Литературное наследство. Т. 86. С. 599).

дов оставалась масса неиспользованных возможностей. Надо полагать, Достоевский о них догадывался.

В течение трех лет (1868–1870) он регулярно и собственноручно отправлял по почте рукописи своих сочинений малыми порциями; в 1868-м это были главы «Идиота», в 1869-м – «Вечный муж» (рукопись была отослана целиком, почтовые расходы составили 5 талеров), в 1870-м – главы романа «Бесы». Предположить, что Достоевский боялся доверить почте черновые рукописи своих произведений, тогда как он доверял ей оригиналы, переписанные набело всего в одном экземпляре, было бы весьма странно: почта работала исправно, ни один из его пакетов ни разу не затерялся, редакции благополучно и без промедления пускали в дело полученные тексты. К тому же Достоевский во всех тонкостях знал правила международной почты – и по поводу корреспонденций poste restante, и в связи с пересылкой денег через банкирские конторы, и в отношении объемистых бандеролей. Так что если он рискнул отправить в «Зарю» оригинал-беловик «Вечного мужа» объемом в одиннадцать печатных листов за пять талеров, то, заплатив всего лишь на талер-другой больше, таким же манером можно было переслать и оригинал забракованного романа из пятнадцати листов, адресовав его кому-нибудь из знакомых или – еще проще – на свое имя до востребования.

Между тем, получив в конце июня 1871 года долгожданные деньги из «Русского вестника» и приступив к сборам в дорогу, он почему-то даже не подумал о простых и привычных услугах почты.

Допустим, однако, что за предотъездными хлопотами у него не было решительно ни одной свободной минуты, чтобы пойти на почту. Но и в этом случае оставалось много разнообразных способов сохранения рукописей.

Можно было оставить их теще, Анне Николаевне Сниткиной, с просьбой переслать по частям все той же почтой (поскольку, как уверяла Анна Григорьевна, ее мать не соглашалась везти через границу большое количество бумаг).

Можно было попросить о той же услуге шурина, Ивана Григорьевича Сниткина, который находился здесь же, в Дрездене, и готовился к свадьбе. Можно было, в конце концов, оставить рукописи у кого-нибудь из знакомых[1] или отдать за небольшие деньги на хранение в банк.

Наверное, можно было еще придумать что-нибудь – если бы стояла задача сохранить бумаги.

Удивительно, что у Анны Григорьевны, которой, по ее словам, было «жаль рукописей», так что она «начала умолять мужа позволить взять их с собой», не нашлось столь простых доводов в пользу абсолютно доступных способов спасения черновиков. Поразительно и то, что, «отстояв» записные книжки, она не смогла придумать ничего, чтобы спасти оригинальный вариант «Бесов», лишиться которого ей было «особенно жаль».

Несколько раз Анна Григорьевна повторила, как она хотела спасти бумаги, как ей было их жаль: «мне так стало жаль рукописей», «как ни жалко было мне расставаться с рукописями», «особенно жаль мне было лишиться», «мне удалось отстоять». Но она ни разу не упомянула о том, что и ему, Достоевскому, было жаль своих черновиков. Напротив, просить и умолять ей приходилось его, спасать – от него: он же оставался непреклонным, и жене «пришлось покориться настойчивым доводам Федора Михайловича».

III

ПОЧЕМУ он так настойчиво хотел избавиться от бумаг — когда так просто было их сохранить?

Допустим, черновые рукописи «Идиота» и «Вечного мужа», вещей законченных и опубликованных, были ему не нужны в практическом смысле (хотя как литератор-профессионал он отлично понимал, что ру-

[1] «Как ни старались мы уклоняться от знакомств с здешними русскими, которых здесь множество, но не уклонились. Сами собой завелись некоторые. Вообразите, – писал Достоевский племяннице в январе 1871 года, – я новый год должен был встретить на бале у нашего здешнего консула. У Ани тоже несколько знакомств с здешними нашими дамами».

кописи имеют и свою цену, и свою ценность). Но над «Бесами» он продолжал работать; к моменту отъезда из Дрездена была опубликована лишь первая часть романа и приготовлено к печати несколько глав второй части (июльский номер «Русского вестника», вышедший в начале августа, содержал только две главы второй части). Впереди была как минимум еще половина работы, и черновики, в том числе даже и забракованные, весьма могли пригодиться. Ведь писал же он Каширеву о своих неудачах, о том, что отказывается от уже готовых пятнадцати листов, но что часть написанного войдет в новую редакцию. (В письме к Каткову он даже уточнял, какая именно часть будет использована в новом варианте: «Из написанных 15 листов наверно двенадцать войдут в новую редакцию романа».)

И что же? Если в забракованном варианте было хоть немногое из того, что могло пригодиться автору, рискнувшему «высказаться погорячее», то к моменту отъезда он просто еще не имел времени этим воспользоваться: во-первых, объем опубликованных глав первой части составлял не более десяти листов, во-вторых, над главами собственно «тенденциозными», то есть «нечаевскими», предстояло работать сразу по возвращении в Россию.

То есть: оригинальный вариант «Бесов» размером в пятнадцать печатных листов, забракованный по принципиальным соображениям, мог понадобиться для справок уже через неделю-другую после сожжения.

Не этого ли Достоевский и хотел избежать, настойчиво убеждая жену в необходимости избавиться от рукописей под явно неубедительными предлогами?

«Мы растопили камин и сожгли бумаги...»

В контексте двухлетних отношений Достоевского с дрезденским почтамтом и в свете того единственного способа, посредством которого он доставлял работодателям законченную работу, дававшую ему средства к существованию, сожжение рукописей выглядело как некий таинственный ритуал, как обряд принесения искупительной жертвы.

Похоже, однако, что к такому решению жертвователь Достоевский шел долго и думал о нем давно.

Для того чтобы в полной мере осознать утрату, можно еще раз вспомнить, как дорого давались автору выработанные им печатные листы, как насущно нужна была каждая копейка из присланного аванса или гонорара. «Кашпирев, – в очередной раз жаловался он Майкову, – выслав мне, месяц назад, 400 руб., прибавил, что будет еще остаточек, примерно от 50 до 100 руб. Но до сих пор не высылает. Если этот остаточек есть, то намекните ему, *ради Христа*, дорогой Аполлон Николаевич, чтоб выслал. Для меня 50 руб. слишком, слишком дороги». Стоит заметить, что это писал не литературный скряга, у которого на учете каждая строка и каждая страница: совокупный объем только что забракованного им текста едва ли не превышал итоговых размеров романа.

Творческий календарь работы над романом в «Русский вестник» отчетливо свидетельствовал о характере приговора, который был приведен в исполнение 3 июля 1871 года, но был объявлен задолго до дня жертвоприношения.

Февраль 1870-го. «Никогда я не работал с таким наслаждением и с такою легкостию».

Март 1870-го. «Меня увлекает накопившееся в уме и в сердце; пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь. Надеюсь на успех».

Май 1870-го. «В том, что я пишу теперь в «Русский вестник», еще труднее задача. Я комкаю листов в 25 то, что должно бы было, по крайней мере, занять 50 листов, – комкаю, чтоб кончить к сроку, и никак не могу сделать иначе».

Конец мая 1870-го. «Пишу в «Русский вестник» с большим жаром и совершенно не могу угадать – что выйдет из этого? Никогда еще я не брал на себя подобной темы и в таком роде».

Июль 1870-го. «Очень боюсь, что они просто не захотят печатать роман мой. Я настоятельно объявлю, что вычеркивать и переправлять не могу. Начал я этот роман, соблазнил он меня, а теперь я раскаялся».

В августе 1870 года, когда прояснилась «слабая точка всего написанного», он объявил этому «всему» самый суровый приговор.

«Я увидел, что не могу писать, и хотел изорвать роман».

«Теперь я решил окончательно: всё написанное уничтожить, роман переделать радикально».

«Всё надо было изменить радикально; не думая нимало, я перечеркнул всё написанное (листов до 15 вообще говоря) и принялся вновь с 1-й страницы. Вся работа всего года уничтожена».

«Я два раза переменял план (не мысль, а план) и два раза садился за перекройку и переделку сначала».

«Вдруг полюбил вещь, схватился за нее обеими руками, – давай черкать написанное».

«Весь год я только рвал и переиначивал».

«Я раз *двадцать* (если не больше) ее (первую часть романа. – *Л.С.*) переделывал и переписывал».

«Запоздал с романом. Туго идет у меня. Бьюсь, рву написанное и переделываю вновь».

«Аня, милый мой голубчик, не переписывай то, что вчера стенографировали; я решился совсем это уничтожить».

Слишком часто в течение года Достоевский произносил или записывал опасные слова: «решил уничтожить», «уничтожена», «уничтожить совсем». С этим романом происходило то, чего никогда прежде не было: то автор останавливал работу с начала и писал с конца, то рвал и переиначивал, то боялся перечитывать написанное, то влезал в работу до такой степени, что терял даже «систему для справок с записанным».

«Есть, разумеется, в нем кое-что, что тянет меня писать его», – признавался Достоевский Майкову в октябре 1870 года, сразу как была отослана первая порция «Бесов» в Москву; он не скрывал, что все муки и кошмары адской работы по перекройке, переделке, переписыванию и уничтожению сделанной работы связаны с новым героем.

«Новый герой до того пленил меня, что я опять принялся за переделку».

Новый герой до того пленил автора, что немедленно потребовал от него жертв.

И если посмотреть на творческий кризис лета 1870 года как со стороны жертвоприношения, так и со стороны жертвополучения, взаимосвязь автора, уничтожавшего готовое сочинение ради нового героя, и героя, потребовавшего от автора тяжелейших жертв, будет казаться и в самом деле фантастической.

IV

ПРОБЛЕМА заключалась не только в том, что новый, н а с т о я щ и й герой, выйдя на первые роли, потребовал больше внимания и романной территории. Он стал влиять на творческий процесс в масштабе, так сказать, глобальном, в течение полугода изменив позицию автора по центральному и злободневному вопросу.

Конец марта 1870 года. Достоевский – Страхову: «Вы слишком, слишком мягки. Для них (нигилистов. – *Л.С.*) надо писать с плетью в руке. Во многих случаях Вы для них слишком умны. Если б Вы на них поазартнее и *погрубее* нападали – было бы лучше. Нигилисты и западники требуют окончательной плети».

Начало октября 1870 года. Достоевский – Каткову: «Без сомнения, небесполезно выставить такого человека (Верховенского-Нечаева. – *Л.С.*); но он один не соблазнил бы меня. По-моему, эти жалкие уродства не стоят литературы».

Новый герой, овладев творческим воображением автора, то и дело преподносил сюрпризы: «К собственному моему удивлению, это лицо (Петр Верховенский. – *Л.С.*) наполовину выходит у меня лицом комическим».

Новый герой, подчиняя своему влиянию автора, менял систему отношений в романе: «Несмотря на то, что всё это происшествие (убийство Нечаевым студента Иванова. – *Л.С.*) занимает один из первых планов романа, оно, тем не менее, – только аксессуар и обстановка действий другого лица, которое действительно могло бы назваться главным лицом романа».

Новый герой, заставив автора буквально пересоздать роман, в конце концов легко добился расширения жизненного пространства для себя, ущемив интересы других: «Прежний герой (лицо любопытное, но действительно не стоящее имени героя) стал на второй план» – речь шла, разумеется, о Петре Верховенском.

Если судить даже только по внешней, а главное – документально засвидетельствованной автором стороне его экстраординарного союза с новым героем, не касаясь пока иных, не столь очевидных последствий, можно констатировать: оригинальный вариант «Бесов», рукопись которого сгорела в камине летом 1871 года, был обречен автором на уничтожение еще летом 1870-го.

Новый герой потребовал, чтобы ему принесли в жертву первый вариант романа как бы метафизически. Автор, пойдя на такую жертву, довел акт жертвоприношения до ритуала и уничтожил неугодную версию романа физически.

Достоевский м о г, н о н е з а х о т е л с о х р а н и т ь рукопись первого варианта «Бесов». Вернее даже сказать – не мог ее сохранить, ибо не хотел везти ее с собой в Россию. И, судя по тому, что вместе с рукописью «Бесов» огню предназначались и другие рукописи тоже, ничего о своих переживаниях Анне Григорьевне он не сказал; скорее всего, если бы она умоляла мужа спасти оригинал «Бесов», а не записные книжки (которые благополучно избежали жертвенной участи), он бы ей в ее мольбе отказал. Только потому, что страсти по герою стали сокровенным переживанием автора, огню были преданы и не относящиеся к делу, «невинно пострадавшие» рукописи «Идиота» и «Вечного мужа»; иначе сожжение одних только «Бесов» действительно могло бы даже и напугать ничего не подозревавшую наперсницу аутодафе.

«Ничего, кроме этого, – сетовал Достоевский, имея в виду работу над первым вариантом «Бесов», – и написать не могу в настоящую минуту, находясь вне России».

Он, видимо, имел весьма серьезные основания

сжечь то, что было сделано вне России и что по этой причине его крайне не устраивало. Решение же уничтожить отвергнутую работу именно в канун отъезда, а не, допустим, месяцами раньше, придавало ритуалу дополнительный смысл: добровольная жертва должна была задобрить не только того, кому она в первую очередь была принесена, но и тех, кого он, автор, якобы действительно боялся, – жандармов и чиновников таможни в Вержболове.

Простодушный рассказ Анны Григорьевны о моменте пересечения семейством Достоевских российской границы подтверждал, что и для простых житейских целей жертва была ненапрасной.

«Как мы предполагали, так и случилось: на границе у нас перерыли все чемоданы и мешки, а бумаги и пачку книг отложили в сторону. Всех уже выпустили из ревизионного зала, а мы трое оставались, да еще кучка чиновников, столпившихся около стола и разглядывавших отобранные книги и тонкую пачку рукописи. Мы стали беспокоиться, не пришлось бы нам опоздать к отходящему в Петербург поезду, как наша Любочка выручила нас из беды, – бедняжка успела проголодаться и принялась так голосисто кричать: «Мама, дай булочки», что чиновникам скоро надоели ее крики и они решили нас отпустить с миром, возвратив без всяких замечаний и книги и рукопись»[1].

Интересно, правда, что уж такого страшного могли причинить бдительные чиновники рукописи, которая публиковалась в столичном «толстом» журнале проправительственного толка.

V

Очень скоро стало понятно, что искупительная жертва – каким бы богам или демонам она ни предназначалась – была им угодна: высшие силы, или силы судьбы, смогли оценить ее по достоинству.

В те самые дни начала июля 1871 года, когда в Дрездене романист Достоевский, готовясь к отъезду в

[1] А.Г. Достоевская. Воспоминания. С. 220.

Россию, решался уничтожить оригинальную версию романа, в центре которого было знаменитое московское убийство, в Петербурге, в Судебной палате, начиналось слушание первого гласного политического процесса восьмидесяти четырех сподвижников убийцы, С.Г. Нечаева, – при отсутствии его самого, бежавшего сразу после преступления, в ноябре 1869 года, за границу.

К тому моменту, когда Достоевский прибыл в Петербург (8 июля), процесс продолжался уже ровно неделю. И так случилось, что на второй день по приезде, едва только Достоевские переселились из гостиницы в меблированные комнаты и зажили оседлой жизнью, вышел в свет «Правительственный вестник», где был опубликован нечаевский «Катехизис революционера».

Такой сюрприз судьбы Достоевский мог расценить еще и как особый знак: вместо сочиненного, придуманного вне России, азартного, горячего памфлета, написанного, очевидно, «с плетью в руке» и сожженного в Дрездене, он получал документ, опубликованный в России, в русском правительственном издании и перепечатываемый всеми отечественными газетами.

Достоевский убеждался, что был прав, стремясь во что бы то ни стало вернуться в Россию: чтобы написать «Бесы» – роман о «самом важном современном вопросе», нужно было не только родиться в России, нужно было в России жить.

Дело «об обнаруженном в различных местах империи заговоре, направленном к ниспровержению установленного в государстве правительства», слушаемое в особом присутствии петербургской Судебной палаты, дало замыслу Достоевского дополнительный свет: да, действительно, может быть, «эти жалкие уродства» и не стоили литературы, но они, во всяком случае, стоили судебного процесса и официального документа.

В те дни, когда стенографические отчеты процесса, проходившего при открытых дверях, ежедневно публиковались («Московские ведомости», «С.-Петербургские ведомости», «Биржевые ведомости», а также

3*—2953

раздел «Судебные известия» в «Правительственном вестнике»), когда событие это повсеместно обсуждалось и перетолковывалось, Достоевскому, по-видимому, трудно было и вообразить, что он по-прежнему мог оставаться вне России. Он должен был почувствовать, что приехал в Россию вовремя: в июльские дни 1871 года у него была физическая возможность увидеть в судебном заседании многих прототипов своих романных персонажей. И если бы он только смог присутствовать хотя бы на одном заседании, он бы присмотрелся поближе к «жалким уродствам» – соучастникам нечаевского преступления.

Но – по всей вероятности – Достоевский на процессе не был.

По приезде в Петербург жизнь была расписана по часам и минутам. «В Петербурге бросились искать квартиры... Потом толпой посетили нас родные и знакомые – выспаться было некогда, и вдруг с 15-го на 16 июля Анна Григорьевна почувствовала муки. 16-го в пятницу в 6 часов утра Бог даровал мне сына Федора... Таким образом, работать не мог... Сажусь теперь за работу, тогда как в голове туман, и несомненно жду припадка. Измучился... У нас хаос, прислуга скверная, я на побегушках».

15 июля 1871 года Судебная палата вынесла приговор по делу нечаевцев – соисполнители убийства были присуждены к каторжным работам на разные сроки. 18 июля – этим числом датировалось письмо к племяннице Сонечке с сообщением о приезде в Петербург и рождении сына – Достоевский приступил к продолжению «Бесов».

VI

ПОСЛЕДНЯЯ перед возвращением в Россию черновая запись, с датой 13 мая 1871 года, имела авторский заголовок: «У ВИРГИНСКОГО. *Принципы Нечаева*» – и прямо касалась программы нечаевской «Народной расправы» – ее революционного пафоса, идеологии и организационной структуры.

Разумеется, к тому времени Достоевский знал о Нечаеве, его организации и криминальной стороне московского убийства достаточно много. Об источниках информации автор «Бесов», высылая в редакцию «Русского вестника» начало романа, высказался с полной определенностью: «Спешу оговориться: ни Нечаева, ни Иванова, ни обстоятельств того убийства я не знал и совсем не знаю, кроме как из газет». Знаменательно, что Достоевский добавил: «Да если б и знал, то не стал бы копировать».

Но он действительно не знал, кроме как из газет, пропагандистских документов женевской эмиграции. Ни в 1869 году, ни позже он, скорее всего, не читал и не видел изданных в Женеве прокламаций, а также обоих номеров «Народной расправы». Из «Московских ведомостей», регулярно знакомивших читателей с подробностями нечаевского дела, мог узнать Достоевский и о самой подпольной организации, и о ее эмблеме в виде топора, и о личности руководителя.

Можно предположить, что после многократного обращения к нечаевской истории через посредников (русские[1], а также немецкие газеты 1869–1871 годов) автор «Бесов» летом 1871 года впервые столкнулся с первоисточниками – в виде материалов процесса. Впервые Достоевский смог прочесть «Катехизис революционера» полностью, а не в цитатном изложении «Голоса» или «Московских ведомостей», возмущавшихся бежавшим в Швейцарию Нечаевым.

С осмысления первоисточника-документа и его художественной интерпретации и начал Достоевский работу над «Бесами» уже в России. Скорее всего, он, не датируя, продолжил майскую программу «У ВИРГИНСКОГО. *Принципы Нечаева*», озаглавив ее как бы второй раздел по аналогии: «О ТОМ, ЧЕГО ХОТЕЛ НЕЧАЕВ. От писателя».

Принято считать, что обе программы – датиро-

[1] В письме к Майкову от 25 марта 1870 года Достоевский сообщал: «...*ежедневно* (!) прочитываю *три* русские газеты до последней строчки и получаю два журнала». Как известно из других источников, за границей Достоевский регулярно читал «Московские ведомости», «Голос», «С.-Петербургские ведомости», а также «Зарю» и «Русский вестник».

ванная майская и (предположительно) июльская – мало чем отличаются друг от друга. Между тем ко времени, которым гипотетически мог датироваться черновой проект с названием «О ТОМ, ЧЕГО ХОТЕЛ НЕЧАЕВ», Достоевский уже работал над «Бесами» полтора года: первая часть и две главы второй части были опубликованы, продумано продолжение и окончание романа, а также получены первые отзывы – анонимные из петербургских газет, дружеские – от Страхова, Майкова, профессора русской словесности П.А. Висковатова. Казалось бы, рисунок взаимоотношений центральных персонажей романа, соперничавших в первом (забракованном) варианте «Бесов», уже давно должен был быть прочерчен.

Однако автор, записывая в июле (?) еще одну программу по Нечаеву и замечая, какие именно пункты этой программы следует подать «от писателя», впервые за полтора года подвел итог: «NB) Итак, *всё в лице Нечаева.* ...Важнейшее поэтому для романа – отношения Нечаева и Князя».

Но что же было до июльского (?) плана? Ведь и тот и другой персонажи были выведены на сцену и публично сосуществовали в романном пространстве с 23 января 1871 года.

До памятного августа 1870 года, когда в порыве внезапного вдохновения Достоевский перечеркнул все написанное, его интересовала как бы только одна часть проблемы: отношение Князя к Нечаеву (то есть Ставрогина к Петру Верховенскому). Решив (еще в феврале 1870-го), что Нечаев – это отчасти Петрашевский и что ему, автору, нужно «придерживаться более типа Петрашевского», Достоевский разрабатывал мотив искренней увлеченности Князя идеями Нечаева.

«Князь сходится с Нечаевым и толкует с ним о возрождении».

«Ищет укрепиться в убеждениях у Шатова и у Голубова. Ищет и у Нечаева».

«Именно льнет потому к Нечаеву, что видит силу убеждений».

«С удивлением и любопытством приглядывается

Страница из черновой тетради Ф.М. Достоевского с заметками к «Бесам»

к Нечаеву и прислушивается – желая угадать наконец: на чем это люди так твердо могут стоять?»

Ближе к августу, когда роль Князя уже определилась и он стал «обворожителен, как демон», приоткрылась и вторая сторона проблемы: отношение Нечаева к Князю. На этом этапе оно было сформулировано в духе общего авторского намерения: «Князь обворожил и Нечаева».

Видимо, этой формулы Достоевскому было достаточно, чтобы в русле общих представлений о коллизии между супергероем и экс-героем начать роман. Ведь новое погружение в сюжетную линию Ставрогин – Верховенский произошло только в ноябре, месяц спустя после того, как в Москву было отослано начало и героям предстояло пуститься в самостоятельное плавание. Обдумывая в те дни продолжение романа, автор записал: «NB) Князь – *друг* Нечаева. Тот, впрочем, ему не доверяет всех тайн, хотя очень с ним откровенен, страшно его уважает, знает, что Князь не донесет, и почти готов (и желает) открыть ему все тайны, а останавливается каждый раз (и так до конца) потому, что есть что-то постоянно его удерживающее и внушающее ему убеждение окончательное, что Князь все-таки *не тот человек*. Хотя, впрочем, Князь и угадывает почти все тайны и замыслы Нечаева на деле, и тот знает, что тот угадывает, и даже с ним советуется о многом».

Спустя месяц, в конце декабря 1870-го, в черновых записях появилось еще одно замечание с авторской пометой «ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ»: «Князя с Нечаевым связывают взаимность тайн случайная. Но Нечаев многое от него скрывает (хотя колеблется открыть, видя громадное лицо). Он изучает его».

Чувствуя, быть может, что «взаимность тайн случайная» как-то слишком туманно изображает обоих героев и что-то в их «дружбе» явно ускользает от него, Достоевский хотел помочь себе «технически»: «*Главное – особый тон рассказа, и всё спасено*. Тон в том, что Нечаева и Князя не разъяснять».

Позже, когда принцип «дружбы» Нечаева и Кня-

зя стал понятен Достоевскому до кристальной ясности, он много раз срывался со спасительного «особого тона» – просто потому, что не нужно было больше спасать «всё» от изъянов незавершенной интриги. Настал момент, когда туман рассеялся и «взаимность тайн случайная» обрела осязаемые черты.

VII

Достоевский не мог даже предположить, собираясь в конце июня 1871 года в отъезд, что дома, в России, в Петербурге, прямо как по заказу, откроется судебный процесс над прототипами его персонажей. Но уже снова испытывал он ощущение мучительного тупика, бега на месте или впотьмах, пробовал якобы спасительные, но все-таки не двигающие дело приемы рассказа, пытался наполнить роман дымкой таинственных умолчаний. Вряд ли он кокетничал, когда писал Майкову: «Боюсь, как испуганная мышь» – или Страхову: «Мочи нет, как туго пишется. Надо в Россию... Во что бы ни стало, а надобно воротиться». И мало что могло оказаться ему так кстати, мало что могло явиться столь дорогим подарком к его приезду и так необыкновенно помочь роману, как публикация среди материалов процесса «Катехизиса революционера» – документа, составленного и изданного Нечаевым – реальным, а не романным.

Все предшествующие, заграничные записи Достоевского об отношениях Нечаева и Князя, а особенно об отношении Нечаева к Князю, неопровержимо свидетельствуют, что впервые Достоевский прочел «Катехизис», когда вернулся в Россию.

Программа «О ТОМ, ЧЕГО ХОТЕЛ НЕЧАЕВ», лишь предположительно датируемая июлем 1871 года – на тех зыбких основаниях, что она мало чем отличается от программы майской, – содержала свежие следы только что происшедшего знакомства с умопотрясающим первоисточником: кажется, будто немедленно по прочтении документа автор переносил его волнующую тайну прямо в сюжет и она, эта тайна, ста-

новилась основной и наконец обретенной пружиной интриги.

Летом 1871 года, в Петербурге, Достоевский читал «Правительственный вестник» (№ 162), где был опубликован «Катехизис»; внимание автора «Бесов» особенно должен был привлечь раздел «Отношение революционера к обществу».

«§ 14. С целью беспощадного разрушения революционер может и даже часто должен жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть. Революционер должен проникнуть всюду, во все низшие и средние сословия, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократический, военный, в литературу, в III Отделение и даже в Зимний дворец.

§ 15. Все это поганое общество должно быть раздроблено на несколько категорий...

§ 18. К третьей категории принадлежит множество высокопоставленных скотов или личностей, не отличающихся ни особенным умом, ни энергией, но пользующихся по положению богатством, связями, влиянием, силой. Надо их эксплуатировать всевозможными манерами, путями; опутать их, сбить с толку и, овладев, по возможности, их грязными тайнами, сделать их своими рабами. Их власть, влияние, связи, богатство и сила сделаются, таким образом, неистощимою сокровищницею и сильной помощью для разных предприятий.

§ 19. Четвертая категория состоит из государственных честолюбцев и либералов с разными оттенками. С ними можно конспирировать по их программам, делая вид, что слепо следуешь за ними, а между тем прибирать их в руки, овладеть всеми их тайнами, скомпрометировать их донельзя, так чтобы возврат для них был невозможен, и их руками мутить государство».

Очевидно: отношения Нечаева и Князя окончательно определились в романе после того, как был прочитан и проштудирован «Катехизис». И надо думать, тогда же, в конце июля 1871 года, в программе «О ТОМ, ЧЕГО ХОТЕЛ НЕЧАЕВ» Достоевский записал тезисы, которые можно было бы назвать конспектом

«Катехизиса»: «Нечаев сильно осматривает, экзаменует и сортирует людей. Часть его деятельности в романе».

«Взаимность тайн случайная», которая определяла романную интригу еще совсем недавно, утратила свое случайное качество; сюжет резко криминализировался; герой-заговорщик готовился к охоте на соратников, собирал на них компромат и расставлял капканы; легальная «дружба» Нечаева и Князя накапливала яд подпольной ненависти; под личиной благопристойного приятельствования таилась смертельно опасная угроза.

Решающее значение приобретал фактор тактики: впервые о специфической тактике Нечаева по отношению к Князю Достоевский задумался в июльской программе.

«Тактика с Князем: слишком наивно это ему проговаривается. Князь ему: «Вы уж и меня не хотите ли напугать?» Нечаев ему: «Да ведь вы уж и так...»

– Напуган? – спрашивает Князь.

– О нет; я хочу сказать, что вы уж и так с нами.

– Вы знаете, я ничем не связал себя.

– Да, но по мысли, по мысли...

NB. (Нечаев про себя: „Нет, врешь, ты не смеешь сказать, ты связал себя и ты мною связан".)»

Сценарий циничной эксплуатации Князя и втягивания его в производство заговора был расписан в июльской программе согласно основным параграфам «Катехизиса» и даже в близком стилистическом ключе: «опутать», «сбить с толку», «овладеть тайнами», «сделать рабами». Именно сейчас, после знакомства с «Катехизисом», было найдено политическое применение «обворожительному демону»: демонизм Князя и его магическое влияние на «ближний круг» должны были быть использованы для успеха революционного дела. Отношение Нечаева к Князю складывалось в соответствии с параграфами 18 и 19, а сам Князь в свете регламента «Катехизиса» представал чем-то средним между высокопоставленным скотом и государственным честолюбцем.

«Нечаев с самого начала, еще с Швейцарии, поражен Князем и даже влюбился в его ум и характер (вот бы, дескать, человек для дела). Князь всех обольщает, и это нравится Нечаеву. Он поражен его убеждениями и способностью к злодеянию. Некоторое время даже подозревает: не действует ли он как начальник заговора *своего*. Как можно давать такому человеку не действовать, сидеть сложа руки. И потому всё время он близко с Князем, его анализирует и *изучает*, открывает ему даже по капельке. Наконец – о радость! – он подвел так, что Князь компрометирует себя... Нечаев открывает ему весь предыдущий план. Князь выслушал с страшным вниманием, но не проговорился и ничего не сказал, когда Нечаев объявил, что он его ставит своим преемником, а напротив, пошел к Шатову уведомить. Тогда Нечаева вдруг поражает сомнение и он решается убить Князя – но не успевает и бежит...»

Последний пункт, в котором фантазии на темы «Катехизиса» явно выходили за пределы самых дерзких намерений программы («бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих»), стал прологом к центральной главе «Бесов» – «Иван-Царевич» – кульминации мистического поединка героя-беса Нечаева и героя-демона Князя.

Всю осень Достоевский работал над продолжением романа: уже в сентябре установился порядок глав второй части – ударными должны были стать главы о Петре Верховенском и его подпольном кружке.

7 ноября 1871 года вышла октябрьская книжка «Русского вестника» с главой «Петр Степанович в хлопотах».

10 декабря появился ноябрьский номер журнала с главами «У наших» и «Иван-Царевич». И хотя в этот же день Достоевский получил вызов из Коммерческого суда по иску[1] некой г-жи Гинтерлах «О понуждении Федора и Эмилии Достоевских к платежу по протестованному векселю 500 руб. сер. с процентами со дня просрочки векселя» (чего он и опасался, возвращаясь в

[1] См.: Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. В 3-х тт. 1821 – 1881. СПб.: Академический проект, 1993–1995. Т. 2. С. 303.

Россию из безопасной и свободной от отечественных кредиторов заграницы), его присутствие в отечестве, дома, было более чем вознаграждено. Многострадальный роман, пополнившись энергией возвращения на родину, получил могучий импульс в виде текущей минуты и злобы дня. Самое замечательное, что мог сделать автор «Бесов» для своего демонического героя (сверх того, что уже было сделано для него), он сделал в России. Под непосредственным впечатлением судебного процесса над нечаевцами и благодаря его богатейшим документальным свидетельствам Достоевский «натравил» политического маньяка Петрушу на демона-аристократа Князя А.Б., обеспечив им смертельную схватку.

Последним штрихом биографического сюжета о жертвоприношении и жертвах, столь виртуозно разыгранного в творческой биографии романа, оказался, вероятно, маленький эпизод, немного скрасивший супругам Достоевским их полное лишений заграничное житье, а также хлопотливое лето и напряженную осень 1871 года.

Спустя десятилетия А.Г. Достоевская вспоминала об этом эпизоде с удовольствием: «Приятным сюрпризом для меня оказалась большая плетеная корзина с бумагами, хранившаяся у одних моих родственников. Рассматривая ее содержимое, я нашла несколько записных книжек Федора Михайловича, относящихся к роману «Преступление и наказание» и мелким повестям, несколько книг по ведению журналов «Время» и «Эпоха», доставшихся от умершего брата, Михаила Михайловича, и много самой разнообразной корреспонденции. Эти бумаги и документы были очень полезны в дальнейшей нашей жизни, когда приходилось доказывать или опровергать какие-либо факты из жизни Федора Михайловича»[1].

[1] А.Г. Достоевская. Воспоминания. С. 228.

ГЛАВА ПЯТАЯ

По следу пропущенного юбилея

I

Вряд ли теперь возможно будет установить, как прошел день пятидесятилетия Достоевского, 30 октября 1871 года. Архивы не сохранили писем или телеграмм с поздравлениями, летописи и жизнеописания – каких-либо иных, хотя бы косвенных свидетельств (в виде, скажем, пригласительных записок или мемуарных впечатлений побывавших на юбилее гостей) о том, что празднование дня рождения вообще имело место. Неизвестно даже, вспомнил ли о нем сам юбиляр, а также его жена, посвятившая, кстати сказать, в «Воспоминаниях» довольно много места осени 1871 года – главным образом, однако, своей самоотверженной борьбе с петербургскими кредиторами.

Никаких следов, что периодическая печать интересующего нас времени заметила и как-то откликнулась на круглую дату, обнаружить, к сожалению, тоже не удалось.

Накануне дня рождения Достоевский был всецело погружен в неотложные семейные и литературные дела; петербургская жизнь постепенно налаживалась; он уже не чувствовал себя новоселом в своей квартире и пребывал в относительном здоровье. За текущими хлопотами он, скорее всего, не вспомнил, что 1871 год – юбилейный и в другом значении: двадцать пять лет назад в составе «Петербургского сборника» были опубликованы «Бедные люди», его первое сочинение.

В свои пятьдесят лет (если только Достоевский заметил, что ему исполнилось полвека) он жил в России, в Петербурге, находился в статусе степенного отца семейства и русского писателя, уже двадцать пять лет занимающегося профессиональным литературным

трудом, то есть добывающего средства на пропитание семьи своими литературными сочинениями.

В сущности, только о таком поприще он и мечтал всегда, с самой молодости.

За два дня до юбилейной даты, но, несомненно, без всякой видимой связи с ней газета «Голос» опубликовала отклик на «продолжающийся» роман «Бесы», заметив с некоторой осторожностью, что он «является одним из капитальнейших явлений русской литературы за нынешний год»[1].

Вернувшись в Россию на деньги из гонорара за первую часть «Бесов», Достоевский не мог не чувствовать, что этот роман, написанный пока только наполовину, уже начинает ему помогать в практическом, житейском смысле.

С «Бесами» каким-то непостижимым образом было связано исполнение самых несбыточных желаний при отсутствии каких-либо очевидных чудес нечто случайно или невзначай высказанное – как просьба, обращенная в никуда, – рано или поздно сбывалось будто по писаному.

Вряд ли Достоевский имел намерение заглянуть в свое ближайшее и тем более отдаленное будущее, когда в августе 1870 года, в дни радикальной переделки «Бесов», писал племяннице Сонечке, как бы мечтая вслух: «Верите ли, я знаю наверно, что будь у меня обеспечено два-три года для этого романа, как у Тургенева, Гончарова или Толстого, и я написал бы такую вещь, о которой 100 лет спустя говорили бы!»

На тот момент, обещав Каткову роман (начальные главы) к январскому номеру будущего года, Достоевский мог рассчитывать в лучшем случае на месяцы работы, но никак не на годы. Он даже определил свой вынужденный минимум: «Заранее знаю: я буду писать роман месяцев 8 или 9, скомкаю и испорчу». И добавил: «Такую вещь нельзя иначе писать как два-три года».

Но даже в самых светлых своих снах он вряд ли мог увидеть, что работа над «Бесами» и в самом деле

[1] Голос. 1871. № 298. 28 октября.

растянется на максимум запрашиваемого срока, что его ревнивое к благополучным литераторам восклицание будет услышано и судьба подарит ему для писания романа как раз три года.

Конечно, когда Достоевский писал: «...будь у меня обеспечено два-три года...» – он имел в виду денежное обеспечение, независимое от литературных заработков, – или наследство, или доходы от имения, или, допустим, приданое жены.

Однако доходный дом в Петербурге, назначенный Анне Григорьевне в приданое, так и не достался ей, а пошел с торгов за неуплату мошенником управляющим казенных недоимок.

Ни доходов с имения, ни самого имения Достоевский давно не имел; деньги же в счет своей доли с отцовского Дарового получил еще в первой молодости.

Что же касается спорного наследства любимой тетки, А.Ф. Куманиной, недостоверные слухи о котором дошли в Дрезден в 1869 году, то, даже не зная еще всех тонкостей дела, Достоевский тем не менее писал: «Кто же бы я был и за кого бы сам считал себя, по совести, чтоб идти против воли и распоряжения тетки собственными своими деньгами, какова бы в сущности ни была эта воля и это распоряжение?»

Настоящего, прочного обеспечения ждать ниоткуда не приходилось; приступая к «Бесам», Достоевский как нуждающийся автор не мог и мечтать о четырехстах рублях за лист – гонораре, который «Русский вестник» платил Тургеневу. «Необеспеченный Достоевский должен был *сам предлагать* свой труд журналам, а так как предлагающий всегда теряет, то в тех же журналах он получал значительно меньше»[1], – с превеликой обидой вспоминала Анна Григорьевна.

Так что силы судьбы, подслушавшие горькое восклицание автора об условиях, необходимых для писания «Бесов», услышали и поняли его на свой лад: они обеспечили, чтобы искомые три года у писателя так или иначе составились. Они, эти силы, не стали входить в подробности писательского быта и не стали ме-

[1] А.Г. Достоевская. Воспоминания. С. 235.

нять сложившихся у протежируемого автора привычек: ведь, строго говоря, Достоевский просил не времени, а денег.

Получив же у глухого к деньгам провидения три года для «Бесов», он уже сам обеспечил своему сочинению вышеупомянутые «сто лет спустя».

Кажется, что, ступив на тропу этого романа, на его первую ступеньку, автор завел некий таинственный механизм: безнадежные обстоятельства и запущенные дела стали оживать и выправляться – будто схваченное сильной рукой звено поддалось, вошло в сцепление с остальными и вытащило всю цепь.

«Я знаю, что я Вам должен очень много, – писал Достоевский своему издателю в день отправки первых глав. – Но на этом романе я сквитаюсь с редакцией».

«На этом романе» его жизнь подчинилась железной необходимости работать по жесткому и неотменимому графику. Торопясь к условленному сроку, автор изготовил и выпустил в свет начало романа. Обнародованное и получившее отклики, оно требовало такого продолжения, которое писать вне России было рискованно. Но оно же и принесло деньги для отъезда в Россию. Россия преподнесла автору сюрприз в виде судебного процесса, имевшего отношение к прототипам героев романа. Судебный процесс дал первоклассный материал для ключевых глав.

Только в России Достоевский увидел, что его роман состоялся.

II

НЕСОМНЕННО: одним из важнейших звеньев в цепи тяжких жизненных обстоятельств автора «Бесов» была рулетка.

«На этом романе» он смог с ней расстаться.

«Есть несчастия, которые сами в себе носят и наказание», – писал Достоевский Анне Григорьевне, когда в очередной раз уехал из Дрездена в Висбаден пытать счастья. Шел апрель 1871 года, он чувствовал, как туго, вяло идет работа. Была закончена только первая

часть; впереди был непочатый край дел, долгов, обязательств. Накануне он жаловался Майкову: «В настоящую минуту решительно раздавлен работой. Просрочил – не по лени, а потому, что ничего не пишется. Только раздражение нервов и му́ка. Надо в Россию, а здесь раздавила тоска». «Не пишется, Николай Николаевич, – писал он и Страхову, – или пишется с ужасным мучением. Что это значит – я понять не могу. Думаю только, что это – потребность России во что бы то ни стало. Надо воротиться». «В хлопотах теперь я страшных. Работаю день и ночь, а пишется мало и в «Русский вестник» опаздываю, – рассказывал он своей третьей постоянной корреспондентке, Сонечке. – А между тем на них только и надежда. Они выслали мне уже 1700 руб. и обещают к июню еще тысячу. Вот на эту-то тысячу я и ворочусь. Каково же я должен работать? А между тем, повторяю – без родины не пишется...»

За день до отъезда в Висбаден Достоевский вновь описывал Сонечке, как он подавлен обстоятельствами: «Жить здесь скучно очень. Вы не можете себе это представить. Даже писать роман *не могу*».

Причины нестерпимой тоски по России – как их понимал Достоевский и как их сформулировала позже Анна Григорьевна – были в большей степени творческие, нежели политико-патриотические. «Федор Михайлович, – вспоминала его жена, – часто говорил, что если мы останемся за границей, то он «погиб», что он не в состоянии больше писать, что у него нет материала, что он чувствует, как перестает помнить и понимать Россию и русских, так как дрезденские русские – наши знакомые, по его мнению, были не русские, а добровольные эмигранты, не любящие Россию и покинувшие ее навсегда»[1].

И Анна Григорьевна решилась на отчаянный эксперимент. Чтобы успокоить тревожное настроение мужа, часто говорившего о несомненной гибели своего таланта, и отогнать мрачные мысли, мешавшие ему работать, она прибегла к средству, которое «всегда рассе-

[1] А.Г. Достоевская. Воспоминания. С. 217.

ивало и развлекало его»: выдав ему свободных сто талеров, предложила попытать счастья на рулетке. «Конечно, я ни минуты не рассчитывала на выигрыш, и мне очень жаль было ста талеров, которыми приходилось пожертвовать, но я знала из опыта прежних его поездок на рулетку, что, испытав новые бурные впечатления, удовлетворив свою потребность к риску, к игре, Федор Михайлович вернется успокоенным, и, убедившись в тщетности его надежд на выигрыш, он с новыми силами примется за роман и в две-три недели вернет все проигранное»[1].

Нечего и говорить, что эта идея пришлась Достоевскому по душе.

Нечего и говорить, что уже через два дня после обсуждения с женой заманчивой перспективы он проиграл все, что привез в Висбаден. Проиграл и тридцать талеров, которые выпросил телеграммой. Получив от жены взволнованное и тревожное письмо, он ответил ей письмом «подлым и жестоким», вытребовал еще денег и убеждал, что он не подлец, а только страстный игрок.

«Прийдя в воксал, я стал у стола и начал мысленно ставить: угадаю иль нет? Что же, Аня? Раз десять сряду угадал, даже zero угадал. Я был так поражен, что я стал играть и в 5 минут выиграл 18 талеров».

Мысленно он всегда выигрывал.

Апрельская поездка в Висбаден стоила ему вместе с двумя присылками по тридцать талеров каждая – сто восемьдесят талеров: на эти деньги он с женой и дочкой мог жить два месяца.

«Ах, Аня, зачем я поехал!»

Он не хотел, боялся играть. Накануне, ночью, он увидел во сне отца («но в таком ужасном виде, в каком он два раза только являлся мне в жизни, предрекая грозную беду, и два раза сновидение сбывалось»).

Он также увидел во сне свою жену, двадцатипятилетнюю Аню, совершенно седой и написал ей, что был потрясен до глубины души.

Он представил себе, чтó она должна думать о нем,

[1] А.Г. Достоевская. Воспоминания. С. 218.

отнявшим последние деньги у семьи. «За эти 30 талеров, которыми я *ограбил* тебя, мне так стыдно было! Веришь ли, ангел мой, что я весь год мечтал, что куплю тебе сережки, которые я до сих пор не возвратил тебе. Ты для меня всё свое заложила в эти 4 года и скиталась за мною в тоске по родине!»

Он каялся и просил прощения даже у своей полуторагодовалой дочери, смешно упоминая о ней в письме как о взрослой: «А Люба, Люба, о, как я был подл!»

...Наконец, проиграв все, он бросился искать русскую церковь, где служил священник И.Л. Янышев, уже однажды, в 1865 году, выручивший его из такой же беды («Я думал дорогою, бежа к нему, в темноте, по неизвестным улицам: ведь он пастырь Божий, буду с ним говорить не как с частным лицом, а как на исповеди»).

Но он заблудился и, когда дошел до церкви, которую в темноте принял за русскую, обнаружил, что это синагога («Меня как холодной водой облило»).

С мелочью в кармане (всего полтора талера), вымокший под дождем, измученный и придавленный неудачей, он сидел в номере висбаденской гостиницы и всю ночь писал жене, умоляя верить ему, столько раз дававшему клятвенные обещания больше не играть и каждый раз нарушавшему их.

«Но, ангел мой, пойми: ведь я знаю, что ты умрешь, если б я опять проиграл! Не сумасшедший же я вовсе! Ведь я знаю, что сам тогда я пропал. Не буду, не буду, не буду и *тотчас приеду*. Верь. Верь в *последний раз* и не раскаешься. Теперь буду работать для тебя и для Любочки, здоровья не щадя, увидишь, увидишь, увидишь, всю жизнь, И ДОСТИГНУ ЦЕЛИ! Обеспечу вас».

Но ведь и ровно год назад, в апреле 1870-го, он также помчался из Дрездена в Гомбург, всю ночь ехал в переполненном холодном вагоне, устал и закоченел, поутру остановился в самом дешевом и дрянном отеле, взял неряшливый «мизерный» номер и также писал жене: «Немножко голова кружится, и очень грустно. Умоюсь, поем, оденусь и пойду в воксал» – то есть на рулетку, куда он приехал за выигрышем. «Что-то на-

пишу я тебе завтра, бесценная моя, насчет успеха? Невыгодно приезжать с расстроенными нервами».

Тогда, пробыв в Гомбурге неделю, он, по обыкновению, все проиграл; в номере с ним случился припадок падучей – он упал на пол и ушиб затылок («с неделю не проходила шишка»), а потом, не помня себя, ходил по гостинице и пытался заговаривать со всеми встречными о своем припадке. Однако спать не лег, «но пошел опять в воксал». И опять «нервность» после припадка «много способствовала худому ходу дел».

Еще раньше, в 1868-м, в Швейцарии, был Саксон ле Бэн, где он проигрался сразу в полчаса по приезде, заложил кольцо и просил у жены денег на оплату отеля, выкуп кольца и обратную дорогу. Он и тогда писал безумные письма, клялся, что играл последний раз, божился дочерью – только тогда это была не Люба, а еще Соня.

«Прости, прости меня, Аня! Ноги твои целую, прости своего беспутного. Соня-то, Соня-то, милая, ангел!.. Не считай, Аня, моего требования 100 франков сумасшедшим. Я не сумасшедший! И порочным не считай тоже: не сподличаю, не обману, не пойду играть. Я только *для верности* спрашиваю. Работать буду теперь день и ночь».

В 1867-м был Гомбург, окончившийся проигрышем (за десять дней более тысячи франков); затем Баден, где он в течение двух недель проигрывал и отыгрывался, пока не проиграл все, даже закладные деньги за обручальные кольца и зимнюю одежду. Потом снова был Саксон ле Бэн, где остались тысяча с лишним франков, кольцо и пальто. Через полтора месяца Саксон ле Бэн повторился с тем же результатом – и он вновь писал жене: «Ангел мой святой, Аня, пойми, что я серьезно говорю, что другая жизнь начинается; увидишь меня наконец на деле. Спасу и поправлю всё». Впрочем, он еще добавил: «Прошлый раз я приезжал убитый, а теперь надежда в моем сердце».

Почему же сейчас, после очередного проигрыша, он, повторяя все прежние слова, был уверен, что этот раз – последний?

«Теперь эта фантазия кончена навсегда. Я и прежде писал тебе, что кончена навсегда, но я никогда не ощущал в себе того чувства, с которым теперь пишу. О, теперь я развязался с этим сном... Надо мной великое дело совершилось, исчезла гнусная фантазия, *мучившая* меня почти 10 лет. Десять лет (или, лучше, с смерти брата, когда я был вдруг подавлен долгами) я всё мечтал выиграть. Мечтал серьезно, страстно. Теперь же всё кончено! Это был ВПОЛНЕ последний раз!.. Я теперь буду об деле думать и не мечтать по целым ночам об игре, как бывало это. А стало быть, *дело* лучше и спорее пойдет, и Бог благословит!.. Я перерожусь в эти три дня, я жизнь новую начинаю... А до сих пор *наполовину* этой проклятой фантазии принадлежал».

Странное это было обещание – не думать и не мечтать об игре – и странное признание: он не старался убедить жену, будто сам, своими силами и своей волей может удержаться от соблазна и «гнусной фантазии». В том, что теперь у него наконец были развязаны руки, его заслуги как бы и не было – не о н с о в е р ш и л великое дело, но о н о с о в е р ш и л о с ь н а д н и м. И он с благодарностью отдавал себя и свое нынешнее сочинение на волю судьбы и высших сил, которые, как он теперь был уверен, действительно помогали ему. «Если только чуть-чуть будет у меня спокойного времени и роман мой выйдет превосходен, а стало быть, второе издание, в журналах кредит вперед; и мы на ногах! Поскорее бы только в Россию! Конец с проклятой заграницей и с фантазиями!»

Роман притягивал и увлекал – и, похоже, вытаскивал его из игорного вихря.

В сумасшедших, пламенных письмах из Висбадена звучало еще одно страстное обещание – не ходить к здешнему батюшке. «К священнику же не пойду, не пойду, клянусь, что не пойду!.. Не беспокойся, не был, не был и не пойду!.. К священнику *не пойду*, ни за что, ни в каком случае. Он один из свидетелей старого, прошедшего, прежнего, исчезнувшего! Мне больно будет и встретиться с ним!»

Сразу по приезде в Дрезден, принявшись за про-

должение «Бесов», Достоевский записал вчерне несколько сцен на тему «Князь и Тихон». Вместо сочинителя, одержимого гибельным вихрем игры, на исповедь и покаяние был отправлен герой. Князь и старец Тихон беседовали о подвигах веры и испытаниях духа, о совершенстве любви и неистовстве страстей. На дерзкие богохульные признания Князя старец отвечал смиренно и сочувственно, как бы даже утешая своего неверующего посетителя: «Да для чего вам непременно Бог, ведь вам же говорит совесть страданием вашим. Потом уверуете и в Бога».

Игорной горячкой апреля 1871 года и в самом деле суждено было положить предел многолетнему кошмару. «Конечно, я не могла сразу поверить такому громадному счастью, как охлаждение Федора Михайловича к игре на рулетке, – вспоминала Анна Григорьевна. – Ведь он много раз обещал мне не играть и не в силах был исполнить своего слова. Однако счастье это осуществилось, и это был действительно *последний* раз, когда он играл на рулетке. Впоследствии в свои поездки за границу (1874, 1875, 1876, 1879 гг.) Федор Михайлович ни разу не подумал поехать в игорный город. Правда, в Германии вскоре были закрыты рулетки, но существовали в Спа, Саксоне и в Монте-Карло. Расстояние не помешало бы мужу съездить туда, если б он пожелал. Но его уже более не тянуло к игре. Казалось, эта «фантазия» Федора Михайловича выиграть на рулетке была каким-то наваждением или болезнию, от которой он внезапно и навсегда исцелился. Вернулся Федор Михайлович из Висбадена бодрый, успокоившийся и тотчас принялся за продолжение романа „Бесы"»[1].

III

Все лето и осень 1870 года, разрабатывая сюжет о преступлениях демонического героя, Достоевский оставлял неизменными три взаимосвязанных мотива: в своем дороманном бытии Князь совершал тяжкий

[1] А.Г. Достоевская. Воспоминания. С. 218–219.

грех растления девочки; уже в самом романе – пытался исповедаться и покаяться в содеянном; неудача исповеди вместе с другими катастрофами толкали его на самоубийство.

В той самой ключевой августовской программе, где (вместе с судьбой романа) решалась судьба героя и где было записано основополагающее нотабене («Всё заключается в характере Ставрогина. Ставрогин всё»), был сосредоточен репертуар злодейств героя-демона.

«Бросается и на Воспитанницу, и на Красавицу. Объясняет Воспитаннице секрет, но до самого крайнего момента, даже в письме со станции, не говорит о девочке... (Про девочку только один Тихон и знает)... Требует Воспитанницу к себе с эгоизмом, презирая и *не веруя* в помощь человека. Наслаждается глумлением над Красавицей, Степаном Трофимовичем, братом Хромоножки, над матерью и даже над Тихоном. Красавицу он действительно не любил и презирал, но когда она отдалась, вспыхнул страстью вдруг (обманчивой и минутной, но бесконечной) и совершил преступление. Потом разочаровался. Он улизнул от наказания, но сам повесился».

Какие бы изменения в сюжете или построении романа ни происходили в дальнейшем, Князь обречен был играть роль по расписанному для него сценарию: растлив малолетнюю девочку, оказаться безмолвным свидетелем ее самоубийства, соблазнить и обесчестить Красавицу и Воспитанницу, прийти к старцу на исповедь и поглумиться над ним, избежать наказания и повеситься.

Поэтому, когда в начале 1871 года И.Г. Сниткин сообщил ему об одной деликатной просьбе племянницы писателя, Марии Александровны Ивановой (сестры Сонечки), автор «Бесов» оказался перед весьма щекотливой проблемой.

Журнальный вариант «Идиота» был посвящен Сонечке – на титульном листе романа в январской книжке «Русского вестника» за 1868 год после заглавия следовало: «Посвящено Софье Александровне Ивановой». О своем решении Достоевский сообщил

племяннице осенью 1867 года: «Принимаюсь серьезно за роман (который позвольте посвятить Вам, то есть Вам, Сонечке, Софье Александровне Ивановой, – я это так еще прежде решил)».

Теперь Сонечкина сестра Маша хотела того же, предполагая, видимо, что дядя-писатель будет посвящать свои сочинения каждой из сестер Ивановых по очереди.

Щекотливость ситуации, в которой оказался Достоевский, заключалась в том, что сделать этого он никак не мог и нисколько не хотел.

Объясняя в письме к Сонечке (ибо с Машей в переписке не состоял) свой отказ «исполнить желание милой Марьи Александровны», автор «Бесов» выставил две причины.

Первая из них была техническая. «Я уже отослал первую половину 1-й части, когда получил это желание». Правда, он заметил, что хотел тут же написать в редакцию и просить вставить строчку о посвящении, «потому что тогда еще наверно не начинали печатать».

Вторая причина была гораздо более тонкая. Даже если бы он и успел договориться с редакцией о посвящении, делать этого было нельзя «за совершенною невозможностию посвятить Марье Александровне». «В романе (во 2-й и в 3-й части) будут места, которые хоть и можно читать даже девушке, но все-таки нехорошо посвятить ей. Одно из главных лиц романа признается таинственно другому лицу в одном своем преступлении. Нравственное влияние этого преступления на это лицо играет большую роль в романе, преступление же, повторяю, хоть о нем и можно прочесть, но посвятить не годится». Здесь Достоевский сделал паузу, как бы еще раз оценивая ситуацию, и затем добавил: «Когда посвящаешь, то как будто говоришь публично тому, кому посвящаешь: «Я о Вас думал, когда писал это». Не знаю, может быть, я рассуждаю неправильно. Я еще далеко не дошел до того места, и всё будет, может быть, очень прилично; но теперь все-таки посвятить не решусь».

Надо полагать, что, работая над романом о герое-

демоне, Достоевский был очень далек от мыслей о своей племяннице Марии Александровне. Надо, видимо, полагать, что вообще посвящать «Бесы» кому бы то ни было вовсе не входило в его планы: любое посвящение оказалось бы невыносимо фальшивым.

«Бесы» были ЕГО романом – в гораздо большей степени, чем все другие вещи. И если бы принято было посвящать свои сочинения себе, в случае «Бесов» это явилось бы высшей справедливостью.

«Когда посвящаешь, то как будто говоришь публично тому, кому посвящаешь: „Я о вас думал, когда писал это"». Роман с героем, которого автор «взял из сердца», стал сокровенным приключением романиста, игрой его страстей и фантазий, причудливой версией его судьбы. Здесь, в водовороте романа, автор познавал ей цену.

К тому же, возвращаясь в Россию «на этом романе», он ехал не с пустыми руками. Он сумел перехитрить их всех – своих критиков и рецензентов, успевших по первым напечатанным главам заклеймить политическую тенденцию публикуемого сочинения. Автора «Бесов», как и Лескова, только что выпустившего антинигилистический роман «На ножах», ругали за ретроградство, за карикатуру на молодое поколение, за пасквильное изображение социалистов и прогрессистов.

А он привез в Россию и «обнародовал» – Ставрогина, для которого нигилистическая шпана оказывалась лишь фоном и декорацией.

В ту пору, наверное, только Страхов смог бы увидеть истинные масштабы романа и его центрального героя, но он написал о них вскользь, мимоходом и даже не автору, а третьему лицу: «Я удивляюсь теперь цельности этого романа. Николай Ставрогин, очевидно, вставное лицо, как и Свидригайлов в «Преступлении и наказании», но не лишнее, а как будто из другой картины, писанной в том же тоне, но еще страшнее и печальнее»[1].

До конца дней помнил Достоевский то чувство

[1] Литературное наследство. Т. 86. С. 421.

Страница из черновой тетради Ф.М. Достоевского с заметками к первой части «Бесов».

азартного игрока, который, взявшись за «Бесов», сильно рисковал, но смог отыграться и выиграл. За год до смерти, рассуждая о своих литературных врагах, он сказал издателю «Нового времени» А.С. Суворину: «Они думали, что я погиб, написав «Бесов», что репутация моя навек похоронена, что я создал нечто ретроградное. Z (он назвал известного писателя), встретив меня за границей, чуть не отвернулся. А на деле вышло не то. «Бесами»-то я и нашел наиболее друзей среди публики и молодежи. Молодежь поняла меня лучше этих критиков, и у меня есть масса писем, и я знаю массу признаний»[1].

За двадцать пять лет литературной работы дважды его профессия подвергалась страшной и, как он считал, смертельной опасности.

В первом случае, когда он был лишен свободы, России и права на литературную деятельность, когда он был насильно отлучен от профессии и ему грозило творческое небытие, он сумел страшным напряжением воли вернуться в литературу – как возвращаются к жизни.

Во втором случае он сам вынужден был отлучить себя от России, спасаясь бегством; и чем дольше он пребывал за ее пределами, вне ее силового поля и атмосферы, тем более плачевными представлялись ему его перспективы как русского литератора.

«Бесам» суждено было стать третьей попыткой вернуться в Россию и в русскую литературу на коне и со щитом – как это понимал Достоевский. «Бесам» суждено было не только подвести итог роковым увлечениям автора, но и выразить нечто в высшей степени важное о самом существе литературной профессии – о той немыслимой цене, которую платил за свое дело литератор Достоевский.

«Бесы» как роман, «на котором» Достоевский смог выиграть в третий раз, стал творческим откровением; с точки зрения игрока-профессионала, это была игра ва-банк: автор ставил на кон все, что имел. Впрочем, в терминах более близкой ему рулетки полагалось

[1] Новое время. 1881. № 1771. 1 февраля.

бы выразиться иначе: придумать героя-демона, который бы, убивая себя, спасал роман и автора, было так же рискованно, как много раз подряд ставить на zero и ни разу не проиграть.

Достоевский – рискнул: речь о его выигрыше впереди.

...В разгар работы над «Бесами», в апреле 1871 года, Достоевский получил письмо от своего давнего знакомца, Н.И. Соловьева, сотрудничавшего в «Беседе». Среди прочего критик писал: «Отдыхаешь как-то сердцем, когда видишься или входишь в душевное общение с человеком, который выступил и не сворачивает с узкого и рискованного пути, называемого литературной карьерой. В Москве же теперь так мало людей, любящих, подобно Вам, литературу»[1].

Автор письма, скорее всего, даже не подозревал, насколько был прав и как точно его представления о литературном пути были в тот момент применимы к Достоевскому.

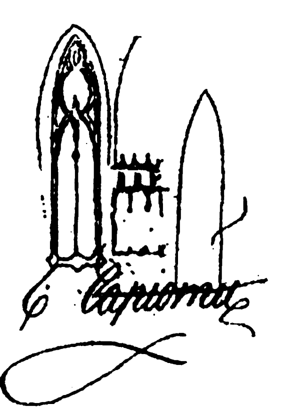
«Бесы» стали кульминацией литературной карьеры Достоевского – если ее понимать именно как путь: «узкий и рискованный».

Прав был корреспондент и в том, что Достоевский «выступил и не сворачивает». Подразумевалась, разумеется, начальная стадия литературной карьеры.

И, воспользовавшись поводом пропущенного в 1871 году двойного юбилея, остановимся и попробуем посмотреть назад: узкий и рискованный путь Достоевского в литературу начинался в Москве, на бездушие и безразличие которой сетовал современник.

[1] Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Т. 2. С. 281.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

«Я был еще тогда почти младенцем»

I

НА ВОПРОС, в какой семье родился и воспитывался будущий писатель Федор Достоевский, можно отвечать по-разному. Можно вспомнить, что ближайшие его предки, как со стороны отца, так и со стороны матери, были люди «среднего, темного круга»: бурсаки, семинаристы, священники, сидельцы в лавках, приказчики, купцы, лекари, интеллигенты-разночинцы. Можно отметить их социальный статус: городские мещане, скромные, в основном очень небогатые, а то и вовсе бедные обыватели. Можно уточнить, что Достоевский, его отец и старший брат Михаил были занесены в книги потомственного московского дворянства (впрочем, это не слишком сказалось на быте и общем укладе жизни лекаря Мариинской больницы для бедных и его большого семейства).

Важно другое: писатель Федор Достоевский рос и воспитывался в семье читателей, то есть людей, не чуждых книжной культуре и ценностям образованного круга.

Нет, однако, никаких свидетельств, подтвердающих, что его родители – Михаил Андреевич и Марья Федоровна Достоевские – читали что-нибудь для себя. Их эпистолярное наследие (16 писем отца и 9 писем матери), дошедшее до нашего времени и опубликованное наследниками, не содержит ни одного «книжного» или «отвлеченного» сюжета: переписка наполнена бытовыми и семейными подробностями, а также хозяйственными распоряжениями. Лишь стилистика этих писем, их эмоциональный колорит, а также речевые выражения могут косвенно доказывать принадлежность корреспондентов к той или иной словесной культуре –

семинарско-канцелярской у отца и возвышенно-сентиментальной у матери – на общем фоне бытового просторечия.

Скорее всего, супруги Достоевские смогли осознать себя читателями-книгочеями, лишь став родителями и воспитателями своих семерых детей. И та непреклонная настойчивость, с которой М.А. и М.Ф. Достоевские стремились вывести в люди своих четверых сыновей и трех дочерей, заслуживает огромного уважения: незаурядность их родительских амбиций, не слишком все-таки обычных для того круга, к которому они принадлежали, была в конце концов вознаграждена – хотя им, родителям, этого увидеть было не дано.

Ф.М. Достоевский остался полусиротой в шестнадцать лет, когда в 1837 году умерла мать, и стал круглым сиротой в восемнадцать, когда в 1839 скончался отец.

Но именно он, обессмертивший свой род и поднявшийся над своей родней – обычными, рядовыми людьми – на неизмеримую высоту, смог осознать, как ему повезло с родителями, – при всей трагичности его сиротства, при всей тяжести воспоминаний об угрюмом нраве отца и его страшной кончине, навеки омрачившей память детей.

Достоевский никогда и ничего не писал о своих родителях, их имен нет ни среди писем, ни в «Дневнике писателя», полного воспоминаний детства и юности. Лишь единственный раз нарушил он молчание, когда нужно было подбодрить младшего брата. «Я, голубчик брат, – писал он Андрею Михайловичу в марте 1876 года, – хотел бы тебе высказать, что с чрезвычайно радостным чувством смотрю на твою семью. Тебе одному, кажется, досталось с честью вести род наш: твое семейство примерное и образованное, а на детей твоих смотришь с отрадным чувством. По крайней мере, семья твоя не выражает ординарного вида каждой среды и средины, а все члены ее имеют благородный вид выдающихся *лучших* людей. Заметь себе и проникнись тем, брат Андрей Михайлович, что идея непременного и высшего стремления *в лучшие люди* (в бук-

вальном, самом *высшем* смысле слова) была основною идеей и отца и матери наших, несмотря на все уклонения».

Принято считать, что Достоевский не любил вспоминать о родителях и пресекал любые расспросы. Но вот отзыв Андрея Михайловича: «Это было не так давно, а именно в конце 70-х годов. Я как-то разговорился с ним о нашем давно прошедшем и упомянул об отце. Брат мгновенно воодушевился, схватил меня за руку повыше локтя (обыкновенная его привычка, когда он говорил по душе) и горячо высказал: „Да знаешь ли, брат, ведь это были люди передовые, и в настоящую минуту они были бы передовыми!.. А уже такими семьянами, такими отцами... нам с тобою не быть, брат!"»[1]

Что означало на языке Достоевского понятие «лучшие, передовые люди», подразумевающее его родителей? Скорее всего, для него они были людьми повышенного честолюбия, одержимыми стремлением вырваться из плена собственной заурядности. Благодарная память Достоевского подсказывала ему: желание стать «лучшими люди» как idée-fixe родителей было исполнено жертвенности и самоотверженности, ибо всецело было направлено на детей.

Конечно, человечество узнало о семействе штаблекаря из больницы на Божедомке исключительно благодаря его второму сыну – остальные шестеро детей, не имей они родственных отношений со своим гениальным братом, не остались бы, наверное, в памяти истории.

Однако воспитательная метода, примененная супругами Достоевскими по отношению ко всем их детям, таила некий интуитивный расчет: если в семье по какому-то капризу природы, по дерзкой прихоти судьбы окажется гений, нужно постараться его «не потушить в младенчестве».

Гений в ней оказался.

Спустя много лет, проявляя поразительную, до

[1] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 26.

самоумаления, скромность, он все-таки продиктовал биографу: «По старшинству я родился вторым, был прыток, любознателен, настойчив в этой любознательности, прямо-таки надоедлив – и даровит. Года в три, что ли, выдумал слагать сказки, да еще мудреные, пожалуй, замысловатые, либо страшные, либо с оттенком шутливости. Я их запоминал...»[1]

Кажется, будто весь домашний уклад строился в этой семье таким образом, чтобы поощрить любознательность, укрепить настойчивость, разбудить вместе с пылким воображением горячечную фантазию и бросить ее на выдумывание страшных либо мудреных сказок.

С неистовым упрямством Михаил Андреевич брался за раннее образование старших детей. «Федор Михайлович вспоминал также, – писал О.Ф. Миллер, – что держали их строго и рано начинали учить. Его уже четырехлетним сажали за книжку и твердили: «учись!», а на воздухе было так тепло, хорошо, так и манило в большой и тенистый больничный сад!»[2]

Гений – это не норма, это нарушение нормы. «Брат Федор, – утверждал Андрей Михайлович Достоевский, – был во всех проявлениях своих настоящий огонь»[3]. «Слишком горяч», «слишком впечатлителен», «слишком резок» – нарушение меры проглядывало в брате Федоре уже в раннем детстве. И хотя отец говаривал: «Эй, Федя, уймись, не сдобровать тебе... быть тебе под красной шапкой!»[4] – сам он влиял на атмосферу дома отнюдь не в гармоническом отношении.

В доме родителей Достоевских не было доброго ангела, нянюшки Арины Родионовны, которая бы милым, простым и задушевным словом смягчала пылкость характера и необузданное воображение своего воспитанника. Нянька детей, Алена Фроловна, была старой девой необъятной толщины, страдавшей неуто-

[1] П. Быков. Выдержки из автобиографии Ф.М. Достоевского // Красная газета. 1925. № 47. 24 февраля.

[2] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 6.

[3] А.М. Достоевский. Воспоминания. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде. 1930. С. 43.

[4] Там же. С. 71.

лимым аппетитом. Эта домашняя «чрезмерность» всячески усугублялась – время от времени угрюмый Михаил Андреевич позволял себе грубое развлечение: используя несчастную особенность старухи, он устраивал состязания в обжорстве с применением медицинских средств для возбуждения аппетита, голодной диеты и, затем, раблезианского угощения.

«Сорокапятипудовая гиря», «бочка» – так, по примеру отца, Алену Фроловну называли в доме – сказки рассказывать не умела. Зато однажды явила пример столь удивительного благородства и щедрости, что питомец ее, писатель Достоевский, запомнил на всю жизнь ее «большой поступок». Весной 1832 года в Москве было получено известие о пожаре в только что приобретенном поместье Даровое, о выгоревших дотла усадьбе и всей деревне. «С первого страху вообразили, что полное разорение. Бросились на колена и стали молиться, мать плакала. И вот вдруг подходит к ней наша няня Алена Фроловна, служившая у нас по найму, вольная то есть, из московских мещанок. Всех она нас, детей, взрастила и выходила... Жалованья она не брала у нас уже много лет: «Не надо мне», и накопилось ее жалованья рублей пятьсот, и лежали они в ломбарде, – «на старость пригодится» – и вот она вдруг шепчет маме:

– Коли надо вам будет денег, так уж возьмите мои, а мне что, мне не надо...

Денег у ней не взяли, обошлось и без этого. Но вот вопрос: к какому типу принадлежала эта скромная женщина, давно уже теперь умершая, и умершая в богадельне, где ей очень ее деньги понадобились».

Любопытно, что Андрей Михайлович, добросовестный и обстоятельный воспоминатель, почему-то не запомнил этого эпизода, хотя подробно описал крестьянина Архипа – виновника пожара, не забыл об обещании папеньки поделиться с бедняками-погорельцами последней рубашкой, упомянул и о поездке родителей на молитву к Иверской иконе Божьей матери. Любопытно, однако, и то, что взволнованная память другого воспоминателя отсеяла грубую «чрезмерность» физи-

ческого облика няни Алены Фроловны, но благодарно отозвалась на незаурядность ее душевного порыва – и вопреки истине сильно омолодила и приукрасила старушку: «Была она тогда лет сорока пяти, характера ясного, веселого и всегда нам рассказывала такие славные сказки!»

В этой семье – если к тому были хоть какие-то собственные задатки – нетрудно было вырасти мечтателем и идеалистом.

Строго воспрещались, как опасные и неприличные, шумные игры в мяч и в лапту.

Строго преследовалось общение с больными, которые прогуливались в больничном саду.

Строго ограничивалось вообще всякое общение, особенно со сверстниками, – до тринадцати лет у старших братьев Михаила и Федора не было ни одного знакомого мальчика, с которым бы дозволялось играть или просто поддерживать товарищеские отношения.

Дети, во исполнение воли отца и согласно его представлениям о приличном, порядочном воспитании, росли, как пишут биографы, в замкнутом, изолированном от внешних влияний мире, а их характеры были искусственно стеснены весьма узкими рамками.

Быть бы им буками и дикарями – но вместо этого глубокая, до гроба, дружба и настоящая духовная близость старших братьев, заменивших друг другу компании сверстников.

Быть бы им темными, тупыми недорослями – но вместо этого страстная, исступленная любовь к книгам и редкая, фанатическая увлеченность чтением, долгое время заменявшим реальные впечатления.

Читатели этого семейства читали неистово.

Согласно раз и навсегда заведенному порядку, все будничные семейные вечера проходили обычно в гостиной за чтением вслух (читали попеременно отец и мать). Едва обучившись грамоте (учительницей была мать), но уже наслушавшись книжных историй, старшие братья Достоевские жадно набрасывались и на сами истории – и читали, как вспоминал их младший брат Андрей, во всякое свободное время. Первые

их книги на тот момент были лучшими и бесспорными книгами: «Сто четыре священные истории Ветхого и Нового Завета», «История Государства Российского» Карамзина, а также Ломоносов, Державин, Жуковский, Пушкин.

И опять же: один из приходящих учителей, безымянный дьякон, преподававший закон Божий, был как-то удивительно хорош, как-то особенно воодушевлен. На учеников спокойных и умеренных он действовал не вредно; по отзыву Андрея Михайловича, «своими уроками и своими рассказами умилял наши детские сердца»[1]. Но ученика «слишком горячего» талантливому дьякону удалось увлечь и тронуть до глубины души. На склоне лет Достоевский написал жене: «Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг: бросаю читать и хожу по часу в комнате, чуть не плача, и если б только не подлейшие примечания переводчика, то, может быть, я был бы счастлив. Эта книга, Аня, странно это – одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был еще тогда почти младенцем!»

II

НЕЧАЯННЫЕ радости и чудеса впрок – вроде одаренного дьякона, имени которого как-то никто не запомнил, – появлялись в семье Достоевских не часто, но с замечательной регулярностью. Да и что же, как не чудо, была та самая встреча, летним днем в окрестностях Дарового, девятилетнего мальчика, мучимого слуховыми галлюцинациями, с мужиком по имени Марей, который успокоил и приласкал ребенка. Быть бы забытым этому милому детскому приключению, как забывается в эти лета почти все.

Оказалось – нет. Мимолетный эпизод детства помог выжить и не озлобиться сердцем, когда каторга явила другие встречи и других мужиков. Через сорок пять лет после случая в Даровом Достоевский писал: «...об Марее я тогда очень скоро забыл. Встречаясь с

[1] А.М. Достоевский. Воспоминания. С. 64.

ним потом изредка, я никогда даже с ним не заговаривал, не только про волка, да и ни об чем, и вдруг теперь, двадцать лет спустя, в Сибири, припомнил всю эту встречу с такою ясностью, до самой последней черты. Значит, залегла же она в душе моей неприметно, сама собой и без воли моей, и вдруг припомнилась тогда, когда было надо; припомнилась эта нежная, материнская улыбка бедного крепостного мужика, его кресты, его покачиванье головой: «Ишь ведь, испужался, малец!» И особенно этот толстый его, запачканный в земле палец, которым он тихо и с робкою нежностью прикоснулся к вздрагивавшим губам моим... Встреча была уединенная, в пустом поле, и только Бог, может, видел сверху, каким глубоким и просвещенным человеческим чувством и какою тонкою, почти женственною нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика, еще и не ждавшего, не гадавшего тогда о своей свободе...

И вот, когда я сошел с нар и огляделся кругом, помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом и что вдруг, каким-то чудом, исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем. Я пошел, вглядываясь в встречавшиеся лица. Этот обритый и шельмованный мужик, с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую песню, ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей: ведь я же не могу заглянуть в его сердце».

Есть жестокая логика, по какой судят подчас о жизни художника: дескать, перенесенные страдания и лишения полезны ему, так как закаляют характер и дают сюжеты для творчества. Наверное, такую логику следовало бы оспорить по многим пунктам, противопоставив ей соображения гуманности и справедливости.

Но Достоевский, на долю которого выпало несчастий во много раз больше, чем того требует самое ненасытное творческое воображение, по-видимому, признавал над собой власть безжалостного миропорядка. «Нет счастья в комфорте, – писал он, формулируя

идею «Преступления и наказания», – покупается счастье страданием. Таков закон нашей планеты, но это непосредственное сознание, чувствуемое житейским процессом, – есть такая великая радость, за которую можно заплатить годами страдания.

Человек не родится для счастья. Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием.

Тут нет никакой несправедливости, ибо жизненное знание и сознание... приобретается опытом pro и contra, которое нужно перетащить на себе».

И, возвращаясь к его детским годам, можно лишь констатировать, что факты и события, люди и впечатления, составившие общую картину, которую биографическая традиция называет безрадостной, были по своим последствиям далеко не так однозначно плохи.

Воспитание в доме Достоевских – это палка о двух концах. Оно было поставлено еще и таким образом (и тут дело не в холодном расчете и каком-то особо изощренном методизме, а скорее в интуиции родителей), что острые углы, если они были в детском характере, не сглаживались, а заострялись; воображение, если оно было у кого-нибудь из детей болезненным, не остужалось, а воспламенялось; фантазия, если она уже была разбужена, постепенно начинала доминировать над действительностью.

В этом смысле феномен угрюмого, вспыльчивого, подозрительного отца, о тяжелом нраве которого пишут все без исключения биографы и мемуаристы, – это та же палка о двух концах. Конечно, он ограничивал свободу своих сыновей, вынуждал, опасаясь дурных влияний извне, жить их замкнуто и уединенно, заставлял учить латынь и превратил эти уроки, которые сам и вел, в пытку, так как не позволял заниматься сидя и ругал мальчиков за малейший промах. Конечно, своей мрачной подавленностью, маниакальным ожиданием несчастий, разорения и бедности, вечной тоской и постоянными жалобами на жизнь он психологически подавлял членов семьи.

Но это не было капризами деспота или истерической распущенностью тирана. А была одержимость че-

ловека, мучительно переживавшего служебные неприятности, жестоко страдавшего из-за своего ущемленного самолюбия и смертельно боявшегося нищеты, в которую могла быть ввергнута семья в случае его смерти. И может быть, столь фанатическая жажда житейского благополучия для детей, столь высокие требования к себе как к главе семьи, терзавшие его, были оборотной стороной другого качества, которое трудно переоценить в таком вспыльчивом и нервно-возбудимом человеке, каким был Михаил Андреевич Достоевский, а именно: он по-настоящему, на деле, а не на словах уважал в своих детях их личное достоинство и щадил их самолюбие.

Правила приличий, соблюдения которых настойчиво требовал отец, не позволяли мальчикам-подросткам иметь непредусмотренные встречи со сверстниками и хотя бы маленькие карманные деньги. Но эти же правила не позволили отцу ни разу не только ударить, но даже поставить детей на колени или в угол – никогда и никого; как об особой удаче своего детства вспоминал Андрей Михайлович, что «в семействе нашем принято было обходиться с детьми очень гуманно»[1].

Может быть, и в самом деле подозрительный Михаил Андреевич желал оградить своих сыновей от опасных людей и опасных идей – и поэтому пресекал предосудительные общения сыновей со слишком бойкими и дерзкими сверстниками. Но гораздо важнее, что он, вечно жаловавшийся на бедность, терзаемый страхом разорения, не отдал своих детей в гимназию, что было бы гораздо дешевле, а определил их в дорогой частный пансион, один из лучших в Москве; «гимназии не пользовались в то время хорошею репутациею, и в них существовало обычное и заурядное, за всякую малейшую провинность, наказание телесное»[2], – с благодарностью к родителям отмечал Андрей Михайлович.

Дети Достоевские не знали розог – и не знали

[1] А.М. Достоевский. Воспоминания. С. 66.
[2] Там же.

страха ожидания розог, как знал их, например, младший сверстник Л.Н. Толстой и его герой, Николенька Иртеньев, дворянский отпрыск, на всю жизнь запомнивший и учительскую линейку, и угол для стояния на коленях лицом к стене, и свой стыд, свое отчаяние, свою ненависть к унижавшим его воспитателям. Писатель Достоевский – редкий, может быть, единственный представитель русской классической литературы, который не был бит в детстве.

III

ПАНСИОН Леонтия Ивановича Чермака, куда старшие братья Достоевские были устроены после года подготовительных занятий у учителя французского языка, имел репутацию идеального закрытого учебного заведения. Тем не менее резкий переход от домашней замкнутой жизни и товарищеского общения, ограниченного, в сущности, одним только братом Михаилом, к ежедневному, в течение целой недели, совместному пребыванию в компании подростков дался Достоевскому нелегко. (И если в характере Аркадия Долгорукого есть хоть малейшая автобиографическая основа, стоит задуматься над переживаниями мальчика, который вынужден был быть с людьми, навязанными ему случаем. А иначе – что означает признание героя «Подростка»: «С двенадцати лет, я думаю, то есть почти с зарождения правильного сознания, я стал не любить людей. Не то что не любить, а как-то стали они мне тяжелы... К тому же и не находил ничего в обществе людей, как ни старался, а я старался; по крайней мере все мои однолетки, все мои товарищи, все до одного, оказывались ниже меня мыслями; я не помню ни единого исключения»?)

Так, может быть, прав был Михаил Андреевич, ограждая сыновей от докучливых и примитивных однолеток? Может быть, он как-то угадывал склонности своих мальчиков к уединенной сосредоточенности? Может быть, судил о детях по себе? Ведь и сам он имел крайне узкий круг знакомых, в основном сослуживцев

по больнице, живших к тому же по соседству и бывавших в доме запросто.

Во всяком случае, его гениальный сын и в отрочестве, и в юности, и во всю оставшуюся жизнь гораздо меньше страдал от одиночества, чем от принудительного общения – «насильственного этого коммунизма», вынужденного пребывания на людях, без возможности побыть одному. Добровольное затворничество, переживаемое как свободный выбор жизненного поведения, – могло ли оно быть таким, если бы детство осталось в его памяти как тюрьма?

Есть великий соблазн вслед за Любовью Федоровной Достоевской, дочерью писателя, оставившей интереснейшие воспоминания об отце, которые принято считать тенденциозными, увидеть в образе мыслей и типе поведения Михаила Андреевича, ее деда, дань литовскому шляхетству и древней дворянской фамилии (древность которой, впрочем, он, по недостатку средств, так и не собрался подтвердить).

Тогда боязнь дурного общества, стремление оградить своих детей от московского простонародья и окололобольничных простолюдинов, увлечение латынью и поразительную щедрость (при общей скупости) в затратах на образование и впрямь захочется объяснить высоким сознанием гордого, честолюбивого, с европейским взглядом на вещи, дворянина древних литовских кровей. Этим же согревавшим душу мемуаристки обстоятельством можно истолковать и пристрастие Михаила Андреевича к французскому языку – и ту особую радость, которую он испытывал, когда дети, в дни его именин, преподносили ему перевязанные шелковой ленточкой написанные по-французски поздравления.

Но как связать шляхетское высокомерие, обязательно включавшее элемент надменности и гонора перед варварами-московитами, с тем культом русской истории и русской литературы, который царил в семье и который литовец-отец и украинка-мать смогли передать детям, а те страстно и вдохновенно воспринять?

Как соотнести принадлежность предков Достоев-

ских к «Гербу Рыдвана», подразумевавшую ревностное католичество и преклонение перед латинской культурой, со строгим, патриархальным исполнением всех обрядов православной веры («всякое воскресенье и большой праздник мы обязательно ходили в церковь к обедне, а накануне – ко всенощной»), с ежегодными путешествиями семьи в Троицкую лавру, длившимися по нескольку дней («эти путешествия были для нас эпохами в жизни»[1])?

И как быть с вышеупомянутым соблазном, если принять современную версию происхождения писателя, согласно которой его предки берут начало от великорусского рода Ртищевых, а село Достоево Поречской волости Пинского уезда Минской губернии было вотчиной, пожалованной в начале XVI века одному из Ртищевых, дети которого назывались уже, по имению, Достоевскими?

Так или иначе, в многодетной семье прилежного, благонамеренного, неоднократно награжденного орденами (св. Анна третьей степени, св. Владимир четвертой степени, св. Анна второй степени) коллежского советника с несколько тяжелым характером и милой, простодушной, жизнерадостной, общительной женщины, беззаветно любившей своего угрюмого мужа, рос одаренный мальчик. И его отец и мать, исполняя свой родительский долг, как они его понимали и как умели, не в ущерб другим детям, смогли сберечь в нем Божью искру. Они не исправляли его натуру, стремясь добиться гармонической уравновешенности свойств, не ломали характер, не усмиряли нрав, а каким-то образом усилили и укрепили природные черты и дарования.

IV

К ТОМУ моменту, когда Федор Достоевский вступил в мир «чужих», он был малообщительным подростком, страстным книгочеем и запомнился одному из одноклассников, В.М. Каченовскому, как «серьезный, задумчивый мальчик, белокурый, с бледным лицом», ко-

[1] А.М. Достоевский. Воспоминания. С. 49.

торого «мало занимали игры: во время рекреаций он не оставлял почти книг»[1].

Список семейного чтения изрядно пополнился; определились собственные интересы – к историческим сочинениям и романам: Лажечников, Масальский, Полевой, Казак Луганский, Вельтман, Нарежный, особенно Вальтер Скотт.

...За полгода до смерти, вовсе не по собственной инициативе, а по просьбе знакомого и в ответ на его письмо, Достоевский составлял, полагаясь на свой читательский опыт, список книг для чтения девочки-подростка, дочери его корреспондента.

Здесь был весь Вальтер Скотт, весь, без исключения Диккенс, «Дон Кихот» и «Жиль Блаз», весь Пушкин – стихи и проза, весь Гоголь. «Тургенев, Гончаров, если хотите; мои сочинения, не думаю чтобы все пригодились ей. Хорошо прочесть всю историю Шлоссера и русскую Соловьева. Хорошо не обойти Карамзина. Костомарова пока не давайте. Завоевание Перу, Мексики Прескотта необходимы. Вообще исторические сочинения имеют огромное воспитательное значение. Лев Толстой должен быть весь прочтен. Шекспир, Шиллер, Гете – все есть и в русских, очень хороших переводах».

Оглядываясь на свое читательское прошлое, Достоевский оценивал его как наилучшее из возможных; детский круг чтения задним числом казался ему оптимальным: нужные книги были прочитаны в нужное время. И он как бы подтвердил точность воспитательного метода, примененного к нему родителями: «...фантазия есть природная сила в человеке, тем более во всяком ребенке, у которого она, с самых малых лет, преимущественно перед всеми другими способностями, развита и требует утоления. Не давая ей утоления, или умертвишь ее, или обратно – дашь ей развиться именно чрезмерно (что и вредно) своими собственными уже силами. Такая же натуга лишь истощит духовную сторону ребенка преждевременно. Впечатления же *прекрасного* именно необходимы в детстве».

[1] См.: Московские ведомости. 1881. № 29. 31 января.

Что касается собственных прекрасных впечатлений детства, то их у Достоевского, по его собственной оценке, был не дефицит, а надежный, прочный запас: «Пусть я развил в себе фантазию и впечатлительность, но зато я направил ее в хорошую сторону и не направил на дурную, тем более, что захватил с собой в жизнь из этого чтения столько прекрасных и высоких впечатлений, что, конечно, они составили в душе моей большую силу для борьбы с впечатлениями соблазнительными, страстными и растлевающими».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Под знаком Шиллера. Градус читательского вдохновения

I

В ПАНСИОНЕ Чермака, где братья Достоевские встретились со сверстниками, многие из которых были и начитанны, и развиты, а также с преподавателями, имевшими репутацию лучших учителей Москвы того времени, их тяга к чтению стала настоящей страстью.

Они не только получили возможность обмениваться книгами с соучениками и предаваться чтению во всякую свободную минуту в течение пяти учебных дней, а также по субботам и воскресеньям, когда приезжали домой. Случилось нечто более важное: первый в их жизни учитель русской словесности, Николай Иванович Билевич, оказался не просто талантливым педагогом, имевшим блестящую репутацию и обширную преподавательскую практику, но и человеком, непосредственно участвовавшим в создании литературы.

Не мудрено, что молодой человек (всего на девять лет старше своего воспитанника), учившийся в Нежине в одной гимназии с Гоголем, друживший с Кукольником, Гребенкой и Прокоповичем, посещавший литературные собрания, а главное, сам писавший стихи, делавший переводы из Шиллера, издававший отдельными книжками сатирические статьи собственного сочинения и имевший на них благоприятные отзывы в ведущих московских журналах, стал кумиром братьев Достоевских, их нравственным авторитетом и руководителем главного жизненного занятия – чтения.

Как в случае с вдохновенным дьяконом и ласковым мужиком Мареем, жизнь словно бы подыграла Достоевскому, подарив еще в детские годы сильное и пре-

красное впечатление в виде образованного, деятельного, благородного литератора, причастного к миру текущей литературной жизни, к изданию книг и журналов.

Воспитанник Достоевский на опыте общения с любимым учителем мог осознать, что литература – это не только книга; это прежде всего автор, человек из плоти и крови, который может к тому же оказаться близким знакомым. Литература, оставаясь предметом страстной увлеченности, персонифицировалась, обретала человеческий масштаб и приближалась на доступное расстояние. Были, конечно, недостижимые в пространстве и времени Шекспир и Шиллер, но были и номера «Библиотеки для чтения» – журнала, который, по настоянию братьев, родители выписывали и получали на дом с 1836 года и где наряду со стихотворениями Бенедиктова, Кукольника, Катенина, романами Марлинского и переводами из Купера можно было обнаружить разборы современных литераторов, коими были тогда и Бальзак, и Жорж Санд, и Пушкин, и учитель Билевич.

Может быть, учась у Билевича-педагога и общаясь с Билевичем-литератором, имевшим прямое отношение к первому русскому «толстому» журналу, Достоевский впервые стал думать о литературе как о профессии. Во всяком случае, словесность, с помощью горячо преданного ей учителя («Он просто сделался их идолом, так как на каждом шагу был ими вспоминаем»[1], – писал Андрей Михайлович о привязанности братьев), к моменту окончания учебы у Чермака воспринималась пансионерами Достоевскими как единственно желанная и единственно возможная для них сфера деятельности. Наверное, они даже чувствовали, что уже готовы к ней, – вряд ли бы иначе тридцать с лишним лет спустя Достоевский написал племяннице Сонечке: «...меня с братом Мишей свезли в Петербург, в Инженерное училище, 16-ти лет, и испортили нашу будущность. По-моему, это была ошибка».

Конечно, имелся в виду отец – это ему, в гораздо большей степени, чем матери, принадлежал выбор

[1] А.М. Достоевский. Воспоминания. С. 68.

учебного заведения для старших сыновей. Их читательские наклонности в глазах родителя, Михаила Андреевича, не имели практического значения. Да и мог ли он, будучи в здравом уме и при исполнении отцовского долга, к тому же маниакально боясь нищеты, желать своим детям литературной карьеры? Она всегда могла обернуться верной гибелью – в бедности и безвестности. Вряд ли подобная мысль даже и мимолетно приходила ему на ум, раз он связывал выбор образования с обеспеченным будущим. Руководствуясь, по-видимому, методом исключения, он отклонил мысль о медицинской карьере (зная все ее трудности по собственному опыту), а дурная политическая репутация Московского университета пересилила естественное желание не разлучаться с сыновьями. К тому же он мог рассчитывать только на льготные условия – учить и содержать двух студентов на свой, а не на казенный кошт ему было совершенно невозможно.

И все-таки, справедливости ради, необходимо защитить Михаила Андреевича от упреков. Ошибка – быть может. Но не деспотизм, не каприз самодура – подвергнуть литературно одаренных мальчиков испытанию военной муштрой: в те времена вообще не слишком-то советовались с детьми.

Писатель Д.В. Григорович, однокашник Достоевского по училищу и близкий его приятель тех лет, впоследствии вспоминал: «В кандидаты Инженерного училища попал я совершенно случайно. Матушка моя, отправляясь в Петербург с тем, чтобы отдать меня в пансион или кадетский корпус, сидела в дилижансе с московской дамой, г-жой Толстой, ехавшей с определенною целью: сделать сына инженером. Дамы разговорились. Узнав от собеседницы, что инженерная служба не так тягостна, как военная, а Инженерное училище считается первым военно-учебным заведением в России, матушка тут же решила последовать ее примеру»[1]. Григорович, который за очень короткое время успел дважды исправить ошибку матери (уйдя, последовательно, и из Инженерного училища, и из

[1] Д.В. Григорович. Литературные воспоминания. М.: ГИХЛ, 1961. С. 34.

Академии художеств), вряд ли имел основания корить родительницу, добрейшую, уступчивую, ласковую женщину, аристократку-француженку – такова была общепринятая практика.

Кроме того, Инженерное училище, основанное в 1819 году Николаем Павловичем, тогда еще великим князем, намного превосходило подобные военно-учебные заведения своей научной подготовкой. Считалось, что основанием для поступления служат не богатство и происхождение, но знания. У училища была крепкая репутация – заведения, где дорожат честностью, благонамеренностью, правилами приличия, принятыми среди людей хорошего петербургского общества. И теперь, когда училище находилось под покровительством и инспекцией его высочества великого князя Михаила Павловича, брата государя, устроителя пышных, блестящих парадов и смотров, на которых присутствовала вся царская фамилия, – что же могло быть лучше?

Нет, не за что было угрызаться Михаилу Андреевичу – он сделал все, что мог. Другое дело, что к шестнадцати годам – к моменту отъезда в Петербург на учебу – его сыну Федору уже не годились какие бы то ни было казенные стандарты и правила. Склонности же, которые обнаружились у него, плохо вязались с перспективой уставной службы.

В феврале 1837 года от чахотки умерла мать – совсем еще молодая тридцатишестилетняя женщина, оставив семерых детей, младшей из которых, Саше, было всего полтора года. Отец и дети были убиты горем.

Но у старших сыновей было и другое горе – смерть Пушкина, о которой они узнали лишь спустя месяц; «Братья чуть с ума не сходили, услыхав об этой смерти и о всех подробностях ее»[1], – вспоминал Андрей Михайлович. И вот еще одна исключительная деталь: «Брат Федор в разговорах с старшим братом несколько раз повторял, что ежели бы у нас не было семейного траура, то он просил бы позволения отца носить траур по Пушкине»[2].

[1] А.М. Достоевский. Воспоминания. С. 78.
[2] Там же. С. 78–79.

Позже Григорович отмечал: «Кончина Пушкина в 1837 году была чувствительна между нами, я убежден, одному Достоевскому...»[1]

В те годы Достоевский еще не знал, что способность к глубоким страданиям и переживаниям обходится дорого. Пушкинское «над вымыслом слезами обольюсь» могло поначалу казаться ему чувством вполне безмятежным, безобидным и даже радостным. Но это именно Пушкин, прежде других, провозгласил: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». У Достоевского, потрясенного двойной утратой, перед самым отъездом в Петербург (то есть спустя всего два месяца после похорон матери и известия о гибели поэта), без всякого видимого повода, как казалось брату Андрею Михайловичу, открылась странная горловая болезнь, от которой он временно потерял способность говорить и которая навсегда изменила тембр голоса.

В Петербург ехали, как ни высокопарно это звучало, с мыслью о Пушкине. Но братья Достоевские не стеснялись тогда высоких слов – они уже были «мечтателями». Спустя почти сорок лет Достоевский вспоминал то упоительное настроение: «Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали об чем-то ужасно, обо всем «прекрасном и высоком», – тогда это словечко было еще свежо и выговаривалось без иронии. И сколько тогда было и ходило таких прекрасных словечек! Мы верили чему-то страстно, и хоть мы оба отлично знали всё, что требовалось к экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три, и даже дорогой, а я беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни... Мы, дорогой, сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух».

Неизвестно, знали ли братья не печатавшиеся при жизни поэта, но распространявшиеся во множестве рукописных списков знаменитые строки: «Когда на

[1] Д.В. Григорович. Литературные воспоминания. С. 47.

мрачную Неву /Звезда полуночи сверкает/ И беззаботную главу /Спокойный сон отягощает,/ Глядит задумчивый певец /На грозно спящий средь тумана /Пустынный памятник тирана, /Забвенью брошенный дворец». Но они направлялись именно туда, в бывший Михайловский замок, крепость, окруженную водой, где император Павел I прожил всего сорок дней и где был убит заговорщиками.

II

Новая жизнь, в которую стремились братья, начиналась, однако, как-то невнятно, с разладов и неурядиц. Готовиться к математике, но мечтать о поэзии, заниматься черчением, но воскрешать в своем воображении роковые события таинственного замка, о прежнем назначении комнат которого знал каждый воспитанник училища, – это было бы не только вполне терпимо, но даже исполнено «прекрасной и высокой» романтики.

Разлад между мечтой и действительностью вышел, однако, грубым и на редкость прозаическим. В училище, безупречный и благородный образ которого был взлелеян Михаилом Андреевичем, процветали взятки, протекции и кумовство. Высочайшее разрешение государя императора о принятии двух Достоевских на казенный кошт (на что так легкомысленно понадеялся наивный провинциал, их отец), как оказалось, ничего не стоило без санкции корыстолюбивого и испорченного денежными подношениями начальства. Сначала у простака Михаила Андреевича выудили огромные деньги якобы на подготовку сыновей к специальным экзаменам, затем, через несколько месяцев, отказали Михаилу, не допустив к экзаменам под предлогом слабого здоровья, потом, наконец, проэкзаменовав Федора, объявили ему, что ни одной казенной вакансии нет.

«Прекрасное и высокое» на первых порах было потеснено откровенно подлым и низким...

Только через девять месяцев после приезда в Пе-

тербург учебно-служебная жизнь Достоевского кое-как сложилась – ценой слезных писем к богатой и бездетной тетке А.Ф. Куманиной, родной сестре матери, которая и оплатила учебу любимого племянника; ценой разлуки с братом, большими трудами устроенного инженерным юнкером в Ревель; ценой жестокого разочарования в поприще, выбранном для него родительской волей...

Напасти между тем не кончились, а лишь начались.

Обнаружилось, что кондуктор Достоевский, прекрасно успевая по общеобразовательным («умственным», как он их называл) дисциплинам – истории, географии, геометрии, физике, русскому, французскому, немецкому языкам, закону Божию – и имея по ним почти всегда полные, то есть высшие, баллы, совершенно не воспринимал прикладные, сугубо военные предметы: артиллерию, фортификацию, бесконечное и разнообразное черчение. Выяснилось, что строевая подготовка, или, как тогда говорили, фронт – смотры, парады, разводы, церемониальные марши, стояние в караулах и «необходимость вытягиваться перед всяким офицером», – для него не просто мучительны, но и практически непосильны: из двенадцати баллов, которыми оценивались строевые занятия, он мог получить не более трех-четырех. Оказалось, уже через полгода после начала учебы, что лагерная жизнь под Петергофом, состоявшая «в разбитии и дефилировании полевых укреплений и в производстве саперных и линейных работ»[1], есть прообраз предназначенной ему будущности.

После целого года учебы он был оставлен на повторный курс в том же классе.

Училище, в котором воспитанникам строжайше воспрещалось носить калоши и очки, так как «слабые здоровьем не могут находиться в числе учащихся»[2], намекнуло кондуктору Достоевскому на его профессио-

[1] И.Д. Якубович. Достоевский в Главном инженерном училище // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 5. Л.: Наука, 1983. С. 183.
[2] Там же. С. 180.

нальную непригодность. Намек был понят, но не принят.

«О ужас! еще год, целый год лишний! Я бы не бесился так, ежели бы не знал, что подлость, одна подлость низложила меня... До сих пор я не знал, что значит оскорбленное самолюбие. Я бы краснел, ежели бы это чувство овладело мною... но знаешь? Хотелось бы раздавить весь мир за один раз...» – писал он брату. «Я оставлен на 2-й год! О подлость!.. Еще лишний год дрянной ничтожной кондукторской службы!» – повторял в письме к отцу.

Неудача, пробудившая самолюбие, сделала его честолюбивым. И хотя причину своего второгодничества он видел в мести преподавателя алгебры (которому нагрубил в течение года и который «нынче имел подлость напомнить мне это»), ему необходимо было доказать самому себе, что вся эта военная премудрость, которая едва не погубила его, на самом деле примитивная чепуха, требующая не интеллекта, не ума, а зубрежки. И уже с оттенком торжества, как-то даже свысока, почти бравируя, сообщал он брату год спустя: «Полевая фортификация такая глупость, которую можно вызубрить в 3 дня».

Этот мотив станет в его письмах постоянным: «Такое зубренье, что и Боже упаси, никогда такого не было. Из нас жилы тянут». Противно, но нужно – на этой ноте продолжалась его учеба и близилась к концу, и он уже не сомневался, что вытянет, не ударит лицом в грязь.

«Экзамены и занятия страшные. Всё спрашивают – и репутации потерять не хочется, – вот и зубришь, с *отвращением* – а зубришь» – это уже из письма декабря 1841 года, когда самое опасное осталось позади, и жил он уже на частной квартире, и был благополучно переведен в нижний офицерский класс, и высочайшим приказом произведен, как один из лучших кондукторов, в полевые инженеры-прапорщики (а не в гарнизонные инженеры как «неспособный»), а потом, в положенный срок, был сделан по экзамену подпоручиком с переводом в верхний офицерский класс.

Самолюбие и честолюбие были, таким образом, удовлетворены. Была спасена и репутация.

Странно, однако, выглядело это слово под пером самолюбивого юноши. Какую репутацию он не хотел терять? Чьим мнением дорожил?

«Ф.М. Достоевский, – сообщал мемуарист А.И. Савельев, служивший в должности дежурного офицера училища и знавший героя своих воспоминаний от первых лет пребывания до выпуска из верхнего офицерского класса, – настолько был непохожим на других его товарищей во всех поступках, наклонностях и привычках и так оригинальным и своеобычным, что сначала все это казалось странным, ненатуральным и загадочным, что возбуждало любопытство и недоумение, но потом, когда это никому не вредило, то начальство и товарищи перестали обращать внимание на эти странности»[1].

Вряд ли, впрочем, он догадывался, что производит впечатление чудака. Он вел себя естественно, сообразуясь со своими привычками и желаниями; безукоризненно, как считало начальство, исполнял все, что от него требовалось, и был, опять же по отзыву наставников, скромен и безропотен.

Но слишком долго беседовал после лекций из закона Божия с законоучителем (за что был прозван монахом Фотием).

Но проявлял редкое безразличие к удовольствиям и развлечениям – так называемым «бенефисам и отбоям».

Но ни разу за пять лет не появился в танцклассе, проводившемся в роте каждый вторник.

Но не играл с другими кондукторами в их игры – «загонки, бары, городки».

Но никогда – поскольку это было развлечением, а не обязанностью лагерной жизни – не гулял вместе со всеми в садах Петергофа, не ходил на купанье или на штурм лестниц Сампсониевского фонтана.

Но не проявлял никакого интереса к хору певчих.

[1] А.И. Савельев. Воспоминания о Ф.М. Достоевском // Русская старина. 1918. № 1. С. 13.

И скорее всего, не замечал, что его задумчивый, отрешенный, замкнутый вид вызывает насмешку, которая легко могла перейти в неприязнь.

Смешным и нелепым было прежде всего его вызывающее несоответствие всем стандартам военно-учебного заведения. Дело было, наверное, не только в наличии литературных склонностей; вот ведь и Григорович, его ближайший товарищ, тоже имел пристрастие к занятиям литературой и живописью, однако с удовольствием вспоминал о лагерной жизни: «Маневры, линейные ученья, вообще фронтовая часть были для меня приятною забавой, сравнительно с предстоящим принуждением сидеть в классах, приготовляться к лекциям и экзаменам»[1]. О Достоевском же его однокашник К.А. Трутовский, одаренный художник, писал: «Во всем училище не было воспитанника, который бы так мало подходил к военной выправке, как Ф.М. Достоевский. Движения его были какие-то угловатые и вместе с тем порывистые. Мундир сидел неловко, а ранец, кивер, ружье – все это на нем казалось какими-то веригами, которые временно он обязан был носить и которые его тяготили»[2].

Казалось бы, всегда сосредоточенный, задумчивый юноша, который в свободное время ходит взад и вперед где-нибудь в сторонке, не видя и не слыша, что происходит вокруг, кому-нибудь да признается, что́ у него на уме и на сердце. Но, жалуясь в письмах к отцу и брату на бедность и тяготы учения, он ни разу не обронил и слова о жестокостях и дикостях, царивших в училище, – об издевательствах над новичками («рябцами»), о переносимых мытарствах и оскорблениях. «Привыкаю понемногу к здешнему житью; о товарищах ничего не могу сказать хорошего» – вот все, что известно об умонастроении «рябца». И это на фоне забав, о которых и много лет спустя не мог без содрогания вспоминать Григорович: когда наливали холодную воду новичку в постель и за воротник, когда заставля-

[1] Д.В. Григорович. Литературные воспоминания. С. 44.

[2] К.А. Трутовский. Воспоминания о Ф.М. Достоевском // Русское обозрение. 1883. Январь. С. 213.

ли слизывать специально разлитые чернила, а особо конфузливых – произносить непристойные слова; когда вынуждали ползать на четвереньках под столом и хлестали ползающего куда попало кручеными жгутами.

Молчание Достоевского в те годы было удивительным еще и потому, что он прекрасно знал цену своим сверстникам. Он чурался и чуждался большинства однокашников, так как вполне разглядел их косность и невежество, нравственную глухоту и эмоциональную тупость. «Но что я видел перед собою, какие примеры! Я видел мальчиков тринадцати лет, уже рассчитывавших себе всю жизнь: где какой чин получить, что выгоднее, как деньги загребать... и каким образом можно скорее дотянуть до обеспеченного, независимого командирства! Это я видел и слышал собственными глазами, и не одного, не двух!» – писал он много лет спустя. «Еще в шестнадцать лет я угрюмо на них дивился; меня уж и тогда изумляли мелочь их мышления, глупость их занятий, игр, разговоров», – скажет о себе герой «Записок из подполья», позаимствовавший немало переживаний у автора.

Чем же кондуктор Достоевский держался в те годы? За счет каких душевных ресурсов «не заглох в корпусе», а, напротив, обрел чувство собственного достоинства, обнаружил замечательную твердость характера и заслужил даже уважение – тех, кто смог почувствовать его умственное и нравственное превосходство?

Привычка к замкнутой, изолированной жизни, приобретенная в отцовском доме, счастливая способность не тяготиться одиночеством, а главное – ежечасная, ежеминутная потребность д у м а т ь впервые принесли реальные, ощутимые плоды: в свои семнадцать-восемнадцать лет Достоевский, «сохраняющий в сердце своем чувства высокой честности»[1] (отзыв Савельева), смог, живя на казарменном положении, создать для себя параллельное существование, исполненное достоинства и благородства.

[1] Русская старина. 1918. № 1. С. 15.

III

Зубрежка и лагерная муштра вовсе не мешали прочитывать библиотеки книг. В июне 1838 года он жаловался отцу: «Надобно было работать день и ночь; особенно чертежи доконали нас... Пять смотров великого князя и царя измучили нас. Мы были на разводах, в манежах вместе с гвардиею маршировали церемониальным маршем, делали эволюции, и перед всяким смотром нас мучили в роте на ученье». А через два месяца с гордостью сообщал брату: «Я сам читал в Петергофе по крайней мере не меньше твоего. Весь Гофман русский и немецкий... почти весь Бальзак... «Фауст» Гете и его мелкие стихотворенья, «История» Полевого, «Уголино», «Ундина»... Также Виктор Гюго...»

В то самое время, когда в училище происходили «генеральные сражения» между «рябцами» и старшими воспитанниками, а сам Достоевский подвергался «испытаниям в послушании», он одолевал свое унижение попыткой «обобщенной мысли». Он не писал брату Михаилу о воде, налитой в постель, а лишь с грустью констатировал: «Мне кажется, мир принял значенье отрицательное и из высокой, изящной духовности вышла сатира...»

Его оскорбленное самолюбие искало аналогий далеко за пределами постылого училища, и сердце рвалось открыться мировым скорбям и страданиям. С юношеской страстностью и непосредственностью, не опасаясь насмешки над высоким слогом, он обращался к великим примерам, и тогда его собственные страдания переставали казаться всемирной катастрофой. Литературные образцы как бы задавали масштаб индивидуальной скорби, и, ошеломленная огромностью чужих терзаний, она стихала в смирении и кротости. «Гамлет! Гамлет! Когда я вспомню эти бурные, дикие речи, в которых звучит стенанье оцепенелого мира, тогда ни грусть, ни ропот, ни укор не сжигают груди моей... Душа так подавлена горем, что боится понять его, чтоб не растерзать себя...»

Гамлет, доктор Фауст или гофмановский Альбан

казались ему, наверное, фигурами гораздо более реальными, чем большинство из ста двадцати пяти его однокашников, – и, конечно, гораздо более близкими. И уже тогда, как бы в знак благодарности за рыцарственное, бескорыстное, пока еще читательское служение ей, литература смягчала ожесточение одиночества, находя бедному рыцарю друзей.

Григорович: «С тех пор прошло более полустолетия, но хорошо помню, что изо всех товарищей юности я никого так скоро не полюбил и ни к кому так не привязывался, как к Достоевскому... С неумеренною пылкостью моего темперамента и вместе с тем крайнею мягкостью и податливостью характера, я не ограничился привязанностью к Достоевскому, но совершенно подчинился его влиянию. Оно, надо сказать, было для меня в высшей степени благотворно. Достоевский во всех отношениях был выше меня по развитости; его начитанность изумляла меня. То, что сообщал он о сочинениях писателей, имя которых я никогда не слыхал, было для меня откровением»[1].

Трутовский: «Встретил меня Федор Михайлович очень ласково и участливо стал расспрашивать о моих занятиях. Долго говорил со мною об искусстве и литературе, указывая на сочинения, которые советовал прочесть, и снабдил меня некоторыми книгами. Яснее всего сохранилось у меня в памяти то, что он говорил о произведениях Гоголя. Он просто открывал мне глаза и объяснял глубину и значение произведений Гоголя... Федор Михайлович советовал мне читать и других русских и иностранных писателей, и Шекспира в особенности. По его совету я усиленно занялся французским языком; читал и делал переводы. Одним словом, Федор Михайлович дал сильный толчок моему развитию своими разговорами, руководя моим чтением и моими занятиями»[2].

В том узком кругу, где благодаря своим литературным познаниям и исключительной книжной образованности Достоевский был принят и признан, каж-

[1] Д.В. Григорович. Литературные воспоминания. С. 46–47.
[2] Русское обозрение. 1883. Январь. С. 214–215.

дая новая прочитанная им книга считалась привилегией посвященных. Запойное чтение как образ жизни и переживание прочитанного как смысл жизни служили паролем: книга становилась приглашением к знакомству и прологом дружбы.

В сущности, все дружеские общения Достоевского тех лет проходили под знаком (или со знаком) Поэта. «На Пушкине они мирились» – так складывались отношения с братом Михаилом; романтическая поэзия и презрение к реальности стали основой страстного увлечения Иваном Шидловским; под знаком Шиллера протекала страстно-исступленная и окутанная тайной дружба с кондуктором Бережецким, очень скоро закончившаяся разрывом.

За весьма короткое время и в очень немногочисленной компании Достоевский пережил все романтические бури, запечатленные в литературе эпохи, с ее страстной тоской по идеалу и религиозному преображению мира. С помощью лучшего из посредников – поэзии – он познал мятежную силу любви, которая не знает умеренности и середины, ощутил томление восторженной души по недостижимому идеалу. Он прикоснулся к атмосфере таинственного лиризма, испытал состояние утонченной чуткости и высокой посвященности. В юношеские годы с ним произошло главное чудо его дописательского существования: необходимейшие литературные и человеческие переживания посетили его вовремя.

Не как схоласт-теоретик романтического миросозерцания, не как жалкий подражатель модного стиля писал он брату о страстном напряжении захлестнувших его чувств: «Я имел у себя товарища, одно созданье, которое так любил я! Ты писал ко мне, брат, что я не читал Шиллера. Ошибаешься, брат! Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им; и я думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни; никогда бы я не мог узнать его так, как тогда. Читая *с ним* Шиллера, я поверял *над ним* и благородного, пламенного Дон Карлоса, и маркиза Позу, и Мортиме-

ра. Эта дружба так много принесла мне и горя и наслажденья! Теперь я вечно буду молчать об этом; имя же Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний; они горьки, брат».

В семнадцать лет, еще не став писателем, он уже был и художником и мыслителем: ему было дано тонко чувствовать и глубоко проникать в мир возвышенных идей и высоких образов. В том же самом письме к брату, где он, как обычный школьник, жаловался на «подлецов преподавателей», содержалось проникновенное определение философии через поэзию: «Поэт в порыве вдохновенья разгадывает Бога, следовательно, исполняет назначенье философии. Следовательно, поэтический восторг есть восторг философии... Следовательно, философия есть та же поэзия, только высший градус ее!..»

Как истинный художник рисовал он брату портрет своего старшего друга, Шидловского: «Прекрасное, возвышенное созданье, правильный очерк человека, который представили нам и Шекспир, и Шиллер!»

Запойное, всепоглощающее чтение концентрировало его мысли и чувства до степени поэтических формул; литература, выстраивая сознание, давала им названия и тот особый язык, с помощью которого легко устанавливалось родство избранных душ.

Он, без сомнения, уже в юношеские годы был тем, кем стал потом, – только пока еще не знал об этом. Внутренняя сосредоточенность (поэтически обозначенная как «одной лишь думы власть»), мономания, или страстная тоска по литературе, создали особое поле жизни – внутри реального жизненного пространства. На своей территории, в своей нише он не казался ни отщепенцем, ни изгоем – напротив, был сверхполноценен, избыточно одарен. Пребывание в некоем литературно-поэтическом коконе, позволившее сохранить, а не растратить впустую особый дар, давало и другой удивительный эффект: высокий градус читательского вдохновения компенсировал унизительные провалы во внешней жизни. Богатое, сверхнасыщенное чтение,

переживаемое как живая жизнь, сперва позволило ему с тайной гордостью признать себя гражданином литературы, а потом уже – догадаться о призвании.

IV

Точкой отсчета, засвидетельствовавшей творческое томление семнадцатилетнего Достоевского, явилось то самое «философское» письмо к брату от 31 октября 1838 года. В нем имелись строки, которые – при всей условности романтического тона – нельзя было выдумать, лишь подражая модному стилю. «Я давно не испытывал взрывов вдохновенья, – писал Достоевский. – Не залетит ко мне райская птичка поэзии, не согреет охладелой души... Ты говоришь, что я скрытен; но вот уже и прежние мечты мои меня оставили, и мои чудные арабески, которые создавал некогда, сбросили позолоту свою. Те мысли, которые лучами своими зажигали душу и сердце, нынче лишились пламени и теплоты; или сердце мое очерствело или... дальше ужасаюсь говорить... Мне страшно сказать, ежели всё прошлое было один золотой сон, кудрявые грезы».

В представлении семнадцатилетнего автора «чудных арабесок» слова д а в н о, н е к о г д а, п р е ж д е могли означать и пять лет, и год, и месяц. В тот момент, однако, он чувствовал себя не только потребителем высокой поэзии, но литературным фантазером с большим опытом собственного поэтического вдохновения.

Что именно он имел в виду, говоря об арабесках? Те самые мудреные, замысловатые, страшные и смешные сказки, которые он «выдумал слагать» года в три? Или роман из венецианской жизни, который он «беспрерывно сочинял в уме» по дороге в Петербург? Или «райскую птичку поэзии», которая была его обычным состоянием души?

Он открывал в себе д а р, как открывают законы природы. Он не торопился н а ч а т ь – с тем лишь, чтобы о т м е т и т ь н а ч а л о. Видимо, с тех пор, как он себя помнил, он всем своим существом безошибоч-

но ощущал присутствие такой духовной температуры, которую на излете романтической эпохи принято было называть небесным пламенем, райским лучом или огнем вдохновения. Ему, получившему богатейший читательский опыт, изучившему самые тонкие творческие состояния и знавшему, как могут владеть поэты человеческим сердцем, оставалось лишь увидеть свое изначальное с ними сходство, а может быть, и родство...

Ему оставалось лишь сказать самому себе: я – один из них.

Можно только удивляться, как долго он не позволял себе утвердиться в таком убеждении. И внешняя жизнь, и он сам – своими сомнениями, рефлексиями – ставили преграды на пути решительного самоопределения. Но вот что странно – для того чтобы убедиться в своей причастности к миру творчества, он совсем не торопился с делом. С большой осторожностью размышляя о будущем, он как бы готовил почву для радикальной перемены судьбы. «К чему мне сделаться Паскалем или Остроградским. Математика без приложенья чистый 0, и пользы в ней столько же, как в мыльном пузыре», – намекал он отцу, одновременно прося денег на «совершенно необходимый» абонемент во французскую библиотеку.

Трудно сказать, как долго могло продолжаться его осторожное и внимательное вглядывание в себя. Может быть, считаясь с обязательствами перед отцом и не желая огорчать его уклонением «с прямого пути на путь шаткий и неопределенный» (по которому пошли только трое из кондукторов его выпуска – он сам, Григорович и Трутовский), подпоручик Достоевский вынужден был бы тянуть лямку в инженерном департаменте не год, а много дольше.

Но уже в августе 1839 года, спустя всего три месяца после майского письма к отцу с размышлениями о бесполезности математики, он сообщал брату, что решился на бесповоротный шаг. Теперь ему не нужно было таиться – с участью инженера и чиновника военного ведомства, уготовленной ему, было покончено в

принципе. Пусть учеба и служба еще какое-то время будут мешать его настоящим надеждам (с этого момента до отставки инженера-чертежника полевой картографии пройдет целых пять лет), он был готов смотреть на свою нынешнюю жизнь «с совершенным бесчувствием». «Одна моя цель быть на свободе. Для нее я всем жертвую... Я сумею развязать со всем этим; но, признаюсь, надо сильную веру в будущее, крепкое сознанье в себе, чтобы жить настоящими надеждами; но что же? всё равно, сбудутся они или не сбудутся; я свое сделаю».

Отныне своей судьбой он мог распоряжаться сам: человека, упрямо и со страстью стремившегося поставить детей на правильный жизненный путь, суливший обеспеченное будущее, его отца, тем летом не стало. За десять дней до смерти Михаил Андреевич успел еще, отвечая на письмо сына и высылая деньги, пожаловаться на жестокую нужду и предстоящее «решительное и конечное расстройство состояния», а также сделать весьма характерную приписку о своем старшем сыне, Михаиле, который «употребляет время на пустое, на стихокорпание»[1].

Катастрофа, происшедшая в Даровом при смутных и крайне запутанных обстоятельствах, не только обозначила рубеж между юностью Достоевского и его взрослой жизнью. Биографы не располагают ни единой строчкой, где бы он с кем бы то ни было обсуждал причины и версии смерти отца – то ли задушенного своими крепостными крестьянами, то ли в перепалке доведенного ими до апоплексического удара, то ли погибшего от этого удара без посторонней помощи. Однако при всем ужасе безвременной отцовской кончины, при всем позоре, которым навсегда была омрачена память об отце, первое, что немедленно сделал осиротевший Достоевский, был окончательный и бесповоротный выбор судьбы как свободы.

Это слово, впервые появившись в его письмах через два месяца после утраты отца, коренным образом

[1] Цит. по: В.С. Нечаева. В семье и усадьбе Достоевских. М.: Соцэкгиз, 1939. С. 122.

перестроило сознание; ощущение единоличной ответственности за себя и неподотчетности кому бы то ни было дало ясное представление о единственно возможном употреблении вожделенной свободы.

Такая свобода не будет пустой и бесплодной! Она даст цель, которая определит будущность и освятит текущую действительность сознанием высокого смысла. Словно исповедуясь брату, Достоевский с неподражаемой зрелостью мысли излагал программу своего человеческого становления.

Он подводил итоги прошлому – кончилось время «кудрявых снов» и «золотых грез». «Душа моя недоступна прежним бурным порывам. Всё в ней тихо, как в сердце человека, затаившего глубокую тайну».

Он назначал себе путь долгого и смиренного ученичества: отныне следовало учиться, «что значит человек и жизнь» («в этом довольно успеваю я»); «учить характеры могу из писателей, с которыми лучшая часть жизни моей протекает свободно и радостно».

Он, наконец, формулировал цель – будущее писательство фактически отождествлялось со смыслом и назначением его человеческого существования.

Он шел к этой цели последующие сорок два года жизни.

«Я в себе уверен. Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».

Наверное, нет более зацитированных слов из Достоевского, чем это его творческое кредо. Надо, однако, помнить, что оно было сформулировано им за месяц до восемнадцатилетия.

Следующие пять лет, отмеченные не только благополучными переводами из класса в класс, но и благословенными минутами, ради которых он готов был «мириться с настоящим», прошли под знаком двух нерасторжимых для него понятий. И когда наконец слово «призвание» было произнесено, оно естественно соединилось со словом «свобода».

Ровно за сорок лет до смерти свой шанс на буду-

щее Достоевский расценивал, если исходить из теории вероятности, почти иронически: «Нет надежды ни на настоящее, ни на будущее. Правда, ошибаюсь! Есть одна на 1 000 000, который я выиграю – надежда довольно вероятная! 1 против 1 000 000!»

Но рискованный выбор был сделан. И он терпеливо, но с неотвратимостью ждал, когда наступит его час.

«О брат! милый брат! Скорее к пристани, скорее на свободу! Свобода и призванье – дело великое. Мне снится и грезится оно опять, как не помню когда-то. Как-то расширяется душа, чтобы понять великость жизни».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Гражданин литературы: свобода и призвание

I

Если под свободой, которой так жаждал запертый в училище Достоевский, подразумевалась жизнь самостоятельная, независимая и неподконтрольная, то она наступила 5 мая 1841 года, когда из кондукторов он был произведен в полевые инженер-прапорщики и оставлен при Главном инженерном училище в нижнем офицерском классе. Свобода впервые в жизни давала возможность в не занятое военной наукой время проживать на частной квартире и быть предоставленным самому себе.

Задним числом следовало бы оценить самолюбивую скрытность Достоевского, который, при всем своем романтическом возбуждении, около года утаивал от брата первые литературные опыты. Собственно говоря, если бы не свидетели-мемуаристы, никто и не узнал бы, что мечты воспитанника Инженерного училища о литературном поприще при выходе на свободу имели под собой материальное основание в виде рукописных отрывков из драматических опытов: «Марии Стюарт» и «Бориса Годунова».

Но даже и свидетели – брат Михаил (у него на вечеринке Достоевский впервые прочел свои отрывки), доктор Ризенкампф, в те времена студент Медико-хирургической академии и близкий знакомый братьев Достоевских (в присутствии которого в 1841 и 1842 годах начинающий автор «то и дело» читал фрагменты пьес), наконец, брат Андрей (который своими глазами видел автограф «Бориса Годунова» на столе у брата Федора и тайком от него с «юношеским восторгом» зачитывался трагедией) – не упоминали никаких по-

дробностей о первых сочинительских опусах Достоевского.

Что это было – стихи или проза, перевод Шиллера или подражание Пушкину, черновые наброски или готовый текст – неизвестно, как не известно ничего о третьем драматическом опыте Достоевского, «оконченной драме» «Жид Янкель», о которой автор обмолвился в письме к брату уже в 1844 году.

Случайно или нет, что из всего этого рукописного обилия не осталось ни одного листка, ни одной строчки? Конечно, хотелось бы вслед за братом Михаилом восторгаться трагедиями двадцатилетнего автора, но слова: «Я читал, с восхищением читал его драмы. Нынешней зимою они явятся на петербургской сцене», – адресованные Петру Андреевичу Карепину, опекуну Достоевских, имели значение скорее служебное, нежели поэтическое, и к тому же были буквальным исполнением просьбы брата Федора – поручиться за него перед строгим и далеким от поэзии опекуном[1].

Можно предположить, что прапорщик Достоевский по безалаберности и домашнему беспорядку утерял бесценные свидетельства своих первых опытов. Можно вообразить, что Достоевский как искушенный читатель вовремя охладил свой драматургический пыл, поняв, что сочиняемые им трагедии, в общем, уже написаны другими авторами. Можно, наконец, представить: оказавшись на свободе, он, по молодости лет, захотел ею воспользоваться и забросил до поры до времени свои литературные начинания.

Тридцать с лишним лет спустя Достоевский назвал свои юношеские драмы «детскими глупостями». Дело, однако, было вовсе не в качестве пьес. Дело было в том умонастроении, которое появилось у него, когда свобода могла наконец соединиться с призванием.

За то время, пока он пребывал в офицерских классах, но уже жил «вольно, одиноко, независимо», выяснились по крайней мере три обстоятельства, кото-

[1] См.: Достоевский в неизданной переписке современников // Литературное наследство. Т. 86. С. 365.

рым суждено было самым решительным образом повлиять на его писательскую и человеческую судьбу.

Первое было связано с Петербургом, который впервые открывался Достоевскому только теперь.

Книгочей и затворник, застенчивый нелюдим, еще недавно уклонявшийся от танцкласса и уроков пения, он вдруг сделался страстным театралом, завсегдатаем музыкальных концертов и балетных спектаклей. Он, который выпрашивал у родных копейки «на лагерь» – на сундучок для книг и бумаг, на лишнюю пару сапог, – готов был сорить деньгами, лишь бы попасть в Александринку, во французский и в немецкий театры. Он не пропустил ни одного из пяти концертов гастролировавшего в Петербурге в 1842 году Ференца Листа, отдавая за разовый билет до 25 рублей ассигнациями (сумму, едва ли не равную месячному жалованью мелкого чиновника).

Он с воодушевлением аплодировал заезжим знаменитостям – тенору Рубини, кларнетисту Блазу, скрипачу Оле-Булю и солистам русской оперы. Ему нравилось заказывать номер с роялем в ресторане на Невском и угощать приятелей роскошными обедами. Он, наконец, пристрастился к бильярду и вскоре научился красиво проигрывать.

И хотя такие модные петербургские забавы, как вечеринки в частных домах, балы и маскарады в Дворянском собрании, чаще всего отвергались им (по причине тогдашнего равнодушия к женскому полу), Достоевский, как уверял мемуарист, «при своей страстной натуре, при своей жажде все видеть, все узнать, кидался без разбора в те и другие развлечения»[1].

Выяснилось, таким образом, что литературные занятия могут быть не единственным его пристрастием.

Вторым обстоятельством стали деньги. Теперь, чем больше их было, тем быстрее они таяли. Однако у людей, которые знали прапорщика Достоевского в те годы, его непомерные траты вызывали недоумение.

[1] А.Е. Ризенкампф. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском // Литературное наследство. Т. 86. С. 329.

«Я жил с ним в одном лагере, – вспоминал однокашник Достоевского, будущий знаменитый географ граф П.П. Семенов-Тян-Шанский, – в такой же полотняной палатке... и обходился без своего чая (казенный давали у нас по утрам и вечерам, а в Инженерном училище один раз в день), без собственных сапогов, довольствуясь казенными, и без сундука для книг, хотя и читал их не менее, чем Ф.М. Достоевский. Стало быть, все это было не действительной потребностью, а делалось просто для того, чтобы не отстать от других товарищей, у которых были и свой чай, и свои сапоги, и свой сундук». По мнению графа, Достоевский боролся не с действительной нуждой, «а с несоответствием своих средств, даже не с действительными потребностями, а нередко с психопатическими запросами его болезненной воли»[1].

Безуспешно пытался приучить Достоевского к немецкой аккуратности и бережливости доктор Ризенкампф: кошельком инженер-прапорщика пользовались как своим и его денщик, и подруга денщика, прачка, и портной, и сапожник, и цирюльник. «Федор Михайлович принадлежал к тем личностям, около которых живется всем хорошо, но которые сами постоянно нуждаются. Его обкрадывали немилосердно, но, при своей доверчивости и доброте, он не хотел вникать в дело и обличать прислугу и ее приживалок, пользовавшихся его беспечностью»[2], – вспоминал мемуарист.

Многие сотни рублей, присылавшиеся опекуном, немедленно уходили в уплату разнообразных долгов, отнимались ростовщиками за проценты, выуживались бильярдными шулерами. Еще до того как он получил первое свое жалованье, привычка тратить без счета, не думая о завтрашнем обеде, приобрела опасные формы. И можно было только поражаться, с какой пугающей легкостью он расправился с двумя источниками дохода, будто стремясь и в самом деле испытать, что значит настоящая нужда.

[1] П.П. Семенов-Тян-Шанский. Мемуары. Т. 1. Детство и юность (1827–1855 гг.). Пг., 1917. С. 203.

[2] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 51.

Почти одновременно он ушел из чертежного департамента, прослужив всего год, в отставку и отказался от прав наследства за очень скромную, но немедленно выплаченную сумму. Уволенный от службы «по домашним обстоятельствам» поручиком, Достоевский (который «к повышению чина и к награждению знаком отличия беспорочной службы всегда аттестовался достойным. Отчеты, какие имел, представлял в срок. Жалобам не подвергался. Слабым в отправлении обязанностей службы и по званию начальника замечен не был и вопреки должной взыскательности по службе, беспорядков и неисправностей между подчиненными не допускал, оглашаем и изобличаем в неприличном поведении не был»[1] – так значилось в указе его величества государя императора Николая Павловича) тут же истратил полученные за долю наследства 500 рублей серебром и оказался абсолютно свободным и от обязательств, и от состояния.

И здесь резонно обратиться к т р е т ь е м у обстоятельству, ради которого он поступился и своим наследством и своим положением, – к литературе. Для того чтобы в полной мере осознать степень риска молодого Достоевского, который во имя литературного поприща сжег все корабли, надо бы задать простой вопрос. Что у него было, кроме веры в призвание, когда в 22 года он решился пожертвовать хоть и скромным, но обеспеченным будущим (75 рублей месячного жалованья, наградные, продвижение по службе)? Чем, имея в виду такой весомый аргумент, как рукопись, подготовленная к печати, он располагал?

Ответ выглядел бы так же просто, как вопрос: солидной рукописи, с которой можно было бы пускаться в свободное литературное плавание, не имелось; и разумеется, наброски двух трагедий в счет не шли.

Достоевский уже четыре года жил вне стен училища, целыми днями читал, выкуривал трубку за трубкой, мучился бессонницей, боясь летаргического сна, что-то писал по ночам, чаще всего сидел без денег, неделями питался лишь булочкой и молоком из соседней

[1] Ф.М. Достоевский. Письма. Т. I. С. 477.

лавки, где пока давали в долг, – словом, был полностью предоставлен самому себе. Но даже и близкие его приятели недоумевали, почему так долго не оправдываются всеобщие ожидания, почему многообещающий талант не дает о себе знать.

Наверное, его самолюбие немало страдало: все вокруг уже не только писали, но и публиковались. «Мне часто приходило в голову, – вспоминал Григорович, – как могло случиться, что я успел уже написать кое-что, это кое-что было напечатано, я считал уже себя некоторым образом литератором, тогда как Достоевский ничего еще не сделал по этой части?»[1] Не мог не заметить угнетенного состояния пациента и доктор Ризенкампф: «Время шло, и Федор Михайлович до 23-летнего возраста не заявил о себе еще ни одним печатным сочинением. Друзья его, как-то Григорович в 1844 году поставил уже на сцену две комедии, разыгранные с успехом; Паттон оканчивал перевод «Истории польского восстания Смиттена», Михаил Михайлович оканчивал перевод «Дона Карлоса» Шиллера; я сам помещал разные статейки на немецком языке... а Федор Михайлович, глубоко веривший в свое литературное призвание, изготовил сотни мелких рассказов, но не успел еще составить ни одного вполне оконченного литературного труда»[2].

Грозила ли ему перспектива остаться вечным читателем, глотателем книг? С изрядной долей ехидства намекал на это опекун Достоевского, упрекая его в равнодушии к родительской памяти и убеждая не оставлять службы. «Не Вы первый, а много, очень много людей, начинающих свое поприще по известным чистым, светлым и всегда отрадным правилам труда, прилежания и терпения, со способностями ума, коими одарил Вас Господь, с хорошим образованием, которое получили в заведении отличном, – Вам ли оставаться при софизмах портических, в отвлеченной лени и неге шекспировских мечтаний? На что они, что в них вещественного, кроме распаленного, раздутого,

[1] Д.В. Григорович. Литературные воспоминания. С. 89.
[2] А.Е. Ризенкампф. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском. С. 331.

распухлого – преувеличенного, но пузырного образа?»[1]

И напрасно отнес Достоевский на счет Шекспира выражение «мыльный пузырь», напрасно грубо ругал насмешливого опекуна: «Свинья-Карепин глуп как сивый мерин. Эти москвичи невыразимо самолюбивы, глупы и резонеры. В последнем письме Карепин ни с того ни с сего советовал мне не увлекаться Шекспиром! Говорит, что Шекспир и мыльный пузырь всё равно. Мне хотелось, чтобы ты понял эту комическую черту, озлобление на Шекспира. Ну к чему тут Шекспир?»

Шекспир был действительно ни к чему. Это не Шекспира, а его, Достоевского, укорял опекун забвением долга, никчемностью занятий, связанных с «рабским подражанием чужому видению». Это его призывал вернуться на «путь чести, труда уважительного, пользы общественной». «Оставьте излишнюю мечтательность и обратитесь к реальному добру, которого Бог весть почему избегаете; примитесь за службу с тем убеждением, которому поверите по опыту, что, сколь бы ни велики были наши способности, всё нужно еще при них некоторое покорство общественному мнению», – внушал ему Карепин. И, словно отвечая на самые сокровенные мысли своего легкомысленного подопечного о «тайне человека», он назидательно рекомендовал познавать ее именно на казенных, служебных дорогах. «Вы там поверите жизнь человеческую с различных ее фазов, тогда как теперь – знакомы только односторонне со школьной лавки – да книжных мечтаний?.. Почтовая кибитка, бурка и кусок битой говядины, приготовленной денщиком, всегда найдется за прогоны и царское жалованье. Зато сколько приятных ощущений при удачном исполнении своего долга; сколько отрады во внимании начальников, в любви и уважении товарищей, а далее награда, заслуженная трудом своим путем прямым, благородным»[2].

[1] Цит. по: Ф.М. Достоевский. Письма. Т. IV. С. 450.
[2] Цит. там же.

II

Свобода, которую получил Достоевский, выйдя из стен училища, на первых порах как будто обманула его; и еще до того, как появилось его первое произведение, он, может быть, по причине хронического и порою беспросветного безденежья стал смотреть на литературу иными глазами.

Кажется, он сделал все возможное и невозможное, чтобы вступить во взрослую, самостоятельную жизнь, именуя себя «литературным пролетарием» – то есть литератором-поденщиком, живущим на вольных хлебах, без постоянного дохода в виде ренты или жалованья. Так получилось, что его мечты о призвании – перед тем как он смог наконец осуществить их – несколько сместились: обстоятельства вынудили мечтать о высоких материях в категории рубля.

«...Я опять с 200 руб. серебром долгу. Из долгов как-нибудь нужно выбраться. Под сидяч камень вода не потечет», – сетовал Достоевский в канун Нового, 1844 года, когда были истрачены только что присланные опекунские 500 рублей и отдана доверенность ростовщику на получение вперед денег за первую треть наступающего года (на этой операции Достоевский потерял сто из трехсот рублей своего четырехмесячного жалованья).

Примерно с этого времени литературное дело стало представляться ему как некое грандиозное начинание, которое – если подойти к нему с умом и толком – не только вытащит из нищеты и кое-как прокормит, но и сделает богачом. «Ведь дошел же Пушкин до того, что ему за каждую строку стихов платили по червонцу, ведь платили же Гоголю, – авось и мне заплатят что-нибудь»[1], – так, по свидетельству очевидца, говаривал он. Ему грезились огромные издательские барыши, снились фантастические авторские гонорары, которые рано или поздно смогут исправить запутанные денежные дела и преобразить его неприютное сиротское существование.

[1] Цит. по: А.Е. Ризенкампф. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском. С. 330.

Литературное поведение еще не начавшего писать Достоевского удивительным образом было лишено той самой «неги шекспировских мечтаний», которой дразнил его опекун. Скорее в нем проглядывали ростки молодого и очень непрактичного авантюризма. «Судьба благословила меня идеею, предприятием, назови, как хочешь. Так как оно выгодно донельзя, то спешу тебе сделать предложение участвовать в трудах, риске и выгодах», – торопится порадовать он брата.

Предприятие выглядело и в самом деле весьма заманчиво: втроем (с братом и приятелем-однокашником Паттоном) нужно было перевести «Матильду», роман Эжена Сю, только что взбудоражившего воображение российского читателя «Парижскими тайнами». Учитывая, что некий книжный спекулянт, начавший два года назад переводить роман, успел опубликовать только $^1/_{16}$ часть, имело смысл перехватить инициативу. «Мы разделяем перевод на 3 равные части и усидчиво трудимся над ним. Рассчитано, что ежели каждый может переводить по 20 страничек Bruxell'-ского маленького издания «Матильды», то к 15 февраля кончит свой участок. Переводить нужно начисто прямо, то есть разборчиво... По мере выхода перевода он будет цензорован. Паттон знаком с Никитенко, главным цензором... Чтобы напечатать на свой счет, нужно 4500 руб. ассигнациями. Цены бумаги, типографии нами узнаны».

Ему нравилось ощущать себя профессионалом литературного дела, пусть даже и поденщиком: не как профан брался он за осуществление плана, а как бывалый, опытный литератор – узнавал цены на типографские услуги, договаривался с типографщиком о печатании тиража, обдумывал продажную цену одного экземпляра и просчитывал наиболее выгодные способы реализации издания. Ему казалось, что успех обеспечен – роман раскупится, тираж покроет все издержки печати и на руках останется чистый барыш.

Нечего и говорить, что затея (или, как точно называл ее сам предприниматель, афера) с треском провалилась – из-за «странных обстоятельств» с третьим

переводчиком, обещавшим, но не давшим начальный капитал для издания.

«К крайнему прискорбию моему, бесценный друг мой, – писал Достоевский брату, – скажу тебе, что дело, кажется, не пойдет на лад; – и потому прошу тебя повременить до времени и не переводить далее, доколе не получишь, милый мой, от меня более верного уведомления...»

У него то и дело рождались дерзновенные коммерческие проекты; он прилежно изучал тонкости типографского дела (сорта́ бумаги, типы шрифтов, качество набора); знакомился с новыми издателями и книгопродавцами, а также так азартно агитировал брата поддержать новое «несомненное» начинание, будто до этого им удалось хоть одно из них.

Успех – неизбежен, а неудача – случайна, считал он; когда же один за другим сорвались: перевод «Дона Карлоса»; издание всех переводов Шиллера; перевод романа Жорж Санд «Последняя Альдини» (уже заканчивая работу, Достоевский обнаружил, что еще в 1837 году «Библиотека для чтения» опубликовала адаптированный перевод романа), – так и сказал: «*Случился* со мной один неприятный *случай*».

Однако среди арифметических подсчетов («бумага плюс обертка плюс печать»), между восклицаниями, все еще полными энтузиазма («за успех ручаюсь головой», «малейший успех – и барыш удивительный»), рядом с сообщениями о разбогатевших конкурентах («Отчего Струговщиков уже славен в нашей литературе? Переводами... нажил состояние») как-то затерялись, а потом вышли наружу две удивительные новости – одна за другой.

Собственно, даже и не новости, а так, безделки, о которых Достоевский сообщал брату задним числом, мельком, едва ли не в постскриптуме.

Ибо, пока разрабатывалась «афера» с Эженом Сю, случилось первое неожиданное происшествие. «Нужно тебе знать, что на праздниках я перевел «Евгению Grandet» Бальзака (чудо! чудо!). Перевод бесподобный. – Самое крайнее мне дадут за него 350 руб. ас-

сигнациями. Я имею ревностное желание продать его, но у будущего тысячника нет денег переписать; времени тоже», – и Достоевский просил у брата 35 рублей на переписку.

Пока же он уговаривал Михаила переводить всего Шиллера, ожидал отставки, ссорился с опекуном, произошло (он написал об этом осторожно и мимоходом) нечто и впрямь из ряда вон выходящее: «У меня есть надежда. Я кончаю *роман* в объеме «Eugénie Grandet». Роман довольно оригинальный. Я его уже переписываю, к 14-му я наверно уже и ответ получу за него. Отдам в «Отечественные записки». (Я моей работой доволен.) Получу, может быть, руб. 400, вот и все надежды мои. Я бы тебе более распространился о моем романе, да некогда».

Впервые в его жизни наряду с мечтами, прожектами и отвлеченной верой в себя появились реальные сочинения. С ними он и вошел в большую литературу, определившись не как драматург и даже не как переводчик (опыт с Бальзаком был первым и последним), а как романист.

В том упорном и нерушимом молчании, каким он обставил писание первого романа (ни полслова о планах, ни строчки о работе), таилось, скорее всего, суеверное желание спрятать от посторонних глаз (даже от брата!) своих первенцев, Макара Девушкина и Вареньку Доброселову, заслонить их до времени яркими декорациями шиллеровских и жоржсандовских сочинений, которые он хотел взять для перевода.

Вряд ли он сам мог бы тогда объяснить, почему на фоне романтических героев и поэтических героинь из тех громких книг, которые так волновали его воображение, ему пригрезилась эта пара сирых горемык – мелкий немолодой чиновник-письмоводитель и живущая по соседству бесприданница-сирота.

Кажется, что-то менялось и в самом чтении. Книги, опыт писателей переставали быть источником романтических восторгов и исподволь становились вполне практическим пособием для собственного творчества. В разгар работы над «Бедными людьми»

Достоевский в письме к брату сообщил: «Ты, может быть, хочешь знать, чем я занимаюсь, когда не пишу, – читаю. Я страшно читаю, и чтение странно действует на меня. Что-нибудь, давно перечитанное, прочитаю вновь и как будто напрягусь новыми силами, вникаю во всё, отчетливо понимаю, и сам извлекаю умение создавать».

«Извлекаю умение создавать» – такова была новая читательская установка теперь уже не только читающего, но и пишущего Достоевского. Работа над «Бедными людьми», романом, который автор сначала «закончил» (ноябрь 1844-го), а затем «вздумал весь переделать: переделал и переписал» (декабрь 1844-го), потом «начал опять снова обчищать, обглаживать, вставлять и выпускать» (февраль 1845-го), потом «вздумал его еще раз переправлять, и, ей-Богу, к лучшему» (май 1845-го), – эта работа, перемежавшаяся со страстным чтением, довершила процесс превращения Достоевского-читателя в Достоевского-писателя. «Брат, в отношении литературы я *не тот*, что был тому назад два года. Тогда было ребячество, вздор. Два года изучения много принесли и много унесли».

III

РОЖДЕНИЕ писателя из читателя – одна из волнующих загадок творчества, равносильная чуду и тайне рождения новой жизни. Тот факт, что желаемое превращение может и не случиться, что писатель, потенциально присутствующий в каждом читателе, так никогда и не реализуется, сообщает этой тайне особую притягательность. Искус и соблазн творчества, жгучая потребность в самовыражении, которая видится каждому читателю в сочинительстве, мучительный путь, чаще всего неутешительный, приносящий куда больше потерь, чем обретений, – эта голгофа литературного честолюбия была, несомненно, одним из самых сильных впечатлений, пережитых Достоевским. И так же несомненно, что это впечатление вошло в плоть и кровь его первого романа.

«А хорошая вещь литература, Варенька, очень хорошая; это я от них третьего дня узнал. Глубокая вещь! Сердце людей укрепляющая, поучающая, и – разное там еще обо всем об этом в книжке у них написано. Очень хорошо написано! Литература – это картина, то есть в некотором роде картина и зеркало; страсти выраженье, критика такая тонкая, поучение к назидательности и документ». Эти простодушные слова произносил в «Бедных людях» Макар Девушкин. Как литература первый роман Достоевского был действительно картиной и зеркалом, в особенности же страстью и документом; тяга к литературному творчеству, страстная надежда на призвание, упорный труд начинающего автора зафиксировались в «Бедных людях» документально – в виде целой библиотеки «чужих рукописей».

Герои романа были погружены в безбрежную стихию эпистолярного сочинительства, хорошо знакомого Достоевскому, – когда на каждое письмо требуются многие часы тяжелого литературного труда: переписка для каждого из них оказывалась не просто потребностью любви, но и пробой пера. Макар Алексеевич простодушно признавался, что описания природы, образы и даже мечты в его письмах заимствованы: «...я это все взял из книжки».

Он тянулся к литературной компании своего соседа, чиновника Ратазяева, который «и о Гомере, и о Брамбеусе, и о разных у них там сочинителях говорит» и сочинительские вечера устраивает. «Сегодня собрание; будем литературу читать», – сообщал Девушкин своей корреспондентке и с восторгом описывал «литературу» первого в своей жизни знакомого писателя: «Ух как пишет! Перо такое бойкое и слогу пропасть... Мы табак курим, а он нам читает, часов по пяти читает, а мы всё слушаем. Объядение, а не литература! Прелесть такая, цветы, просто цветы; со всякой страницы букет вяжи!»

Пристально вглядывался Девушкин в быт, привычки, образ жизни соседа-литератора, искренне верил (как вместе с ним и автор романа) в фантастиче-

ские гонорары, в заманчивую соблазнительность поприща. «Да что, маточка, вы посмотрите-ка только, сколько берут они, прости им Господь! Вот хоть бы и Ратазяев, – как берет! Что ему лист написать? Да он в иной день и по пяти писывал, а по триста рублей, говорит, за лист берет. Там анекдотец какой-нибудь или из любопытного что-нибудь – пятьсот, дай не дай, хоть тресни, да дай! А нет – так мы и по тысяче другой раз в карман кладем!» С вдохновением и энтузиазмом истинного поклонника писательского таланта переписывал Макар Алексеевич для Вареньки отрывки из сочинений Ратазяева.

Все, что видел Девушкин в литературных собраниях, становилось материалом для писем и темой для размышлений: он приглядывался к завидному поприщу, примеривал его на себя – сначала с неподдельным ужасом, потом с тайной надеждой. От одной мысли, что он тоже сможет писать и сочинять «литературу», крепло и мужало его перо.

«А насчет стишков скажу я вам, маточка, что неприлично мне на старости лет в составлении стихов упражняться. Стихи вздор! За стишки и в школах теперь ребятишек секут» – так было в его первых письмах. Он самоумалялся и уничижался, уговаривая себя: не умею, не учен, не должен. «Сознаюсь, маточка, не мастер описывать, и знаю, без чужого иного указания и пересмеивания, что если захочу что-нибудь написать позатейливее, так вздору нагорожу».

Жалобы повторялись, но все чаще Девушкин проговаривался: «А вот у меня так нет таланту. Хоть десять страниц намарай, никак ничего не выходит, ничего не опишешь. Я уж пробовал».

Так приоткрывалась тайна литературной биографии героя «Бедных людей»: «пробовал» – но «слогу нет, ведь я это сам знаю, что нет его, проклятого; вот потому-то я и службой не взял, и даже вот к вам теперь, родная моя, пишу спроста, без затей и так, как мне мысль на сердце ложится... Я это всё знаю; да, однако же, если бы все сочинять стали, так кто же бы стал переписывать?»

Но тот, кто испытал искус чистого листа бумаги и остро отточенного пера, обречен быть вечным рабом своего пристрастия. Как осторожно пробивалась в письмах Девушкина его тайная страсть, как робко пытался он хоть в шутку вообразить себя в желанной роли! «Ведь что я теперь в свободное время делаю? Сплю, дурак дураком. А то бы вместо спанья-то ненужного можно было бы и приятным заняться; этак сесть бы да и пописать. И себе полезно и другим хорошо».

Пример других вдохновлял – и Макар Алексеевич упрашивал, умолял Вареньку, написавшую записки о детстве и юности, не бросать начатой работы, продолжить литературный труд: ему виделся в ее истории богатый сюжет.

Казалось, сам воздух Петербурга был напоен литературой, в каждом углу его таились или вовсю кипели литературные страсти. И как ни гнал их от себя Девушкин – он был с теми, кто писал, фантазировал, сочинял. В светлые и радостные минуты он высказывал вслух мучительно прекрасную мечту: «А что, в самом деле, ведь вот иногда придет же мысль в голову... ну что, если б я написал что-нибудь, ну что тогда будет? Ну вот, например, положим, что вдруг, ни с того ни с сего, вышла бы в свет книжка под титулом – «Стихотворения Макара Девушкина»! Ну что бы вы тогда сказали, мой ангельчик? Как бы вам это представилось и подумалось? А я про себя скажу, маточка, что как моя книжка-то вышла бы в свет, так я бы решительно тогда на Невский не смел бы показаться. Ведь каково это было бы, когда бы всякий сказал, что вот де идет сочинитель литературы и пиита Девушкин, что вот, дескать, это и есть сам Девушкин! Ну что бы я тогда, например, с моими сапогами стал делать?»

И взбудораженное воображение поэта рисовало Девушкину великосветских поклонниц и поклонников его таланта – «контессу-дюшессу» («ну что бы она-то, душка, сказала?»), графиню В., литературную даму («говорят, душка такая она»), Ратазяева, запросто бывающего у обеих. А там – страшно даже подумать, чтó могли сотворить с человеком медные трубы.

Читателем, конечно, Макар Алексеевич был совершенно неискушенным. Но каждую книжную историю он примеривал не только к своим собственным переживаниям, но и к своему перу. Вступаясь за «литературные пустячки» Ратазяева, оправдывая его перед Варенькой, Девушкин как бы наперед отстаивал свое право на сочинительство как на милую сердцу пристань, посланную судьбой. Ведь Ратазяев, какими бы сверхъестественными гонорарами он ни похвалялся, был соседом по трущобе – той, где чижики мрут; и был своим – маленьким сочинительствующим человечком: «Он себе особо, он так себе пописывает, и очень хорошо делает, что пописывает».

Когда же Девушкину судьба послала настоящие книжки – «Станционного смотрителя» и «Шинель», – у него уже имелся свой подход. «Это (историю Самсона Вырина. – *Л.С.*) читаешь, – словно сам написал, точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое уж оно там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал всё подробно – вот как! Да и дело-то простое, Бог мой; да чего! право, и я так же бы написал; отчего же бы и не написал? Ведь я то же самое чувствую, вот совершенно так, как и в книжке, да я и сам в таких же положениях подчас находился, как, примерно сказать, этот Самсон-то Вырин, бедняга. Да и сколько между нами-то ходит Самсонов Выриных, таких же горемык сердечных!»

История пушкинского смотрителя оставляла надежду – судьба гоголевского Башмачкина ее отнимала. «И для чего же такое писать? И для чего оно нужно?.. Прячешься иногда, прячешься, скрываешься в том, чем не взял, боишься нос подчас показать – куда бы там ни было, потому что пересуда трепещешь, потому что из всего, что ни есть на свете, тебе пасквиль сработают, и вот уж вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит, всё напечатано, прочитано, осмеяно, пересужено!»

Макар Алексеевич не только порицал Гоголя, не только называл его повесть «злонамеренной книжкой», но хотел переделать, переписать ее. «Я бы, на-

пример, так сделал...» – таким стал способ чтения Девушкина. «А лучше всего было бы не оставлять его умирать, беднягу, а сделать бы так, чтобы шинель его отыскалась...»

Жизнь, однако, сыграла с Девушкиным злую шутку. Его мечты о славе были жестоко высмеяны, от обиды и отчаяния он запил, едва не угодил в пасквиль и взбунтовался: «А ну ее, книжку, маточка! Что она, книжка? Она небылица в лицах! И роман вздор, и для вздора написан, так, праздным людям читать... И что там, если они вас заговорят Шекспиром каким-нибудь, что, дескать, видишь ли, в литературе Шекспир есть, – так и Шекспир вздор, всё это сущий вздор, и всё для одного пасквиля сделано!»

Да и сам мир литературы, к которому мечтал приобщиться Макар Алексеевич, оказался жестоким и вероломным. Здесь оскорбляли и унижали, травили и предавали. Здесь никто никого не щадил и минутная слава, если все-таки она приходила, не могла защитить от злобы и зависти. Здесь каждый был за себя – и каждый норовил втащить ближнего своего в пасквиль и анекдот.

Но путь был выбран – раз и навсегда. «Займемся литературой», – призывал Девушкин Вареньку, хотя знал уже, что все прежнее для него потеряно.

В пользу литературы оставался единственный аргумент: «Я буду писать, да и вы-то пишите... А то у меня и слог теперь формируется...»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Слава должна была прийти внезапно

I

Был ли первый роман Достоевского автобиографическим?

Двадцатитрехлетний инженер-поручик, дворянин, хорошего образования и блестящей литературной эрудиции, со способностями к сочинительству и со связями в петербургском литературном мире, мало чем походил на сорокасемилетнего пьющего чиновника, за тридцать лет беспорочной службы так и не поднявшегося выше переписывания бумаг. У автора и героя «Бедных людей» разная была бедность, разные литературные знакомства, разная судьба.

Но если считать, что сочинение – выдумка, фантазия – способно как-то влиять на жизнь автора, Достоевский писал крайне рискованную вещь. У него, как и у его героя, впереди была неизвестность, позади – лишь эпистолярные упражнения и заброшенные черновики. Между тем мечтавший о литературе Макар Девушкин терпел фиаско, и его слог «формировался» впустую. Достоевский сочинял образ пропащего человека, несчастного горемыки, которого постигла житейская катастрофа. Не боялся ли чего-то подобного вслед за героем и автор?

Как-то, в который раз «обчищая и обглаживая» свой роман, Достоевский обнаружил в газете «Русский инвалид» впечатляющую статистику: «Лессинг умер в нужде, проклиная германскую нацию. Шиллер никогда не имел 1000 франков, чтобы съездить взглянуть на Париж и на море. Моцарт получал всего 1500 франков жалования, оставив после смерти 3000 франков долгу. Бетховен умер в крайней нужде. Друг Гегеля и Шеллинга Гельдерлин принужден был быть школьным

учителем. Терзаемый любовью и нуждой, сошел с ума 32-х лет и дожил в этом состоянии до 76 лет. Гёльти, чистый поэт любви, давал уроки по 6 франков в месяц, чтобы иметь кусок хлеба. Умер молодым – отравился. Бюргер знал непрерывную борьбу с нуждою. Шуберт провел 16 лет в заключении и кончил сумасшествием. Граббе, автор гениальных «Фауста и Дон Жуана», в буквальном смысле умер с голода 32 лет. Ленц, друг Гете, умер в крайней нужде у одного сапожника в Москве. Писатель Зонненберг раздробил себе череп. Клейст застрелился; Лесман повесился; Раймунд – поэт и актер – застрелился. Луиза Бришман кинулась в Эльбу. Шарлотта Штиглиц заколола себя кинжалом. Ленау отвезен в дом умалишенных»[1].

«Только что прочел о немецких поэтах, умерших с голоду, холоду и в сумасшедшем доме. Их было штук 20, и какие имена! Мне до сих пор как-то страшно, – признавался Достоевский брату. – Нужно быть шарлатаном...»

Нужно быть шарлатаном, видимо, хотел сказать он, оборвав себя на полуслове, чтобы при таких примерах да иметь надежду. Нужно быть авантюристом, сумасбродом, чтобы жертвовать служебной карьерой ради химеры таланта, призрака славы. В его решимости было что-то отчаянное и дерзкое – как вызов судьбе, себе, родственникам, которые с полным основанием могли считать его бессовестным лентяем, избегающим службы и проматывающим отцовское наследство. Он просил от всех лишь одного: подождать.

«А что я ни делаю из своей судьбы – какое кому дело? Я даже считаю благородным этот риск, этот неблагоразумный риск перемены состояния, риск целой жизни – на шаткую надежду. Может быть, я ошибаюсь. А если не ошибаюсь?.. Я пойду по трудной дороге!»

Макару Девушкину в случае неудачи с литературой терять было нечего. Достоевский рисковал потерять даже то немногое, что имел.

И все-таки какая-то невидимая нить связывала

[1] А. Вейс. Поэты в Германии // Русский инвалид. 1845. № 64. 22 марта.

автора и героя, так что Достоевскому суждено было увидеть воплощение самых невероятных фантазий Макара Девушкина о грядущей литературной славе и пережить горечь самого из тягчайших его разочарований. Первый роман словно бы предопределил, предвосхитил, а может быть, и предсказал события, которые развернулись сразу после того, как в истории Девушкина была поставлена точка.

«Ну вот, например, положим, что вдруг, ни с того ни с сего, вышла бы в свет книжка под титулом – «Стихотворения Макара Девушкина»!.. Ну что тогда б было...»

Чего-то подобного, но только еще горячее, нетерпеливее ожидал, несомненно, и Достоевский. Громкая, шумная слава должна была прийти внезапно – после нескольких лет самолюбивого уединения, тайной и фанатичной работы, как награда за романтическую жертвенность праздностью и обыденным благополучием. Первое произведение решало все: быть или не быть, то есть писать или поставить на этом занятии крест. «Если мое дело не удастся, я, может быть, повешусь», – волновался он в марте 1845-го (роман после очередной переделки близился к концу), а через два месяца (роман был окончен) добавлял: «А не пристрою романа, так, может быть, и в Неву. Что же делать? Я уж думал обо всем. Я не переживу смерти моей idée fixe».

Трудно сказать, как бы сложилась его литературная судьба в случае неуспеха или если бы первый успех был скромно умеренным. Ведь он был всего-навсего автором незаконченных драматических этюдов, а метил в вершины, равнялся на гениев. Он не тешил себя мыслью о средненькой, пристойненькой удаче, о третьестепенном литературном имени. Он еще только доделывал «Бедных людей», но уже точно определил свое место в литературном ряду: «...я дал клятву, что коль и до зарезу будет доходить, – крепиться и не писать на заказ. Заказ задавит, загубит всё. Я хочу, чтобы каждое произведение мое было отчетливо хорошо. Взгляни на Пушкина, на Гоголя. Написали немного, а

оба ждут монументов. И теперь Гоголь берет за печатный лист 1000 руб. серебром, а Пушкин, как ты сам знаешь, продавал 1 стих по червонцу. Зато слава их, особенно Гоголя, была куплена годами нищеты и голода».

Слава, которая обрушилась на Достоевского в летние и осенние месяцы 1845 года, еще до публикации романа в некрасовском «Петербургском сборнике», была столь оглушительной, столь вызывающей, что превзошла самые дерзкие и фантастические ожидания дебютанта. По цепочке: Григорович – Некрасов – Белинский рукопись «Бедных людей» вошла в орбиту большой литературы, и об авторе, доселе никому не ведомом, первыми лицами литературной России были сказаны знаменательные слова: «Новый Гоголь явился!»

Что могло быть выше этого? Его сопоставляли с Гоголем, которого он боготворил, но при этом говорили: не в т о р о й Гоголь, а н о в ы й Гоголь! Сам Белинский, тогдашний законодатель мод и литературный генерал, признал в нем бесспорный талант, которому открылась тайна художественности и правда в искусстве. «Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!..» – так запомнил Достоевский его слова.

Нужно сказать, что слава эта не застала его врасплох. Он-то к ней был готов – как бы ничего другого и не ожидал. П.В. Анненков, с которым Белинский делился своими первыми впечатлениями о начинающем таланте, замечал, что Достоевский выслушивал наставления критика «благосклонно и равнодушно»[1].

Но, конечно, было от чего закружиться голове. Было чем при случае похвалиться перед братом и приятелями. Он будто торопился наверстать упущенное – торжествовал, коллекционировал комплименты, смаковал знаки внимания, купался в лучах славы и слегка презирал тех, кто с таким восторгом и увлечением возносил его до небес. В какой-то момент он, то ли паро-

[1] П.В. Анненков. Литературные воспоминания. М.: ГИХЛ, 1960. С. 283.

дируя, то ли имитируя бессмертные интонации гоголевского Ивана Александровича, так и сыпал: «Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчет меня страшное. Я познакомился с бездной народу самого порядочного. Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Соллогуб рвет на себе волосы от отчаяния. Панаев объявил ему, что есть талант, который их всех в грязь втопчет. Соллогуб обегал всех и, зашедши к Краевскому, вдруг спросил его: «Кто этот Достоевский? Где мне *достать Достоевского*?..» Аристократишка теперь становится на ходули и думает, что уничтожит меня величием своей ласки. Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоевский то-то сказал, Достоевский то-то хочет делать. Белинский любит меня как нельзя более... Тургенев влюбился в меня...»

Но сочинитель Хлестаков («литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге») все насчет своей знаменитости («да меня уже везде знают»), как известно, врал. А сочинитель Достоевский, напротив, говорил истинную правду – и про В.Г. Белинского, и про В.А. Соллогуба, и про В.Ф. Одоевского. Разве для красоты слога чуть-чуть преувеличивал.

Да, Соллогуб, граф, популярный беллетрист и человек «большого света», действительно выпросил у Краевского адрес молодого автора и без приглашения явился к нему, чтобы выразить «в восторженных словах то глубокое и вместе с тем удивленное впечатление, которое произвела его повесть, так мало походившая на все, что в то время писалось». «Я сейчас же к нему поехал и нашел в маленькой квартире на одной из отдаленных петербургских улиц, кажется на Песках, молодого человека, бледного и болезненного на вид. На нем был одет довольно поношенный домашний сюртук с необыкновенно короткими, точно не на него сшитыми, рукавами... Он сконфузился, смешался и подал мне единственное находившееся в комнате старенькое, старомодное кресло. Я сел, и мы разгово-

рились... Я тотчас увидел, что это натура застенчивая, сдержанная и самолюбивая, но в высшей степени талантливая и симпатичная»[1]. И Достоевский действительно отвечал на вопросы «скромно и даже уклончиво», приглашение же запросто пообедать у графа не принял[2].

Да, князь Одоевский звал к себе, но Достоевский отказывал и ему, ссылаясь на занятость.

Да, Белинский до того увлекся, что поставил автора «Бедных людей» даже выше Гоголя.

«Наши» же (то есть кружок Белинского и Некрасова) оберегали новое дарование от назойливых антрепренеров, бранили его за беспорядочную жизнь, заботились о его литературном лице.

Все было чистой правдой: «Нельзя мне рассказать что-нибудь из них хоть Тургеневу, например, чтобы назавтра почти во всех углах Петербурга не знали, что Достоевский пишет то-то и то-то». И, учитывая ту настоящую, сказочную удачу, которая свалилась на него в тот год, он держался с близкими почти скромно. «Ну, брат, если бы я стал исчислять тебе все успехи мои, то бумаги не нашлось бы столько».

II

УПОЕНИЕ собственной славой было тем полнее, чем громче гремели медные трубы. И конечно, он не удержался от искушения – стал бывать в «большом свете», пошел и к Соллогубу, и к Одоевскому, и к другим своим тогдашним именитым почитателям. Деньги, которые он получал от издателей, несчетно тратились на «Минушек, Кларушек и Марианн», и все видели, что он не на шутку влюблен в А.Я. Панаеву, светскую львицу и хозяйку литературного салона. Трижды за это время (с осени 1845-го по осень 1846-го) он писал брату: «Слава моя достигла до апогеи». Дважды признался: «Время я провожу весело», «мне очень хорошо

[1] В.А. Соллогуб. Воспоминания // Исторический вестник». 1886. № 6. С. 561–562.

[2] См. там же. С. 562.

жить». Один раз, окончательно уверовав в свою звезду, даже воскликнул: «А у меня будущность преблистательная, брат!»

Анненков, один из первых свидетелей его триумфа, был прав: слава не только не испортила Достоевского, но и все расставила по местам. Успех романа «сразу оплодотворил в нем те семена и зародыши высокого уважения к самому себе и высокого понятия о себе, какие жили в его душе»[1]. Белинский заблуждался, думая, что приветил новичка; «совсем уже сформировавшийся автор» уже более не сомневался в себе и не колебался в выборе судьбы. Как-то сразу, едва только за ним признали право называться писателем, он почувствовал себя профессионалом, с закоренелыми привычками работы и удивительно хладнокровным отношением к критике.

Его совсем не пугала литературная брань! Пусть ругают, лишь бы печатали и читали, пусть спорят, лишь бы покупали его вещи: «Сунул же я им всем собачью кость! Пусть грызутся – мне славу дурачье строят». И опять же – неистовство публики («ругают $3/4$ читателей, но $1/4$... хвалит отчаянно») его интересовало лишь в одной связи: «Все мы знаем, как встречали Пушкина.... Так было и с Гоголем. Ругали, ругали его, ругали – ругали, а все-таки читали и теперь помирились с ним и стали хвалить».

Кроме того, упиваясь славой, он не переставал работать. «Бедные люди» только-только были переданы в цензуру, а уже сочинялся «Двойник», и автор уже не молчал и не таился. О Голядкине знали; но его появления на свет еще только ждали, а знаменитый сочинитель уже писал нечто очень смешное для «Зубоскала» и за одну ночь настрочил «Роман в девяти письмах» в половину печатного листа – и продал работу за 125 рублей ассигнациями, и читал ее на многолюдном вечере у Тургенева.

Ему очень хотелось жить полной жизнью, не быть одиноким, иметь свою литературную компанию, где бы его понимали и ценили. Впервые в жизни он

[1] П.В. Анненков. Литературные воспоминания. С. 284.

осваивал понятия: «наши», «в нашем круге», «наш кружок пребольшой», «наши все», «свои, наши, Белинский», – и, видит Бог, ему нравилось быть своим среди своих. Он расцветал со «своими» – и дружеское участие вызывало в нем ответные чувства. Он был готов любить всех членов кружка; писал для некрасовского «Зубоскала» пресмешные объявления, хлопотал по семейным делам Белинского и хотел ответить на расположение к нему Тургенева самой пылкой любовью. «Но, брат, что это за человек? Я тоже едва ль не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет, – я не знаю, в чем природа отказала ему? Наконец: характер неистощимо прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе».

Вряд ли чудесное явление Достоевского русской литературе 1845 года продержалось бы долго – эффект чуда длится мгновение. Со временем, наверное, чудо бы примелькалось.

Однако история триумфального появления и чудесного возвышения на литературном Олимпе Достоевского раннего завершилась в духе Достоевского позднего – скандалом и падением триумфатора. Будто аукнулось из «Бедных людей»: «И они ходят, пасквилянты неприличные, да смотрят, что, дескать, всей ли ногой на камень ступаешь али носочком одним...» Из-за них, пасквилянтов, обиделся Макар Девушкин на всю литературу, будто напророчил...

Спустя годы Панаева, женщина, отмеченная многими талантами, среди которых не последнее место занимало тонкое психологическое чутье, вспоминала: «С появлением молодых литераторов в кружке беда была попасть им на зубок, а Достоевский, как нарочно, давал к этому повод своею раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах; особенно на это мастер был Тургенев – он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда

нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался»[1].

Нервный, впечатлительный и подозрительный, он со своим «неограниченным самолюбием и честолюбием» стал предметом самых изощренных насмешек.

Смеялись свои, то есть «наши». В ход было пущено все: и его невзрачный вид, и воспаленный тон, и дерзкое равнение на Пушкина с Гоголем, и позорные обмороки при виде петербургских красавиц «большого света».

Похоже, «наши» только и ждали сигнала Белинского. И тот, следуя убеждению говорить правду, и только правду, зная, что кружок повторяет каждое его слово, в письме к Анненкову сокрушался: «Не знаю, писал ли я Вам, что Достоевский написал повесть «Хозяйка», – ерунда страшная! В ней он хотел помирить Марлинского с Гофманом, подбавивши немного Гоголя... Каждое его новое произведение – новое падение. В провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о «Бедных людях»; я трепещу при мысли перечитать их. Надулись же мы, друг мой, с Достоевским-гением»[2].

После этого «нашим» стало можно все.

Григорович: «На него посыпались остроты, едкие эпиграммы, его обвиняли в чудовищном самолюбии, в зависти к Гоголю, которому он должен бы был в ножки кланяться, потому что в самых хваленых «Бедных людях» чувствовалось на каждой странице влияние Гоголя»[3].

Панаева: «Тургенев стал сочинять юмористические стихи на Девушкина, героя «Бедных людей», будто бы тот написал благодарственные стихи Достоевскому за то, что он оповестил всю Россию об его существовании...»[4]

Литература и жизнь будто поменялись местами: Тургенев выступал в роли пасквилянта Ратазяева, Ма-

[1] А.Я. Панаева (Головачева). Воспоминания. М.: ГИХЛ, 1956. С. 143.

[2] В.Г. Белинский. Полное собрание сочинений. В 13-ти тт. Т. XII. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 467.

[3] Д.В. Григорович. Литературные воспоминания. С. 135.

[4] А.Я. Панаева (Головачева). Воспоминания. С. 144–145.

кар Девушкин – в роли незадачливого сочинителя Достоевского. От этих превращений остались ядовитые стихи, сочиненные Тургеневым и Некрасовым якобы от имени Белинского, и тяжелое, горькое разочарование Достоевского в «бессердечных и ничтожных людях», которые сначала провозгласили автора-новичка гением, а потом назвали прыщом на носу литературы.

Вскоре при встрече с «нашими» бывший их «кумирчик» (как через десять лет назовет Достоевского И.И. Панаев) уже перебегал на другую сторону улицы: трудно было жить с самолюбием непризнанного гения, но совсем невыносимо – с чувством развенчанного кумира, на поверку знатоков-экспертов оказавшегося пустым местом.

Впору было задуматься об итогах дебюта и скорректировать свое литературное поведение.

Его убивала мысль, что своими творческими намерениями он обманул ожидания кружка и стал смотреть на «Двойника» их глазами. Нужно было как-то эмансипироваться и не зависеть ни от книгопродавцев, ни от литературных авторитетов – только в этом случае оставался шанс не повторять старых тем и полностью принадлежать себе. Он забросил обещанную «господам современникам» повесть «Сбритые бакенбарды», считая, что в его положении однообразие – верная гибель. Он извлек премудрое правило для начинающего таланта – дружба с «проприетерами изданий» себе в убыток, ибо «необходимым следствием исходит кумовство и потом разные сальности». Еще хуже была финансовая зависимость, обращавшая писателя в литературного поденщика и раба.

Принципы были хорошие, но стремление работать в чистоте сердца для святого искусства наталкивалось на обязательства «Отечественным запискам» и на собственные прожекты, которые и на этот раз лопались один за другим: не состоялось отдельное издание «Двойника», не осуществилось намерение издать избранные сочинения (то есть «Бедных людей» вместе с «Двойником»), которые, по его расчетам, могли доставить немалую прибыль.

После звездного начала его положение в литературе вновь оказывалось двусмысленным и ненадежным: как у всякого поденщика, работы было по горло; долги опутывали по рукам и ногам; мелкие чиновники – сумасшедшие, нищие, жалкие его герои – набили оскомину; странная, тревожная, лихорадочная «Хозяйка» была признана «нашими» мерзостью и ходульной ерундой.

На каких дорогах нужно было ему искать себя? «Вот уже третий год литературного моего поприща я как в чаду. Не вижу жизни, некогда опомниться; наука уходит за невременьем. Хочется установиться. Сделали они мне известность сомнительную, и я не знаю, до которых пор пойдет этот ад».

Ему казалось, что «друзья-современники» решительно стараются похоронить его и что он сам завел процесс со всей современной литературой. Он как мог успокаивал себя, находя даже и преимущества в положении низвергнутой знаменитости, – «разложение моей славы в журналах доставляет мне более выгоды, чем невыгоды».

Между тем действительно ругательных рецензий в печати разного толка было великое множество. Наслушавшись гимнов и дифирамбов в свою честь, он наталкивался теперь только на брань и разносы: «Бесцветно, однообразно, скучно, бесконечно растянуто, смертельно утомительно. Многословно, тяжело, плохо, слабо. Грех против художественной совести; скучный кошмар после жирного ужина. Расплывчато, слезливо, болезненно-сентиментально. Мелко, микроскопично, ничтожно».

Самыми обидными (хотя он бодрился и старался не поддаваться унынию) были резюме: «Где талант, который видели мы в первой повести? Или его стало только на одну? Недолго польстил надеждою г. Достоевский; скоро обнаружил он себя»[1]; «Искренне сожалеем о молодом человеке, так ложно понимающем искусство и, очевидно, сбитом с толку литературною

[1] Московский литературный и ученый сборник на 1847 год. М., 1847. С. 36.

«котериею», из видов своих выдающею его за гения»[1]; «Беда таланту, если он свою художественную совесть привяжет к срочным листам журнала и типографские станки будут из него вытягивать повести»[2].

Это были не нападки, не критика. Его прилюдно уничтожали, размазывали по стенке, растирали в пыль. Само его появление в литературе трактовалось как непростительная ошибка – «шел в комнату, попал в другую». У иных писателей одно сильное и яркое произведение способно на инерции успеха вытащить два, а то и три посредственных, если таковые случались. А у него всякая следующая вещь выходила – если верить критикам – настолько хуже предыдущих, что была способна погубить не только первую, несомненную, но и литературную репутацию вообще.

Ему никогда не хотелось быть литератором средней руки – из тех, кого охотно печатают журналы и альманахи, кого приглашают для участия в чтениях и кто в перечне публикующихся авторов бывает упомянут на нестыдном девятом месте. И хотя все же он не страдал манией величия, но и довольствоваться чем-нибудь прилично скромненьким не желал.

«У меня есть ужасный порок: неограниченное самолюбие и честолюбие», – то и дело повторял он. Трудно сказать, в какой степени этот порок мешал или помогал таланту, но в случае Достоевского оскорбленное самолюбие, требуя компенсации, жаждало вернуть общественное признание, а честолюбие искало новых подтверждений собственной гениальности.

Что и говорить: занятие коварное, если и вовсе не пагубное, будь оно направлено вовне, на сплетни, интриги и козни.

III

ЗВАНИЕ талантливого писателя первого ряда он, однако, пытался вернуть иначе.

От комической переписки двух шулеров («Роман

[1] Северная пчела. 1846. № 47. 28 февраля.
[2] Москвитянин. 1846. № 2. С. 174.

в девяти письмах») к физиологическому очерку о нищем чиновнике-скопидоме («Господин Прохарчин»); далее, в корне меняя тематику и творческую манеру, – к фантастической «Хозяйке», а от нее снова к рассказу-очерку о добровольном шуте; от сентиментально-психологической темы в «Слабом сердце» к чисто водевильным приемам в рассказе об обманутом муже («Чужая жена и муж под кроватью»), а от водевиля – к очерку-фельетону («Честный вор») и просто фельетону («Елка и свадьба») и опять, от стилистики петербургского фельетона к камерной лирике поэтических «Белых ночей» – таков общий контур его поисков.

Все попробовать, испытать свои силы, найти свой путь в литературе и утвердиться на нем – это было не самое плохое применение «неограниченного честолюбия». Во всяком случае, к тому времени, когда он приступил к «Неточке Незвановой», разница между злобным, заносчивым самолюбием и мужественным, терпеливым честолюбием была ему хорошо понятна.

В первый раз гибельные крайности своего «ужасного порока» он передавал персонажам, заставляя их метаться между трудом и гордыней. Драма артиста, сомневавшегося в своем таланте, а потом убедившегося в его потере, разыгрывалась в «Неточке» не только при сочувствии автора, но и как бы под углом зрения его печального опыта.

И коль скоро вблизи Достоевского не оказалось никого, кто бы в тяжелое время сказал ему нужные слова об участи всякого таланта, эти слова он сочинил сам.

Скрипач Б., добившийся известности благодаря неустанному труду, наставлял приятеля, талантливого дилетанта, страдающего от своей гордыни, на путь истины и подлинного искусства: «...начинай сызнова, с азбуки. Что тебя мучит? бедность, нищета? Но бедность и нищета образуют художника. Они неразлучны с началом. Ты еще никому не нужен теперь, никто тебя и знать не хочет; так свет идет. Подожди, не то еще будет, когда узнают, что в тебе есть дарование. Зависть, мелочная подлость, а пуще всего глупость налягут на

тебя сильнее нищеты. Таланту нужно сочувствие, ему нужно, чтоб его понимали, а ты увидишь, какие лица обступят тебя, когда ты хоть немного достигнешь цели. Они будут ставить ни во что и с презрением смотреть на то, что в тебе выработалось тяжким трудом, лишениями, голодом, бессонными ночами. Они не ободрят, не утешат тебя, твои будущие товарищи; они не укажут тебе на то, что в тебе хорошо и истинно, но с злою радостью будут поднимать каждую ошибку твою, будут указывать тебе именно на то, что у тебя дурно, на то, в чем ты ошибаешься, и под наружным видом хладнокровия и презрения к тебе будут как праздник праздновать каждую твою ошибку (будто кто-нибудь был без ошибок!). Ты же заносчив, ты часто некстати горд и можешь оскорбить самолюбивую ничтожность, и тогда беда – ты будешь один, а их много; они тебя истерзают булавками... Ободрись же теперь!»

Конечно, это была его собственная исповедь. Или проповедь, обращенная к самому себе. Это было его очень личное, глубоко пережитое чувство горечи – как итог трех лет работы в литературе.

Сознавал ли Достоевский, что монолог, сочиненный им для второстепенного персонажа новой повести, содержал некую угрозу для автора, пророчил опасные повороты его судьбы?

Таланту нужно сочувствие, а он был изгнан из своего круга. Ему необходимы были спокойствие и уверенность в себе, а он встречал лишь поношение всех своих новых работ. Он только начал свое поприще, а уже был душевно надорван, болен, измучен. В словах скрипача из «Неточки Незвановой» звучала его собственная тревога: «...и тогда беда – ты будешь один...»

Он не хотел быть один, без дружеского совета и участия. От литературных генералов и «проприетеров изданий» его потянуло к простым и добрым людям, «с превосходным сердцем, с благородством, с характером». «Они меня вылечили своим обществом», – писал он о кружке братьев Бекетовых, с которыми даже поселился вместе на одной квартире (зная старшего из братьев еще по Инженерному училищу). В этом круж-

ке, как и в кружке братьев Майковых, Аполлона и Валериана, которые относились к его писаниям с благожелательным уважением, он успокаивался: здесь его любили и ценили, здесь было общество друзей и сочувствующих единомышленников.

Из кружка Белинского его изгнали за «вероотступничество»: маститые литераторы, руководимые неистовым критиком, не потерпели измены направлению – как было расценено увлечение романтическим психологизмом в ущерб социальному обличению. А в обществе Бекетовых и Майковых Достоевский и сам был маститым, и молодые, еще безвестные авторы, жаждавшие развития, безоговорочно признавали его литературный и художественный авторитет.

Жестокая обида на гонителей, «вымещавших на нем свою собственную ошибку», гнала его прочь от литературных законодателей, заставляла искать знакомства в иных сферах. Смерть Белинского в мае 1848 года, казалось, навсегда отрезала возможность выиграть спор, затеянный Достоевским со всей русской литературой. Но слава, которую составили автору первого в России социального романа его бывшие покровители, все-таки успела сыграть свою роковую роль.

IV

Еще весной 1846 года, когда он был на вершине своего первого успеха, с ним завел знакомство – буквально на улице, не будучи представленным – известный всему Петербургу странный и эксцентричный человек, хозяин «пятниц» в собственном доме М.В. Буташевич-Петрашевский. И только через два с половиной года, осенью 1848-го, Достоевский стал его постоянным гостем: уехали из Петербурга братья Бекетовы, скоропостижно скончался Валериан Майков, своего кружка больше не было и идти было некуда.

...Когда через восемь месяцев их всех, активистов «пятниц», арестуют и будут судить, окажется, что среди подсудимых есть офицеры гвардейских полков, чиновники небольших рангов, неслужащие дворяне, сту-

денты, начинающие литераторы (Плещеев, Дуров, Пальм). Но никого из «наших» – литературных знакомцев Достоевского по обличительному направлению – здесь он не увидит. По злой насмешке судьбы Достоевский встанет перед судом за взгляды, которые не слишком и разделял, за идеи, в которых сомневался, за деятельность, которую оспаривал. По самой высокой мерке будет он наказан за свое неосторожное присутствие в вольнодумных кружках, за любопытство и беспечность, за свою роковую увлеченность теми, с кем он спорил и дискутировал.

Он не мистифицировал судей и не кривил душой, когда писал объяснение для судебного процесса: «Для меня никогда не было ничего нелепее республиканского правления в России. Всем, кто знает меня, известны на этот счет мои идеи... Да и кто у нас думает о республике?..»

Он мужественно держался на допросах. Он не сказал ничего лишнего, что могло бы пойти во вред товарищам-однодельцам, был осмотрителен, осторожен, сдержан. «Умный, независимый, хитрый, упрямый» – так говорили о нем судьи. Он честно объяснялся с ними: «Я желал многих улучшений и перемен. Я сетовал о многих злоупотреблениях. Но вся основа моей политической мысли была – ожидать этих перемен от самодержавия... Что же касается до социального направления, то я никогда и не был социалистом, хотя и любил читать и изучать социальные вопросы... Социализм предлагает тысячи мер к устройству общественному, и так как все эти книги писаны умно, горячо и нередко с неподдельною любовью к человечеству, то я с любопытством читал их. Но именно оттого, что я не принадлежу ни к какой социальной системе, а изучал социализм вообще, во всех системах его, именно поэтому я... вижу ошибки каждой социальной системы. Я уверен, что применение хотя которой-нибудь из них поведет за собою неминуемую гибель. Я уже не говорю у нас, но даже во Франции. Это мнение было не раз выражено мной».

Он был петрашевцем в той степени, в какой быть

вольнодумцем – значит рассуждать об общих вопросах. И ему был дан некий страшный, чудовищно несправедливый урок: пришлось держать ответ за последний прижизненный спор двух литераторов, одного из которых он боготворил, но лично не знал и второго, который его фактически изгнал из большой литературы.

Военный суд находил подсудимого Достоевского «виновным в том, что он, получив в марте месяце сего года из Москвы от дворянина Плещеева (подсудимого) копию с преступного письма литератора Белинского, – читал это письмо в собраниях: сначала у подсудимого Дурова, потом у подсудимого Петрашевского и, наконец, передал его для списания копий подсудимому Момбелли... А потому военный суд приговорил его, отставного инженер-поручика Достоевского, за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского... лишить, на основании Свода военных постановлений... чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием»[1].

...Он уже полтора года не писал брату – Михаил, выйдя в отставку осенью 1847-го, поселился в Петербурге. В июле 1849-го переписка возобновилась – из Петербурга в Петропавловскую крепость и обратно. Истекал третий месяц заключения; неожиданно для самого себя Достоевский не сошел с ума и не пал духом. «Я времени даром не потерял, выдумал три повести и два романа; один из них пишу теперь...» – сообщал он Михаилу вместе с подробностями о своем здоровье и настроении. Он будто заново открывал себя: тайна человека, упрятанного в одиночную камеру, открывалась с неожиданной стороны. Счастье, когда позволяли гулять в саду, в котором «почти семнадцать деревьев». Праздник, когда разрешали свечу по вечерам. Верх блаженства, если с воли присылали номера «Отечественных записок», а также французскую и славянскую «Библию». Радость, когда стояли ясные дни – и каземат не смотрел так сурово.

[1] Цит. по: Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений. В 30-ти тт. Т. 18. С. 189.

И вообще: «В человеке бездна тягучести и жизненности, и я, право, не думал, чтоб было столько, а теперь узнал по опыту...»

Восемь месяцев заключения, когда приходилось жить «своими средствами», то есть одной головой («вечное думанье, и одно только думанье, безо всяких внешних впечатлений»), дались нелегко. «Я весь как будто под воздушным насосом, из которого воздух вытягивают. Всё из меня ушло в голову, а из головы в мысль, всё, решительно всё...»

Однако оказалось, что в самые тяжкие минуты жизни он, закоренелый ипохондрик, с надорванными нервами, испорченным желудком, вечно больным горлом, мог проявлять редкую душевную стойкость, хладнокровие, мужество. Из каземата он утешал брата: «Грешно впадать в апатию. Усиленная работа con amore – вот настоящее счастье. Работай, пиши, – чего лучше!»

Он перестал бояться летаргического сна (как это было с ним в ранней молодости), перестал находить у себя бесчисленные болезни. Спустя много лет он рассказывал Вс. С. Соловьеву, молодому поэту и критику: «Когда я очутился в крепости, я думал, что тут мне и конец, думал, что трех дней не выдержу, и – вдруг совсем успокоился. Ведь я там что делал?.. я писал «Маленького героя» – прочтите, разве в нем видно озлобление, муки? Мне снились тихие, хорошие, добрые сны, а потом, чем дальше, тем было лучше! О! это большое для меня было счастье: Сибирь и каторга! Говорят: ужас, озлобление, о законности какого-то озлобления говорят! ужаснейший вздор! Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью, я там себя понял... Христа понял... русского человека понял и почувствовал, что и сам русский, что я один из русского народа. Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову, теперь они возвращаются, да и то не так ясно»[1].

22 декабря 1849 года газета «Русский инвалид» опубликовала приговор. В нем значилось: «Горсть лю-

[1] Вс. С. Соловьев. Воспоминания о Ф.М. Достоевском // Исторический вестник. 1881. № 3. С. 615.

Письмо Ф.М. Достоевского брату Михаилу из Петропавловской крепости в день казни

дей, совершенно ничтожных, большею частию молодых и безнравственных, мечтала о возможности попрать священнейшие права религии, закона и собственности...» В этот же день, ближе к вечеру, один из «ничтожных, молодых и безнравственных» писал из каземата прощальное – перед каторгой – письмо. «Брат! я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть *человеком* между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть – вот в чем жизнь, в чем задача ее».

Он прощался с Михаилом и просил у него прощения, ободрял его и бодрился сам. Он горевал о том, что не дорожил драгоценными минутами жизни, тратил этот дар на суету и роковые заблуждения. Он обещал брату не терять надежды и клялся дожить до мгновения, когда они вновь встретятся и обнимут друг друга. Кроме семьи Михаила, сестер и братьев, он мог передать привет лишь Майковым и доктору Яновскому – больше у него никого не было. Он готов был у всех просить прощения и сам прощал всех, с кем когда-либо поссорился: «Нет желчи и злобы в душе моей, хотелось бы так любить и обнять хоть кого-нибудь из прежних в это мгновение».

Кого из п р е ж н и х он имел в виду? Белинского не было в живых уже полтора года. Тургенев, утверждавший, что письмо Белинского (то самое, за которое Достоевский шел на каторгу) – это вся его религия[1], с начала 1847 года поселился за границей, сблизился с семьей певицы Полины Виардо и все российские неприятности переживал вместе с ней в Париже. Некрасов сошелся с Панаевой, в которую безнадежно и безответно был влюблен Достоевский в дни своего былого триумфа.

Но не злоба на «прежних», «наших» мучила Достоевского в те два дня, когда после приговора он готовился к отправке в Сибирь. Сводила с ума лишь одна мысль: «Неужели никогда я не возьму пера в руки?..

[1] См.: Дневник В.С. Аксаковой / Ред. и прим. кн. Н.В. Голицына и П.Е. Щеголева. СПб.: Огни, 1913. С. 42.

Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольется! Да, если нельзя будет писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заключения и перо в руках».

В день отъезда, 24 декабря, ему разрешили попрощаться с братом. Только Михаил был способен понять весь ужас положения: в течение четырех лет его знаменитому брату можно было лишь читать – немногие разрешенные книги. У Михаила в глазах стояли слезы, дрожали губы, а младший брат утешал его: «...выйду из каторги – писать начну. В эти месяцы я много пережил, в себе самом много пережил, а там впереди-то что увижу и переживу; будет о чем писать»[1].

В страданиях приговоренного к смерти он готов был видеть сюжет для биографии персонажа. В каторжном остроге надеялся обрести темы будущих сочинений, ради которых имело смысл перенести все испытания. Конечно, это была страсть, мономания, род недуга. Но когда эта страсть оказывалась сильнее страданий, судьба вдруг являла ему свою благосклонность. И кроме того: из той самой жестокой логики, применяемой к гению, следовал безжалостный вывод: не было бы опыта 1849 года – не было бы «Бесов».

...Рождественской ночью на него впервые надели кандалы и посадили в открытые сани, вместе с жандармом и фельдъегерем. Он прощался с Петербургом, празднично освещенным, с каждым домом в отдельности. Он знал, что жена и дети Михаила отправились на елку к редактору «Отечественных записок». «У Краевского было большое освещение... И вот у этого дома мне стало жестоко грустно».

[1] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 124.

ГЛАВА ПЯТАЯ

От сумы да от тюрьмы...

I

ЖЕСТОКОЕ наказание, которому, по воле российского монарха, подвергался один литератор за публичное чтение письма другого литератора к третьему, помимо прямой политической и исправительной цели имело вид некоего изощренного надругательства над судьбой государственного преступника Достоевского. Будто кто-то долго и пристально следил за ним, выведывал его жизненные планы, проникал в честолюбивые замыслы, угадывал литературные мечтания и человеческие надежды, а затем, зло посмеявшись, все отнял в одночасье.

«Та голова, которая создавала, жила высшею жизнию искусства, которая сознала и свыклась с возвышенными потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих», – писал Достоевский в ночь после казни на Семеновском плацу.

«Та голова»... Будто кому-то очень нужно было сурово проучить ее владельца – не зарекайся, мол, от сумы да от тюрьмы.

Он жаждал свободы в самом полном смысле этого слова – а был лишен ее в самом узком. Он пожертвовал всем во имя призвания – а у него насильно отняли право писать. Он отказался от уважаемого и обеспеченного офицерского поприща в столичном военно-инженерном департаменте – а взамен получил солдатчину в отдаленном сибирском захолустье. Он с шестнадцати лет тяготился военной муштрой и предполагал, что навсегда расстался с «фрунтом», – а попал на военную каторгу и в линейный батальон. Он успел привыкнуть к одинокой, независимой жизни и страстно нуждался в уединении – а был принужден к ежеминутному, и днем и ночью, в течение четырех лет, пре-

быванию в казарме, в «насильственном этом коммунизме». Он хотел иметь друзей и единомышленников, нуждался в родной и понимающей душе – а очутился среди уголовников: «...шум, гам, хохот, ругательства, звук цепей, чад и копоть, бритые головы, клейменые лица, лоскутные платья, все – обруганное, ошельмованное...» Наконец, после разрыва с Белинским он намеревался вернуть себе первоначальную славу, вновь добиться общественного признания – однако карьера «нового Гоголя» продолжилась в остроге, на нарах и каторжных работах.

Десять лет минуло с той поры, когда он написал брату: «Человек есть тайна». Должно было пройти еще столько же, чтобы в «Записках из Мертвого дома» он, исходя из горького своего опыта, чуть-чуть уточнил блистательный афоризм: «Человек есть существо ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его определение».

К самому Достоевскому эта формула могла относиться лишь отчасти. Он, конечно, ко многому привык и притерпелся на каторге – к кандалам весом в десять фунтов, к арестантской роте, к профессии чернорабочего. Ему предстояло привыкнуть и к самому страшному – к запрету на писательство.

Вряд ли в то время он уже знал историю, которая произошла с его младшим братом Андреем, ошибочно арестованным по делу петрашевцев. Когда в мае 1849 года ошибка была обнаружена, молодой архитектор из департамента проектов и смет Андрей Михайлович Достоевский был вызван к главноуправляющему путями сообщения графу Клейнмихелю, который, похвалив подведомственного чиновника за благонамеренность, порекомендовал ему: «Теперь отдохни, а потом старайся служить хорошо, а главное, не сочиняй и не пиши ничего, кроме смет и строительных проектов»[1].

Занятия литературой имели дурную репутацию и, разумеется, никак не могли быть поощряемы в качестве исправительной меры для арестанта военной каторги. На основании законов каторжный срок для по-

[1] А.М. Достоевский. Воспоминания. С. 208.

литического преступника имел поучительное ограничение – «без права переписки». Впрочем, нельзя было не только заниматься сочинительством и писанием писем, нельзя было, строго говоря, даже и читать.

К этим отягчающим каторгу обстоятельствам Достоевский привыкнуть не мог. И не привык.

Впервые – в Омском остроге – он опробовал новый для себя жанр: у него появился личный дневник, что-то вроде записной книжки. «Моя тетрадка каторжная», самоделка, сшитая разными нитками из двадцати восьми листов простой писчей бумаги, хранившаяся у фельдшера Омского военного госпиталя, куда время от времени благородные медики приводили арестанта Достоевского и где он мог хоть немного побыть писателем и читателем, содержала «выражения, записанные на месте».

На что он рассчитывал, работая тайком и конспиративно, оставляя тетрадку в тайнике у фельдшера, выслеживаемый шпионами и доносчиками, преследуемый судебными чиновниками, которые, подозревая, что арестант нарушает правила, учиняли дотошные расследования с допросами, обысками и очными ставками?

Ни о каких приятных сюрпризах судьбы, ни о каких счастливых случайностях речи быть не могло. Тысячу четыреста шестьдесят дней каторги предстояло прожить от звонка до звонка, без смягчений и послаблений (разве что госпиталь время от времени, случайные книги, прочитанные наспех и украдкой, да иногда работа полегче – малярничать, отгребать снег, обжигать алебастр).

Он стал еще более, чем до ареста, угрюм и насторожен; избегал людей, предпочитая, когда это было возможным в шуме и гаме казармы, оставаться в одиночестве.

Его письма, написанные сразу после каторги, были мрачнее и драматичнее, чем все позднейшие впечатления о пережитом.

«Вечная вражда и ссора кругом себя, брань, крик, шум, гам, всегда под конвоем, никогда один, и это че-

тыре года без перемены, – право, можно простить, если скажешь, что было худо», – писал он брату Михаилу.

«Эта долгая, тяжелая физически и нравственно, бесцветная жизнь сломила меня, – писал он Н.Д. Фонвизиной, жене декабриста, с которой познакомился в Тобольске, по дороге в острог. – ...Вот уже очень скоро пять лет, как я под конвоем или в толпе людей, и ни одного часу не был один... Общество людей сделается ядом и заразой, и вот от этого-то нестерпимого мучения я терпел более всего в эти четыре года. Были и у меня такие минуты, когда я ненавидел всякого встречного, правого и виноватого, и смотрел на них, как на воров, которые крали у меня мою жизнь безнаказанно».

«А те 4 года считаю я за время, в которое я был похоронен живой и закрыт в гробу... Это было страдание невыразимое, бесконечное, потому что всякий час, всякая минута тяготела как камень у меня на душе», – писал он брату Андрею.

На что же все-таки он надеялся, заполняя свою каторжную тетрадку пронумерованными выражениями – всего их набралось 486? И что это было – писательский подвиг Достоевского, взявшего в руки запретное перо и нелегально осуществившего свое право на профессию? Неукротимый порыв к литературному труду в его единственно доступной форме? Обдуманно и расчетливо составляемые заготовки впрок – «словесные запасы»?

Наверное, и то, и другое, и третье. Но, наверное, и четвертое: литературное занятие как спасение, превращавшее каторгу в тему сочинения, в некое – при всех возможных и мыслимых оговорках – этнографическое приключение.

«Но вечное сосредоточение в самом себе, куда я убегал от горькой действительности, принесло свои плоды», – утверждал он.

Несомненно, сибирская тетрадка была одним из эффективнейших способов убегания от реальности. Вместе с тем это был его щит, крепостная стена, наличие которых давало ему и иное видение, и иное бытие.

Физическое существование тетрадки, тайное и укромное, о котором знали, кроме него, только двое служителей госпиталя (они-то и сшили тетрадку, и хранили ее, и устраивали арестанту лечебные передышки, и давали перо в руки), преображало действительность: хоть ненадолго острог переставал быть зоной мрака и смрада, становясь объектом зоркого художественного наблюдения. В этом шуме и гаме, среди грязи и брани, в кандалах и под конвоем ему являлись иное дыхание, иной азарт – и, может быть, случались мгновения, когда он ощущал себя не арестантом, не каторжником, а исследователем-первооткрывателем.

Судьба, сделав еще один круг, послала ему уникальный материал для работы в том самом жанре физиологического очерка, который столь ценили его первые литературные покровители: именно с «Записками из Мертвого дома» вернется к нему первоначальная слава, поможет снова войти в большую литературу и занять в ней то место, которого он заслуживал. «Мертвому дому» предстояло выиграть спор, затеянный Достоевским с русской литературой: ибо сначала она оказалась для него слишком тесной, а потом и смертельно опасной.

II

В ПЕРВЫЕ дни по выходе из острога он, как и всегда прежде, строил планы новой жизни. Он учился быть терпеливым. Он старался не заглядывать в завтрашний день – и смиренно твердил о годах, которым предстоит пройти, может быть, и не бесплодно. «Нельзя ли мне через год, через 2 на Кавказ, – все-таки Россия!.. Ведь позволят же мне печатать лет через шесть, а может, и раньше... Время для меня не потеряно...»

В январе 1854 года, когда вышел срок каторги, ему не исполнилось и тридцати трех лет. Из Омска его отправляли по этапу в Семипалатинск, на солдатскую службу.

Планы вхождения в новую жизнь были такими же, как и пятнадцать лет назад. «Одна моя цель быть

на свободе. Для нее я всем жертвую» – это писалось в стенах училища семнадцатилетним воспитанником, который просил у родных немного денег, чтобы иметь немного книг.

Теперь он просил о том же. Он снова начинал с нуля, но с нуля гораздо более горького и безнадежного. «Мне нужно денег и книг... Знай, брат, что книги – это жизнь, пища моя, моя будущность!»; «Не забудь же меня книгами, любезный друг», – писал он брату, от которого не имел вестей больше четырех лет. Новое начало было бесконечно более сложным и проблематичным, чем прежде.

«Знай только, что самая первая книга, которая мне нужна, – это немецкий лексикон», – напоминал он Михаилу, и кто, как не Михаил, должен был догадаться, что его несчастный брат надеется вернуться в профессию по сценарию их общей молодости, начав с переводов. На сей раз это был уже не Бальзак и не Эжен Сю. Достоевский просил прислать Коран, Канта и Гегеля: «С этим вся моя будущность соединена». Уже из Семипалатинска он повторил просьбу: «Журналов не надо, а пришли мне европейских историков, экономистов, святых отцов, по возможности всех древних (Геродота, Фукидита, Тацита, Плиния, Флавия, Плутарха и Диодора и т.д.)».

Книги были посланы, но, невостребованные, пропали на почте: какому-то омскому чиновнику, на чье имя адресовалась посылка, не захотелось входить в сношения с государственным преступником Достоевским. Переводы не состоялись.

Собственно говоря, в этом не было ничего нового – тогда, в молодости, его планы тоже срывались, намерения менялись, авантюры терпели крах. Но сейчас было много хуже, он был страшно зависим от людей – и от добрых, и от злых, и от благородных, и от трусливых; от их благосклонности или произвола. На каторге обострились прежние болезни и явились новые; странные нервные припадки, которыми он страдал с восемнадцати лет, со смерти отца, приобрели отчетливое очертание эпилепсии; скверной пищей был расстроен

желудок; мучили ревматические боли в ногах. Он боялся попасть к начальнику, который невзлюбит его и загубит службой. «А я так слабосилен, что, конечно, не в состоянии нести всю тягость солдатства», – жаловался он, сознавая, что в солдатской шинели он такой же пленник, как и прежде.

Тем не менее у него были все основания радоваться «свободе, новой жизни, воскресению из мертвых» – как он скажет в «Записках из Мертвого дома». Он навсегда прощался с теснотой, духотой и неволей каторжного острога. Он не должен был брить половину головы, носить десятифунтовые кандалы и ходить с желтым тузом на спине. Участь рядового – со строевым учением, маршировкой, нарядами вне очереди, суровой дисциплиной, палками, розгами и зуботычинами, деревянной грязной казармой и солдатской похлебкой – была, по сравнению с участью каторжника, почти счастьем.

Наверное, ему казалось, что свобода и призвание немедленно соединятся, как только появятся время, уединение и перо. И поэтому сразу по прибытии в Семипалатинск он стал бороться за право писать.

Впрочем, теперь он мог писать сколько угодно – в том смысле, что никто больше не мог обыскать солдата с целью изъятия бумаг и рукописей. Но из права писать в стол отнюдь не вытекала реальная возможность вернуться к полноценному литературному труду. И уже во второй месяц своего пребывания в Семипалатинске, не имея никаких других шансов скорого достижения цели, Достоевский решился на экстраординарный шаг.

Через своего начальника, командира Сибирского линейного батальона подполковника Белихова, который вполне расположился к нижнему чину из дворян и стал приглашать к себе для чтения вслух, Достоевский передал для вручения по начальству свое первое написанное после каторги оригинальное сочинение.

Скорее всего, он рассуждал так: нет смысла просить разрешения печататься, не предоставив самой ве-

щи. Стало быть, нужно сочинение – новое и законченное. Вряд ли начальство захочет слишком утруждать себя – значит, сочинение должно быть компактным и емким. А главное, ему, политическому преступнику, необходимо было убедить высокие столичные сферы в своей благонадежности и добрых намерениях. Такой цели соответствовал только один жанр: патриотическое стихотворение.

Стихотворение «На европейские события в 1854 году», написанное в связи с началом Крымской войны, в официальном порядке было отправлено в Петербург начальнику III Отделения генерал-лейтенанту Дубельту; ему же адресовалась и просьба поместить патриотическое сочинение рядового из политических преступников Федора Достоевского в «С.-Петербургских ведомостях».

Вряд ли имело смысл в связи со стихотворным посланием в сто сорок строк («С чего взялась всесветная беда? /Кто виноват, кто первый начинает? /Народ вы умный, всякий это знает, /Да славушка пошла об вас худа!») рассуждать о взглядах Достоевского на поэзию или на Крымскую войну.

Вряд ли также следовало придавать особое значение насмешкам и издевкам петербургских литераторов, поторопившихся выразить свое гражданское негодование, прослышав, что вышедший из каторги и отбывающий солдатчину Достоевский написал верноподданнические стихи и прислал их самому Дубельту (где были эти литераторы с их негодованием в 1849 году, все восемь месяцев следствия, суда и приговора?).

Вряд ли вообще можно было рассматривать эту акцию Достоевского с точки зрения его политического поведения: люди куда более благополучные и никем не понуждаемые зачем-то всегда торопятся выразить власти свою любовь и полное послушание.

Здесь было другое: солдат Достоевский, только что отбывший четырехлетнюю каторгу, никак не мог забыть, что он писатель.

Тогда, на суде, ему пришлось жертвовать своими

интересами: он выгораживал других и был горд, что вел себя порядочно. Он жестоко поплатился за увлечение теориями и утопиями, но принял наказание с достоинством и смирением, так как был виновен в том, в чем его обвиняли. Спустя два года после каторги в ходатайстве на имя влиятельного графа Э.И. Тотлебена, с братом которого Достоевский учился в Инженерном училище, он писал: «Я знаю, что я был осужден справедливо, но я был осужден за мечты, за теории... Мысли и даже убеждения меняются, меняется и весь человек, и каково же теперь страдать за то, чего уже нет, что изменилось во мне в противоположное, страдать за прежние заблуждения, которых неосновательность я уже сам вижу, чувствовать силы и способности, чтоб сделать хоть что-нибудь для искупления бесполезности прежнего и – томиться в бездействии!»

Собственно говоря, он не просил у властей ничего. «Вся мечта моя: быть уволенным из военного званья и поступить в статскую службу, где-нибудь в России или даже здесь... Но не службу ставлю я главною целью жизни моей. Когда-то я был обнадежен благосклонным приемом публики на литературном пути. Я желал бы иметь позволение печатать... Звание писателя я всегда считал благороднейшим, полезнейшим званием. Есть у меня убеждение, что только на этом пути я мог бы истинно быть полезным...»

Стихотворением 1854 года он подводил черту под своим политическим прошлым – участника тайного общества и государственного преступника; и – ради возвращения в литературу – отказывался от репутации политического фрондера. Выбор в пользу призвания был тем легче, что расставание с прежними «мечтами и теориями» было выстраданным, осмысленным и абсолютно искренним.

Дубельт, однако, в просьбе напечатать стихотворение отказал.

Впереди была неизвестность, и надо было жить: служить, читать, наверстывая упущенное, писать – хоть бы даже в стол и впрок.

III

И ВСЕ-ТАКИ в Семипалатинске ему повезло. Весьма скоро рядовому Достоевскому было позволено выйти из казармы и поселиться на частной квартире – в кривой и древней бревенчатой избе, у солдатской вдовы, которая сдала ему полутемную и полупустую комнату с тараканами и блохами. Остаться одному, зажечь сальную свечу и писать ночь напролет – это и было счастьем после почти пяти лет неволи.

Осенью того же, 1854 года удача как будто улыбнулась ему вновь: в Семипалатинск, к месту службы, приехал новоиспеченный прокурор барон А.Е. Врангель, молодой человек двадцати одного года, с письмами и деньгами для ссыльного Достоевского – и вскоре стал ему почти братом. Теперь благодаря дружбе с Врангелем перед Достоевским распахнулись двери семипалатинского хорошего общества; он стал постоянным гостем и почти домашним человеком у своего командира, подполковника Белихова, где и встретил М.Д. Исаеву, свою будущую жену.

История любви Достоевского к Марье Дмитриевне, как и история их несчастливого брака, вместила столько отчаянной страсти, столько исступления, столько безрассудной влюбленности, обожания, сияющих надежд, безысходности, тоски и страданий, столько грусти и горя, что смогла почти на два года заставить забыть (или почти забыть) о главной цели его жизни.

«Выйдя из каторги, хотя всё было готово, я не писал. Я не мог писать. Одно обстоятельство, один случай, долго медливший в моей жизни и наконец посетивший меня, увлек и поглотил меня совершенно. Я был счастлив, я не мог работать», – объяснял он А.Н. Майкову, своему старому приятелю, с которым возобновил переписку.

Достоевский, влюбившись без памяти и впервые в жизни надеясь на ответное чувство, пережил все муки любовного ада: терзания адюльтера, пока Марья Дмитриевна была замужем; ужас разлуки, когда она с

мужем уехала за 500 верст; жалость и самопожертвование, когда она овдовела; ревность, когда она начала «испытывать» его любовь; отчаяние – от ее нерешительности и непостоянства. Он пережил и страшный удар измены, когда его возлюбленная, на которую он, казалось, уже имел права и которая подарила ему надежду, вдруг объявила, что любит другого. И он испытал все мучения отвергнутого любовника, которого дразнят, то отдаляя, то приближая, то пугая невозможностью соединения, то опьяняя последней близостью. Он изведал все возможные и невозможные унижения, когда приносил себя в жертву, когда забывал о своем самолюбии и о своей мужской гордости, когда, стремясь обеспечить благополучие обожаемой женщины, начал хлопотать о ее новом и молодом любовнике...

Все, что имелось в любовном арсенале интересной, красивой, образованной, впечатлительной, очень живой, даже экзальтированной, страстной и темпераментной молодой дамы, провинциальной вдовы, – все смогла обнаружить Марья Дмитриевна перед беззаветно влюбленным в нее Достоевским. Все, кроме одного.

Открывая ему свое сердце, делясь горестями и обидами, принимая его ухаживания и заботы, отвечая на его любовь и занимаясь устройством их брака, испытывая его и свою страсть, Марья Дмитриевна, по-видимому, меньше всего думала о Достоевском в терминах его профессии и призвания.

Для нее он был неудачник – бывший каторжник, «нижний чин», которого в ноябре 1855 года произвели в унтер-офицеры (после кончины государя Николая Павловича Достоевский через командира отдельного Сибирского корпуса генерала Гасфорта передал военному министру стихотворение «На первое июля 1855 года» с просьбой повергнуть его к стопам вдовствующей императрицы).

Он был – по всем меркам не только Семипалатинска, но и Кузнецка, где жила овдовевшая Марья Дмитриевна, – жених незавидный: лишен дворянства, состояния не имеет и живет на средства, присылаемые

Запись Ф.М. Достоевского предполагаемых расходов в связи с женитьбой на М.Д. Исаевой

родственниками, впереди – три года службы в батальоне, надзор полиции и полная неизвестность. К тому же вряд ли Марье Дмитриевне была известна недолгая слава Достоевского десятилетней давности – а сейчас, кроме патриотических стихов, предъявить он ей ничего не мог.

А главное: с кем угодно, но только не с ней, своей невестой, он мог говорить о том, что было делом его жизни. Кажется, она его особенно и не расспрашивала, относясь слегка скептически к его литературным занятиям. Она, разумеется, много читала в свое время, была воспитана на Карамзине и любила Тургенева, но принимать близко к сердцу кошмары «Двойника» или драмы «Бедных людей» искренне не могла. И естественно, ее куда больше интересовали служебные возможности Достоевского; во всяком случае, когда после третьего патриотического стихотворения «Умолкла грозная война!» (написанного Достоевским весной 1856 года к коронации и заключению мира) он был осенью того же года произведен в прапорщики, она дала формальное согласие на брак. «Я ни об чем более не думаю. Только бы видеть ее, только бы слышать! Я несчастный сумасшедший! Любовь в таком виде есть болезнь».

В феврале 1857 года они наконец поженились: Марья Дмитриевна стала супругой офицера – но не писателя.

Сам же писатель, через три года после каторги, обнаружил, что свобода, которой он так ждал и так жаждал, ушла не на литературную, а на любовную страсть, заслонившую все остальное. Его по-прежнему переполняли замыслы, в голове и на бумаге были планы, заметки, наброски, и он с прежним неистовством хлопотал о дозволении печататься. Но если бы таковое дозволение он получил в разгар своего романа с Марьей Дмитриевной, оно застало бы его врасплох: в запасе был только «Маленький герой», написанный еще в Петропавловской крепости.

«Я был в таком волнении последний год, в такой тоске и муке, что решительно не мог заниматься поря-

дочно. Я бросил всё, что и начал писать», – сообщал он брату в ноябре 1856 года. Но и в январе 1857 он повторял то же самое: «...отношения с Марией Дмитриевной занимали всего меня в последние *2 года*». В марте, уже женясь, он снова оправдывался: «В лености меня не обвиняйте. Я пишу вещь длинную и еще не кончил».

17 апреля 1857 года Высочайшим указом Правительствующему сенату было предписано лишенному прав состояния 19 декабря 1849 года и дослужившемуся до офицерского чина Достоевскому «даровать прежние права по происхождению». Указ вернул ему потомственное дворянство и право на профессию, которого он был лишен восемь лет. Нужно было все начинать сначала.

Конечно, можно было, ни о чем не думая и положась на судьбу, с головой уйти в сочинительство. В конце концов восьмилетний перерыв в его литературной деятельности вдвое превышал имевшийся к 1849 году общий «стаж» пребывания в писательской профессии. Однако Достоевский, который хотел с умом распорядиться накопленными за четыре солдатских года заметками, планами и набросками, выбрал путь возвращения в литературу, во-первых, самый трудный, во-вторых, самый непредсказуемый: путь неслужащего, необеспеченного и независимого сочинителя.

Собственно говоря, Достоевский – при всем том счастье, которое он испытал весной 1857 года, когда ему вышло прощение по всем пунктам, – не хотел слишком уж многого. Ему нужно было лишь вернуться к тому состоянию свободы, с которого он начал литературный труд, выйдя в отставку после года службы.

Значит, прежде всего нужна была отставка. И уже в начале марта 1858 года было составлено всеподданнейшее прошение на имя Александра II с приложением реверса – письменного обязательства не просить впредь никогда никакой денежной помощи у казны.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Карта возвращений

I

Уже первые переговоры с издателями, осуществлявшиеся из Семипалатинска через доверенных лиц (в роли которых выступали брат Михаил, старый друг и петрашевец А.И. Плещеев, а также знакомый по Омску этнограф Е.И. Якушкин), показали, что нужно добиваться не только отставки, но и переезда из сибирского захолустья в Москву или Петербург. «Ты понять не можешь, брат, – писал Достоевский в ноябре 1857 года, – что значит переговариваться хотя об литературных делах заочно, писать – и не иметь даже необходимейших книг и журналов под рукой».

Спокойствие и оседлость, литературное общение, живые, непосредственные впечатления, а не только редкое чтение случайных книг и журналов – это был необходимый минимум писателя для его нормального существования. При прочих обстоятельствах можно было бы терпеливо ждать отставки, хлопоча одновременно о переезде в столицы.

Но неотступно вставал вопрос: на что жить? где взять деньги на переезд? Он был кругом должен, грядущая отставка лишала его даже мизерного жалованья, и, как значилось в прошении на имя государя императора Александра Николаевича, «за мною, родителями моими и женою имения родового и благоприобретенного не состоит».

Возобновляя литературную деятельность, Достоевский больше всего боялся кабалы – писания на заказ, работы к сроку, превращения писательства в скверное и жалкое ремесло поденщика, «нарочно выдумывающего повести» для денег. Едва ли не во всех семипалатинских письмах тревожно, порой почти панически звучали клятвенные обещания никогда ничего не писать на заказ («От этой работы я с ума сойду»),

сочинять из-за денег: «Да хоть бы я имел даже сильный талант, и тот пропадет в этой тоске». «Тоскливое, болезненное нерасположение духа», которое он испытывал в смертельно надоевшем Семипалатинске, «провинциальное отупение» («...провинциальная жизнь, в которую поневоле втягиваешься, расходится со всеми моими потребностями», – писал он редактору «Русского вестника» М.Н. Каткову) отвращали даже от только что написанного: необходимо было явиться в публику «с чем-нибудь очень хорошим», сделать «хоть одно произведение безукоризненное».

Хотелось трудиться не торопясь, обрабатывать записанную сцену многие месяцы, «вдохновляясь ею по *нескольку раз*»; перемарывать, выпускать, добавлять... Хотелось уподобиться кумирам молодости – Гоголю, писавшему «Мертвые души» восемь лет, или Пушкину, чьи стихи в окончательном виде походили на живую импровизацию, черновики же обнаруживали множество помарок (в Семипалатинске Достоевский прочел недавно вышедшую новинку, присланную ему из Петербурга, – «Материалы для биографии А.С. Пушкина» П.В. Анненкова). «Поверь, что везде нужен труд, и огромный, – оправдывался он перед братом. – Всё, что написано сразу, – всё было незрелое. У Шекспира, говорят, не было помарок в рукописях. Оттого-то у него так много чудовищностей и безвкусия, а работал бы – так было бы лучше».

Он брался писать и вскоре бросал начатое: не хватало необходимых справок, недоставало личных впечатлений, не хотелось писать приблизительно и наобум. Всего лишь за полтора года с момента объявления царской милости, пока он занимал деньги, ждал отставки, хлопотал о переезде в столицы, вел переписку с издателями, нервничал, бился в нужде и тосковал, счастье возвращения в литературу как-то померкло. «Даже самые занятия литературою сделались для меня не отдыхом, не облегчением, а мукой», – признавался он. Нужны были, как оказалось, не только отставка, не только столица, не только спокойствие и оседлость, не только личное общение с журналами и издателями –

нужна была единственно возможная схема отношений с работодателями, которая учитывала бы все нюансы литературного и творческого поведения писателя, вновь обретающего профессию. Такая схема Достоевскому была знакома не понаслышке.

Имея хотя бы небольшое литературное имя, всегда можно было договориться с издателем, предложив ему всего лишь идею или замысел будущего произведения. Если он проявлял интерес, можно было просить аванс. Издатель, конечно, ставил свои условия и называл сроки, на которые непременно следовало соглашаться, но заведомо знать, что они мало реальны. Поскольку первый аванс тратился не на текущие расходы и обеспечение жизни, а на уплату старых долгов, нужно было или вытребовать еще один аванс, или, что хуже и рискованнее, вести параллельные переговоры с другим издателем, по поводу другого произведения и пытаться получить деньги под другой замысел. Скомбинировав таким образом два заказа и два аванса, можно было приниматься за работу, рассчитывая сделать ее достаточно быстро: ведь при конечном расчете от гонорара с листа за вычетом аванса должно было остаться хоть что-нибудь.

Конечно, это была опасная зависимость: издатель мог расторгнуть договор в случае нарушения срока и потребовать аванс обратно; он мог также забраковать рукопись – в этом случае аванс пришлось бы возвратить. Важно тем не менее было склонить издателя к самой идее аванса – в этом, как убеждался Достоевский, состоял успех всего предприятия. К тому же и автору, имея аванс и оплаченное рабочее время, деваться было некуда: безвыходное положение подгоняло его и вынуждало в темпе завершать начатое. И хотя в своей первой литературной молодости Достоевский вдоволь хлебнул этой методы («Система всегдашнего долга, которую так распространяет Краевский, есть система моего рабства и зависимости литературной», – утверждал он в 1846 году), приходилось вновь обращаться к испытанному средству.

Первое письмо Каткову (январь 1858 года), кото-

рым начались более чем двадцатилетние отношения Достоевского с «Русским вестником», было написано по известному рецепту. Огромное, изобилующее подробностями (автор детально рассказывал о структуре будущего романа, ни слова не говоря о его содержании, названии или теме), наполненное непреклонными творческими credo и железными писательскими принципами («Работа для денег и работа для искусства – для меня две вещи несовместные»), письмо Достоевского исподволь подводило издателя к основной цели: «Если угодно Вам будет иметь, для напечатания в этом году, мой роман, то не можете ли Вы мне выслать теперь же, вперед за роман, недостающие мне и крайне необходимые 500 руб., серебром. Я знаю, что предложение мое довольно эксцентричное; но всё дело в том, как Вы его примете».

Катков предложение принял и искомые 500 руб. серебром без промедления выслал. Подробности о романе, предназначенном для «Русского вестника», имели, видимо, весьма мало общего с реальностью рукописи: Достоевский сильно преувеличил степень готовности работы. Не имея для продажи готового текста, он, разумеется, предлагал не вдохновение, а всего лишь намерение работать в кредит. (Может быть, поэтому многие первоначальные автокомментарии, содержавшиеся в письмах к издателям и редакторам, больше свидетельствовали о тонкостях дипломатии автора, чем о тонкостях художественного замысла.)

Расчет удался. При всех невыгодах положения у литератора Достоевского были и некоторые преимущества. С новым царствованием наступали либеральные времена; бывшего, но ныне прощенного государственного преступника (к тому же полностью отбывшего наказание) можно было использовать как свежее имя, как некоторую литературную сенсацию (собственно, на это во многом и рассчитывал Достоевский: «Я восемь лет ничего не печатал, и потому, может быть, я буду занимателен для публики как новинка!»).

«Пишу к Вам не с тем, чтобы напоминать о Вашем обещании и торопить Вас, а единство из желания

сказать, что участие Ваше в предпринимаемом мною периодическом издании, – писал ему в июле 1858 года редактор только что основанного литературно-ученого журнала «Русское слово» граф Г.А. Кушелев-Безбородко, – весьма приятно мне. Надеюсь, что при содействии наших достойнейших писателей, к числу которых принадлежите Вы, я успею сделать что-нибудь на пользу развития родной и всеми нами любимой словесности»[1]. К чести графа Кушелева, он не только похвалил опального литератора Достоевского, но и обеспечил его материально, дважды выслав крупные денежные суммы под честное слово и в счет будущих романов.

Почти пятилетняя творческая пауза (то есть время, когда он формально мог писать, но по разным причинам ничего законченного не сделал) подходила к концу; из разрозненных замыслов, отрывков, набросков, заметок, эпизодов, о которых он все эти годы сообщал брату, должно было наконец оформиться нечто реальное и законченное. Складывалась парадоксальная ситуация: больше всего он боялся работать на заказ, на срок и из-за денег, в «системе всегдашнего долга»; однако, находясь вне этой системы, без литературных заказчиков и журнальных кредиторов, сделать ничего не мог. Мечтая о свободном творчестве, он сам, своей волей отрезал все пути к нему и загонял себя в кабалу, которая в свою очередь оказывалась необходимой творческой уздой.

Обещанные сразу двум журналам работы заставили Достоевского сложить «в ящик» честолюбивые замыслы, о которых он периодически сообщал брату (но которые все-таки не имели вид текста, а существовали либо в планах, либо в воображении): «роман в трех книгах», «петербургский роман», «комический роман», «роман-исповедь», «серию литературных и политических статей» в жанре «писем из провинции». Из всего этого огромного материала, которого, как он твердил, хватит «на целые томы», выделились посте-

[1] Цит. по: Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений. В 30-ти тт. Т. 28. Кн. 1. С. 495.

пенно два произведения – маленькое для «Русского слова» и большое для «Русского вестника». Много раз нарушая все назначенные сроки, он закончил наконец и выслал (только в январе 1859 года) Кушелеву «Дядюшкин сон». Уже ненавидя свою многострадальную повесть как неудачу и литературное фиаско, он не переводя дыхания дописал «Село Степанчиково», которое и выслал Каткову по частям в апреле и июне 1859 года.

II

ЗАКАНЧИВАЛОСЬ десятилетие, начавшееся арестом, затем судом и Сибирью. Была получена наконец отставка, которой он добивался больше года; была определена местом проживания Тверь – впредь до особого распоряжения и особых прошений; были налажены первые литературные связи и выработаны две новые вещи. От Кушелева, напечатавшего в мартовском номере «Русского слова» «Дядюшкин сон», пришла тысяча рублей в счет будущих произведений – именно на эту тысячу Достоевский смог раздать долги, купить тарантас и отправиться с женой и пасынком в путь за 4000 верст.

Он чувствовал, что выкарабкается, не пропадет от тоски и безденежья в глуши – сибирской или русской; строил планы, подумывал об издании избранного, начиная с «Бедных людей». Его воображаемые диалоги с издателями «из смиренных сделались уж слишком заносчивы». «При свидании с Кушелевым, – делился он с братом, – я намерен прямо изложить ему, чтоб он дал мне полуторагодичный срок, 300 рублей с листа и, сверх того, чтоб жить во время работы – 3000 руб. серебром вперед». «Я очень хорошо знаю, – сердился он, – что я пишу хуже Тургенева, но ведь не слишком же хуже, и наконец, я надеюсь написать совсем не хуже. За что же я-то, с моими нуждами, беру только 100 руб., а Тургенев, у которого 2000 душ, по 400?»

Его терзала обида: аристократу, помещику и бо-

гачу Тургеневу за «Дворянское гнездо» Катков предлагал гонорар, в несколько раз превышавший те 50 рублей за лист, которые «Русский вестник» готов был заплатить за «Село Степанчиково», – и он, на свой страх и риск, осмелившись просить Каткова довести плату с листа до 100 рублей, не мог и думать, что его просьба будет отклонена, роман отвергнут, а аванс в 500 рублей затребован обратно и что, смиряя самолюбие, ему придется искать место для «Степанчикова» сразу в трех других журналах.

Он возвращался в Россию и в литературу, обремененный заботами о хлебе насущном для себя и своего семейства, денежными долгами (тысячу рублей, которые дал взаймы Плещеев, он сможет вернуть полностью только в 1880 году) и бесчисленными бытовыми хлопотами. Его здоровье было расстроено, семейная жизнь крайне напряжена, будущее неясно. Впереди была не столица, а маленькая провинциальная Тверь с улицами, поросшими травой, и долгое ожидание монаршей милости – позволения вернуться в Петербург. И все же самое сильное переживание, которое он испытал в летние месяцы 1859 года, когда писал предотъездные письма из Семипалатинска, а затем уже из Твери, имело характер честолюбивый и было связано с надеждой упрочить свое литературное имя.

Все свои упования связывал он с только что законченным «Селом Степанчиковом». При всей спешке срочной работы, обещанной в «Русский вестник» и оплаченной вперед, он писал этот роман два года (с перерывом в середине для завершения «Дядюшкина сна»). Он был уверен, «как в аксиоме», что это его лучшее пока произведение, в которое он вложил всю душу. «Если публика примет мой роман холодно, – признавался он брату, – я, может быть, впаду в отчаяние». Роман мог появиться в печати уже к осени и почти совпасть с приездом в Тверь. В случае успеха можно было немедленно составить и издать два тома сочинений, поместив в первый том все написанное прежде, а во второй – обе сибирские вещи. «Издание в 2000 экземпляров, – планировал Достоевский, – будет стоить 1500 руб., не

более. Продавать можно по три руб. И потому если я $1\frac{1}{2}$ года буду писать большой роман, то постепенная продажа экземпляров может меня обеспечить, и я буду с деньгами».

Сейчас, однако, дело было не только в материальной стороне. После десяти лет молчания Достоевскому важно было явиться в публику не просто с новой хорошей (не хуже, скажем, «Бедных людей») вещью. Как ни дорого было ему воспоминание (впрочем, сильно подпорченное) на тему: «новый Гоголь явился», он вряд ли стремился еще раз подтвердить свою принадлежность гоголевской школе. Его захлестывало обилие планов и замыслов, «главных» идей и «капитальных» мыслей, он терялся в своих «эпизодах, набросках и сценах», но за пять лет относительной свободы он понял одно: вернуться в литературу должен «новый» Достоевский, а не «новый Гоголь».

Сказать н о в о е слово, с в о е слово в литературе – это был тот минимум, без которого вообще не имело смысла возобновлять писательскую деятельность. Все свои художественные удачи, а еще больше неудачи он расценивал с этой точки зрения. Много лет спустя он сам реабилитировал «Двойника», раскритикованного кружком Белинского: «Серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил» (имелся в виду, конечно, Голядкин-младший, «главнейший подпольный тип», «величайший тип, по своей социальной важности, который я первый открыл и которого я был провозвестником»).

Только в 80-е годы, уже после смерти писателя, критики признают и оценят «Село Степанчиково» как классическое произведение зрелого (то есть «нового») Достоевского, увидят в сибирском романе бессмертные типы, универсальные характеры. И только это позднее признание сможет пролить совершенно иной свет на «дерзость» Достоевского, чьи авторские условия «из смиренных сделались уж слишком заносчивы», так что он осмелился просить у Каткова увеличения гонорара с 50 до 100 рублей. Отослав издателю сочинение, он вдруг понял, что создал нечто значитель-

ное, необыкновенное. «В нем есть два огромных типических характера, *создаваемых* и *записываемых* пять лет, обделанных безукоризненно, – характеров вполне русских и плохо до сих пор указанных русской литературой», – говорил он о «Селе Степанчикове» и чувствовал себя на голову выше того писателя, который только что напечатал «Дядюшкин сон».

Сидя в Семипалатинске и сочиняя роман для Каткова, Достоевский, разумеется, не мог предположить, что после всех мытарств «Село Степанчиково» будет издано не в «Русском вестнике», а у Краевского, в «Отечественных записках». Между тем простодушный и очень далекий от литературы герой, полковник Ростанев, один из «огромных типических характеров», восторженно рассуждал: «„Отечественные записки"... превосходное название... не правда ли? так сказать, всё отечество сидит да записывает... Благороднейшая цель! преполезный журнал! и какой толстый! Поди-ка, издай такой дилижанс!»

Считая именно «Село Степанчиково» (а не «Дядюшкин сон», появившийся в печати полугодом раньше) началом своего возвращения в литературу, Достоевский, как это уже было в «Бедных людях», наделил героев почти патологической страстью к литературным занятиям. Писательское поприще по своей демократичности и доступности опять представлялось им заманчиво перспективным: то, чего трудно добиться, служа в департаменте, – известности, богатства, чинов, – могла литература, накопившая удивительные примеры писательских судеб. Тип «огорченного литератора», ужаленного «змеей литературного самолюбия», шута, графомана, ханжи, самодура, лицемера и приживальщика оказался главным художественным открытием Достоевского.

III

«Когда-то он занимался в Москве литературою, – говорилось о Фоме Фомиче в романе. – Мудреного нет; грязное же невежество Фомы Фомича, конечно,

не могло служить помехою его литературной карьере. Но достоверно известно только то, что ему ничего не удалось... а литература способна загубить и не одного Фому Фомича – разумеется, непризнанная... Это было, конечно, давно; но змея литературного самолюбия жалит иногда глубоко и неизлечимо, особенно людей ничтожных и глуповатых. Фома Фомич был огорчен с первого литературного шага и тогда же окончательно примкнул к той огромной фаланге огорченных, из которой выходят потом все юродивые, все скитальцы и странники».

Создавая образ «огорченного» литератора, бездари и графомана, Достоевский сочинил ему особый тип литературного поведения (Фома Фомич страстно ненавидел всех профессиональных писателей и глубоко презирал дилетантов), а также «творческую биографию». О каких литературных аналогах могла идти речь в связи с невеждой-графоманом, чья «добровольная восьмилетняя литературная каторга» (то есть стаж пребывания в литературе) ознаменовалась наследством: «Нашли, например, начало исторического романа, происходившего в Новгороде, в VII столетии; потом чудовищную поэму: «Анахорет на кладбище», писанную белыми стихами; потом бессмысленное рассуждение о значении и свойстве русского мужика и о том, как надо с ним обращаться, и, наконец, повесть «Графиня Влонская», из великосветской жизни, тоже неоконченную»? О каких реальных впечатлениях Достоевского можно было говорить в связи с несравненным Фомой Фомичом?

Достоевский помнил свою литературную молодость, когда, порвав с «друзьями-современниками», задолжав Краевскому, рассорившись с «нашими», он – после блестящего дебюта и громкой, но недолгой славы – почувствовал себя в литературе «как в чаду» и намеревался завести «процесс» со всеми журналами и критиками. Что и говорить – даже и десять лет спустя этого процесса он выиграть не мог. Его «неограниченному самолюбию и честолюбию» был нанесен сильнейший удар – трудно даже и представить, что́ переду-

мал и перечувствовал он за те пять лет упорной, но безрезультатной работы, когда свобода обернулась мучительным творческим кризисом. Страстное и в высшей степени честолюбивое желание реабилитировать себя как писателя, пусть и «хуже Тургенева, но ведь не слишком же хуже», вряд ли могло быть связано с «Дядюшкиным сном», вещью «голубиного незлобия и замечательной невинности», сделанной второпях и в страхе перед цензурой.

Тот необъятный жизненный материал, который был накоплен тридцатисемилетним писателем; те неизгладимо прекрасные и болезненные впечатления о литературном круговороте 40-х годов, в самом центре которого он оказался волею судеб, а затем был из него исторгнут; общественно-литературные факты нового десятилетия, которые он мог издалека наблюдать и которые жадно впитывал, вошли в «Село Степанчиково» на правах безжалостной пародии, жестокой карикатуры.

Свой полемический пыл, копившийся годами, свою горечь и беспомощность, ввиду сложившихся и не зависевших от него обстоятельств, саму невозможность быстро и эффективно сквитаться с литературными обидчиками Достоевский преобразил в феноменальное художественное явление, в некий универсальный тип, чье человеческое ничтожество и чья деспотическая сила были предельно понятны и все же загадочно непостижимы.

Достоевский испытал на себе, что́ ощущает человек с умом и талантом, когда его сперва возносят до небес, а затем повергают в прах. Но что происходит с несчастным, забитым, униженным существом, если вдруг оно случайно возвысится и получит власть над своими обидчиками и угнетателями? Что может сделаться из Фомы, «втайне сластолюбивого и самолюбивого», из Фомы – огорченного литератора, шута и деспота, из Фомы – хвастуна, а при удаче нахала?

Результаты эксперимента превзошли все ожидания. Казалось бы, ответ был до банальности прост: бывший раб, превратившись в господина, становился

палачом и тираном. Собственно говоря, именно это и произошло с Фомой Фомичом: взяв в доме власть и став деспотом, он переворачивал жизнь в Степанчикове верх дном. Однако на этом превращения не заканчивались – в сюжете романа чудилась и какая-то другая игра.

С «ужасным пороком» самолюбия и честолюбия Достоевский был знаком слишком хорошо; так же хорошо он знал, как выглядят обидчивость и мнительность. Но каков может быть этот порок в чистом виде, не смягченный ни человечностью, ни талантом? Что вообще будет с человеком, если его наградить «ужасным пороком», лишив малейших способностей?

«Предупреждаю заранее: Фома Фомич есть олицетворение самолюбия самого безграничного, но вместе с тем самолюбия особенного, именно: случающегося при самом полном ничтожестве, и, как обыкновенно бывает в таком случае, самолюбия оскорбленного, подавленного тяжкими прежними неудачами, загноившегося давно-давно и с тех пор выдавливающего из себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой чужой удаче. Нечего и говорить, что всё это приправлено самою безобразною обидчивостью, самою сумасшедшею мнительностью», – рассуждал автор.

Литературные современники Достоевского, писавшие едкие эпиграммы и обвинявшие его в зависти к Гоголю, «которому он должен был в ножки кланяться», не заметили виртуозной изобретательности и изощренной психологической игры «Села Степанчикова» – в Фоме Фомиче они видели лишь мстительную пародию на Гоголя «в грустную эпоху его жизни». Но Достоевский пародировал не только Гоголя, он поднимал на смех свои собственные страхи и пороки. Он показал, что́ будет, если безграничное самолюбие овладеет совершенно ничтожной личностью. Но в зеркале Фомы он показал и самого себя: сочинителя выдающихся способностей, одержимого тем же «ужасным пороком».

IV

ЗАВЕРШИВ «Село Степанчиково», Достоевский мог быть доволен. В романе содержались сцены высокого комизма, «под которыми сейчас же подписался бы Гоголь», но главное заключалось в другом: после дебюта «Бедных людей» с тщетной попыткой главного героя прорваться в литературу новый роман парадоксально продолжал центральную тему. Творчество как единственный шанс выжить, как спасительное средство от гибели, безумия, провинциального отупения, как прибежище в трагическом хаосе жизни – таков был тайный мотив его «комического романа». Все, что сидело занозой в сердце: уязвленное самолюбие, неудовлетворенное честолюбие, мнительность и подозрительность, зависть к удачливым и устроенным литераторам, возмущение бесчестными и циничными торгашами-издателями («жульем», как он их называл), – все это было преображено романным вымыслом, пущенным в самостоятельную жизнь.

Предстояло, однако, пережить еще одно потрясение на мотив самолюбия.

Уже дважды за последний год бывшие его обидчики – «современники» и лично Некрасов – предлагали Достоевскому сотрудничество («Я был у Некрасова, – сообщал Плещеев, – современники с большим участием расспрашивали меня о Вас и говорили, что, если Вы желаете, они тотчас же пошлют Вам денег; и не станут Вас тревожить, пока Вы не будете иметь возможность написать для них что-либо»[1]). Достоевский дважды из-за «дурной гордости» не решился принять эту благотворительность. Однако теперь, после отказа «Русского вестника», он упрашивал брата снестись с Некрасовым и как можно скорее устроить «Село Степанчиково» в «Современнике».

Очень скоро последовал оскорбительный ответ: «Современник» предлагал мизерные гонорарные условия (намного хуже катковских) и обещал опублико-

[1] Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. Т. 6. М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 256–257.

вать роман только через год. Это было равносильно отказу. «Некрасов – чуткое животное, – негодовал Достоевский. – Узнав историю с «Вестником» и зная, что я, приехав из Сибири, истратился, нуждаюсь, – как не предложить такому пролетарию сбавку цены?»

Прошлое возвращалось. Казалось бы: кому, как не «Современнику», журналу гоголевского направления, революционно-демократического радикализма и преимущественно политического толка (таким, во всяком случае, стал он к исходу 1859 года), следовало поддержать морально и материально бывшего каторжника и государственного преступника, едва не поплатившегося жизнью за участие в тайном обществе? Кому, как не «Современнику», полагалось распахнуть двери перед пострадавшим за убеждения бедствующим писателем Достоевским? Ведь именно такого жеста ожидала от Некрасова литературная общественность; так, поэт и беллетрист П.М. Ковалевский писал о редакторе «Современника»: «Ошибся он один раз, зато сильно, нехорошо и нерасчетливо ошибся, с повестью Достоевского «Село Степанчиково», которая была точно слаба, но которую тот привез с собой из ссылки и которую редактор «Современника» уже по одному по этому обязан был взять»[1].

У Достоевского, однако, было иное представление об интриге «Современника» вокруг «Села Степанчикова». «Им не в первый раз становиться в тупик и браковать хорошие вещи... Современники нарочно не поддержат меня, именно чтоб я и вперед брал не много». Нужно было во что бы то ни стало спасать себя от скандальных и унизительных отказов – притихнуть и никому не показывать свою досаду и горечь.

Феерического, победного возвращения в литературу не получалось. Не получалось даже сколько-нибудь громко заявить о себе. Напротив, неудачу с Катковым и Некрасовым надлежало по возможности скрывать, чтобы не привлечь злорадного внимания других журналов. Достоевский, подозревая только

[1] П.М. Ковалевский. Стихи и воспоминания. СПб., 1912. С. 276. Мемуарист утверждал: «В судьбе Достоевского, разбитого каторгой, больного падучей болезнью, озлобленного, щекотливого и обидчивого, отсюда произошел поворот, надевший на весь остаток его жизни кандалы нужды и срочного труда...» (там же. С. 277).

торгашескую интригу, еще не знал приговора, вынесенного ему «современниками» и ставшего достоянием всего литературного Петербурга.

Достоевский из Твери просил брата быть исключительно внимательным: «В сношениях с Некрасовым замечай все подробности и все его слова, и, ради Бога, прошу, опиши всё это подробнее. Для меня ведь это очень *интересно*». Однако «все слова» Некрасова были беспощадны: «Достоевский вышел весь. Ему не написать ничего больше»[1].

Пока же «весь» Достоевский сидел в Твери, но уши в долгах, имея по приезде всего 20 рублей. Тарантас, купленный в Семипалатинске, продать здесь не удавалось – ездили по железной дороге. Снятая меблированная квартирка была крошечной и настолько скромной, что Марья Дмитриевна принимать в ней кого-либо наотрез отказалась, а поэтому не могла бывать в тех домах, куда они были званы вместе с мужем. Он как мог пытался развлечь ее – едва устроившись на новом месте, просил брата купить или заказать, привезти или прислать шляпку для жены, осеннего фасона, недорогую, и «ленты к ней с продольными мелкими полосками серенькими и беленькими». «Хоть жена, видя наше безденежье, и не хочет никакой шляпки, но посуди сам: неужели ей целый месяц сидеть взаперти, в комнате? Не пользоваться воздухом, желтеть и худеть?»

Тверь не нравилась им обоим. Марья Дмитриевна была так раздражена, что не сумела скрыть неприязни к деверю, Михаилу Михайловичу, когда тот приехал после десятилетней разлуки с братом. За четыре тверских месяца Достоевский написал и отправил по разным адресам около пятидесяти писем – с жалобами на тоску, безденежье, неопределенность положения, запущенность литературных дел, невозможность личных сношений с издателями, от которых зависит его писательская судьба. Он послал душераздирающее письмо-прошение на имя государя императора, в котором содержались строки о мучившем его тяжелом недуге, открывшемся на каторге и требующем помощи

[1] Н.М. Ковалевский. Стихи и воспоминания. С. 276.

столичных врачей. «Болезнь моя усиливается более и более. От каждого припадка я видимо теряю память, воображение, душевные и телесные силы. Исход моей болезни – расслабление, смерть или сумасшествие».

В самом конце октября, ко дню своего тридцативосьмилетия, он получил часть гонорара за «Село Степанчиково» – оно уже набиралось и вот-вот должно было появиться в «Отечественных записках». Все-таки внутреннее ощущение, что, несмотря на отказ двух журналов, роман «вовсе не забракованный», а он сам «вышел» далеко не весь, значительно облегчило ему мучительное ожидание царских милостей. За четыре месяца сидения на чемоданах и лихорадочного писания писем Достоевский до деталей продумал вещь, которая вскоре заставила умолкнуть его недоброжелателей. Задуманный проект уже в начале октября имел реальные очертания и ничуть не походил на те летучие замыслы, которые вспыхивали в его сознании, сталкивались друг с другом, но оставались невоплощенными; впрочем, и таких замыслов за четыре месяца набралось несколько: роман со «страстным элементом», «роман-исповедь» в трех частях, задуманный на нарах, «в тяжелую минуту грусти и саморазложения», а также роман о человеке, «которого высекли».

В ноябре он тайком, без официального дозволения, съездил в Москву и повидался с сестрами. Очень скоро ему предстояло узнать о положительном ответе государя и начать сборы. Сумрачная Тверь, с ее невероятной скукой, бытовыми неудобствами, ужасной дороговизной, ничтожным театром и нескончаемым свистом поездов на железной дороге, оставалась позади. Казалось, что навсегда.

Но пройдет ровно десять лет, и в самом конце 1869 года, в Дрездене, он начнет работать над романом, действие которого происходит в губернском городе. При попустительстве властей – губернатора и его взбалмошной супруги – в этом городе произойдут безобразные, фантасмагорические события. Фамилию губернаторской четы Достоевский переведет с русского на немецкий и получится «фон Лембке».

Настоящий же тверской губернатор граф Баранов и его супруга, урожденная Васильчикова, двоюродная сестра графа Соллогуба (того самого, который приглашал молодого и прославившегося Достоевского на свои приемы «в большой свет»), наперебой зазывали к себе и «убедительнейше» просили бывать запросто только что прощенного государственного преступника, состоявшего под секретным надзором полиции. Поднадзорный охотно бывал в их салоне, и супруги принимали самое деятельное участие в хлопотах своего экзотического гостя: поддержав «всеподданнейшую просьбу» Достоевского о разрешении иметь местом постоянного проживания Петербург, граф Баранов уведомлял начальника III Отделения князя Долгорукова, что «в течение всего времени пребывания своего в г. Твери г-н Достоевский вел себя отлично хорошо»[1].

Жизнь причудливо переплеталась с вымыслом. Губернский город, прототипом которого стала Тверь, был окружен городскими окраинами и загородными пейзажами, подразумевавшими: усадьбу Московской сельскохозяйственной академии, с большим парком, тремя прудами и темным гротом, невскую бумагопрядильную фабрику в Петербурге и небольшой лесок за рощей в Даровом, подмосковном имении родителей Достоевского.

Барышня, которой автор «Бедных людей» был представлен много лет назад ее кузеном, вышла замуж и стала тверской губернаторшей, а также прототипом Юлии Михайловны Лембке, честолюбивой покровительницы погрязших в вольнодумстве молодых людей. «Надо дорожить нашей молодежью; я действую лаской и удерживаю их на краю», – говаривала Юлия Михайловна. Благородная миссия графини Барановой, убедившей мужа позаботиться о Достоевском, удалась ей куда лучше, чем несчастной Юлии Михайловне ее амбициозные планы и проекты.

Новый, 1860 год Достоевский и его семейство встречали уже в Петербурге.

[1] Л. Гроссман. Жизнь и труды Ф.М. Достоевского. Биография в датах и документах. М.–Л.: Academia, 1935. С. 98.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Тоска по текущему

I

ЕСЛИ БЫ литературное поведение Достоевского действительно определялось «ужасным пороком» – неограниченным самолюбием и честолюбием, – то по степени его удовлетворения первые несколько лет петербургской жизни вполне могли бы быть названы годами реванша.

Его самолюбие, как только он после десятилетнего отсутствия появился в столице, очень скоро было вознаграждено: возвращение к литературной жизни автора «Бедных людей», окруженного теперь мученическим ореолом каторжанина и славой мятежника-петрашевца, не прошло незамеченным, и он сразу был принят в тот самый круг, к которому хотел принадлежать смолоду.

Литературная профессия, при всем ее изнурительном режиме, при всех ее болезненных неудачах и тяжелых нагрузках, простоях и провалах, всегда имела – кроме собственно сидения за столом – приятную и даже праздничную внешнюю сторону, которая во все времена называлась литературной жизнью. И не только потому, что литературная жизнь начала 60-х годов была особенно бурной в России, но и потому, что Достоевский без малейшего стеснения и ложной скромности ее жаждал, – он окунулся в литературный водоворот со страстью и энтузиазмом истосковавшегося в глуши и безлюдье человека.

Было в России тех лет магическое слово «кружок». Знакомые между собой и непротивные друг другу лица, как частные, так и публично известные, объединялись в более или менее регулярном общении у кого-нибудь на дому для обсуждения текущих и вечных вопросов. Возможность высказаться перед людьми,

близкими по духу, выразить свое мнение и убедить в нем собеседников казалась литераторам начала 60-х не только приятным препровождением времени, но и необходимым профессиональным занятием. «Одно слово, сказанное с убеждением, с полною искренностию и без колебаний, глаз на глаз, лицом к лицу, гораздо более значит, нежели десятки листов исписанной бумаги», – писал Достоевский из Семипалатинска, когда был лишен полноценного литературного общения.

Как и многие из его современников, он был усердным и ревностным посетителем литературных объединений, смолоду разглядевшим в Петербурге «собрание огромного числа маленьких кружков, у которых у каждого свой устав, свое приличие, свой закон, своя логика и свой оракул». Но, как никто из литераторов его поколения, он имел поистине драматический опыт жизни «в кружке» – из одного его с треском прогнали, из второго он угодил на каторгу. «В кружке можно самым безмятежным и сладостным образом дотянуть свою полезную жизнь, между зевком и сплетнею, до той самой эпохи, когда грипп или гнилая горячка посетит ваш домашний очаг и вы проститесь с ним стоически, равнодушно и в счастливом неведении того, как это всё было с вами доселе», – посмеивался он между двумя своими тяжкими опытами: тогда ему было все еще невдомек, что безмятежный покой, сладостное прозябание или счастливое неведение обойдут его стороной.

И тем не менее лучшего способа войти в литературную жизнь, чем отдаться стихии кружкового общения, не было – благо по приезде из Твери в Петербург приличное во всех отношениях объединение литераторов гостеприимно открыло перед ним свои двери.

Хозяином нынешнего кружка был А.П. Милюков, давний знакомый братьев Достоевских, издававший журнал «Светоч». Здесь, конечно, не бывали литературные генералы, но все же каждый вторник являлись настоящие, печатающиеся литераторы, а главное – добрые друзья. Для умонастроения Достоевского это была идеальная компания – не просто хороших приятелей,

из гуманных соображений сочувствующих настрадавшемуся собрату, а литературных профессионалов; к тому же они – Майков, Яновский, Страхов, Крестовский, Минаев, Аполлон Григорьев – безоговорочно признавали его писательский авторитет.

«Первое место в кружке занимал, конечно, Федор Михайлович: он был у всех на счету крупного писателя и первенствовал не только по своей известности, но и по обилию мыслей и горячности, с которою их высказывал»[1], – вспоминал Страхов; ему, новичку, тогда только что принятому в обществе «настоящих литераторов», больше других были понятны чувства изгнанника, нашедшего наконец свой приют. Для Достоевского в тот момент обретение «своих» было лучшим лекарством – оно смягчало нападки извне, давало силы сосредоточиться и собраться с мыслями на пороге новой эпохи.

Литература, как и все общество, пребывала в радостном возбуждении от ожидания и предчувствия либеральных реформ; само время поощряло к сложным социальным переживаниям; «смысл деятельности неравнодушного человека» (о котором он писал еще в 40-х годах) заключался сейчас в том, чтобы как можно скорее, «на почтовых» сблизиться с новой Россией, вписаться в бурную литературную жизнь Петербурга.

С величайшей готовностью принимал он приглашения на литературные вечера, публичные чтения, куда – наравне с рядовыми петербургскими литераторами, а очень скоро и с литературными генералами – стали звать и его. Всего только в январе 1860-го в столичном «Пассаже» состоялся первый вечер, организованный Обществом для пособия нуждающимся литераторам и ученым, или Литературным фондом, а уже в октябре того же года вместе с Майковым, Писемским, Полонским и самим Некрасовым с чтением своих вещей там уже выступал и Достоевский. (Едва пройдет два года, как его изберут секретарем Комитета литературного фонда, и он будет с превеликим тща-

[1] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 171.

нием приводить в порядок бумаги Общества для пособия, составлять отчеты ревизионной комиссии, направлять за своей подписью распоряжения казначею Общества для выдачи искомых пособий. После стольких лет вынужденной изоляции даже канцелярская работа и секретарские обязанности были ему милы и желанны.)

Но еще раньше, в апреле 1860-го, он получил приглашение – которое, вероятно, счел тогда радостной удачей – принять участие в любительском спектакле в пользу Литературного фонда. Для него это был не дежурный эпизод пустой и надоевшей светской жизни, а первая и счастливая возможность встретиться и близко соприкоснуться сразу со всеми, как тогда говорили, «главарями литературы», которым предстояло репетировать и играть в гоголевском «Ревизоре». Устроитель спектакля, литератор П.И. Вейнберг, вспоминал: «Все литераторы из «больших» – а их-то участие в спектакле и было наиболее желательно – самым сочувственным образом отнеслись к моему предприятию, но принять участие активное, выступить в мало-мальски ответственной роли нашлось мало охотников. Ни одному из них не приходилось до того времени выступать на сцене, и сделать первый опыт *теперь* никто не решался... Единственным писателем из этого кружка, высказавшим полнейшую, даже горячую готовность играть – не выйти только на сцену, а именно играть, – оказался, как это ни может показаться странным для знавших этого писателя, особенно впоследствии, Федор Михайлович Достоевский... «Дело хорошее, очень хорошее, дело даже – прямо скажу – очень важное!» – говорил он с какою-то суетливою радостью и раза-два три, пока шли приготовления, забегал ко мне узнавать, ладится ли все как следует»[1].

Достоевскому предоставили на выбор несколько неразобранных ролей (Добчинского, Почтмейстера, Смотрителя училищ), но он без колебаний остановился на почтмейстере Шпекине, пообещав играть «с

[1] П.И. Вейнберг. Литературные спектакли. (Из моих воспоминаний) // Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. М.: ГИХЛ, 1964. С. 331.

большим старанием и большою любовью». «Это – одна из самых высококомических ролей не только в гоголевском, но и во всем русском репертуаре, и притом исполненная глубокого общественного значения». Он невероятно волновался, вновь ощущая себя дебютантом, но это был его маленький звездный час – находиться вместе со всеми, в самом лучшем литературном обществе. Он участвовал в репетициях наравне с «главарями литературы», безукоризненно, по отзыву Вейнберга, играл своего Шпекина, обнаружив несомненное сценическое дарование. Они же – Тургенев, Григорович, Майков, Дружинин, Краевский, Курочкин – безмолвными купцами появляясь перед Хлестаковым и Городничим, могли видеть превосходную игру Почтмейстера и слышать аплодисменты в «его» мизансценах.

«Я думаю, что никто из знавших Федора Михайловича в последние годы его жизни не может себе представить его – комиком, притом комиком тонким, умеющим вызывать чисто гоголевский смех; а между тем это было действительно так...»[1] – писал Вейнберг, весьма расположенный к Достоевскому. И он бы не ошибся, если бы добавил, что благодаря спектаклю, состоявшемуся 14 апреля 1860 года, всего через три с половиной месяца после возвращения Достоевского в Петербург, его место в литературной жизни столицы точно обозначилось и публично подтвердилось. Самолюбие недавнего изгнанника отныне могло не страдать.

Вряд ли кто-нибудь из замечательной компании, занятой вместе с Достоевским в «Ревизоре», стал бы слишком строго судить автора «Бедных людей», если бы его увлеченность внешней стороной литературной жизни затянулась надолго: каждый бы понял, как мог изголодаться писатель по желанной и неизбежной для всякого работающего литератора литературной карусели. Но именно теперь он сам жаждал с головой окунуться в гущу литературно-общественных событий и быть лично причастным к злобе дня. Его возвра-

[1] П.И. Вейнберг. Литературные спектакли. С. 332.

щение в литературу, как оказалось, предполагало не только писание и печатание новых вещей, не только праздничную, «концертную» суету и, уж конечно, не только исполнение престижных обязанностей секретаря Литературного фонда. Его честолюбивые замыслы и авторские амбиции были много шире, объемнее – литературная деятельность влекла к себе возможностью создавать литературные новости, осуществлять литературные события, влиять на сам ход развития литературы.

«Хочется нам (то есть ему и брату Михаилу. – *Л.С.*) что-нибудь сделать порядочное в литературе, какое-нибудь предприятие, – признавался он в письме к А.И. Шуберт, жене своего друга, С.Д. Яновского. – Сильно мы заняты этим. Может быть, и удастся. По крайней мере все эти задачи – деятельность, хотя только 1-й шаг. А я понимаю, что значит первый шаг, и люблю его». В мае 1860 года, когда писалось это письмо, «какое-нибудь предприятие» уже утратило черты неопределенности – именно весной 1860 года окончательно оформилось решение братьев Достоевских издавать свой журнал и иметь при нем свой редакционный кружок.

Ничто другое не могло дать Достоевскому такого независимого положения и такого активного участия в литературных событиях, как делание своего журнала. Журнал давал редактору особые права и полномочия: в силу самих обязанностей, по должности, он мог входить в деловые отношения с первыми лицами литературы, ища их внимания не для себя лично, а для обоюдной пользы. Как пишущий автор он переставал быть зависимым от тех, кто прежде им откровенно пренебрегал; без всякого ущерба для самолюбия он мог теперь приглашать к сотрудничеству бывших литературных недругов, если только их имена способны были содействовать процветанию журнала. И вообще – после того как он намытарствовался, пристраивая «Село Степанчиково», натерпелся обид и настрадался, болезненно осознавая свою зависимость от чужого вкуса и чужого мнения, статус хозяи-

на положения давал драгоценное ощущение полноты литературного бытия.

Он был опьянен свободой, возбужден открывшимися перспективами, воодушевлен петербургскими литературными баталиями: он свято верил в «великость» журнального дела. Он прямо-таки рвался в журналистику, добиваясь трибуны, которая обеспечивала прямое и непосредственное общение с читателем. Превыше всего ценивший «новое слово» и все десять сибирских лет мечтавший о нем, он страстно желал наконец произнести его. В тот момент он почти не чувствовал различий между журналистикой и сочинительством и не мог, конечно, смотреть на статью для журнала или газеты, на критическую рецензию или публицистическое выступление как на второсортную, черную работу.

Он, без сомнения, испытывал настоящую «тоску по текущему» – по текущей литературе, текущей периодике и текущим полемическим страстям. Ближе всех сотрудничавший с Достоевским, редактором «Времени» и «Эпохи», Страхов утверждал: «Федор Михайлович любил журналистику и охотно служил ей... Он с молодости был воспитан на журналистике и остался ей верен до конца. Он вполне и без разделения примыкал к той литературе, которая кипела вокруг него, не становился никогда в стороне от нее. Обыкновенное его чтение были русские журналы и газеты. Его внимание было постоянно устремлено на его собратий по части изящной словесности, на всякие критические отзывы и об нем самом и об других. Он очень дорожил всяким успехом, всякою похвалою и очень огорчался нападками и бранью. Тут были его главные умственные интересы, да тут же были и его вещественные интересы. Он жил исключительно литературным трудом, никогда и не предполагая для себя какого-нибудь другого занятия, не задаваясь и мыслью о каком-нибудь месте, казенном или частном... Литература была вполне родною сферою Федора Михайловича; он избрал ее своею профессиею и иногда даже высказывал гордость этим своим положением. Он усердно трудился и рабо-

тал, и достиг своего: он сделал одну из блистательных литературных карьер...»[1]

Многосторонняя и полнообъемная литературно-общественная деятельность, к которой стремился Достоевский, вторично вступая на литературное поприще, удачно совпала с выходом в Москве первого в его жизни двухтомника: в начале февраля 1860 года Тургенев привез от издателя Н.А. Основского причитавшуюся за двухтомник часть гонорара – 600 рублей серебром. «Вместо предполагаемых мною пятидесяти листов Ваших сочинений вышло с лишком 60»[2], – писал ему чуть позже издатель. Уже к началу лета успех был стремительно закреплен: составленные и посланные в Цензурный комитет программа журнала и специальное прошение были восприняты положительно; и, как только искомое разрешение было получено, все столичные газеты напечатали объявления об издании «Времени».

Со страстью и азартом включились братья Достоевские в организационную, хозяйственную и финансовую деятельность, связанную с журналом. Их литературные мечтания начали счастливо воплощаться в милую издательскому сердцу поэзию журнальной подписки и гонорарных ведомостей, литературной полемики и читательской почты. И даже если мнение сторонних наблюдателей о «своем» журнале, который якобы был нужен Достоевскому только для того, чтобы печатать свои сочинения, почему-либо отвергнутые другими изданиями, было неверным изначально (возможность остаться без печатной трибуны не грозила Достоевскому тотально), то по факту существования «Времени» и «Эпохи» как бы и оправдывалось: за четыре года здесь было опубликовано ровно столько, сколько написано, включая «Униженных и оскорбленных» и «Записки из Мертвого дома», не только вернувших автору звание первого писателя России, но и ставших литературным манифестом славной эпохи 60-х годов.

[1] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 218–219.

[2] Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Т. 1. С. 294.

II

Собственный журнал, отнимавший, конечно, много времени и требовавший самых разных забот, не только не потеснил собственно писательскую деятельность, но и всемерно стимулировал ее – каждый номер нуждался в беллетристике, читатель, какому бы направлению он ни сочувствовал, хотел повестей и романов. В этой связи Достоевский никак не мог согласиться с мнением Аполлона Григорьева, хорошо знавшего литературную кухню «Времени»: «Следовало не загонять как почтовую лошадь высокое дарование Ф. Достоевского, а холить, беречь его и удерживать от фельетонной деятельности, которая его окончательно погубит и литературно и физически»[1].

Отклоняя упрек, адресованный брату («этот благороднейший человек не мог употреблять меня в своем журнале как почтовую лошадь»), Достоевский признавал, что некоторая «фельетонность» его сочинений проистекает из несчастной необходимости печатать их по частям прямо «с колес». «Так я писал и всю мою жизнь, так написал всё, что издано мною, кроме повести «Бедные люди» и некоторых глав из «Мертвого дома». Очень часто случалось в моей литературной жизни, что начало главы романа или повести было уже в типографии и в наборе, а окончание сидело еще в моей голове, но *непременно* должно было написаться к завтраму. Привыкнув так работать, я поступил точно так же и с «Униженными и оскорбленными», но никем на этот раз не принуждаемый, а по собственной воле моей. Начинавшемуся журналу, успех которого мне был дороже всего, нужен был роман, и я предложил роман в четырех частях. Я *сам* уверил брата, что весь план у меня давно сделан (чего не было), что писать мне будет легко, что первая часть уже написана и т.д. Здесь я действовал не из-за денег... Вышло произведение дикое, но в нем есть с полсотни страниц, которыми я горжусь... Конечно, я сам виноват в том, что всю жизнь так

[1] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 208.

работал, и соглашаюсь, что это очень нехорошо, но... Но повторяю, в фельетонстве моем я сам был виноват и никогда, никогда благородный и великодушный брат мой не мучил меня работой».

Тем не менее «фельетонство» Достоевского, под которым следовало понимать и так откровенно описанный им «конвейерный» способ писания романов, и те авантюрные отношения с издателем, распространявшиеся даже на родного брата, когда никто из «сторон» толком не знал, насколько обеспечены авторские обещания, сказывалось на качестве литературного труда и даже на его содержании самым непредвиденным образом. В «фельетонных» сочинениях Достоевского «эпохи журналов» стали появляться герои, чья жизнь, как и жизнь автора, была неразрывно связана с судьбой созданного ими текста. В этом своем качестве персонажи-писатели первыми принимали на себя удары судьбы.

Журнальный вариант романа «Униженные и оскорбленные» посвящался брату Михаилу и имел подзаголовок: «Из записок неудавшегося литератора». Осенью 1860 года, когда Достоевский приступил к работе над первой частью «Униженных и оскорбленных», предназначая ее для дебюта «Времени», он никак не мог считать себя неудавшимся литератором: «Русский мир» печатал главы «Мертвого дома»; его автор чуть ли не ежемесячно выступал в лучших петербургских залах на литературных чтениях (к талантливым авторам публика относилась с восторгом и встречала их «серебряными и цветочными венками, букетами и аплодисментами»[1]); воскресные редакционные вечера братьев Достоевских, также установившиеся этой осенью, собирали тесный кружок литераторов-единомышленников и будущих журнальных сотрудников.

Однако Иван Петрович, двадцатичетырехлетний литератор, герой и рассказчик «Униженных и оскорбленных», получал в надел только часть литературной биографии Достоевского – литературный дебют. «Его

[1] Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Т. 1. С. 305.

внимание было постоянно устремлено на его собратий но части изящной словесности, на всякие критические отзывы и об нем самом, и об других», – писал Страхов. Действительно, как бы восполняя потерю «своей» критики и «своего» читателя за десять лет отсутствия в литературе, Достоевский создавал феноменальный сюжет: герои «Униженных и оскорбленных» читали, обсуждали и критиковали «Бедных людей», написанных якобы Иваном Петровичем; ему, бедному сочинителю, чья муза «испокон веку сидела на чердаке голодная», измученному поденной литературной работой ради куска хлеба и погибающему от чахотки, отдавал Достоевский незабываемые переживания первого шумного успеха, звездные мгновения славы, честолюбивые мечтания о блестящем литературном поприще.

Казалось, тот феерический успех, который выпал на долю литературного дебютанта Достоевского, и все его роковые последствия ушли в прошлое и стали легендой: нынешний Достоевский, быстро наверстывая упущенное, располагал большим выбором свежих впечатлений. Но почему-то именно «Бедные люди», а вместе с ними весь литературный и окололитературный быт, новые издательские нравы, а главное, рискованная и опасная писательская профессия создали атмосферу «Униженных и оскорбленных», очертили время и пространство романа.

«Бедных людей», первое произведение Ивана Петровича, читали и обсуждали в семействе Ихменевых; потихоньку и скрываясь прочитывала Нелли; покупал книгу для сожительницы Маслобоев; сообщал автору свои впечатления князь Валковский («У вас там теперь всё нищета, потерянные шинели, ревизоры, задорные офицеры, чиновники, старые годы и раскольничий быт»). Старик Ихменев называл Ивана Петровича русским литератором; о нем и его первом романе говорили в литературных и великосветских салонах, а также писали в журналах; отрывки из романа, «слова и словечки» то и дело звучали в сценах и диалогах.

Достоевский, быть может, неосознанно населял свой «фельетонный» роман читателями «Бедных лю-

дей», и мир «Униженных и оскорбленных» воссоздавал читательское сообщество таким, каким оно виделось автору. В этом мире даже родной человек, услышав историю о бедном и забитом чиновнике, «у которого и пуговицы на мундире обсыпались», хотя и обливался слезами жалости, но не забывал посоветовать сочинителю: «Это хоть не служба, зато все-таки карьера. Прочтут и высокие лица. Вот ты говорил, Гоголь вспоможение ежегодное получает и за границу послан. А что если бы и ты? А? Или еще рано? Надо еще что-нибудь сочинить? Так сочиняй, брат, сочиняй поскорее! Не засыпай на лаврах. Чего глядеть-то!.. Или вот, например, табакерку дадут... Поощрить захотят. А кто знает, может, и ко двору попадешь... Камергером, конечно, не сделают за то, что роман сочинил; об этом и думать нечего; а все-таки можно в люди пройти; ну сделаться каким-нибудь там атташе. За границу могут послать, в Италию, для поправления здоровья или там для усовершенствования в науках, что ли; деньгами помогут. Разумеется, надо, чтобы всё это и с твоей стороны было благородно; чтоб за дело, за настоящее дело деньги и почести брать, а не так, чтоб как-нибудь там, по протекции...»

В тот момент, когда сочинялся и печатался роман, где так любовно была прочерчена карьера, лучшая из возможных для всякого писателя, живущего одним литературным трудом (в простоте душевной и от всего сердца старик Ихменев желал Ивану Петровичу сочинить вещь, которая бы принесла автору по порядку: успех – славу – деньги – почести – заграницу – назначение на хорошую должность), карьера самого Достоевского, хотя его дела и пошли в гору, была еще бесконечно далека от этого простодушного и вполне человечного идеала. Только через год после выхода «Униженных и оскорбленных» поедет он в свою первую заграничную поездку – но окажется, что этот роман, на который автор смотрел «не как на несокрушимый памятник для потомства, а просто как на журнальную работу» (Добролюбов, в своей обширной статье похваливший Достоевского за скромность, объявил эту

«журнальную работу» «ниже эстетической критики»[1]), вполне оправдывал надежды благожелательного персонажа. Роман имел шумный успех, значительно увеличивший число подписчиков «Времени», «заурядная публика приветствовала автора восторженными рукоплесканиями»[2] и не хотела замечать ни журнальной поспешности, ни того печального, по мнению Добролюбова, обстоятельства, что все действующие лица говорят, как автор, и называют друг друга «голубчиком».

Живописуя историю бедного, но честного сочинителя и примеряя на нем судьбу «Бедных людей» (Достоевский подарил Ивану Петровичу даже свое памятное знакомство с «критиком Б.»), автор «Униженных и оскорбленных» будто ставил эксперимент на болезненно близкую ему тему: что ждет литератора, познавшего первый громкий успех, но – по слабому здоровью и бедности – надорвавшегося на поденной журнальной работе. Иван Петрович, показанный как бы при конце своего писательского поприща, в чахотке и на больничной койке, исполнял роль разведчика-первопроходца; он должен был, испытав все тяготы изнурительного литературного труда и изменчивой литературной славы, подойти к печальному финалу таким же бедным, как и в начале пути.

Так же как Достоевский, Иван Петрович «сотрудничал по журналам, писал статейки и твердо верил, что ему «удастся написать какую-нибудь большую, хорошую вещь».

Так же как Достоевский, Иван Петрович работал в системе долга, а значит, всегда был на мели – монологи героя цитировали автора, повторяя один и тот же знакомый мотив: «Беспредельная радость наполняет мое сердце. Повесть моя совершенно кончена, и антрепренер, хотя я ему и много теперь должен, все-таки даст мне хоть сколько-нибудь, увидя в своих руках добычу, – хоть пятьдесят рублей, а я давным-давно не видал у себя в руках таких денег. Свобода и деньги!..»

[1] См.: Современник. 1861. № 9. С. 99–149.
[2] Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Т. 1. С. 325.

Так же как Достоевский, Иван Петрович мог написать повесть «в две ночи», а потом «в два дня и две ночи» написать еще три с половиной листа по особому журнальному заказу.

Так же как Достоевского, критики упрекали Ивана Петровича в том, что его сочинения «пахнут по́том», а доктора – в том, что «никакое здоровье не выдержит подобных напряжений, потому что это невозможно!».

И оба они, Достоевский и его герой, в унисон восклицали: «Однако ж покамест это возможно!» – и одинаково радовались, замечая, что в моменты такого напряженного труда вырабатывается какое-то особенное раздражение нервов; «...я яснее соображаю, живее и глубже чувствую, и даже слог мне вполне подчиняется», – доверчиво сообщал герой романа своей возлюбленной.

Собственно экспериментальная часть пути героя-сочинителя, художественно исследованная Достоевским, упиралась в роковой для всякого литератора вопрос, вынужденно вставший перед совсем молодым Иваном Петровичем: «Дело все-таки кончилось тем, что я – вот засел теперь в больнице и, кажется, скоро умру. А коли скоро умру, то к чему бы, кажется, и писать записки?» Иван Петрович, получивший вместе с «Бедными людьми» особый дар – видеть свою и чужую жизнь как еще не использованный сюжет, первым держал ответ. «Вспоминается мне невольно и беспрерывно весь этот тяжелый, последний год моей жизни. Хочу теперь всё записать, и, если б я не изобрел себе этого занятия, мне кажется, я бы умер с тоски».

Но Иван Петрович, «засевший в больнице», умирал не с тоски, а от дурного, чахоточного кашля, полученного в сырой и холодной комнате «от жильцов»; литературная карьера с гипотетическим камергерством и итальянскими путешествиями пролетала мимо него, а сочинительство, если учесть побудительные мотивы в виде «свободы и денег», которыми бредил неудачливый литератор в хорошие времена, теперь теряло всякий смысл.

Между тем Иван Петрович продолжал: «Все эти прошедшие впечатления волнуют иногда меня до боли, до муки. Под пером они примут характер более успокоительный, более стройный; менее будут походить на бред, на кошмар. Так мне кажется. Один механизм письма чего стоит: он успокоит, расхолодит, расшевелит во мне прежние авторские привычки, обратит мои воспоминания и больные мечты в дело, в занятие...»

Эпилог «Униженных и оскорбленных» имел красноречивый подзаголовок: «Последние воспоминания». Иван Петрович, уже с сильной болью в спине и груди, признавался Наташе Ихменевой, что не может сравнивать себя с литератором С., пишущим по одной повести в два года, и с литератором N., который за десять лет один роман написал. «Они обеспечены и пишут не на срок; а я почтовая кляча!» Впереди его ждали болезнь, больничная койка и – «Записки», которые безнадежно опоздали в смысле табакерок, денежных пособий, посольских должностей и всего прочего, что приносит иным счастливцам удавшееся литературное поприще.

Теперь литература как дело и профессия не только не представлялась карьерой, но и вообще освобождалась от желаний, посторонних «механизму писания». Оказывалось, что сочинительство – занятие самодостаточное и в этом смысле является целью, а не средством. Даже в том случае, когда оно не сулило ни славы, ни денег, ни почестей, для человека призванного это было равносильно счастливому и спасительному дару. В случае же Ивана Петровича «припоминание и записывание» наполнялись еще и особым предсмертным бескорыстием, смиренной поэзией конца. На вопрос: «Коли скоро умру, к чему записки?» – литератор, принимаясь за дело, отвечал: «Я хорошо выдумал. К тому ж и наследство фельдшеру; хоть окна облепит моими записками, когда будет зимние рамы вставлять».

III

И ВСЕ ЖЕ это был эксперимент, смертельно опасный не столько для героя, сколько для автора романа. Вывести на страницах своего журнала литературного двойника и дать ему самостоятельное имя, подарив при этом и свою первую славу, и свой первый роман, и свои писательские привычки, и свою манеру работать (Иван Петрович даже по комнате ходил взад и вперед, как Достоевский, когда придумывал новые повести), а затем повернуть сюжет так, чтобы герой-сочинитель, надорвавший здоровье черным поденным трудом, писал «Записки» (то есть роман «Униженные и оскорбленные») как предсмертный текст, мог только литератор беспредельного риска.

Апрельский номер «Времени» с первыми двумя главами четвертой части романа (всего восемнадцать страниц) сопровождался редакционным уведомлением: «Болезнь автора заставила нас остановиться на этих двух главах. Так как они составляют почти отдельный эпизод в романе, то мы решились напечатать их теперь же, не дожидаясь окончания четвертой части, которое мы надеемся поместить в следующем номере»[1]. Пометка в записной книжке Достоевского 1861 года обнаруживала характер болезни: «Припадки. 1-го апреля – (сильный)». Страхов, сотрудничавший во «Времени», вспоминал: «Федор Михайлович... печатал с первой книжки свой роман «Униженные и оскорбленные» и вел критический отдел... Кроме того, он принимал участие в других трудах по журналу, в составлении книжек, в выборе и заказе статей, а в первом номере взял на себя и фельетон... Такого труда, наконец, не выдержал Федор Михайлович и на третий месяц заболел... Болезнь эта была страшный припадок падучей, от которого он дня три пролежал почти без памяти... Дорого обходился ему литературный труд. Впоследствии мне случалось слышать от него, что для излечения от падучей доктора одним из главных условий ставили – прекратить вовсе писа-

[1] Время. 1861. № 4. С. 633.

ние. Сделать этого, разумеется, не было возможности...»[1]

Вместив в образ Ивана Петровича громадный пласт своей реальной биографии, наделив его своей собственной писательской судьбой (Страхов без обиняков утверждал, что в «Униженных и оскорбленных» автор «вывел на сцену самого себя»[2]), Достоевский весьма скоро смог обнаружить странный факт: его автобиографический персонаж не только «отбирал» у него прошлое – литературную молодость и первый читательский успех, – но и имел несомненное влияние на нынешнюю, текущую жизнь – так что автор вынужден был подчиняться обстоятельствам, придуманным для героя. И это касалось уже не только сугубо профессиональной сферы – психологии и технологии литературного творчества (Иван Петрович, признаваясь в хорошо знакомом Достоевскому чувстве, говорил: «Мне всегда приятнее было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их, и, право, это было не от лености»). Это касалось самой тонкой, деликатной и непредвиденной стороны жизни автора, но – автобиографический герой будто предсказывал ему, что та самая самоотверженная любовь, когда ради счастья любимой женщины он не просто уступит ее счастливому сопернику, но и будет при ней почтальоном, конфидентом, другом и братом, на самом деле только еще предстоит.

Любовный треугольник «Униженных и оскорбленных», художественно преобразивший трагический узел, завязанный историей первого брака писателя (страстью Марьи Дмитриевны к молодому учителю, готовностью солдата-жениха пожертвовать своим чувством ради ее счастья), содержал такой мощный потенциал переживаний, что им суждено было, ничуть не повторяясь сюжетно, вновь захватить и обжечь Достоевского. Через три месяца после того, как во «Времени» закончилось печатание «Записок» Ивана Петровича, 1 ноября 1861 года, вышел очередной номер жур-

[1] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 212–213.

[2] Там же. С. 215.

нала, где под «сенью крыл» – четырех глав «Записок из Мертвого дома. Ф.М. Достоевского» – значилась повесть никому не известной дебютантки «А. С-вой». Своей привилегией хозяина журнала, который, никого не спрашивая и не слушая, мог поместить рядом с литературными корифеями слабую вещь протежируемой дамы, он пользовался впервые в жизни. До рокового эпизода, когда писателю вновь пришлось играть неблагодарную роль «друга и брата» неверной возлюбленной, оставалось целых два года.

Литераторство как профессия и образ жизни, как особый взгляд на мир и способ познания людей имело то неоспоримое преимущество, что в момент самого искреннего страдания и невыносимой боли где-то на обочине сознания или на дне души всегда теплилось нечто живое и очень, очень внимательное. «Оно» слушало и смотрело, запоминало и откладывало про запас те сиюминутные впечатления, которые могли казаться сейчас глубоким, невыразимым горем или, напротив, беспредельной, неописуемой радостью. Проходило сколько-то времени – год или двадцать лет, – и невыразимое жаждало быть выраженным, неописуемое – требовало подробнейшего описания; и в этом зыбком, мерцающем мире все, все без исключения могло и должно было стать материалом для будущего рассказа. В каком-то смысле литераторство оказывалось занятием отчасти беспощадным и почти святотатственным – когда сознательно или бессознательно литератор стремился смотреть на живых людей как на литературное сырье, а на их живую жизнь как на источник сюжетов. Каждое новое сочинение, насыщенное подлинными страстями и страданиями, невольно провоцировало автора как-то проверить опыты своих героев в реальном пространстве; каждое новое переживание автора обречено было, дождавшись своего часа, воплотиться в текст.

Вряд ли, однако, Достоевского можно было бы упрекнуть в хищном жестокосердии при отборе и художественном использования сырой реальности – при том, что он действительно работал «без ограничений»,

писательская беспощадность распространялась прежде всего на сокровенные мгновения его собственной жизни, каждое из которых рано или поздно могло быть им представлено и как трагедия, и как фарс, и как портрет, и как карикатура. И если, допустим, он сам, лично участвовал в марте 1862 года в литературных чтениях в «пользу учащихся» (читал отрывки из «Мертвого дома») вместе с литератором Чернышевским и профессором истории Павловым, выступившим с речью о тысячелетии России, это не значило, что событие навеки «канонизируется»: ровно через десять лет новый роман «вспомнит» и это «литературное утро» с его специфической атмосферой, и выступления знаменитых писателей, и неистовство публики, и маньяка, махавшего кулаком («...аплодировала уже чуть не половина залы; увлекались невиннейше: бесчестилась Россия всенародно, публично, и разве можно было не реветь от восторга?»).

И собственное страстное увлечение кружковой суетой, и свою погруженность в литературную злобу дня, и первое упоение редакторской работой в своем журнале, и, наконец, даже свою «тоску по текущему» – все, чем он жил в 60-е годы как «участник литературы» с ее тогдашними праздниками и модными мероприятиями, он без колебания отдал десять лет спустя на благо романа – просто для фона, настроения, декорации. И что толку было сетовать Тургеневу, «пострадавшему» вместе с «Призраками» (опубликованными по настоятельной просьбе Достоевского в «Эпохе», а потом им дерзко окарикатуренными), если автор романа не щадил себя самого и свой былой журналистский пафос? И если вдохновеннейшей сатирой начала 70-х он подвел итог всему прошедшему славному десятилетию с его литературной круговертью, журнальным азартом и всесокрушающей публичностью?

«Оскорбленная Варвара Петровна бросилась было всецело в «новые идеи» и открыла у себя вечера. Она позвала литераторов, и к ней их тотчас же привели во множестве. Потом уже приходили и сами, без приглашения; один приводил другого. Никогда еще

она не видывала таких литераторов. Они были тщеславны до невозможности, но совершенно открыто, как бы тем исполняя обязанность. Иные (хотя и далеко не все) являлись даже пьяные, но как бы сознавая в этом особенную, вчера только открытую красоту. Все они чем-то гордились до странности. На всех лицах было написано, что они сейчас только открыли какой-то чрезвычайно важный секрет. Они бранились, вменяя себе это в честь. Довольно трудно было узнать, что именно они написали; но тут были критики, романисты, драматурги, сатирики, обличители».

Не имело значения, что бытописателем славного десятилетия выступала в романе дама-меценатка, никогда не занимавшаяся литературой: ее взгляд на вещи был столь же авторитетен, как если бы о них рассказывал сам автор; казалось, непредвзятость героини только усугубляет общее впечатление. «Она, конечно, понимала, что ей нельзя водиться с этими людьми, но все-таки принимала их с жадностию, со всем женским истерическим нетерпением и, главное, всё чего-то ждала... Ясно было, что в этом сброде новых людей много мошенников, но несомненно было, что много и честных, весьма даже привлекательных лиц, несмотря на некоторые все-таки удивительные оттенки. Честные были гораздо непонятнее бесчестных и грубых; но неизвестно было, кто у кого в руках».

Достоевский, столь пострадавший в журнальной катастрофе, обнаруживал редкое чувство юмора и самоиронии. «Когда Варвара Петровна объявила свою мысль об издании журнала, то к ней хлынуло еще больше народу, но тотчас же посыпались в глаза обвинения, что она капиталистка и эксплуатирует труд. Бесцеремонность обвинений равнялась только их неожиданности... На другой же день, рано утром, явились к Варваре Петровне пять литераторов, из них трое совсем незнакомых, которых она никогда и не видывала. Со строгим видом они объявили ей, что рассмотрели дело о ее журнале и принесли по этому делу решение. Варвара Петровна решительно никогда и никому не поручала рассматривать и решать что-нибудь о ее журнале. Ре-

шение состояло в том, чтоб она, основав журнал, тотчас же передала его им вместе с капиталами, на правах свободной ассоциации... Из деликатности они соглашались признавать за нею права собственности и высылать ей ежегодно одну шестую чистого барыша. Всего трогательнее было то, что из этих пяти человек наверное четверо не имели при этом никакой стяжательной цели, а хлопотали только во имя „общего дела"».

В преддверии романа, еще не зная, в какую сторону обратятся его память и фантазия, Достоевский написал Страхову из Флоренции, не вкладывая в свои слова никакого второго смысла: «Итак, наше направление и наша общая работа – не умерли. «Время» и «Эпоха» все-таки принесли плоды – и новое дело нашлось вынужденным начать с того, на чем мы остановились. Это слишком отрадно».

IV

В ТЕ САМЫЕ весенние месяцы 1861 года, когда писались и печатались «Униженные и оскорбленные», Достоевский высказал в своем журнале мысль, которая, по-видимому, и родилась у него в процессе создания романа с автобиографическим героем: «Если есть у нас не совсем дилетантская деятельность, то это литературная деятельность... Мы так разрозненны, мы жаждем нравственного убеждения, направленья... Я думаю, что настоящее время даже наиболее литературное: одним словом, время роста и воспитания, самосознания, время нравственного развития, которого нам еще слишком недостает... Я всегда верил в силу гуманного, эстетически выраженного впечатления. Впечатления мало-помалу накопляются, пробивают с развитием сердечную кору, проникают в самое сердце, в самую суть и формируют человека. Слово, – слово великое дело!»

На одной и той же журнальной территории автор полемической заметки и автор романа устами автобиографического героя публично объяснялся в любви к своей профессии – единственно возможному в России

серьезному, общественно значимому делу. Литературное поприще и высокое звание литератора, представленное здесь как творческое служение, виделись автору исполинской силой, способной удержать человека, взявшегося за перо, на краю пропасти: «человек записывающий» по определению не мог быть человеком конченым – у него оставался в резерве могучий шанс. Герои перенимали и усваивали горячую, поистине фанатическую приверженность автора к писательскому труду, пытались житейски приспособиться и даже пристраститься к нему, не боясь принести на алтарь литературы и свои рукописи, и самих себя. Самый факт авторства заставлял предполагать даже в заурядном человеке некую тайную пружину, некую сокровенную глубину – ту «точку безумия», которая толкает простого непишущего смертного раскрыться городу и миру в исповеди и покаянии.

Поэтому рядом и сразу же после записок «неудавшегося литератора», начиная с апрельского и кончая декабрьским (1861 года) номером «Времени», шли «записки» каторжника Александра Петровича Горянчикова, вымышленного автора «Мертвого дома»: «этнографическое» описание каторги «прерывалось какою-то другою повестью, какими-то странными, ужасными воспоминаниями, набросанными неровно, судорожно, как будто по какому-то принуждению». Заставляя себя вспоминать страшные эпизоды прошлого, принуждая себя к исповеди и работая над судорожными строками «второй повести», каторжник-убийца Горянчиков хотел искупить свой грех и обрести душевный покой. И Достоевский со всей искренностью давал своему герою этот единственный шанс: литературное занятие должно было поддержать человека в минуты душевного отчаяния, наладить его, вытащить из обывательской трясины, помочь в болезни и одиночестве.

Будто повинуясь фантазии размечтавшегося старика Ихменева, помогло литературное занятие и самому Достоевскому. Еще летом 1861 года, работая как «почтовая кляча», он мог только мечтать и об отдыхе, и об Италии – и сетовать на свою судьбу: «В Италию, в

Италию! А вместо Италии попал в Семипалатинск, а прежде того в Мертвый дом. Неужели ж теперь не удастся поездить по Европе, когда еще осталось и сил, и жару, и поэзии. Неужели придется ехать лет через десять согревать старые кости от ревматизма и жарить свою лысину и плешивую голову на полуденном солнце. Неужели так и умереть, не видав ничего!»

Теперь же, год спустя, «Мертвый дом» больше не держал его. Автор определенно входил в моду – пользовался сочувствием и возбуждал участие. «И кто не желал выслушать рассказа о темном страшном быте каторги из уст даровитого литератора, который сам провел четыре года в ссылке среди всякого рода преступников и несчастных? Самая фигура Достоевского, с кротким и мрачным выражением на страдальческом лице и его несколько глухой, но трогающий голос сильно действовали на публику...»[1] – писал мемуарист-современник.

«Мертвый дом» еще печатался во «Времени», производя на читателей потрясающее впечатление («...в авторе их видели как бы нового Данта, который спускался в ад тем более ужасный, что он существовал не в воображении поэта, а в действительности»[2]), а автор заносил в записную книжку предполагаемый маршрут своего первого заграничного путешествия: «Дрезден. Франкфурт am Mein. Гейдельберг. Мангейм. От Мангейма по Рейну до Кельна. Из Кельна в Брюссель. Париж». Впервые в жизни он хлопотал и о заграничном паспорте; поездка за границу «для пользования гастейнскими водами и морскими купаниями в Биаррице» по запросу министерства внутренних дел должна была быть «высочайше утверждена»[3]. И, как бы оправдываясь перед младшим братом Андреем за свой вояж, писал: «Я человек больной, постоянно больной, а дела в последнее время навалил на себя столько, что едва расхлебал. Не с моими силами брать на себя столько».

[1] А.П. Милюков. Литературные встречи и знакомства. СПб.: Изд. А.С. Суворина, 1890. С. 274.

[2] Там же. С. 211.

[3] Л.Гроссман. Жизнь и труды Ф.М. Достоевского. С. 112.

За день до отъезда он оставил Марье Дмитриевне доверенность на гонорар за отдельное издание «Мертвого дома», которое удалось выгодно запродать книжному купцу Базунову. Он оставлял ей «в случае болезни или смерти за границею» также и права на окончательный расчет по контракту.

Через пять дней после отъезда из Петербурга Достоевский впервые в жизни переступил порог курзала в Висбадене и впервые в жизни играл на рулетке.

Завязывались новые узлы его будущих романов.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Роман с «Русским вестником»: пролог и экспозиция

I

ПОСЛЕ двух заграничных путешествий – 1862 и 1863 годов, – занявших в общей сложности пять месяцев; после замечательного успеха двух крупных сочинений, вернувших ему имя и репутацию знаменитого писателя; после блистательно начатого журнального предприятия; после многочисленных литературных чтений и вечеров, на которых он выступал под аплодисменты капризной столичной публики, – удача, едва дав Достоевскому как следует приноровиться к редакторской лямке и сложным семейным обстоятельствам, вдруг отвернулась, разом отняв у него все, будто он и впрямь играл и проигрался дотла.

В конце мая 1863 года редакция «Времени» получила уведомление С.-Петербургского цензурного комитета о прекращении журнала: «Государь император, по всеподданнейшему докладу г. Министра Внутренних Дел о помещении в № IV журнала *«Время»* статьи, под заглавием *«Роковой вопрос»*, в высшей степени неприличного и возмутительного содержания, по предмету польских дел, идущей прямо наперекор всем действиям Правительства и всем патриотическим чувствам и заявлениям, вызванным внешними обстоятельствами, и оскорбляющей народное чувство, а также о вредном направлении этого журнала, высочайше повелеть соизволил в 24 день мая прекратить издание журнала „Время"»[1].

В те же дни А.В. Никитенко записал в «Дневнике»: «В апрельской книжке журнала «Время» напеча-

[1] А.С. Долинин. К цензурной истории первых двух журналов Достоевского // Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А.С. Долинина. Сб. 2. С. 566–567.

тана статья под названием «Роковой вопрос» и подписанная «Русский», самого непозволительного свойства. В ней поляки восхвалены, названы народом цивилизованным, а русские разруганы и названы варварами. Статья эта не только противна национальному нашему чувству, но и состоит из лжей. Публика изумлена появлением ее в печати...»[1] Ни для кого из близкого литературного круга красноречивый псевдоним не составлял тайны: таинственным «Русским» был Н.Н. Страхов (уже через два дня после закрытия журнала хозяйка литературного салона Е.А. Штакеншнейдер отметила в «Дневнике»: «С «Временем» случилось большое несчастье, его запретили за статью Страхова о Польше... Полонский в отчаянии. Страхов больше всех: Достоевские жили журналом... Только со Страховым, только со «Временем» могло случиться подобное обстоятельство...»[2]).

Полвека спустя, опровергая злостную страховскую клевету, А.Г. Достоевская, может быть сама того не желая, точно назвала первопричину бедствий, свалившихся на ее мужа после его столь удачного возвращения в литературу в начале 1860-х годов: Страхов. «Не могу понять, как у Страхова поднялась рука написать, что Федор Михайлович был «зол» и «нежно любил одного себя»? Ведь Страхов сам был свидетелем того ужасного положения, в которое оба брата Достоевские были поставлены запрещением «Времени», происшедшим благодаря неумело написанной статье («Роковой вопрос») самого же Страхова. Ведь, не напиши Страхов такой неясной статьи, журнал продолжал бы существовать и приносить выгоды и после смерти М.М. Достоевского, на плечи моего мужа не упали бы все долги по журналу и не пришлось бы ему всю свою остальную жизнь так мучиться из-за уплаты взятых на себя по журналу обязательств. Поистине можно сказать, что Страхов был злым гением моего мужа не только при его

[1] А.В. Никитенко. Дневник. В 3-х тт. М.: Гослитиздат, 1955–1956. Т. 2. С. 335.

[2] Е.А. Штакеншнейдер. Дневник и записки (1854–1886). М. – Л.: Academia, 1934. С. 331–332.

жизни, но, как оказалось теперь, и после его смерти»[1].

Если к предположению Анны Григорьевны («...не напиши Страхов...») отнестись с тем вниманием, какого оно и заслуживает, цепь прямых или косвенных последствий «роковой» статьи может представиться еще более длинной.

Не опубликуй Страхов статьи, вызвавшей запрещение журнала в связи с ее «неприличным, возмутительным и антиправительственным» содержанием (причина запрета оставляла безрезультатными все хлопоты), Достоевский смог бы выехать за границу, где его с конца марта ждала А.П. Суслова, не в начале августа, а гораздо раньше: ведь уже в середине апреля он получил медицинское заключение, предписывающее морские купания, а в конце мая перевез больную Марью Дмитриевну из Петербурга во Владимир на лето.

Если бы не хлопоты по журналу («Тут было столько возни, тоски и прочего, очень дурного, что решительно целый месяц не подымалась рука взять перо», – писал Тургеневу Достоевский в середине июня), он бы, вероятно, гораздо раньше сумел получить высочайшее разрешение на выезд и оформить заграничный паспорт; но, даже и получив искомое разрешение, ему пришлось изыскивать «экстренных» денег, так как своих, то есть журнальных, уже не было. Касса «Времени» оказалась пуста: «Во-1-х, журнала нет, а во-вторых (признаться искренно), он совершенно разорен запрещением журнала, и семейство его должно почти пойти по миру. И потому не будьте в претензии на нас», – извинялся за брата перед Тургеневым Достоевский; просить денег пришлось, за неимением иных кредиторов, у Литературного фонда.

Несомненно: он – несмотря на осложнения и препятствия – рвался уехать. «Собираясь отправиться на три месяца за границу для поправления моего здоровья и для совета с европейскими врачами-специалистами о падучей моей болезни, я прибегаю к помощи

[1] А.Г. Достоевская. Воспоминания. С. 421.

Общества... и прошу из капитала Общества себе взаймы... тысячу пятьсот рублей серебром...» За 1500 рублей, которые ему давали в долг, он готов был расплатиться с Обществом по самой высокой ставке, передавая ему, в случае болезни или смерти, вечное право на владение и издание своих сочинений. В конторе маклера он подписал обязательство вернуть долг к 1 февраля 1864 года – в противном случае (или в случае его смерти) права на все им написанное переходили Литературному фонду.

Надо полагать, если бы не эти обстоятельства, он бы по дороге из Петербурга в Париж, где его давно ждали, не завернул в Висбаден – только теперь уже не забавы ради, а чтобы непременно выиграть. Это и случилось. «Я, голубчик Варвара Дмитриевна, – тут же сообщил он свояченице, – выиграл 5000 франков, то есть выиграл сначала 10 тысяч 400 франков, и уж домой принес и в сак запер и ехать из Висбадена на другой день положил, не заходя на рулетку; но прорвался и спустил половину выигрыша...» Если бы не первый в его жизни крупный куш, которым сразу можно было расплатиться с Литературным фондом, быть может, он и уберегся от беды, длившейся потом восемь лет. И конечно, если бы не причины, продержавшие его все лето в Петербурге, он оказался бы в Париже не в середине августа, а хотя бы месяцем раньше (еще в середине июля А.П. Суслова сообщала из Парижа, что живет скучно и не спешит ни с кем знакомиться); случись так, ему, скорее всего, не пришлось бы услышать те невыносимые слова, которые потом много лет подряд будут мучить и преследовать его.

«Ты едешь немножко поздно...» – так запомнила свои слова она. «Ты немножко опоздал приехать» – так их запомнил он, до глубины души уязвленный этим оскорбительно-нелепым «немножко», как будто виноваты были те недели, которые он потратил на самые неотложные хлопоты в Петербурге, или те дни, которые он провел в Висбадене, пытаясь материально обеспечить их предстоящее путешествие не в ущерб больной жене и разоренному брату. («Не за любовь к

другому я корю ее, а за эти четыре строки, которые она прислала мне в гостиницу с грубой фразой...»)

Не «опоздай» он в Париж, может, и удалось бы, по крайней мере на этот раз и с этой женщиной, избежать унизительной роли «друга и брата», толкнувшей его в игорное пекло, – тем более что теперь он только проигрывал. Не думай он маниакально о выигрыше, не мечтай он по ночам о чудодейственной системе («...как было не увлечься, как было не поверить – что следуй я строго моей системе, и счастье у меня в руках. А мне надо деньги, для меня, для тебя, для жены, для написания романа. Тут шутя выигрываются десятки тысяч. Да я ехал с тем, чтоб всех вас спасти и себя из беды выгородить»), он не выглядел бы в глазах подруги, которая размышляла о его проигрышах с холодным раздражением, таким несчастным и жалким. «Мне его жаль – жаль отчасти, что я ничем не могу заплатить за эти заботы, но что же делать – не могу. Неужели ж на мне есть обязанность – нет, это вздор»[1]. Не испытай он такого душевного потрясения, не будь он так сильно задет и впечатлен, как в это долгожданное путешествие по Италии, где ему было не до врачей и морских купаний, он бы никогда не смог написать «Игрока» – которому в свою очередь суждено было стать прелюдией игорного безумия, продержавшего его в плену еще пять лет.

«Тут и счастье принимаешь тяжело, потому что отделился от всех, кого до сих пор любил и по ком много раз страдал. Искать счастье, бросив всё, даже то, чему мог быть полезным, – эгоизм, и эта мысль отравляет теперь мое счастье (если только есть оно в самом деле)», – писал он брату из Италии, как бы оправдываясь за свое безрадостное путешествие. Однако тревога о тех, кого он «до сих пор любил», а теперь оставил, отравлявшая и без того безобразно испорченную итальянскую поездку, не только не была напрасной, но и обернулась вскоре невозместимыми потерями: в течение нескольких месяцев не стало ни жены,

[1] А.П. Суслова. Годы близости с Достоевским. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1928. С. 60.

ни брата, ни журнала «Эпоха», который, возникнув на месте «Времени» продержался всего четырнадцать месяцев.

«В один год моя жизнь как бы надломилась. Эти два существа долгое время составляли всё в моей жизни. Где теперь найти людей таких? Да и не хочется их и искать. Да и невозможно их найти. Впереди холодная, одинокая старость и падучая болезнь моя», – писал он младшему брату летом 1864 года; ему было всего сорок два года, и еще совсем недавно он рассчитывал ехать за границу, в Италию и в Константинополь. Теперь, лишившись всего разом, он снова и снова вспоминал злосчастный май 1863-го: не будь запрещено «Время», не пришли бы дела брата в крайнее расстройство, не пропал бы кредит, не возросли бы долги; не терпи брат страшных убытков, не свалилась бы на него внезапная болезнь, которая и свела его в три недели в могилу.

Роковая тень того мая дотянулась и до этой могилы; причины и следствия смерти М.М. Достоевского были всем настолько очевидны, что даже Страхов, «злой гений», вынужден был признаться в частном письме: «Умер Михайло Михайлович прямо от редакторства. Был он слаб и до издания журнала, но журнал его совсем доконал. Он все бодрился и помалчивал; но запрещение журнала, брань, которая на него сыпалась, наконец неудача новых книжек, придирки цензуры – все это на него сильно действовало. В половине июня у него случилась желтуха, разлитие желчи. Он не очень берегся и не опасался. 7 июля он получил неприятное известие – задержали мою статью – он не спал ночь; на другой день заснул и уже не выходил из беспамятства. Желчь отравила кровь...»[1]

После долгих, но безрезультатных попыток продлить жизнь «Эпохе», после раздачи кредиторам векселей на огромные суммы, после необходимых экстренных выплат, на которые ушли все подписные деньги, Достоевский сдался: в ситуации всеобщего журнального кризиса, когда подписка едва ли не везде

[1] Литературное наследство. Т. 86. С. 396–397.

убавилась наполовину, оказалось невозможным даже на самых выгодных условиях найти компаньона. «Теперь мы не можем, за неимением денег, издавать журнал далее и должны объявить временное банкротство, а на мне, кроме того, до 10000 вексельного долгу и 5000 на честное слово» – так обстояли дела весной 1865 года; и он писал старому другу А.Е. Врангелю, что охотно бы пошел опять в каторгу на столько же лет, только бы уплатить долги и почувствовать себя опять свободным. Все права на собрания его сочинений были уже давно заложены – на их выкуп требовались 2000 рублей, так что, когда он вновь обратился к Литературному фонду с просьбой о 600 рублях, предложить в обеспечение займа, кроме честного слова, было нечего.

«Известному романисту Достоевскому выдано 600 руб. для уплаты срочных долгов, которые он принял на себя после смерти издателя и редактора журналов «Время» и «Эпоха» и за которые он должен был подвергнуться тюремному заключению, что лишило бы его возможности, при его болезненном состоянии, продолжить литературные занятия и рассчитаться с долгами»[1] – этой записью в годовом отчете Литературного фонда от 7 июня 1865 года был подведен печальный итог недолгому благополучию Достоевского при его вторичном вступлении на литературное поприще. «Теперь опять начну писать роман из-под палки, то есть из нужды, наскоро. Он выйдет эффектен, но того ли мне надобно! Работа из нужды, из денег задавила и съела меня» – этими словами из письма к Врангелю Достоевский начинал свой путь к «Преступлению и наказанию».

II

ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ, однако, было много хуже и много унизительнее, чем он предполагал. Работу из-под палки, которую он заранее ненавидел, необходимо бы-

[1] Цит. по: Т.Н. Орнатская. Деятельность Достоевского в Обществе для пособия нуждающимся литераторам и ученым (1859–1866) // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 7. С. 251.

ло еще получить: печатаясь в своих собственных изданиях почти пять лет, он отвык предлагаться другим редакциям и зависеть от них. Теперь нужно было все начинать сначала – кроме писательского имени, у него больше не было никакого «тыла», а гигантские долги и скандальный шлейф прогоревшего литературного предпринимателя вынуждали к срочным поискам новых заказчиков и работодателей, тем более что никто из них не поторопился немедленно обременить его заказом на роман или повесть.

Сразу после получения денег в Литературном фонде он встретился с редактором «Отечественных записок» и после краткого разговора письменно изложил просьбу – именно так он назвал свое предложение написать для журнала роман.

«1) Я прошу 3000 руб. теперь же, вперед за роман, который обязуюсь *формально* доставить в редакцию «Отечественных записок» не позже первых чисел начала октября нынешнего года.

2) На случай моей смерти или на случай недоставления в срок рукописи романа в редакцию «Отечественных записок» представляю в заклад полное и всегдашнее право на издание *всех* моих сочинений, равномерно право их продать, заложить, одним словом, поступить с ними как с полною собственностью».

Он запродавал себя на невыгоднейших условиях – просил 150 рублей за лист (после того как за «Мертвый дом» получал в чужом «Русском мире» и в своем «Времени» по 250 рублей); в случае отказа печатать его роман редакция имела право удерживать заклад до тех пор, пока он не вернет 3000 рублей с процентами, и могла отбирать у него все гонорары за работы, напечатанные в любом другом месте. Он уговаривал Краевского пойти на выгодную для редакции сделку весьма неубедительным образом: «За право издания всех сочинений моих *на один только раз* два книгопродавца (Стелловский и Боганов) давали мне уже 2000 сейчас, наличными (*зная, что я в нужде*). Следственно, мне кажется, сочинения представляют достаточное обеспечение». Через три дня Краевский, прекрасно

знавший и о банкротстве «Эпохи», и, по-видимому, о письме Достоевского в Литературный фонд («...на меня одного обратились все труды издательские и редакторские, и, сверх того, за этими трудами я сам не успел написать почти ни строчки»), ответил вежливым, но категорическим отказом: «Редакция... не так богата денежными средствами, чтоб могла делать значительные выдачи вперед за статьи, тем более что на нынешний год она совершенно обеспечена беллетристическими статьями, за которые вперед уже выданы деньги»[1].

В те же дни Достоевский просился со своим пока не существующим романом в «С.-Петербургские ведомости», и В.Ф. Корш, вначале ответивший осторожным согласием («Само собою разумеется, что я воспользуюсь этим желанием, если только роман будет отвечать газетным требованиям, которые, как Вам известно, не всегда совпадают с требованиями толстых месячных журналов») и обещанием платить по 150 рублей за лист, чуть позже тоже испугался «лишнего расхода» и засомневался: «Прилагаемое письмо, на Ваше имя написанное, как видите, условно. Оно ни к чему не обязывает ни меня, ни Вас. Ради Бога, не подумайте, что *не хочу* исполнить Ваше желание. Мои обстоятельства таковы, что я просто *не могу*, несмотря на сильное желание хоть сколько-нибудь поддержать Вас»[2].

Достоевский просил аванс под будущие сочинения или хотя бы под «письма из-за границы» у редакции «Библиотеки для чтения», но за неимением денег ему было отказано и там.

1 июля крайне невыгодный контракт со Стелловским был подписан.

Через месяц, уже из Висбадена, он писал в Берлин Тургеневу: «Когда я Вас... встретил в Петербурге, я продавал мои сочинения за что дадут, потому что меня сажали в долговое за журнальные долги, которые я имел глупость перевесть на себя. Купил мои сочине-

[1] Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Т. 2. С. 33.

[2] Цит. по: Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений. В 30-ти тт. Т. 28. Кн. 2. С. 525.

ния (право издания в два столбца) Стелловский за три тысячи, из коих часть векселями. Из этих трех тысяч я удовлетворил кое-как на минуту кредиторов и остальное роздал, кому обязан был дать, и затем поехал за границу, чтобы хоть каплю здоровьем поправиться и что-нибудь написать. Денег оставил я себе на заграницу всего 175 руб. серебром из всех трех тысяч, а больше не мог... По третьего года в Висбадене я выиграл в один час до 12 000 франков. Хотя я теперь и не думал поправлять игрой свои обстоятельства, но франков 1000 действительно хотелось выиграть, чтоб хоть эти три месяца прожить. Пять дней как я уже в Висбадене и всё проиграл, всё дотла, и часы, и даже в отеле должен. Мне и гадко и стыдно беспокоить Вас собою. Но, кроме Вас, у меня положительно нет в настоящую минуту никого, к кому бы я мог обратиться, а во-вторых, Вы гораздо умнее других, а следственно, к Вам обратиться мне нравственно легче... Обращаюсь к Вам как человек к человеку и прошу у Вас 100 (*сто*) талеров».

Тургенев прислал половину. (На целое десятилетие забудет Достоевский об этих пятидесяти талерах, дав кредитору повод для едких упреков в связи с пародийным Кармазиновым. «Все это прекрасно, – скажет Тургенев в связи с пародией, – но мне кажется, ему бы следовало сперва отдать мне деньги, которые он у меня занял, – а потом уже, освободившись от бремени обязательств, и лупить меня. Но видно, бремя это ему легко»[1].)

Пятьдесят талеров помогли лишь отчасти, и Достоевский с промежутками в несколько дней написал о своем несчастье Герцену в Женеву, Сусловой в Париж, Милюкову в Петербург и Врангелю в Копенгаген. Герцен с недельным опозданием сообщил, что если бы Достоевский просил у него сумму меньшую, чем 400 флоринов, то он бы непременно помог («Странно, однако же: почему же он все-таки не прислал 150 гульд.? если сам говорит, что мог бы их прислать. Прислал бы 150 и сказал бы, что не может больше. Вот как дело делает-

[1] И.С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем. В 28-ми тт. Письма. М. – Л.: Наука, 1961–1968. Т. 9. С. 169.

ся», – жаловался Достоевский Сусловой, с которой собирался увидеться в Париже и которой писал, что ожидает «другой полосы несчастий и пакостей»).

Суслова вопреки его ожиданиям и просьбам («Продолжаю не обедать и живу утренним и вечерним чаем вот уже третий день – и странно: мне вовсе не так хочется есть. Скверно то, что меня притесняют и иногда отказывают в свечке по вечерам, в случае, если остался от вчерашнего дня хоть крошечный огарочек. Я, впрочем, каждый день в три часа ухожу из отеля и прихожу в шесть часов, чтоб не подать виду, что я совсем не обедаю») ничего не ответила. Милюков, которого Достоевский просил «запродать повесть хоть куда бы ни было, но только с условием выслать немедленно 300 рублей», побывал в трех редакциях («Современника», «Отечественных записок» и «Библиотеки для чтения»), где ему категорически отказали. Врангель прислал сто талеров только при повторной просьбе: «Здесь уже грозят полицией».

В промежутке между вторым письмом к Врангелю и его ответом, на который в тот момент уже трудно было надеяться, он решился, по совету родственницы Каткова, Н.П. Шаликовой (Достоевский познакомился с ней в доме И.Л. Янышева, священника русской церкви в Висбадене), обратиться в «Русский вестник». Спустя неделю, когда деньги от Врангеля все-таки пришли, Достоевский сообщил другу свои опасения насчет комбинации с «Русским вестником».

«1) 6 лет тому назад Катков мне выслал в Сибирь (перед отъездом из Сибири) 500 р. вперед за повесть, которую еще я ему не послал... А вдруг потом мы письменно повздорили в условиях и разошлись. Деньги Каткову были возвращены, и повесть, которую я тем временем успел выслать, взята назад.

2) С тех пор в продолжение издания «Времени» были между обоими журналами потасовки. А Катков до того самолюбивый, тщеславный и мстительный человек, что я очень боюсь теперь, чтоб он, припомнив прошлое, не отказался высокомерно теперь от предлагаемой мною повести и не оставил меня с носом. Тем

более, что я не мог, предлагая ему повесть, сделать это предложение иначе как в независимом тоне и безо всякого унижения».

Письмо Каткову действительно начиналось прямо с предложения: речь шла о повести, которую автор якобы уже заканчивал и обещал доставить в редакцию «Русского вестника» через месяц. Что бы ни думал на этот счет редактор, у автора была идея («психологический отчет одного преступления») и был сюжет, подробно изложенный здесь же. История об исключенном из университета и живущем в крайней бедности молодом человеке, решившемся на убийство старухи, дающей деньги на проценты, а потом принужденном на себя донести из-за душевных мук, не должна была, по предположению автора, в чем-то противоречить направлению журнала. Автор смиренно просил редактора не помнить прежних недоразумений, винил себя за капризность и заносчивость, в части же гонорарного вознаграждения всецело отдавался на усмотрение редакции, выражая лишь надежду получить «не меньше minimum'а платы», который ему предлагали до сих пор, то есть 125 рублей. Неприятной темы стесненных обстоятельств он коснулся лишь слегка, подчеркнув, что его просьба о трехстах рублях аванса может иметь место, только если «Русский вестник» примет его работу, – и, разумеется, не написал ни о своем проигрыше, ни о том, что сидит в висбаденской гостинице без обеда и без вечерней свечки.

Видимо, это и означало «сделать предложение в независимом тоне и безо всякого унижения».

«Русский вестник» был пятым по счету изданием, которому летом 1865 года Достоевский предлагал напечатать свое сочинение; Катков был десятым по счету литератором, к которому Достоевский обратился за помощью персонально. Деньги из Москвы пришли в Висбаден через две недели (Катков «думал» не более трех дней): опасаясь высокомерного отказа, Достоевский не мог и предполагать, что редактор «Русского вестника» надолго станет для него единственной финансовой опорой и издаст «в кредит» три его «звезд-

ных» романа. Но он не предполагал также, что опасные черты характера его будущего издателя, никак не угрожая регулярности авансовых выплат, рано или поздно дадут себя знать иначе: «самолюбивый, тщеславный и мстительный» Катков, как окажется позднее, действительно припомнит то прошлое, о котором в письме к Врангелю Достоевский высказался так легкомысленно и вскользь: «...в продолжение издания «Времени» были между обоими журналами потасовки».

III

«ПОТАСОВКА» имела место в 1861 году, в благополучнейшее для Достоевского время, и касалась (если опустить подробности) такой «отвлеченной» для литературных журналов темы, как сочинение Пушкина «Египетские ночи». Полемическим поводом к журнальной драке послужило публичное чтение на благотворительном вечере в Перми пушкинской импровизации, выполненное чтицей (ею была местная статская советница Е.А. Толмачева) столь темпераментно, что в газете «Век», узнавшей о вечере из «С.-Петербургских ведомостей», она была представлена как новоявленная Клеопатра. В числе других литераторов, пытавшихся защитить честь отважной чтицы, оказался и Достоевский, за что был немедленно пристыжен «Русским вестником» и представлен «эманципатором с грязными руками»[1], бульварным волокитой, мечущим бисер перед доступной женщиной. Тут-то и началась «потасовка»: в пространной статье «Ответ „Русскому вестнику"» Достоевский сполна высказался и относительно полемических приемов, используемых оппонентами, и по сути самой полемики.

Клевета, глумление, грубые насмешки как средство борьбы с любой идеей, утверждал критик «Времени», слишком хорошо известны, а способ оплевания, осмеяния и даже заушения удобен и выгоден. «Тотчас же можно собрать толпу, которая, окружив преступника, будет высовывать ему язык, плясать перед ним на

[1] См.: Русский вестник. 1861. № 3. С. 25.

одной ножке, показывать ему шиши и кричать: «У-у! эманципатор! эманципатор! смотрите, эманципатор идет! хочет понравиться дамскому полу; ишь, пачулей надушился, обольститель, ловлас, эманципатор!» Вот к этому-то самому торному и удобному способу прибегнул относительно нас и «Русский вестник», провозгласив и нас эманципаторами, чтоб сразу одним ударом оглушить нас и представить нас всем благомыслящим людям в самом худшем и неблагородном виде».

Неужели «Русскому вестнику» кажется, спрашивал Достоевский, что читать романы Дюма и смотреть французские водевили, где так много «сального, цинически-обнаженного, грубо извращенного», менее опасно, чем читать или слушать со сцены пушкинскую импровизацию, коль скоро журнал беспокоится о нравственном просвещении читателя? Неужели и Пушкина следует опасаться только потому, что «Египетские ночи», по мнению «Русского вестника», «только намек, мотив, фрагмент»? («Надобно слишком много условий, чтобы, кроме прелести стихов и очарования образов, уловить в этой пиесе намеки *ее внутреннего смысла*, который раскрылся бы в ней для всех доступно, если б художник совершил свое произведение вполне, – утверждалось в катковском журнале. – ...Этот демонский культ, требующий драгоценнейших человеческих жертв, эта царица, поникшая головою над чашей, под обаянием охватившей ее силы, Клеопатра, призывающая подземных богов в свидетели своей клятвы, – всё это, *облеченное в плоть и кровь чарующих подробностей, могло бы быть* откровением далекого и мрачного мира, и тогда идея целого управляла бы и смягчила бы всё, что теперь выступает слишком рельефно...»[1])

Как ни убеждал Достоевский своего оппонента из «Русского вестника», что на неразвитое, порочное сердце даже статуя Венеры произведет только сладострастное, «клубничное» впечатление и что нужно быть «высоко очищенным нравственно, чтобы смотреть на эту божественную красоту не смущаясь», тот был непреклонен. «Но разве Венера Медицейская или Вене-

[1] Русский вестник. 1861. № 3. С. 17–18.

ра Милосская, – писал Катков, – представляют собою те выражения страстности, которые звучат в словах Клеопатры? Разве эти олимпийские типы не представляют собою самых целомудренных образов, проникнутых тем чистым изяществом, которые составляют живую душу приличия? Не являются ли эти образы сами олицетворением этой тонкой стыдливости, этой чарующей тайны? Разве резец не только Фидия и Праксителя, но даже ваятелей эпох упадка доходил когда-нибудь *до последних выражений страстности*?»

«Уж не приравниваете ли вы «Египетские ночи» к сочинениям маркиза де Сада?» – иронизировал Достоевский: он во что бы то ни стало хотеть доказать, что это *последнее выражение страстности*, которого как чумы боится оппонент, действительно может быть соблазнительно только для «знатоков и ходоков по клубничной части», при чистом же взгляде на чудовищное извращение природы человеческой производит «вовсе не клубничное, а потрясающее впечатление».

«Потасовка» между двумя журналами, двумя редакторами, двумя литераторами, двумя сорокалетними мужчинами, наконец (Катков был старше Достоевского всего тремя годами), неожиданно сосредоточилась на узком и весьма спорном участке литературы, который был обозначен «Русским вестником» как целомудрие в изображении страсти и ее «последних мгновений». По убеждению Каткова, статьи Достоевского в защиту «Египетских ночей» доказывали, что редактор «Времени» такого целомудрия лишен и готов следовать опасным путем пушкинского «фрагмента», нарушающего нормы приличий и естественной стыдливости. Достоевский доказывал, что, пройдя через огонь вдохновения и художественную мысль поэта, любая страстная сцена, даже с выражениями «последних мгновений», суть искусство, образ преображенной действительности; «это тайна искусства, и о ней знает всякий художник».

Но Катков – как н е х у д о ж н и к – знать об этом не мог. В прозрачном намеке Достоевского и содержалось, быть может, самое неприятное. И если спу-

стя десять лет редактор «Русского вестника», печатающий роман Достоевского, действительно вспомнил старый спор и мстительно забраковал в сочинении бывшего оппонента «нецеломудренные фрагменты», то только потому, что тогда, в «потасовке», он ничего не смог противопоставить тайне искусства. Ведь никто так хорошо, как Катков, не помнил, что интерпретация «Египетских ночей», в пылу полемики вырвавшаяся из-под пера Достоевского и затерявшаяся в давно почившем «Времени», сама по себе явилась «фрагментом» чисто художественного воображения, способным произвести «не клубничное, а потрясающее впечатление». Достоевский все еще спорил, все еще «помогал» Пушкину, реабилитируя его импровизацию, но незаметно для самого себя начинал вслед за ним импровизировать и сам. Опытный редактор, Катков вряд ли мог забыть вдохновенный монолог Достоевского на темы культа Клеопатры. Тем более что под пером сочинителя античная тема как-то странно и резко приблизилась к злобе дня.

Достоевский писал об обществе, «под которым уже давно пошатнулись его основания»: «Уже утрачена всякая вера; надежда кажется одним бесполезным обманом; мысль тускнеет и исчезает: божественный огонь оставил ее; общество совратилось и в холодном отчаянии предчувствует перед собой бездну и готово в нее обрушиться. Жизнь задыхается без цели. В будущем нет ничего; надо требовать всего у настоящего, надо наполнить жизнь одним насущным. Всё уходит в тело, всё бросается в телесный разврат, и, чтоб пополнить недостающие высшие духовные впечатления, раздражает свои нервы, свое тело всем, что только способно возбудить чувствительность. Самые чудовищные уклонения, самые ненормальные явления становятся мало-помалу обыкновенными. Даже чувство самосохранения исчезает».

Трудно сказать, увидел ли Катков десять лет спустя поразительное сходство этого «фрагмента», рисующего как будто мир Клеопатры, с тем специфически русским миром и больным русским обществом, который представил Достоевский в романе для «Русского

вестника». Трудно сказать также, почувствовал ли редактор московского журнала, печатающего новый роман Достоевского, и другое поразительное сближение – демонической царицы Клеопатры с демоническим героем, «попробовавшим большой разврат». Однако, читая исповедь этого героя, Катков мог вспомнить: «Ей теперь скучно; но эта скука посещает ее часто. Что-нибудь чудовищное, ненормальное, злорадное еще могло бы разбудить ее душу. Ей нужно теперь сильное впечатление. Она уже изведала все тайны любви и наслаждений, и перед ней маркиз де Сад, может быть, показался бы ребенком. Разврат ожесточает душу... Но это душа сильная, сломить ее еще можно не скоро; в ней много сильной и злобной иронии. И вот эта ирония зашевелилась в ней теперь».

Если бы, вспомнив, Катков мысленно заменил «она» на «он», эффект был бы удивительный: герою-демону оказывалась необыкновенно близка та бешеная страстность, которой была охвачена душа египетской царицы. «Царице захотелось удивить всех этих гостей своим вызовом; ей хотелось насладиться своим презрением к ним, когда она бросит им этот вызов в глаза и увидит их трепет и почувствует в себе стук этих дрогнувших страстью сердец. Но ее мысль уже овладела и ее душою вполне. Страсть уже пробежала ядовитой струей и по ее нервам. О, теперь и ей хотелось бы, чтобы приняли ее чудовищный вызов!»

Самолюбивый и, как действительно оказалось, мстительный Катков, читая историю героя, одаренного звериным сладострастием, должен был почувствовать обиду и негодование – автор, «целомудрию» которого поверили буквально на слово, потешался над всей редакцией. «Сколько неслыханного сладострастия и неизведанного еще ею наслаждения! сколько демонского счастья целовать свою жертву, любить ее всеми тайнами лобзаний, неги, бешеной страсти и в то же время сознавать каждую минуту, что эта жертва, что этот минутный властитель ее заплатит ей жизнью за эту любовь и за гордую дерзость своего мгновенного господства над нею. Гиена уже лизнула крови...»

Так вот о каких грехах русского барича шла речь. Вот какой сюрприз приберег к концу романа коварный автор, напечатав уже две трети сочинения в благонамереннейшем из журналов. Вот какие тайны хранила нелепая интрижка Князя и Красавицы, где была всего лишь одна амурная сцена и всё происходило «за закрытыми дверями». Вот что крылось за этими скромными листками исповеди якобы кающегося грешника. «Гиена уже лизнула крови; ей грезится теплый пар ее, он будет ей грезиться и в последнем моменте наслаждения. Бешеная жестокость уже давно исказила эту божественную душу и уже часто низводила ее до звериного подобия. Даже и не до звериного; в прекрасном теле ее кроется душа мрачно-фантастического, страшного гада: это душа паука, самка которого съедает, говорят, своего самца в минуту своей с ним сходки. Всё это похоже на отвратительный сон. Но всё это упоительно, безмерно развратно и... страшно!.. И вот демонский восторг наполняет душу царицы, и она гордо бросает свой вызов».

Чувства Каткова можно было понять: своими стараниями, собственноручно привлек он на страницы пуританского «Русского вестника» такой роман, такие мысли и такие переживания – то именно, за что в свое время автор, виновник «потасовки», был окрещен «квасным циником». И он же, автор, тогда будто в насмешку, ответил: «Мы пуритане по крови; мы мало любим жизнь, и потому искусство кажется нам соблазном».

Можно было понять и Достоевского – и когда в 1865 году, при начале «Преступления и наказания», он опасался злопамятства Каткова, и когда в 1861 году, в пылу той памятной «потасовки», неосторожно напророчил: «Вот какие черные сомнения пришли мне на мысль, когда я старался вникнуть в статью «Русского вестника». Как понять странное его упорство? Чем объяснить, с одной стороны, его робкие умолчания, с другой – его дерзко-смелые уверения? С невольным ужасом спрашивал я себя: что же будет с нами, что мы, несчастные, будем делать, если он, если сам «Русский вестник» станет учить нас так дурно в таких важных

вопросах?.. Дурной пример дает «Русский вестник» русской литературе!»

На интересующий его вопрос Достоевскому предстояло получить исчерпывающий ответ десять лет спустя.

IV

В СЕРЕДИНЕ декабря 1865 года в Москву были отправлены из Петербурга (Достоевский, погостив неделю в Копенгагене, вернулся в Россию в середине октября) семь листов «Преступления и наказания». Вслед за рукописью Каткову было послано письмо, в котором автор обращался к редактору «как литератор к литератору». Общий пафос письма был исключительно «служебный»: нужно было во что бы то ни стало склонить «Русский вестник» к выдаче – в дополнении к уже полученным трем сотням – еще семисот рублей. Достоевский, составивший обстоятельный черновик письма, постарался учесть все тонкости литературного политеса.

До этой поры они были незнакомы и никогда не встречались, а четырех лет, прошедших с момента «потасовки», было достаточно, чтобы обмен «любезностями» по поводу нецеломудрия пушкинской импровизации вспоминался не слишком болезненно. «Я верил всегда, что Вы человек благородный, хотя и не имею удовольствия знать Вас лично как человека», – осторожно заметил Достоевский и, говоря о своем бедственном положении, добавил: «Вы литератор, Вы сами занимались изящной литературой, Вы поймете это!» (В фельетонной статье 1862 года, на пике своей полемики с Катковым, Достоевский, намекая на скромность литературного дарования своего оппонента, пародийно изобразил его оратором, произносящим речь: «Я очень уважаю себя и считаю свои интересы выше всего на свете... Я даже занимался литературою. Я перевел «Ромео и Джульетту», я написал еще одну статью, кажется о Пушкине. Я писал еще... но, право, я уже забыл, об чем я писал. Тем не менее мне очень хо-

телось быть известным. К чему ложная деликатность: я откровенно считал себя и считаю выше всех моих современников».)

Теперь было не до иронии и пародии – приходилось рассчитывать по крайней мере на великодушие Каткова, который не станет поминать старое и протянет руку помощи литературному собрату, потерявшему свой журнал и вынужденному снова обивать пороги чужих редакций в поисках авансов и кредитов под ненаписанное сочинение. Нужно было, набравшись терпения, почти умолять: «Находясь в таком невыносимом положении, покорнейше прошу Вас обратить внимание Ваше на нижеследующие и убедительнейшие просьбы мои: Я искренне желаю сотрудничать в „Русском вестнике"». Нужно было привыкать к странным правилам «Русского вестника» – прислав в ответ на первое письмо Достоевского запрашиваемые триста рублей, редактор не соблаговолил приписать хотя бы несколько слов, которых автор, рассказавший о своем замысле столь подробно, вправе был ожидать. Оставалось только смириться с высокомерной манерой высылки денег без сопроводительного письма – будто это милостыня или благотворительность, и догадываться, исходя из суммы и скорости ее получения, о степени расположения к нему редакции.

И все же в словах Достоевского сквозил упрек: «Получив... 300 руб. в октябре месяце, я счел себя вправе считать, что дело о напечатании моего романа в «Русском вестнике» вполне решено... Но занятый моей работой, я уже не искал никакой другой, а так как я совсем не имею денег и никого теперь, у кого бы я мог занять, для поддержанья меня во время работы, то и впал теперь в совершенную нищету... Все письма мои в редакцию... секретарю Вашему, о высылке мне сколько-нибудь денег, для поддержания меня, я не получил еще даже никакого ответа. Мало того: не знаю, когда будет напечатан мой роман, и наконец, будет ли еще он напечатан у Вас?.. Прошу Вас: если роман мой Вам не нравится или Вы раздумали печатать его – то пришлите мне его обратно... Из уважения к самому себе Вы, веро-

ятно, не захотите заставить страдать мое человеческое достоинство и меня не оставите без ответа».

Через месяц редакция «Русского вестника» прислала ему уведомление на бланке, где извинялась за свое молчание. Что же касается «повести», то редакция сообщала: «Печатание ее не только дело решенное, но она уже вошла в состав 1-й книжки «Русского вестника», которая выйдет на днях»[1], – а также уведомляла о высылке автору оговоренной суммы. Как только в январском номере «Русского вестника» появилось начало «Преступления и наказания», Достоевский понял, что свое дело он выиграл: теперь уже Катков обязан был считаться с интересами автора, на целый подписной год обеспечившего журнал по отделу беллетристики. Имело смысл вести себя осторожно и второпях не наделать ошибок, слишком уничижаясь перед «проприетерами» и поминутно прося новых денег.

С азартом и увлечением вступая на тропу единоборства и ощущая себя бывалым борцом, Достоевский еще какое-то время предполагал, что причиной его тайной войны с журналом будет деликатный вопрос об оплате. В феврале, вскоре после выхода январского номера с его романом, Достоевский узнал всю подноготную – о том, как обрадовались в «Русском вестнике», получив его предложение: «У них из беллетристики на этот год ничего не было: Тургенев не пишет ничего, а с Львом Толстым они поссорились. Я явился на выручку (всё это я знаю из верных рук). Но они страшно со мной осторожничали и политиковали. Дело в том, что они страшные скряги. Роман им показался велик. Платить за 25 листов (а может быть, и за 30) по 125 р. их пугало. Одним словом, вся их политика в том (уж ко мне засылали), чтоб сбавить плату с листа, а у меня в том, чтоб набавить. И теперь у нас идет глухая борьба. Им, очевидно, хочется, чтоб я приехал в Москву. Я же выжидаю, и вот в чем моя цель: если Бог поможет, то роман этот может быть великолепнейшею вещью... эффект в публике будет произведен, и тогда я поеду в Москву и посмотрю, как они тогда мне сбавят?»

[1] Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Т. 2. С. 53.

В марте, на святой неделе, когда он приехал в Москву и познакомился с Катковым, восторженных читательских отзывов о новом романе оказалось, по-видимому, достаточно, чтобы набавить плату с листа и получить вперед новую тысячу рублей. Оказалось, что бояться было нечего: проблемы гонорара и аванса решались здесь без особых унижений и как будто в пользу автора.

Но, приписав в том своем «жалобном» декабрьском письме три строки на всякий случай, он уже летом мог убедиться, что они «работают», и понять, чего на самом деле надо бояться, имея дело с Катковым. Как бы в ответ на те его строчки («Еще прошу: если Вы намерены печатать роман мой, то покорнейше прошу редакцию «Русского вестника» не делать в нем *никаких* поправок. Я *ни в коем случае* не могу на это согласиться») Катков – в борьбе за нравственную безупречность публикуемых в «Русском вестнике» произведений – собственноручно «выпускал» или поправлял сомнительные места.

«Глухая борьба» из-за полистовой оплаты, которой опасался Достоевский, обернулась острым конфликтом из-за принципиального спора – может ли «женщина, доведшая самопожертвование до жертвы своим телом» (то есть Соня Мармеладова), быть вдохновенной толковательницей учения Христа и наставницей героя-убийцы на пути его покаяния и возрождения. Катков считал, что не может, и сообщал Достоевскому: «...я позволил себе изменить некоторые из приписанных Вами разъяснительных строк относительно разговора и поведения Сони». Он также уверял, что «ни одна существенная черта в художественном изображении не пострадала»[1]; позднее бдительный редактор был весьма доволен, что «утрированную идеализацию» падшей женщины, которую задумал безответственный автор, редакция «Русского вестника» осуществить не разрешила[2].

Кодекс отношений с «Русским вестником», про-

[1] Цит. по: Л.П. Гроссман. Достоевский. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Молодая гвардия, 1965. С. 368.

[2] См.: Русский вестник. 1889. № 2. С. 361.

шедший апробацию на этапе «Преступления и наказания» и стоивший Достоевскому нескольких дорогих и вдохновенных мест в его сочинении, требовал, казалось, решительного пересмотра. Но когда – после выхода романа в свет, после феерической истории с «Игроком», который помог автору обыграть жулика издателя Стелловского и познакомиться с будущей женой, после самой женитьбы и медового месяца, после того как было решено ехать с женой за границу – Достоевский вновь обратился в «Русский вестник» с просьбой о новом авансе в тысячу рублей, Катков согласился без промедления.

Уезжая за границу, Достоевский осознавал себя постоянным сотрудником журнала, получившим заказ на новую работу, которую и предстояло сделать. Мысль о писании на заказ была, как всегда, неприятна, но он радовался и тому, что его труд покупают вперед, что верят на слово, что издатель готов его содержать в ожидании готового сочинения. Он чувствовал себя немножко авантюристом и даже признался своей экс-невесте (тем летом Достоевский часто видел себя женихом), А.В. Корвин-Круковской, что любит «этакие эксцентрические и чрезвычайные вещи» и не годится в разряд солидно живущих людей: эксцентрикой он называл свое намерение «написать в *4* месяца *30* печатных листов, в двух разных романах, из которых один будет писаться утром, а другой вечером», – имелись в виду окончание «Преступления и наказания» и роман в двенадцать листов для Стелловского по грабительскому контракту.

«Но какова же литература-то? Я убежден, что ни единый из литераторов наших, бывших и живущих, не писал под такими условиями, под которыми я *постоянно* пишу, Тургенев умер бы от одной мысли». Но он, Достоевский, был литератором до мозга костей, для которого жить означало сочинять. Только такой литератор мог сочинить волшебного «Игрока» – где вдохновенная импровизация на темы страстной любви к одной женщине разворачивалась перед другой женщиной, взявшей на себя обязанности литературного по-

мощника и стенографа. И где он, прощаясь с прежней возлюбленной, вновь загорался бешеной стихией игры, все издержки которой предстояло теперь терпеть жене.

Анна Григорьевна простодушно призналась впоследствии, что, втянувшись в работу, они оба вошли в жизнь героев нового сочинения, где у автора и его помощницы были свои любимцы и недруги. «Мои симпатии заслужила бабушка, проигравшая состояние, и мистер Астлей, а презрение – Полина и сам герой романа, которому я не могла простить его малодушия и страсти к игре. Федор Михайлович был вполне на стороне «игрока» и говорил, что многое из его чувств и впечатлений испытал сам на себе»[1]. Отношения Анны Григорьевны с ее будущим мужем начинались «правильно» и абсолютно литературно: сочинения с инфернальными героинями имели реальную подоплеку и подразумевали наличие опасного и поэтому заранее презираемого прототипа.

Через две недели после их свадьбы анонимный петербургский фельетонист тиснул в «Сыне отечества» статейку под забавным названием «Женитьба романиста», где довольно точно была описана история знакомства автора «Игрока» и его молодой жены. По версии фельетона, у романиста, пригласившего стенографистку, никак не ладился финал сочинения – он не знал, как поступить с героем, немолодым вдовцом, влюбленным в молоденькую женщину. И тогда стенографистка посоветовала романисту «довести свою героиню до сознания, что она разделяет внушенную ею любовь»[2]. Предложенная развязка была принята, но любовная интрига, придуманная для героев, неожиданно сработала и в судьбе автора.

«Мы с мужем очень посмеялись над этой статейкой...»[3]

[1] А.Г. Достоевская. Воспоминания. С. 82–83.
[2] Там же. С. 130.
[3] Там же. С. 131.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Предчувствие Сюжета

I

Летом 1868 года, сразу после смерти трехмесячной Сони и отъезда Достоевских из ненавистной Женевы, напоминавшей им о тяжкой утрате, выступили наружу и стали болезненно беспокоить обстоятельства давно прошедших лет.

Странным, причудливым образом к Достоевскому возвращалось прошлое. Казалось, он сам, сетуя на судьбу, не пощадившую младенца, его первенца, бередил старые раны. «Под влиянием прощания с могилкой Сонечки Федор Михайлович был чрезвычайно растроган и потрясен, – вспоминала Анна Григорьевна, – и тут, в первый раз в жизни (он редко роптал), я услышала его горькие жалобы на судьбу, всю жизнь его преследовавшую. Вспоминая, он мне рассказал про свою печальную одинокую юность после смерти нежно им любимой матери, вспоминал насмешки товарищей по литературному поприщу, сначала признавших его талант, а затем жестоко его обидевших. Вспоминал про каторгу и о том, сколько он выстрадал за четыре года пребывания в ней»[1].

Оказалось, однако, что прошлое решило напомнить о себе и независимо от услуг памяти.

Стало известно, что тот самый священник русской церкви в Женеве, который крестил Соню, а затем, спустя неделю, и отпевал девочку, служил не только в храме, но и – по совместительству – осведомителем в тайной полиции. Некий агент доносил в III Отделение, что в числе «экзальтированных русских», пребывающих в Женеве, находится Достоевский, «который очень дружен с Огаревым»[2]. Достоевский был убежден, что этим тайным агентом являлся женевский батюшка А.В. Петров.

[1] А.Г. Достоевская. Воспоминания. С. 200–201.
[2] Литературное наследство. Т. 86. С. 598.

У Достоевских стали исчезать письма. «Особенно было жаль пропадавших писем А.Н. Майкова, всегда полных животрепещущего интереса, – писала Анна Григорьевна. – Подозрение о пропаже писем еще более укрепилось в нас, когда мы получили анонимное письмо, где сообщалось, что Федора Михайловича подозревают, приказано вскрывать его письма и строжайше обыскать его на границе при возвращении на Родину»[1].

В этой связи Достоевский, избегая чужих глаз, отправил через свояченицу, М.Г. Сватковскую, возмущенное послание Майкову: «Я слышал, что за мной приказано следить. Петербургская полиция вскрывает и читает *все* мои письма, а так как женевский священник, по всем данным (заметьте, не по догадкам, а по фактам), служит в тайной полиции, то и в здешнем почтамте (женевском), с которым он имеет тайные сношения, как я знаю заведомо, некоторые из писем, мною получаемые, задерживались».

Прошлое, в котором он значился как осужденный и понесший наказание политический преступник, не было, оказывается, предано забвению. Государство, чьи законы он нарушил двадцать лет назад, подавало сигналы, означавшие, что простить не значит снять секретный надзор.

«Каково же вынесть человеку, – негодовал Достоевский в письме, посланном Майкову с оказией, – чистому, патриоту, предавшемуся им до измены своим прежним убеждениям, обожающему государя, – каково вынести подозрение в каких-нибудь сношениях с какими-нибудь полячишками или с Колоколом! Дураки, дураки! Руки отваливаются невольно служить им. Кого они не просмотрели у нас, из виновных, а Достоевского подозревают!»

Впервые за все эти двадцать лет он произносил слово «измена»: жизнь, особенно заграничная, где он насмотрелся на атеистическую и социалистическую женевскую эмиграцию, как бы вынуждала его вглядеться в свое прошлое с особым пристрастием.

В апреле 1869 года исполнялось двадцать лет со

[1] А.Г. Достоевская. Воспоминания. С. 203.

дня ареста и заточения в крепость; до сих пор, однако, ему так и не пришлось подвести итог прошедшему двадцатилетию.

Так получалось, что женевские неприятности требовали некоего нестандартного решения.

«Не обратиться ли мне, – советовался он с Майковым, – к какому-нибудь *лицу*, не попросить ли о том, чтоб меня не подозревали в измене Отечеству и в сношениях с полячишками и не перехватывали моих писем? Это отвратительно! Но ведь они должны же знать, что нигилисты, либералы Современники еще с третьего года в меня грязью кидают за то, что я разорвал с ними, ненавижу полячишек и люблю Отечество. О подлецы!»

«Они» – то есть начальство, от которого зависела степень усердия в полицейской слежке за поднадзорным Достоевским, – так подробно его политическими взглядами не интересовались. А сам он не заметил, что письмо к Майкову о разрыве с нигилистами (это к ним, конечно, относилось восклицание «О подлецы!») содержало зародыш Сюжета.

Разумеется, не заметил этого и Майков; в утешение Достоевскому он сообщал, что «при бестолковости наших влияющих голов и не такие курьезы у нас бывали. Не знаю, при Вас или без Вас – было тайное распоряжение Валуева и Шувалова читать все письма к Каткову и Аксакову и в числе подозрительных личностей, с ними переписывавшихся, был пойман – кто бы Вы думали? Наследник Александр Александрович. Что же нам-то с Вами обижаться, если и он отнесен к категории подозреваемых для временно возвышающихся партий»[1].

Примирительные интонации Майкова, может быть, и утешили Достоевского, но не избавили от новых напастей.

II

В КОНЦЕ лета ему в руки попало только что вышедшее в Вюрцбурге французское издание книги некоего

[1] Цит. по: Ф.М. Достоевский. Письма. Т. II. С. 426.

Поля Гримма с интригующим названием: «Тайны царского двора времен Николая I»[1]. Действие романа происходило в Петербурге в 1855 году, в последний год царствования императора Николая Павловича. Главным героем был изображен незаконный сын императора от его возлюбленной, актрисы Асенковой (которая в свою очередь оказывалась дочерью казненного декабриста Рылеева и цыганки-гадалки Марфуши). Савельев – так именовался герой – получил свою фамилию после смерти матери при поступлении его в сиротский приют. Судьба Савельева была связана с обществом Петрашевского; за участие в нем он поплатился десятью годами каторги, из которых отсидел половину, так как смог бежать из Сибири, пробиться на Кавказ в действующую армию рядовым, проявить себя в деле и заслужить военный крест.

Глава пятая первой части романа имела волнующее название: «Заговорщики»[2]. В подвале заброшенного дома на Выборгской стороне, куда пришел герой романа, Савельев, проходило собрание; первым, кого увидел побочный сын императора, был Достоевский. «На матрасе сидел председательствующий собрания, этот несчастный поэт, чья лира умолкла в казематах крепости и местах мучения»[3], – живописал автор, намекая на события ближайшего будущего.

Достоевский, открывая заседание, предлагал

[1] Paul Grimm. Les Mystéres du Palais des Czars (sous l'empereur Nicolas I). Propriéte de l'Editeur. Wurzbourg, F.A. Julien libraire-éditeur, 1868. (Французская версия романа выдержала несколько изданий.) Достоевский, видимо, не знал, что еще два года назад, в 1866 году, в том же Вюрцбурге вышло издание книги Поля Гримма по-немецки; оно-то и явилось оригиналом, с которого был сделан французский перевод. Вполне вероятно, что автор сам перевел свой роман, так как имя переводчика на титульном листе французского издания не значилось: Paul Grimm. Geheimnisse von St. Petersburg (Letzte Lebenstage des Kaisers Nikolaus). Deutsche Original-Ausgabe. Würzburg, Verlag von F.A. Julien, 1866.

[2] Цитаты из романа П. Гримма приводятся по французскому изданию. Перевод С.Д. Серебряного.

[3] Некоторые из тогдашних читателей, а вслед за ними и более поздние комментаторы поняли эту фразу так, что Достоевский якобы уже претерпел мучения в казематах крепости – то есть был заговорщиком и вернулся к революционной борьбе снова. Никаких подробностей о прошлом Достоевского и его связях с кружком петрашевцев в романе Гримма, однако, не содержалось.

спеть песню на слова Некрасова – о той горькой участи, которая наверняка ждет их всех; и все собравшиеся тихо запели...

Заговорщики изображались автором как смелые и благородные люди; один из них, некто Михайлов, в своем выступлении заявил: «Мы разведчики будущего России, надежда нашей бедной, порабощенной страны. Не будем бояться никаких страданий... И даже если между нами и нашей целью разверзнется пропасть, бросимся в нее, как Муций Сцевола, чтобы, пожертвовав своей жизнью, ублаготворить богов...»

Целью же заговорщиков, как утверждалось в романе, была борьба за освобождение крестьян от помещичьей тирании и крепостного права.

Поучительную речь произносил и главарь тайного общества, Достоевский. «Братья, поклянемся никогда не прибегать ни к шпаге, ни к кинжалу, потому что святое семя свободы никогда не прорастало на земле, обагренной кровью. Кровь не приносит свободы, кровь приносит тиранию. Поклянемся, что мы никогда не будем возбуждать народ к кровопролитию ради священного дела свободы».

Все заговорщики клялись, а один из них, князь Оболенский, сын декабриста, даже воскликнул: «До каких пор мы будем расточать обращенную в золото кровь наших крепостных за зелеными столами Гомбурга и Бадена!»

Дома Достоевский говорил соратнику: «Нас предали... Я заметил, что за мной следят. Какие-то мрачные фигуры наблюдают за моим домом и следуют за каждым моим шагом. Меня не берут, чтобы выследить моих друзей. Поэтому я сторонюсь вас. Но даже если меня будут пытать в секретном застенке Орлова, если они будут рвать меня на части, я вас не предам. Они ничего от меня не узнают».

«Благородный поэт», как именовался в романе Достоевский, внушал Савельеву, что жена ничего не должна знать о заговоре: «...она прекрасная женщина, но она слишком меня любит». «Душенька», – говорил Достоевский с нежностью.

9—2953

Несколько дней он жил в ожидании ареста; понимал, что обречен, но сделать ничего не мог. «Куда бы мы могли бежать, ты и я? – говорил он Савельеву. – Мы же бедны. У нас едва хватит на кусок хлеба, а для побега нужны деньги... К тому же граница далеко – более ста тысяч солдат преградят нам путь. Как дойти до границы, чтобы нас десять раз не схватили? Единственный способ – пробраться в Финляндию или до английского флота в лодке по Неве. Но это значило бы предать родину. Нет, это не выход».

В конце первой части Достоевского арестовывали, а во второй – начальник III Отделения граф Орлов допрашивал в казематах Петропавловской крепости арестанта камеры № 8.

«–Господин Достоевский? Писатель?

Поэт молча поклонился.

– Вы член тайного общества? Глупые юнцы! Какова же цель вашего общества?

– Я не знаю, о чем вы говорите.

– Вы прекрасно знаете. Вы, писатель, идеолог. Зачем же все отрицать? Подумайте, реальны ли ваши мечты? Несмотря на ваши тридцать лет – не правда ли, вам тридцать лет? – я, поскольку я в два раза старше вас, советую для вашего же блага: признавайтесь, расскажите о цели общества и назовите его членов».

Ни на один из вопросов графа Орлова Достоевский не отвечал; тогда его ввели в комнату экзекуций с отверстием в полу: арестант провалился по грудь, и кто-то невидимый высек его, как секут ребенка.

«Граф, – обратился Достоевский к графу Орлову, находившемуся во время экзекуции здесь же, – Екатерина Вторая отменила пытки. Что же, в славное царствование императора Николая их возобновили?» Орлов промолчал и только пожал плечами. «Если бы я что-то знал, – заявил Достоевский, – после этой пытки вы могли бы вырвать у меня признание». – «Я мог бы сам назвать имена. Все они у меня в папке. Я должен отправить вас в крепость», – возразил Орлов.

В камере, куда отвели Достоевского после «секу-

ции», он, лежа на окровавленном матрасе, думал о жене и детях, слышал стук в стену, но языка тюремного перестукивания не знал и на сигналы не отвечал.

Тем временем на дворцовой площади император Николай Павлович прощался с солдатами, уходившими на войну. «Если Вы – император, а не тиран России, скажите мне, где мой муж?» – закричала дама из толпы. Это была жена Достоевского (в романе Гримма она не имела никакого имени); на ее руке император увидел знакомый перстень с опалом и приказал, чтобы женщину привели во дворец. «Отдай кольцо, и я освобожу твоего мужа», – потребовал Николай Павлович: знакомый ему перстень с ядом был подарен жене Достоевского цыганкой Марфушей, которая, вручая подарок, предсказала: «Этот перстень мужа не спасет, но за него отомстит».

Предсказание Марфуши сбывалось: роман заканчивался поучительно, но печально. Жена Достоевского вместе с царским адъютантом, приплыв на лодке через Неву в Петропавловскую крепость, потребовала от графа Орлова выдачи своего мужа, арестанта № 7569. Но того уже не было ни в камере, ни в Петербурге; его уже вообще не было в живых. За неделю до прощения арестант Достоевский был отправлен в Сибирь и умер по дороге.

В эпилоге романа император Николай I травился ядом из перстня с опалом; сам же перстень, уже пустой, вместе с пятью тысячами рублей, был отдан вдове Достоевского как вклад в Новодевичий монастырь, где она приняла постриг. Перстень висел перед иконой Казанской Божьей Матери; дни монахини были сочтены, ибо «были истощены силы ее жизни».

Романист обнаруживал близкое знакомство с топографией Петербурга и вставлял в повествование множество русских слов; к Достоевскому, его жене и другим историческим личностям относился с почтительным сочувствием и уважением. Однако, по версии беллетриста, в 1868 году, когда появилось французское издание, Достоевский был покойником уже тринадцать лет.

III

Когда Достоевский, реальный, а не из романа Поля Гримма, прочел запрещенную в России «книжонку», его больше всего возмутила претензия сочинителя, скрывшегося, вероятно, под псевдонимом, на документальность и достоверность. Намереваясь в знак протеста обратиться к редактору какого-нибудь иностранного журнала и составляя черновик обращения, он негодовал: «И хоть бы написано было: роман, сказка; нет, все объявляется действительно бывшим, воистину происшедшим с наглостью почти непостижимою. Выставляются лица, существующие действительно, упоминается о происшествиях не фантастических, но всё до такой степени искажено и исковеркано, что читаешь и не веришь такому бесстыдству. Я, например, назван моим полным именем...»

Вскоре об этой книге написал Достоевскому и Майков. «Попался мне один самомерзейший роман немецко-французского изделия. Роман из времен Николая Павловича... Не знаю, попался ли он Вам за границей, но рассчитан, очевидно, на сбыт его русским путешественникам. Мы его запретили. Между невообразимыми глупостями, которые и смешат и сердят, в этом романе... повествуется, что известная гадальщица Марфуша – жена Рылеева, Асенкова актриса – дочь[1] Ник. Павл.: он представлен под конец жизни отравляющимся. Интрига идет между заговорщиками, и представьте себе, главным лицом между ними являетесь Вы, с женой своей. В конце романа Вы умерли, жена Ваша поступила в монастырь. Когда я читал, мне было больно за Вас, меня оскорбляла наглость мерзавца автора брать имена живых людей, навязывать на них небывальщину... Ведь это только китайские понятия европейцев о России могут производить безнаказанно подобные литературные блины. Когда я читал, я думал, что Вам не худо было бы в каком-нибудь журнале, хоть в Nord, отлупить на обе корки автора. Этот же мошен-

[1] А.Н. Майков, скорее всего, оговорился: актриса Асенкова изображалась в романе возлюбленной императора, а не его дочерью.

ник этим романом напакостил еще не только своим героям, но и тому лицу, чье имя он взял как псевдоним, а именно Гримм, бывшего при великих князьях наставником. Мне заверно говорили, что это не тот Гримм, да и быть не может. Вот что терпят типографские станки в Европе. Ну, смел ли бы кто-нибудь у нас писать роман о Наполеоне и французских деятелях известных с таким невообразимым искажением всякого правдоподобия, не то что истины»[1].

Тогда, в разгар работы над романом о «положительно прекрасном человеке», Достоевский, наверное, и помыслить не мог, что не далее чем через год сам примется за сочинение о заговорщиках с громкими именами, за которыми будут стоять реальные лица; что его героями станут те, кто пришел на смену поколению петрашевцев. Тем более он не мог предвидеть, что отзвук 1849 года, так бессовестно искаженный в немецко-французском опусе, вскоре заставит его отодвинуть все прочие планы и надолго уйти в роман о своей революционной молодости. И что этот роман будет определен им как «почти исторический этюд», экземпляр отдельного издания преподнесен наследнику цесаревичу Александру Александровичу – то есть внуку императора Николая Павловича, отравившегося якобы после того, как прощенный им государственный преступник Достоевский умер по дороге в Сибирь.

Реальность и небывальщина, истина и бесстыдная ложь, судьбы автора и героев – все причудливо переплеталось вокруг будущего Сюжета: по иронии судьбы и под пером бульварного романиста Достоевский предвосхищал «подвиги» Нечаева и еще раз примерял на себя кандалы узника Петропавловки.

Никогда и нигде Достоевский не писал и, насколько об этом позволяют судить дошедшие до сего времени свидетельства, не говорил, что его роман о нигилистах задуман как опровержение «самомерзейшего» сочинения Гримма. Скорее всего, он, как и советовал Майков («Сперва я думал, что Вам следует отлу-

[1] Цит. по: Ф.М. Достоевский. Письма. Т. II. С. 432–433.

пить автора, а потом перешел к тому: да стоит ли... Свиньи, мол, и всё тут...»[1]), забыл о подлой книжонке: черновое письмо в иностранный журнал осталось недописанным, а чистовик, если и был, – так никуда и не отосланным; намерение посоветоваться в русском консульстве во Флоренции и «спросить наставления, как поступить», – так и не осуществленным.

Нет никаких сведений и о том, что когда-либо позже Достоевский вспоминал об этой дикой истории. Что касается самой злополучной книжонки, то вряд ли она была ему нужна в личной библиотеке – тем более что ввести ее в Россию легально по цензурным причинам было невозможно.

Ничто, однако, не проходит бесследно; грубая выдумка бесстыжего иностранца, сфабрикованная, как писал Достоевский, «для вреда России и для собственной выгоды», дала повод русскому романисту обдумать и под давлением чрезвычайных обстоятельств сформулировать принципиальные требования к художественным, а также документальным сочинениям, касающимся России и ее истории.

«Люди, называющие себя образованными и цивилизованными, готовы часто с необычайным легкомыслием судить о русской жизни, не зная не только условий нашей цивилизации, но даже, например, географии», – заметил он в этой связи. Профессиональное чутье литератора не обманывало его в убеждении, что от всякой клеветы, как бы она ни была нелепа и безобразна, «все-таки что-нибудь остается».

Может быть, поэтому, рассуждая о вреде всякой умышленной клеветы и нарочитых промахов против истины в том самом неоконченном письме редактору иностранного журнала, Достоевский неосторожно объявил: «И, однако, признаюсь, я никогда не взял бы на себя труда обнаруживать в этом случае ложь и восстановлять истину: труд слишком был бы уж унизителен».

Задним числом слово «никогда» выглядело, пожалуй, опрометчиво: «унизительный» труд по восста-

[1] Цит. по: Ф.М. Достоевский Письма. Т. II. С. 433.

новлению истины вопреки заведомой лжи был в тот момент уже, как говорится, при дверях.

От фразы же – пусть и в ее отрицательном значении («...я никогда не взял бы на себя труда...») – веяло особым сквозным ветерком, предвещавшим резкую перемену погоды.

«Но вот на днях, случайно, попалась мне на глаза книжонка... В этой книжке описывается собственная моя история, и я занимаю место одного из главнейших действующих лиц».

Наступала пора самому приниматься за описание своей истории.

IV

В КОНТЕКСТЕ занятий и интересов Достоевского лета и осени 1868 года труд по опровержению бульварного писаки выглядел бы и впрямь нелепо и унизительно.

Достоевскому следовало бы публично заявить, что в 1855 году он находился не в Петербурге, а в Семипалатинске, что никакого нового заговора не возглавлял, а служил рядовым линейного батальона, что не умер по дороге в Сибирь, а возвратился в Россию и ныне как частное лицо путешествует по Европе вместе с женой, которая вовсе не постриглась в монахини, а, напротив, родила дочь.

Еще ему пришлось бы добавить, что уже давно революционных убеждений не разделяет и с нигилизмом порвал, что государя-освободителя Александра Николаевича любит до обожания, а также считает себя благонамеренным гражданином России и патриотом.

Однако в намерении – когда наконец оно оформилось – написать роман, связанный с заговорщиками нового поколения, был, надо полагать, один глубинный мотив исключительно личного свойства.

Когда Достоевский сообщал своим корреспондентам, что «сел за богатую идею», что его увлекает «накопившееся в уме и в сердце», что он сильно надеется на новый роман «не с художественной, а с тенден-

циозной стороны» («пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь»), он заботился не только о том, как бы порезче и поазартнее ударить по революционной партии. «Нигилисты и западники требуют окончательной плети», – темпераментно писал он Страхову; из этого, однако, не следовало, что он захочет ограничиться одними лишь грубыми нападками на политических оппонентов: ведь когда-то он был с ними и был одним из них.

В страстном желании Достоевского «высказаться погорячее» сквозила, надо думать, не только мысль о нечаевцах, но – прежде всего – о самом себе, о своей собственной истории в ее человеческом измерении. Косвенно Достоевский подтвердил это автокомментарием к «Бесам», когда услыхал о желании наследника Александра Александровича знать, как автор романа смотрит на свое произведение. «Это – почти исторический этюд, – значилось в письме, сопровождавшем экземпляр романа, подносимый цесаревичу, – которым я желал объяснить возможность в нашем странном обществе таких чудовищных явлений, как нечаевское преступление... Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если б им сказали, что они прямые отцы Нечаева. Вот эту родственность и преемственность мысли, развившейся от отцов к детям, я и хотел выразить в произведении моем».

К какой из групп, учитывая свои собственные прежние увлечения, относил себя Достоевский?

«Я сам старый «нечаевец», я тоже стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни», – признавался он уже после «Бесов», в статье «Одна из современных фальшей» (1873), ставшей своеобразным послесловием к роману. Здесь он сделал сенсационное заявление: «Позвольте мне про себя одного сказать: *Нечаевым*, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но *нечаевцем*, не ручаюсь, может быть, и мог бы... во дни моей юности». И далее, в порядке извинения перед читателями и для связности текста, добавил вроде бы несущественную оговорку: «Я заговорил теперь про себя, чтоб иметь право говорить о других. Тем не менее буду

продолжать только об одном себе, о других же если и упомяну, то вообще, безлично и в смысле совершенно отвлеченном».

«Теперь» – означало: после романа и вне романа. А в романе как раз действовал строго зеркальный принцип – чтоб иметь право заговорить о себе, надо говорить только о других. И только об одном себе упоминать «вообще», «безлично» и «в смысле совершенно отвлеченном».

После «Бесов» Достоевский заговорил о давно прошедшей истории с той степенью откровенности, с какой только и можно было высказаться после «Бесов». Сейчас уже не нужно было горячиться и как-то специально доказывать свою любовь к Отечеству, но следовало наконец сказать правду о былых увлечениях и пристрастиях; такой труд по восстановлению истины отнюдь не был ни смешным, ни унизительным.

«„Монстров" и «мошенников» между нами, петрашевцами, не было ни одного...»

«Я уже в 46 году был посвящен во всю *правду* этого грядущего «обновленного мира» и во всю *святость* будущего коммунистического общества еще Белинским...»

«Те из нас, то есть не то что из одних петрашевцев, а вообще из всех тогда *зараженных*, но которые отвергли впоследствии весь этот мечтательный бред радикально, весь этот мрак и ужас, готовимый человечеству в виде обновления и воскресения его, – те их нас тогда еще не знали причин болезни своей, а потому и не могли еще с нею бороться...»

«В моем романе «Бесы» я попытался изобразить те многоразличные и разнообразные мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди могут быть привлечены к совершению такого же чудовищного злодейства...»

В «Бесах» – в той степени, в какой автор был занят героями и их «многоразличными» мотивами, – он был занят и собой: своими искушениями и своими соблазнами; в этом смысле поиск героя так или иначе оборачивался поиском себя.

Кем был он сам в той давно прошедшей истории – учитывая, что позднее осознал ее как болезнь? В чем видел свою собственную вину и за что осуждал других?

Ведь написал же он, опять-таки в связи с «Бесами»: «Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем!.. В возможности считать себя, и даже иногда почти в самом деле быть, немерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость, – вот в чем наша современная беда!»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Навстречу «хищному типу»

I

ПРИМЕРНО за месяц до того, как в рабочей тетради Достоевского были сделаны первые записи к роману «Идиот», автор в приступе сильного недовольства собой решил изложить в письме к Майкову свои «подлости и позоры».

«Проезжая недалеко от Бадена, я вздумал туда завернуть. Соблазнительная мысль меня мучила: пожертвовать 10 луидоров и, может быть, выиграю хоть 2000 франков лишних, а ведь это на 4 месяца житья, со всем, со всеми петербургскими. Гаже всего, что мне и прежде случалось иногда выигрывать. А хуже всего, что натура моя подлая и слишком страстная: везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил».

«Мне перед Вами покаяться не больно», – писал Достоевский. И все же такое признание и такое настроение были теперь как бы не совсем по теме, особенно если учесть то обстоятельство, что очень скоро замысел «Идиота» привел автора к психологически рискованному и едва ли выполнимому решению – «изобразить вполне прекрасного человека». «Давно уже мучила меня одна мысль, но я боялся из нее сделать роман, потому что мысль слишком трудная и я к ней не приготовлен... Труднее этого, по-моему, быть ничего не может, в наше время особенно... Только отчаянное положение мое принудило меня взять эту невыношенную мысль. Рискнул как на рулетке: „Может быть, под пером разовьется!”»

Под пером между тем возникало так много вариантов, далеких от рискованного замысла, что однажды автор в растерянности остановился перед выбором: «*Загадка.* Кто он? Страшный злодей или таинственный идеал?»

Герой нового романа, Идиот, будущий князь Мышкин, действительно двоился, движимый противоположными устремлениями, и пробовался вначале на роль злодея, в равной степени доступного и высотам добра, и крайностям зла. Как и автор, «везде и во всем» доходивший до последнего предела и «всю жизнь» переступавший черту, его герой, еще не сформировавшись в «положительно прекрасного человека», говорил о себе: «Или властвовать тирански, или умереть за всех на кресте – вот что только и можно, по-моему, по моей натуре, а так, просто я износиться не хочу».

Сквозь черты задуманного идеального героя мерцал облик сильной, властной натуры, демонической личности – «страшно гордого и трагического лица». Болезненная гордость до такой степени возвышала его в собственных глазах, что он «не мог не считать себя Богом»; безмерное тщеславие и самолюбие рождали в нем требовательную и исступленную жажду правды и подвига.

Достоевский, вынашивая «главную мысль об Идиоте», поначалу как бы примеривал на него судьбу совсем другого героя: «Страсти у Идиота сильные, потребность любви жгучая, гордость непомерная, из гордости хочет совладать с собой и победить себя. В унижении находит наслаждение. Кто не знает его, смеется над ним, кто знает, начинает бояться». Герой, ощущая в себе переизбыток внутренних сил, страдал неверием; автор проводил его через все возможные pro и contra и замечал: «Он совсем не несчастен, совсем не обижен, но ему всё не по мерке, всё теснит». Порой виделся и трагический финал, предварявший будущий Сюжет: «Он действительно благороден, может быть, даже велик и настоящим образом горд, но не может удержать себя, быть настоящим образом великим и гордым, хотя и вполне сознает настоящую гордость и величие. (Исповедью все окупается потом.)» Жизнь такого героя должна была завершиться или великим подвигом, или великим преступлением.

Когда инфернальная линия была внезапно оборвана, а судьба человека, ищущего спасения на путях

христианской любви и глубочайшего сострадания, отведена от бездн и «последних пределов», у Достоевского должно было возникнуть ощущение отложенного замысла.

Образ сильной, демонической личности, который вначале ассоциировался с персонажем «Идиота», не впервые волновал Достоевского. Ему давно представлялось загадочное трагическое лицо, мерещилась мрачная, демоническая фигура; воображение рисовало ее обобщенный художественный портрет; готовый набросок хотелось немедленно пустить в дело. Но как только он пытался как-то приспособить его для сочиняемого произведения, ничего не получалось: масштаб «сильного» героя оказывался несоизмеримым с персонажами «текущего романа» и поэтому чуждым самому роману.

Заметки и наброски с характеристиками сильного типа откладывались и накапливались. От работы 1866 года остался фрагмент, предназначавшийся, видимо, Свидригайлову, но так и не пошедший в текст «Преступления и наказания».

«NB. Страстные и бурные порывы. *Никакой холодности и разочарованности, ничего пущенного в ход Байроном.* Непомерная и ненасытимая жажда наслаждений. Жажда жизни неутолимая. Многообразие наслаждений и *утолений.* Совершенное сознание и *анализ* каждого наслаждения, без боязни, что оно оттого ослабеет, потому что основано на потребности самой натуры, телосложения. Наслаждения артистические до утонченности и рядом с ними грубые, но именно потому, что чрезмерная грубость соприкасается с утонченностию (отрубленная голова). Наслаждения психологические. Наслаждения уголовные нарушением всех законов. Наслаждения мистические (страхом ночью). Наслаждения покаянием, монастырем (страшным постом и молитвой). Наслаждения нищенские (прошением милостыни). Наслаждение Мадонной Рафаэля. Наслаждения кражей, наслаждения разбоем, наслаждения самоубийством... Наслаждения образованием (учится для этого). Наслаждения добрыми делами».

«Демон, сильные страсти», – записал Достоевский здесь же, подводя итог программе.

Достоевский (вслед за Аполлоном Григорьевым) называл такую личность «хищным типом». Коллекционируя наслаждения и унижения, чередуя грубые и утонченные «утоления», «хищный тип» более всего ценил «совершенное сознание и анализ каждого наслаждения».

Поэтому, прежде чем заразить героя неистовством страстей и безудержем наслаждений, следовало обучить его искусству самоанализа. Сильно ограничив героя-аналитика в части «утолений», Достоевский сначала попробовал именно анализ. Задуманные еще за год до «Преступления и наказания», «Записки из подполья» должны были поставить кардинальный вопрос: чем обернется анализ, то есть аналитические рассуждения или исповедальный рассказ, в том случае, если это будет рассказ «из подполья», а рассказчик – лицом не столько демоническим, сколько искаженным и изуродованным от страдания и самоказни?

II

«Записки из подполья» создавались как исповедь антигероя – первоначально повесть и называлась «Исповедь». «По тону своему она слишком странная, и тон резок и дик: может не понравиться; следовательно, надобно, чтоб поэзия всё смягчила и вынесла», – писал Достоевский.

Подпольный парадоксалист, трагический герой с разорванным сознанием, говорил о себе: «Мне надо спокойствия. Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить... Я вот знаю, что я мерзавец, подлец, себялюбец, лентяй...»

«Записки» фиксировали состояние души парадоксалиста в тот острый и переломный момент его развития, когда в своей «подлости и мерзости» ему захотелось исповедаться – написать «сочинение». «И автор

записок и самые «Записки», разумеется, вымышлены. Тем не менее такие лица, как сочинитель таких записок, не только могут, но даже должны существовать в нашем обществе... Я хотел вывести перед лицо публики, повиднее обыкновенного, один из характеров протекшего недавнего времени», – указал Достоевский в примечании к повести.

Сорок лет жизни Подпольного, бездарно истраченных («Я был злой чиновник. Я был груб и находил в этом удовольствие»), внезапно начали осознаваться им особенно болезненно и напряженно. Он чувствовал в себе странные перемены – сочинение «Записок» как раз и обнаруживало их: «Я сам только недавно решился припомнить иные мои прежние приключения, а до сих пор всегда обходил их, даже с каким-то беспокойством». Возвращалась память; запрет на воспоминание «прежних приключений» снимался, и тогда уже сами воспоминания побуждали к делу.

«Припоминание» еще не было делом; но между моментом припоминания и моментом дела проходило совсем немного времени. «Теперь же, когда я не только припоминаю, но даже решился записывать, теперь я именно хочу испытать: можно ли хоть с самим собой совершенно быть откровенным и не побояться всей правды?»

Переход от «только припоминания» к «еще и записыванью» с целью испытания себя «всей правдой» стал пробным шагом для будущего «хищного типа». Шагом тем более грандиозным, что аналогов, где бы испытатель достиг цели, как будто и не было. «Замечу кстати, – говорил парадоксалист, – Гейне утверждает, что верные автобиографии почти невозможны, и человек сам об себе наверно налжет. По его мнению, Руссо, например, непременно налгал на себя в своей исповеди, и даже умышленно налгал, из тщеславия. Я уверен, что Гейне прав; я очень хорошо понимаю, как иногда можно единственно из одного тщеславия наклепать па себя целые преступления, и даже очень хорошо постигаю, какого рода может быть это тщеславие».

В свете романа о демоническом Князе А.Б., кото-

рый то ли действительно совершил, то ли все-таки «наклепал на себя целые преступления», предположения парадоксалиста выглядели как первая разработка темы: через восемь лет Достоевскому снова предстояло вернуться к теме «всей правды».

Предстояло – также вместе с Подпольным – решиться на важный выбор. Если кому-то невтерпеж сказать о себе «всю правду», зачем непременно это надо делать на публике? Какое дело публике до чьей-то правды? Ведь «люди боязливы лишь перед тем, что прямо угрожает их личным интересам», – скажет позднее исповедующемуся опытный исповедник.

Не рассчитывая особенно на читателей и публику, не испытав еще искушений публичностью и откровенно стесняясь ее («Я нарочно воображаю перед собой публику, чтоб вести себя приличнее, в то время когда буду записывать»), Подпольный тем не менее задавал себе главный вопрос: «Вот что еще: для чего, зачем собственно я хочу писать? Если не для публики, так ведь можно бы и так, мысленно всё припомнить, не переводя на бумагу?»

От варианта «мысленно припоминать, не переводя на бумагу» откажутся все последующие «хищные» и «подпольные»: соблазн писаной бумаги, как и соблазн типографского станка, печатающего исповеди и криминальные записки, станет в будущем одним из сильнейших «утолений». «Хищный тип» Достоевского, прошедший лабораторию сочинительства подпольных «Записок», захочет познать одно из сильнейших наслаждений – наслаждение публичностью.

Что же касается сочинителя-дебютанта «из Подполья», то он интуитивно осознавал огромную разницу между отчетом мысленным и отчетом письменным.

Во-первых, «на бумаге оно выйдет как-то торжественнее. В этом есть что-то внушающее, суда больше над собой будет, слогу прибавится» (в погоне за слогом Князь А.Б. несколько даже перестарается: тоже скажется недостаток литературного опыта и желание «внушающего суда над собой»).

Во-вторых, Подпольный искренне надеялся на

записывание как на лекарство: «...может быть, я от записывания действительно получу облегчение. Вот нынче, например, меня особенно мучит одно давнишнее воспоминание. Припомнилось оно мне ясно еще на днях и с тех пор осталось со мною, как досадный музыкальный мотив, который не хочет отвязаться. А между тем надобно от него отвязаться. Таких воспоминаний у меня сотни; но по временам из сотни выдается одно какое-нибудь и давит. Я почему-то верю, что если запишу, то оно и отвяжется. Отчего ж не испробовать?» (Через несколько лет другой герой, умевший до такой степени властвовать над своими воспоминаниями, что стал к ним бесчувствен и отвергал их всей массой, послушно исчезавшей каждый раз, когда он этого хотел, все-таки был настигнут одним из них – и тоже, составляя свои записки, с надеждой ожидал облегчения от мучительных галлюцинаций...)

В-третьих, Подпольный чистосердечно признавался: «Мне скучно, а я постоянно ничего не делаю. Записыванье же действительно как будто работа. Говорят, от работы человек добрым и честным делается. Ну вот шанс по крайней мере». (Будущий герой рискнет пойти дальше и, в расчете на свой шанс, не только напишет подпольные записки, но даже издаст их трехсотенным тиражом в подпольной типографии...)

Что же дали сочинителю записок «из Подполья» его литературные занятия? Как повлиял на него сам процесс сочинительства? Получил ли он желанное облегчение?

Подпольный сравнивал две свои попытки обращения к литературе.

Первая – случилась давно, еще в период «прежних приключений», когда он задумал отомстить обидчику офицеру. «Раз поутру, хоть я и никогда не литературствовал, мне вдруг пришла мысль описать этого офицера в абличительном виде, в карикатуре, в виде повести. Я с наслаждением писал эту повесть. Я абличал, даже поклеветал; фамилию я так подделал сначала, что можно было тотчас узнать, но потом, по зрелом рассуждении, изменил и отослал в «Отечественные за-

писки». Но тогда еще не было абличений, и мою повесть не напечатали. Мне это было очень досадно. Иногда злоба меня просто душила».

Первая проба пера, рожденная чувством мести и злобы, оказалась творчески бессильной. Попытка сказать «всю правду» через десятилетия подполья имела совсем другие последствия. «Прежние приключения», а также душевная боль Подпольного, которые были описаны в «Записках», припоминалась ему теперь «слишком нехорошо»: «Мне было стыдно, всё время как я писал эту *повесть*: стало быть, это уж не литература, а исправительное наказание».

Как ни тяжело, однако, было наказание, как ни бунтовал Подпольный против придуманного им самоистязания («...не хочу я больше писать „из Подполья"...»), литературный эксперимент не мог пресечься на первом опыте: «Он не выдержал и продолжал далее».

Главное сочинение «Из Подполья» было впереди.

III

Тема «хищного типа» снова всплыла совсем незадолго до «Бесов». Между двумя персонажами «Вечного мужа» происходил любопытный разговор.

Вельчанинов: «Фу, черт! да вы решительно «хищный тип» какой-то! Я думал, что вы только «вечный муж», и больше ничего!»

Трусоцкий: «Это как же так «вечный муж», что такое?.. Какой такой «хищный тип-с»? Расскажите, пожалуйста, Алексей Иванович, ради Бога-с, ради Христа-с... Очень меня заинтересовало то, что вы... упомянули про хищный тип-с!.. Я ведь об «хищном» этом типе и об «смирном-с» сам в журнале читал, в отделении критики-с... Я вот именно желал разъяснить: Степан Михайлович Багаутов, покойник-с, – что он, «хищный» был или «смирный-с»? Как причислить-с?»

Скорее всего, персонаж «Вечного мужа» имел в виду одно интересное место из журнальной статьи

Страхова, напечатанной в «Заре», где позже публиковался и рассказ Достоевского (почему бы персонажам одного автора не посудачить о других авторах и их сочинениях?).

Между тем Страхов вспоминал литературную классификацию Аполлона Григорьева. «Григорьев показал, что к чужим типам, господствовавшим в нашей литературе, принадлежит почти все то, что носит на себе печать героического, – типы блестящие или мрачные, во всяком случае сильные, страстные, или, как выражается наш критик, хищные. Русская же натура, наш душевный тип явился в искусстве прежде всего в типах простых и смирных, по-видимому, чуждых всего героического, как Иван Петрович Белкин, Максим Максимович у Лермонтова и пр. Наша художественная литература представляет непрерывную борьбу между этими типами, стремление найти между ними правильные отношения, – то развенчивание, то превознесение одного из двух типов, хищного или смирного»[1].

Схема Страхова, так заинтересовавшая персонажей «Вечного мужа», должна была у Достоевского вызвать по меньшей мере недоверие.

Во-первых, каждый, даже самый мизерный человек, явившийся в типе «простом и смирном», жаждал самоопределения и хотел доказательно знать, куда и как себя «причислять».

Во-вторых, каждый «хищный» имел две стороны, и зло в нем сосуществовало с порывами смиренного и великодушного добра. (В поздней программе «хищного типа» Достоевский предпишет ему даже две деятельности – в одной из них он ведет себя как великий праведник, в другой – как «страшный преступник, лгун и развратник».)

В-третьих, «хищный» и «смирный» всегда могли поменяться местами и даже перепутать роли: каждый «смирный» был втайне одержим своим собственным «хищным» – злым гением или демоном.

Каждому «смирному», вероятно, посылалось ви-

[1] Н.Н. Страхов. «Война и мир». Сочинение графа Л.Н. Толстого. Статья вторая // Заря. 1869. № 2. С. 243.

дение своего демона. «Смирный» примерял его одежды, маски, втайне пробовал его жесты: каждый «смирный» мечтал о себе как о «хищном», «ибо соблазняем был».

Даже князь Мышкин – уже в образе положительно прекрасного героя – претерпевал «возмущающие нашептывания» демона, вселившегося в его сердце: «...странный и ужасный демон привязался к нему окончательно и уже не хотел оставлять его более».

Когда Достоевский решился наконец взяться за долго откладываемый замысел и когда в этой связи он написал Каткову, что своего героя «слишком давно уже хотел изобразить», он был честен и точен. Он и в самом деле давно уже знал своего «хищного», своего демона; давно был связан с ним – не только «возмущающими нашептываниями», но и общей судьбой. Писать же о своей судьбе, о своей истории, обойдя молчанием того, кто давно вселился в его сердце, было бессмысленно: такой труд уж точно был бы если не постыдным, то унизительным.

И, имея в виду как раз роковую способность хищной, демонической личности овладевать сердцем «смирного», Достоевский опять употребил в высшей степени точное, но понятное только ему выражение: «Я из сердца взял его».

Дерзость же всего замысла, риск потерять зря в буквальном смысле драгоценное время, жертвование уже написанным вариантом романа проявились в намерении, лаконично обозначенном простым глаголом: ИЗОБРАЗИТЬ.

Изобразить своего демона – вслед за великими мастерами, дерзнувшими запечатлеть демонов, которыми были одержимы они. Так, вероятно, и следовало написать Каткову, если бы в деловом письме был уместен столь возвышенный слог. Но не решаясь на бо́льшую откровенность, Достоевский все же прозрачно намекнул: «По моему мнению, это и русское, и типическое лицо...»

Намека на демонических предшественников, которые могли быть у героя нового романа, предложен-

ного в «Русский вестник», Катков, надо полагать, не понял.

Суть дела, однако, состояла в том, что подобные ассоциации были как раз крайне нежелательны – нельзя было никому подражать и никого повторять. Следовало воздержаться от романтических штампов и отвлеченности (*«никакой холодности и разочарованности, ничего пущенного в ход Байроном»*). Человеческая судьба и романная история героя должны были быть метафизически слиты с судьбой и историей автора – в этом и заключался глубинный смысл изображения демона.

Понимая, задача какой сложности встала перед ним, Достоевский не скрывал, как грустно ему будет, если лицо не удастся или выйдет ходульным. «Замечу одно: весь этот характер записан у меня сценами, действием, а не рассуждениями, стало быть, есть надежда, что выйдет лицо».

Все сошлось в дерзновенном решении справиться с демоном, изобразив его.

Чтобы освободиться от демона – если только это входило в намерения Достоевского, – следовало как минимум творчески овладеть им.

Автору и герою предстояло помериться силою.

Тот факт, что формально герой находился как бы в полной авторской власти, ровным счетом ни на что не влиял.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Краски для демона

I

Спустя месяц после выхода из печати первых глав романа стали появляться и первые отклики.

Критики были осторожны, уклончивы и на всякий случай высказывались в духе общих мест – о тонкой психологии характеров и серьезности содержания. Анонимный рецензент «Биржевых ведомостей», отдав скромную дань творческому дарованию писателя, все же напомнил об угасании его таланта и одноцветности сочинений. В анонимном обзоре «Голоса» критиковалась художественная манера, достоинства которой могли обернуться недостатками: тонкий анализ душевных движений выглядел как «излишняя и местами утомительная плодовитость в рассказе»[1].

Как ни странно, именно об этом написал Достоевскому вскоре и Страхов: «...Вы пишете большею частью для избранной публики, и Вы загромождаете Ваши произведения, слишком их усложняете. Если бы ткань Ваших рассказов была проще, они бы действовали сильнее. Например, «Игрок», «Вечный муж» произвели самое ясное впечатление, а все, что Вы вложили в «Идиота», пропало даром. Этот недостаток, разумеется, находится в связи с Вашими достоинствами. Ловкий француз или немец, имей он десятую долю Вашего содержания, прославился бы на оба полушария и вошел бы первостепенным светилом в историю всемирной литературы».

Далее, в самой деликатной форме излагались рекомендации: «Весь секрет, мне кажется, состоит в том, чтобы ослабить творчество, понизить тонкость анализа, вместо двадцати образов и сотни сцен остановиться на одном образе и десятке сцен. Простите, Федор Ми-

[1] Голос. 1871. № 40. 9 февраля.

хайлович, – заключал свою мысль Страхов, – но мне все кажется, что Вы до сих пор не управляете Вашим талантом, не приспособляете его к наибольшему действию на публику. Чувствую, что касаюсь великой тайны, что предлагаю Вам нелепейший совет – перестать быть самим собою, перестать быть Достоевским»[1].

На это письмо Достоевский ответил без промедления. «Вы ужасно метко указали главный недостаток. Да, я страдал этим и страдаю; я совершенно не умею, до сих пор (не научился), совладать с моими средствами. Множество отдельных романов и повестей разом втискиваются у меня в один, так что ни меры, ни гармонии. Всё это изумительно верно сказано Вами, и как я страдал от этого сам уже многие годы, ибо сам сознал это».

Ценя дружбу давнего приятеля и критика, Достоевский не стал с ним спорить. Что касается ловких французов и немцев, то совсем недавно он имел возможность лично убедиться, чего стоят их послушные капризам публики литературные дарования; ни за что на свете он не променял бы свою «утомительную плодовитость» на их умение приспособиться к вкусам толпы. Вроде бы соглашаясь со Страховым насчет невладения талантом, Достоевский видел свою проблему иначе.

Ему указывали на избыточную сложность и перегруженность его сочинений. Ему советовали писать легче и проще, расходовать художественные средства экономнее. Ему предлагали «ослабить» творчество. У него же были совсем другие заботы.

«Но есть и того хуже, – дипломатично возражал он Страхову в том же письме, – я, не спросясь со средствами своими и увлекаясь поэтическим порывом, берусь выразить художественную идею не по силам (NB. Так, сила поэтического порыва всегда, например, у V. Hugo сильнее средств исполнения. Даже у Пушкина замечаются следы этой двойственности). И тем я гублю себя».

[1] Шестидесятые годы. Материалы по истории литературы и общественному движению / Под ред. Н.К. Пиксанова и О.В. Цехновицера. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1940. С. 271.

Художественная идея, о которой Достоевский здесь упомянул вскользь, как об уже известном предмете, должна была напомнить Страхову другое письмо на ту же тему. Тогда, в октябре 1870 года, Достоевский писал критику: «И вот теперь, как уже отправил в редакцию «Русского вестника» начало начала, – я вдруг испугался: боюсь, что не по силам взял тему. Но серьезно боюсь, мучительно! А между тем я ведь ввел героя не с бух-да-барах! Я предварительно *записал* всю его роль в программе романа (у меня программа в несколько печатных листов), и вся записалась одними сценами, то есть действием, а не рассуждениями. И потому думаю, что выйдет лицо и даже, может быть, *новое*...»

Если что-то и могло беспокоить Достоевского в письме Страхова, так это только его странное молчание о самом главном. Критик писал о том, как прелестен Степан Трофимович Верховенский, как глубок и ярок нигилист Кириллов, как хороши сцены с Хромоножкой и Кармазиновым. К апрелю 1871 года, когда было отправлено Достоевскому письмо с советами, Страхов уже мог прочесть главу «Принц Гарри» с многообещающими словами Хроникера: «О господине Ставрогине вся главная речь впереди...» – но не обратил на нее никакого внимания.

Поэтому, когда Достоевский вновь напомнил о непосильной идее, он как бы напрашивался на похвалу; в ответном письме, однако, Страхов вообще не счел нужным касаться «продолжающегося» романа.

Перед отъездом в Россию, так ничего и не дождавшись от Страхова, Достоевский написал ему еще раз: среди многочисленных тем (о Белинском, о Гоголе, о Тургеневе, Льве Толстом и «Заре») было несколько строк о текущем романе. «Роман я или испорчу до грязи, до позора (я уже начал портить), или осилю, и хоть что-нибудь да из него выйдет хорошее. Пишу *наудачу*. Вот теперешний мой девиз».

Писать н а у д а ч у в тот момент, когда треть сочинения была опубликована, значило писать без всякого внешнего одобрения – особенно в той части, которая более всего волновала Достоевского. Ведь не толь-

ко Страхов, но и никто другой пока ни слова не сказал о его новом герое – ни анонимные рецензенты, ни Майков, восторгавшийся Степаном Трофимовичем, этим «тургеневским героем в старости», хваливший Шатова и Хромоножку.

Впрочем, некий намек мнительный Достоевский мог усмотреть в рецензии В.П. Буренина, недовольного пристрастным тоном романа. «Вместе с живыми лицами, вроде помянутого либерала (о Степане Трофимовиче Верховенском в рецензии говорилось весьма сочувственно. – *Л.С.*), выходят куклы и надуманные фигуры; рассказ тонет в массе ненужных причитаний, исполненных нервической злости на многое, что вовсе не должно бы вызывать злости, и т.п. Нервическая злость мешает много роману и побуждает автора на выходки, без которых, право, можно было обойтись»[1].

Вполне возможно, что под куклой Буренин действительно подразумевал «принца Гарри». Но если он и в самом деле получался фигурой надуманной, ходульной, это значило, что ни «выходки» автора, ни его избыточный талант, ни повествовательная щедрость ничего не стоят.

Получив письмо Страхова с советом «ослабить творчество», Достоевский на следующий же день уехал в Висбаден, в омут рулетки: пытать счастья. Возвратившись в Дрезден, он принялся за роман с новой энергией, решив для себя, что должен не ослабить, а усилить творчество. Только это могло спасти героя и «вытащить» художественную идею.

II

В НАЧАЛЕ мая 1871 года вышла апрельская книжка «Русского вестника» с окончанием первой части романа. Пятая ее глава называлась «Премудрый змий» – заинтригованный читатель мог заметить, что «змий» в романе пока не появлялся. Между тем все эпизоды дороманной истории, на которые автор не пожалел красок, рисовали личность загадочную и иррациональную.

[1] С.-Петербургские ведомости. 1871. № 65. 6 марта.

Тщедушный, бледный, задумчивый юноша, генеральский сынок где-то за кулисами событий превращался в богатого и блестящего офицера, принятого в высшем петербургском обществе. По каким-то темным, неясным для читателя причинам респектабельный гвардеец «как-то безумно и вдруг закутил». Автор явно хотел, чтобы внезапные и необъяснимые превращения героя-демона протекали камерно и интимно. Однако первые же пробы сил молодого героя обнаруживали в нем тот самый «хищный тип», замысел которого автор откладывал уже много лет.

Программа воплощения «хищного типа» требовала особой живописи; краски на палитре смешивались дерзко и вызывающе. Явление героя рассчитано было, по-видимому, на оглушительный эффект.

«Не то чтоб он играл или очень пил, – сообщалось в начале второй главы, – рассказывали только о какой-то дикой разнузданности, о задавленных рысаками людях... Прибавляли сверх того, что он какой-то бретер, привязывается и оскорбляет из удовольствия оскорбить».

Несомненно: автор изобретательно и усердно работал, создавая «змию» репутацию буяна и светского повесы. Обаяние такой репутации, а также лавры коллекционера опасных удовольствий должны были обеспечить герою независимо от его намерений любые победы. Главный расчет, разумеется, делался на женщин, поголовно чувствительных к мужской разнузданности.

«Все наши дамы, – не без издевки отмечал Хроникер-рассказчик, – были без ума от нового гостя. Они резко разделились на две стороны – в одной обожали его, а в другой ненавидели до кровомщения; но без ума были и те и другие. Одних особенно прельщало, что на душе его есть, может быть, какая-нибудь роковая тайна; другим положительно нравилось, что он убийца». Длинный шлейф опасных безумств (когда «вдруг зверь показал свои когти»), глухие слухи о «загадочной поре» его петербургской жизни (когда в поисках специальных впечатлений он связался с трущобным

отребьем), а также поразительная красота и изящество облика создавали изысканно-утонченный контраст, поражавший воображение.

Хроникер, описывавший губернские скандалы четырехлетней давности, не «справлялся» со Ставрогиным и как бы терялся – как и городские франты, дико завидовавшие смелости и самоуверенности столичного щеголя; тот же был «не очень разговорчив, изящен без изысканности, удивительно скромен» и с неуклонным вниманием исполнял весь губернский этикет.

Автор, тратя на героя ярчайшие из красок, казалось, провоцировал свое романное население.

«Я ждал встретить какого-нибудь грязного оборванца, испитого от разврата и отдающего водкой», – почти возмущался Хроникер. Но он ошибался: «Напротив, это был самый изящный джентльмен из всех, которых мне когда-либо приходилось видеть, чрезвычайно хорошо одетый, державшийся так, как мог держать себя только господин, привыкший к самому утонченному благообразию».

Всем, кто встречал его впервые, он казался зловеще прекрасным: хотелось – как на слепящем солнце – закрыть глаза или спрятаться в тень. Хотелось как-то смягчить первое впечатление, как-то снизить его. «Поразило меня тоже его лицо: волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые, – казалось бы, писаный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску».

Позже, оправившись от потрясения, можно было уже честно признать: «Как и четыре года назад, когда в первый раз я увидал его, так точно и теперь я был поражен с первого на него взгляда. Я нимало не забыл его; но, кажется, есть такие физиономии, которые всегда, каждый раз, когда появляются, как бы приносят с собой нечто новое, еще не примеченное в них вами, хо-

тя бы вы сто раз прежде встречались. По-видимому, он был всё тот же, как и четыре года назад: так же изящен, так же важен, так же важно входил, как и тогда, даже почти так же молод. Легкая улыбка его была так же официально ласкова и так же самодовольна; взгляд так же строг, вдумчив и как бы рассеян. Одним словом, казалось, мы вчера только расстались. Но одно поразило меня: прежде хоть и считали его красавцем, но лицо его действительно «походило на маску», как выражались некоторые из злоязычных дам нашего общества. Теперь же, – теперь же, не знаю почему, он с первого взгляда показался мне решительным, неоспоримым красавцем, так что уже никак нельзя было сказать, что лицо его походит на маску».

Оставив в прошлом безумные кутежи и дикую разнузданность, герой являлся в облике неотразимо обольстительном и как бы вечно новом; чары мужского обаяния соединялись с безупречностью жеста и блеском светского шарма. Магическое очарование героя гипнотизировало, заставляло видеть происходящее в каком-то призрачном свете и только гадать – «может быть, какая-нибудь новая мысль светилась теперь в его взгляде?».

К концу первой части, над которой Достоевский бился несколько месяцев, «рвал и переиначивал», была достигнута важнейшая цель: герой, которого надлежало поднять на «безмерную высоту», казалось, брал ее без всяких усилий – все и вся безоговорочно признавали за ним его исключительные права.

«Премудрый змий» виртуозно умел держать паузу, безупречно владел лицом и при любых обстоятельствах оставался хозяином положения. На «невозможный, ужасный» вопрос матери («...правда ли, что эта несчастная, хромая женщина... законная жена ваша?») он «не смигнул даже глазом и пристально посмотрел на мать; ни малейшего изменения в лице его не последовало. Наконец он медленно улыбнулся какой-то снисходящей улыбкой и, не ответив ни слова, тихо подошел к мамаше, взял ее руку, почтительно поднес к губам и поцеловал. И до того было сильно всегдашнее,

неодолимое влияние его на мать, что она и тут не посмела отдернуть руки. Она только смотрела на него, вся обратясь в вопрос...».

Другая женщина, его тайная жена, «вся замирая от испуга, поднялась к нему навстречу и сложила, как бы умоляя его, пред собою руки»; и в ее взгляде был «какой то безумный восторг, почти исказивший ее черты, – восторг, который трудно людьми выносится».

И если только безмерная высота Ставрогина заключалась в его нечеловеческой власти над людьми и всепокоряющем демоническом обаянии, то он был еще и завораживающе приветливым демоном.

«– Вам нельзя быть здесь, – проговорил ей Николай Всеволодович ласковым, мелодическим голосом, и в глазах его засветилась необыкновенная нежность. Он стоял пред нею в самой почтительной позе, и в каждом движении его сказывалось самое искреннее уважение. Бедняжка стремительным полушепотом, задыхаясь, пролепетала ему:

– А мне можно... сейчас... стать пред вами на колени?

– Нет, этого никак нельзя, – великолепно улыбнулся он ей, так что и она вдруг радостно усмехнулась. Тем же мелодическим голосом и нежно уговаривая ее, точно ребенка, он с важностью прибавил:

– Подумайте о том, что вы девушка, а я хоть и самый преданный друг ваш, но всё же вам посторонний человек, не муж, не отец, не жених».

Щекотливость ситуации (для тех, кто понимал, в чем дело) была в оскорбительной двусмысленности; ведь Ставрогин, объясняя своей жене, что он не муж ей, не лгал – в словах: «Подумайте о том, что вы девушка» – содержалась чистая правда.

Все, кто встретился ему по прибытии в город, старались увидеть его снова и быть им замеченными. Все суетились и кружились вокруг него. Все действительно двигалось «около него, как калейдоскоп».

С первых же мгновений романного существования героя стал очевиден и главный вектор его победительной силы. Выразительнее всего сказал об этом

один из персонажей «калейдоскопа», злобный сплетник и интриган Липутин: «А главное у них женский пол: мотыльки и храбрые петушки! Помещики с крылушками, как у древних амуров, Печорины-сердцееды... Всякая ягодка в ход идет, только чтобы попалась под известное их настроение».

III

Разрабатывая любовные линии «Бесов», которые бы, перекрещиваясь и переплетаясь, создавали напряженную атмосферу романной интриги, Достоевский насыщал их причудливым и усложненным эротизмом. Поскольку демоническое поведение героя и его «ужасная» репутация более всего были заметны в скандальных связях с женщинами, тактика их обольщения, техника вовлечения в любовную игру, сценарии любовных эпизодов, а также стратегия разрыва с обольщенной и надоевшей жертвой оказались долговременной и многотрудной заботой автора.

Достоевский, со всем тщанием пролагавший герою всевозможные пути эротических поисков, довольно быстро отказался от вариантов, где Князь вел бы себя как заурядный влюбленный, то есть ревновал, сходил с ума, завидовал счастливым соперникам, награждал их пощечинами или вызывал на дуэль. Как только он был утвержден в амплуа демона и «хищника», стало очевидно, что брутальные безумства ему не идут; не к лицу была и излишняя активность, направленная на завоевание и удержание предмета страсти.

Поиск эротического почерка для героя, которому не шла роль рядового охотника, был обставлен с роскошной избыточностью и отмечен неукротимой авторской фантазией. Один сюжет перебивался двумя другими, а им предпочитался третий — для того чтобы он уступил место еще нескольким. Десятки «или», которыми начинались пробные любовные эпизоды, отличались таким разнообразием возможностей, что, казалось, автор никогда не выберется из лабиринта амурных приключений, сочиняемых для героя (например, в

записи от 16 августа 1870 года, решившей участь Князя, этих «или» насчитывалось девять).

Нельзя, однако, утверждать, будто автор «пробовал» все подряд, не имея хотя бы общего представления об искомом решении. При всем обилии вариантов, при всем богатстве возможностей, при всей огромности любовного потенциала, которыми автор награждал героя, стилистика его эротических начинаний имела хотя и экзотический, но вполне опознаваемый акцент.

С завидной точностью и едким сарказмом описал Липутин «помещика с крылушками»: как бы ни относиться к язвительному намеку на древних амуров, некий скрытый смысл в нем был. Не столичному повесе, не губернскому Казанове уподоблялся Ставрогин, а Эроту, божеству любви, – смелому крылатому стрелку, чьи стрелы пронзают сердце и зажигают его непобедимым влечением.

«Помещик с крылушками» оказывался красавцем, божественно одаренным всевластной мировой силой, вечной и неутолимой жаждой обладания; согласно этой роли ему полагалось быть не только сияющим и многоискусным, но также коварным и жестокосердным.

«Мотылек и храбрый петушок» (Липутин грубо снизил, но все-таки не исказил приметы летающего божества) парил над райскими кущами, зорко вглядываясь в «цветочки и ягодки», и гордо сознавал, что, стоит только ему пожелать, ни одно в мире существо не сможет противиться блаженной близости с ним. «Всякая ягодка в ход идет, только чтобы попалась под известное их настроение», – злобствовал Липутин; но опять же: проницательность губернского интригана нуждалась в поправке – «их настроению» «всякие ягодки» угодны были всегда. Достоевский, формируя «гарем» Ставрогина, подбирал кандидатуры столь различные, что, собранные вместе и сопоставленные со своим господином, они действительно производили ошеломляющее впечатление.

«Все наши дамы были без ума от нового гостя», – утверждал Хроникер; однако общее сумасшествие дам

было единственной объединяющей приметой странного сообщества. К тому же любовной тоской по Князю были поражены не «дамы» вообще, а все дамы, не перешедшие за пределы известного возраста, персонально.

Донжуанский список Ставрогина (Дон Жуаном он был назван в черновых тетрадях трижды) свидетельствовал об исключительной разносторонности его любовных предпочтений, ничего общего не имевших с принятыми стандартами. Дон Жуан оказывался «кроток, скромен, тих, безмерно горд и зверски жесток»; зверский огонь вспыхивал и разгорался в нарушение всех общественных правил и приличий.

Учитывая, что романное бытие героя, как и действие романа, занимало всего месяц, этот список выглядел не только внушительно, но даже «исчерпывающе» – так как он действительно исчерпывал все женское население «Бесов».

Первой в списке оказывалась местная Губернаторша. Ей отводилась участь соблазненной, но немедленно отвергнутой жертвы. Весь сценарий интриги с Губернаторшей (интересной герою только тем, что скандальная связь с первой дамой губернии могла быть чуть громче, чем любой другой адюльтер) укладывался в несколько строк: «С Губернаторшей – поражает и увозит. Скандал... Губернаторша сдается, и он увозит Губернаторшу... Он было увлекся Губернаторшей на минутку. Та ему пишет. Благородно поступает с ней. Губернатор его ненавидит за жену и даже объясняется. Брат Губернатора оскорбляет его. Пощечина, драка».

Нереализованный план увоза Губернаторши (в романе она утрачивала свое преимущество и становилась как «все дамы») соседствовал с другим, еще более экстравагантным сюжетом. «Жениться на б<...> – всё равно. Есть такая в городе»; видимо, воображая городскую проститутку своей женой, Ставрогин должен был ощущать слишком сильный вызов здравому смыслу и особый любовный энтузиазм.

В списке значились и дамы из его прошлого. Поскольку «слава о нем в городе и везде (еще прежняя,

отроческая)» была «как о развратном, безобразном, нагло оскорбляющем человеке», планировалось рандеву с неким господином, женатым на растленной им: «Встреча с прежним мужем, с прежней обольщенной. Штуки играет с ними. Гордо и оригинально выходит из дела». (Что касается «штук», о них более подробно сообщала другая запись: «NB. Человек легкомысленный, занятый одной игрою жизнию, изящный Ноздрев, делает ужасно много штук, и благородных, и пакостных».) О любителе «штук» здесь было сказано: «Скептик и насмешник над всеми, но свысока и спустя рукава. Полное равнодушие ко всему гражданскому. Одно упоение сладострастием».

На счету сладострастника имелось и кое-кто позанимательнее, чем когда-то обольщенные замужние дамы. «Соблазнил 13-летнюю, об чем пошел шум. (Так вдруг, невзначай, фантазия нашла.)»

В другом месте мотив растления малолетней («Из страсти к мучительству изнасиловал ребенка. *Страсть к угрызениям совести*») отчасти объяснялся не только психологическими вывертами насильника, но и его «буйными телесными инстинктами».

Пятым номером оказывалась новобрачная Мария Шатова, жена самого преданного ученика и последователя. «Шатов привез жену, но ее увез в первый свой приезд Князь. Она где-то в Париже». По другому плану «жена Шатова сама отдалась Князю и уехала в Париж, где Князь ее бросил (ибо и не брал и ничем не связывался) и где Шатов, как муж, ее содержал». Предполагалось, что, узнав о наличии у Князя законной жены, взятой из петербургских «углов», Шатова возненавидит любовника, от которого беременна и должна вот-вот родить.

Шестой в списке была сестра Шатова, Даша (Воспитанница), седьмой – аристократка Лиза Тушина (Красавица), восьмой – Марья Лебядкина, законная, венчанная жена.

В романе пасьянс из восьми дам был изменен: Губернаторша и проститутка оставались за бортом; обольщенная дама со своей горничной, изнасилован-

ная девочка и роженица Мария Шатова служили эротическим декором «зверскому сладострастнику», на фоне которого он и три героини разыгрывали жестокую драму любви и смерти.

«Параллельные» любовные интриги, разумеется, были украшены ревнивыми догадками дам относительно друг друга. Их неистовая гибельная одержимость возбуждала не столько сладострастие Князя, сколько его потребность мучить, томить, «выдерживать» околдованных им женщин.

На сцену выступал, выражаясь словами Липутина, «Печорин-сердцеед».

IV

Чтобы обеспечить герою головокружительные любовные победы, Достоевский (тут Липутин вновь попадал в самую точку) прибегал к испытанному средству. Любовный поединок подразумевал прежде всего жестокое противостояние самолюбий, беспощадную психологическую дуэль, где шанс на успех имелся лишь у дуэлянта с холодной волей и железной выдержкой. Тот, кто торопился с признаниями, спешил с объяснениями и первыми шагами, рано или поздно терпел сокрушительное поражение.

Одна из программных заметок разрабатывала тактику и стратегию «хищного типа» в делах любви. «*Главное.* Князь, приехав, ни слова с Воспитанницей. По письму Степана Трофимовича он догадался (*про себя*), что та влюбилась, и, приехав, нарочно, по-печорински, не заговаривает с ней. Даже и не отсоветывает ей выходить за Степана Трофимовича. Ее это оскорбляет. В течение романа она зовет его наконец переговорить с ним. Получив ее письмо, он говорит: „А, не выдержала наконец"».

По-печорински – означало: холодно, властно, с ястребиным вниманием. Намеченную жертву надлежало измучить таким страстным томлением и влечением, заморочить таким густым туманом неясности, что она приходила сама – без приглашения и даже без

видимого повода – и бросалась к ногам. Вот тут-то, насладившись унижением, и следовало раз и навсегда ей отказать.

Впрочем, возможны были и другие варианты.

«Отвергнув ее утром, он высматривает и следит за ней вечером... Затем влюблен... Любовь их будет состоять в том, что Воспитанница то будет думать, что он ее любит, то нет. Колебание, и в этом сладость романа».

В этом же была и «сладость» героя. Достоевскому виделся характер страшный и сумасшедший, со вспышками мгновенной страстности и глубокой сердечной нежности; рядом с ним женщины теряли голову и готовы были забыть обо всех мыслимых добродетелях. К тому же, внушая очередной жертве коварную мысль о своей неспособности полюбить «такую прелесть, как она», он буквально приковывал ее к себе цепями азартного сострадания.

Поединок характеров и самолюбий был тем сложнее и запутаннее, чем меньше сердечные дела Князя напоминали вульгарный адюльтер или банальный любовный треугольник – треугольник как раз составили дамы.

Мрачный, страстный, демонический Князь, каким его придумал Достоевский, оказывался Дон Жуаном женатым – притом женатым нелепо и скандально. Однако то обстоятельство, что жена из петербургских углов была убога и безумна, а свадьба после пьяного пари – грязна и отвратительна, казалось, только помогало ему в амурных расчетах. Его несвобода была надежным щитом, ибо в самую деликатную минуту он мог открыть возомнившей претендентке свою постыдную тайну. Признание в любви подменялось признанием в наличии жены-Хромоножки, Марьи Тимофеевны; узнавая о ней, взбешенные возлюбленные проклинали, жалели, ставили какие-то условия или бросали свою жизнь к его ногам уже без всяких условий. Тайные брачные узы, которыми был связан Князь, лишь подстегивали завороженных им женщин, толкая к пагубным безрассудствам.

Могло быть и так, что лицо из «треугольника»,

узнав тайну Князя, спешило предупредить об опасности сопернику – но не из женской солидарности, а из ревности; как правило, это приводило к обратному результату, ибо соперница в тот же миг готова была бежать к Князю и отдаваться «из жалости». («Даша подглядела, что Князь загорелся зверским огнем на Лизу. Она (хоть и соперница) бежит к Лизе и предуведомляет ее, что он *женат* и потому-то и убегает от нее. Тогда Лиза всё прощает ему и понимает только его несчастье, пламенно отдается ему».)

Однако герой, к которому женщины слетались, как бабочки на огонь, при всем своем зверском сладострастии, казалось, предпочитал наслаждаться скорее психологической победой, чем собственно женщиной; по сравнению с блаженством достигнутого морального торжества плотские утехи как-то меркли. «Князь, понимая, какое колоссальное впечатление произведет его признание, признается Красавице о Хромоножке. (Он понимает, что это признание унизит ее.)» Итак: хотелось произвести колоссальное впечатление и хотелось унизить; хотелось, чтобы униженная, морально уничтоженная Красавица «пришла сама, первая», и хотелось «оставить мгновение за собой». «Красавицу он действительно не любил и презирал, но когда она отдалась, вспыхнул страстью вдруг (обманчивой и минутной, но бесконечной) и совершил преступление. Потом разочаровался».

К тому же едва ли не во всех планах романа герой смертельно оскорблял своих возлюбленных, уже предавшихся ему, обидным пренебрежением, как бы означавшим, что продолжения не будет. Распаленные страстью только что ушедшего мгновения, они с ужасом обнаруживали, что уже брошены, – и сами бросались ему вслед с упреками и проклятиями: «Князь даром берет, даром, даром!» А Князь, из брезгливости так никогда и не «взявший» жены, нехотя «брал» красавиц и воспитанниц, хотя откровенно презирал их за всегдашнюю готовность броситься ему в обьятия.

Князь роковым образом ускользал от порабощенных им женщин – в одной из программных заметок

ему это буквально вменялось в обязанность. Автор будто бы добивался, чтобы «печоринство» было твердокаменным и несокрушимым. «Князь не любит Лизу: он действует под влиянием скуки. NB) Может любить только страстно, на мгновение, да и то от скуки. Перед Шатовым, например, и Дашей он *отрекается* от любви к Лизе еще за несколько дней до обладания ею». В другом случае жестокая и хищная идея овладеть Лизой смягчалась только из-за ее собственной предприимчивости. «Лиза употребляла все средства, чтоб поработить его, уязвить его, оскорбить его, возбудить его ревность (Шатовым, Нечаевым), но только бы привлечь. Иногда ему становилось противно...»

Князю предписывалось противиться также и другой любви: «Про Дашу он знает, что она его любит, но ему до времени это отвратительно, и помогать он ей не хочет...»; лишая своего героя простого тихого счастья жить в любви с любящей женщиной, автор предусмотрительно столкнул в соперничестве женщин-антиподов.

С Дашей герой был знаком с детства и знал, что она его давно любит. Пунктиром выстраивалась в записных тетрадях история любви смиренной, безответной сироты, которая отдалась без сопротивления и кокетства, забеременела, выкинула; при том, что «у Воспитанницы была только однажды сцена с Князем в Швейцарии в горах и осталась на всю жизнь язвой в сердце», она сама предложила себя Князю «про запас» и назвалась его рабой. «Пораженная раз словами в Швейцарии, вся отдалась Князю, вся в распоряжении его, без воли, *потому что «люблю»*. „Почему люблю? – того не знаю"». Любовь женщины, которая *«потеряла возможность суда над ним»*, которую не пугают его поступки («чтоб он ни сделал – она знает, что пойдет за ним»), которая готова по первому зову «жертвовать собой и идти к нему, всё забывши», Князю надлежало фактически отвергнуть; хотя именно ей было обещано «последнее путешествие» и доверены почти все тайны, она принуждена была покорно созерцать, как разгорается «зверский огонь» Князя на другую.

Лиза и была другой: она тоже, как и Князь, мучилась скукой, ей тоже на ум приходила мысль выйти замуж «как нельзя хуже», ей – как «хищному типу» (в записных тетрадях о ней говорилось: «Это Лермонтов в юбке») – тоже хотелось подчинить и поработить возлюбленного.

На всем протяжении замысла, однако, печоринство в женском варианте терпело сокрушительное фиаско; ни в одном эпизоде автор не дал испытать Красавице хотя бы минутного торжества. «Нужна двусмысленная (и прекрасная) сцена, – записывал автор, – чтоб она высказалась Князю однажды, хотела увлечь его, отдавалась, *звала* его, но он не пошел... Князь говорит ей прямо: *„Я никогда не любил вас, не могу вас любить"*».

На месте многоточия в процитированной заметке была еще одна фраза: «Тогда она бросает его *с кровомщением* и отдается Нечаеву». К тому моменту, однако, когда этап черновиков сменился этапом создания связного текста, все возможные соперники Князя, которым могла отдаваться Красавица – с кровомщением или без, – были благополучно устранены; от одних остался едва заметный след, другие и вовсе уничтожились «под пером».

Героиня Покорная и героиня Строптивая одинаково безуспешно оспаривали Князя у героини Хромой, которая его безумно боялась; все трое готовы были простить обиды, взять назад проклятия и забыть упреки в случае, если роковой Князь их не оставит. Все трое предпочитали видеть его в силе, а не в слабости.

«Будьте приличнее, будьте бесчувственнее», – восклицала Лиза, когда, очнувшись после ночи любви, Ставрогин вздумал сострадать обесчещенной девушке; «кровопийце» была не к лицу подобная чувствительность. Взяв фальшивую ноту, он весьма скоро исправился – стоило ей самой, «Лермонтову в юбке», сделать неосторожный шаг («Клянусь, вашему слову поверю, как Божьему, и на край света за вами пойду, о, пойду! Пойду как собачка...»), Князь тут же ставил ее на место: «Я не убивал и был против, но я знал, что они

будут убиты, и не остановил убийц. Ступайте от меня, Лиза».

Когда строптивая Красавица, заигравшись, захотела попробовать роль покорной Воспитанницы, ее участь была решена – любовную дуэль в печоринском вкусе она покидала поверженной и уничтоженной.

Когда безумная Жена, забывшись, захотела примерить маску строптивой и капризной хозяйки, она подписала себе смертный приговор – с Князем и «ясным соколом» нельзя было разговаривать свысока.

Когда покорная Воспитанница собралась наконец сдвинуться с места и «спасти» кликнувшего ее Князя, было поздно; последний призыв имел уже только метафизический смысл.

Последнее слово оставалось за Ставрогиным – «господином разговора»; казалось, автор, используя свое исключительное право, добивался для «помещика с крылушками» неслыханных привилегий.

...В течение двух лет, пока продолжалось печатание «Бесов», ни один из рецензентов не смог сказать что-либо вразумительное о центральном герое романа. Лишь в самых последних числах декабря, в канун 1873 года, критик из «Journal de St. Petersbourg», М.А. Загуляев, назвал «Бесы» лучшим романом года, увидев в герое суть русской натуры со всеми присущими ей достоинствами и недостатками.

Не избалованный любовью отечественной критики, Достоевский, скорее всего, приятно удивился благожелательному тону и добрым словам.

Но как несоизмерим был похвальный отзыв с грандиозным замыслом. Как мало значили эти общие слова в свете главной тайны романа – в котором автор, наделив героя демонической, сверхъестественной красотой, необъятной силой и непобедимым мужским обаянием, затем безжалостно губил его.

Зачем?

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Экзистенциальный соблазн

I

Если бы для каких-либо жизненно важных целей необходимо было отыскать авторитетного и надежного свидетеля невероятной истории, приключившейся у автора «Бесов» с его главным героем, таким свидетелем мог бы быть назван один-единственный человек. У него была уникальная возможность знать эту историю не только из момента событий, но и из первых рук: за три года (1869–1872) он получил от романиста более двадцати объемнейших писем с подробными авторскими комментариями.

Обладатель сокровищ был свидетелем профессионально компетентным: читать и понимать прочитанное составляло его главное и единственное занятие. Уважая литературного критика, Достоевский в порыве дружеского участия однажды написал ему: «Вы один из людей, наисильнейше отразившихся в моей жизни, и я Вас искренно люблю и Вам сочувствую».

Однако спустя почти полвека после описываемых событий А.Г. Достоевская назвала Н.Н. Страхова «злым гением» Достоевского.

В скандально знаменитом письме критика, адресованном Л.Н. Толстому, среди уже цитированных обличений, содержалось и одно профессиональное признание. «Вы верно уже получили теперь Биографию Достоевского – прошу Вашего внимания и снисхождения – скажите, как Вы ее находите. И по этому-то случаю хочу исповедаться перед Вами. Все время писанья я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением, старался подавить в себе это дурное чувство...»[1]

Когда в 1914 году А.Г. Достоевская впервые про-

[1] Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. С. 307.

чла эти строки (Достоевского не было в живых уже тридцать три года, Страхова – двадцать), она законно возмутилась: «Человек, десятки лет бывавший в нашей семье, испытавший со стороны моего мужа такое сердечное отношение, оказался лжецом, позволившим себе взвести на него такие гнусные клеветы! Было обидно за себя, за свою доверчивость, за то, что оба мы с мужем так обманулись в этом недостойном человеке»[1].

А.Г. Достоевская, искренне протестуя против клеветы на своего мужа и выступая в защиту его памяти, не могла не обратить внимания на сугубо профессиональный аспект страховской исповеди. «...Зачем же, – резонно вопрошала Анна Григорьевна, – чувствуя отвращение к взятому на себя труду и, очевидно, не уважая человека, о котором взялся писать, Страхов не отказался от этого труда, как сделал бы на его месте всякий уважающий себя человек?»[2]

Между тем у вдовы писателя имелось документальное доказательство вопиющей неискренности страховского откровения, – доказательство, о котором, за давностью лет, она могла совершенно забыть. Речь идет о письме Страхова к Достоевскому, написанном в разгар интересующих нас событий (Анна Григорьевна могла прочесть его еще при жизни мужа, а потом неоднократно читать и позже – из ее архивов связка страховских корреспонденций на имя Достоевского попала впоследствии в Исторический музей).

22 февраля 1871 года Страхов, жалуясь Достоевскому на крах «Зари», писал: «В который раз я вижу, что дело нужно начинать снова! Плохой я практический деятель, плохой журналист – я слишком неповоротлив и задним умом крепок. Но есть помимо этого и другого подобного какая-то судьба, которая нас преследует. Все чаще и чаще мне приходит мысль – *писать воспоминания*, хотя бы для того, чтобы спасти честь (или способствовать спасению) таких людей, как Вы, Ап. Григорьев, Эдельсон и проч. Люди благород-

[1] А.Г. Достоевская. Воспоминания. С. 420.
[2] Там же.

нейшие, рыцарски-честные иногда подвергаются в нашей поганой литературе упрекам в каком-то искании выгод, в неискренности, в подлости. Составились предрассудки, укоренилась ложь, а мы бессильны и ничего не делаем»[1].

Если бы А.Г. Достоевская, вступаясь за мужа, опубликовала тогда же это страховское письмо – что было ей абсолютно по силам, вспомни она о нем, – ничего больше бы не понадобилось: весь Страхов, благодаря которому «в нашей поганой литературе» о «благороднейшем, рыцарски-честном человеке» укрепилась бесстыднейшая и безобразнейшая ложь, был бы как на ладони. Ведь никто и ничто не принуждали его писать Достоевскому о своих намерениях в таких высокопарных тонах.

Если бы к тому же А.Г. Достоевская привела и ответное письмо мужа, написанное спустя месяц, стало бы понятно и другое: мог ли он как-то подталкивать Страхова к писанию лестных для себя мемуаров. «Вы написали в письме Вашем, чрезвычайно вскользь, что *хотите* сесть за литературные воспоминания. Что это будет? И будет ли что-нибудь? Вы упомянули о времени издания нашего бывшего журнала, об Ап. Григорьеве, о нас. (Здесь Достоевский скромно перевел разговор со своей персоны на их давний литературный кружок. – *Л.С.*) Я слишком понимаю, что эта полоса жизни могла резко, а может быть, и приятно (как воспоминание Вашей молодости) отпечататься в Вашей памяти. Но об этом не рано ли слишком писать, да и интересно ли в данный момент? Думаю, что и рано, да и неинтересно будет для других».

«Рыцарски-честный» Достоевский, каким он казался Страхову в момент писания «Бесов», никаких литературных памятников в свою честь, как это видно из его письма, не заказывал.

Интересно, однако, другое. Пятидесятилетний Достоевский, переживавший свой самый инфернальный роман – роман с героем «Бесов», не казался Страхову монстром. Напротив: в глазах критика автор ан-

[1] Шестидесятые годы. С. 270.

тинигилистического сочинения представал человеком чести и рыцарского благородства. Но спустя двенадцать лет (на которые в страховском письме к Толстому компромат отсутствовал) Страхов все же решился «заявить» на покойного друга: «Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими... Лица, наиболее на него похожие, – это герой *Записок из подполья*, Свидригайлов в *Прест.* и *Нак.* и Ставрогин в *Бесах*»[1].

Несчастье Страхова, из которого воспоследовали и недобросовестность и неискренность, заключалось – о чем умолчала Анна Григорьевна, сославшись лишь на «jalousie de métier», профессиональную зависть, – в скрытой за многочисленными статьями и письмами человеческой посредственности: тесное общение с двумя гениями так и не смогло пойти ему на пользу. (Уместно процитировать запись Достоевского о Страхове в рабочей тетради 1877 года[2]: «Как критик очень похож на ту сваху у Пушкина в балладе «Жених», об которой говорится:

Она сидит за пирогом
И речь ведет обиняком.

Пироги жизни наш критик очень любил и теперь служит в двух видных в литературном отношении местах, а в статьях своих говорил *обиняком*, по поводу, кружил кругом, не касаясь сердцевины. Литературная карьера дала ему 4-х читателей, я думаю не больше, и жажду славы. Он сидит на мягком, кушать любит индеек и не своих, а за чужим столом. В старости и достигнув 2-х мест, эти литераторы, столь ничего не сделавшие, начинают вдруг мечтать о своей славе и потому становятся необычно обидчивыми. Это придает уже вполне дурацкий вид, и еще немного, они уже переделываются совсем в дураков – и так на всю жизнь. Главное в этом самолюбии играют роль не только литератора, сочинителя трех-четырех скучненьких брошюрок и целого ряда обиняковых критик по поводу,

[1] Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. С. 308.
[2] Первая публикация ее состоялась через пятьдесят восемь лет после обнародования в 1913 году скандального письма Н.Н. Страхова к Л.Н. Толстому.

напечатанных где-то и когда-то, но и 2 казенные места. Смешно, но истина. Чистейшая семинарская черта. Происхождение никуда не спрячешь. Никакого гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-нибудь гадости, а напротив, он и сам делает гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубосладострастную пакость готов продать всех и всё, и гражданский долг, которого не ощущает, и работу, до которой ему всё равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать»[1].)

Но нужно было быть совсем уже специальным человеком (или иметь слишком специальную цель[2]), чтобы, зная Достоевского так долго и так подробно, как знал его Страхов, увидеть сходство между ним и его демоническим героем.

Ведь Достоевский, вступив на тропу «Бесов» и заявив о новом лице романа, мог эпатировать критика как раз тем, что вывел на сцену не своего двойника, а своего антипода.

II

В мужском мире «Бесов», на фоне дряхлеющего Степана Трофимовича, косматого и неуклюжего Шатова, чопорного маленького старичка Кармазинова и прочих персонажей самой заурядной наружности, Достоевскому могло быть вполне комфортно как среди себе подобных.

Его собственная внешность, попади она под перо бойкого романиста, легко оказывалась уязвимой для карикатуры и пародии.

[1] Литературное наследство. Т. 83. С. 620.

[2] Если (по версии Л.Н. Розенблюм) антистраховская запись Достоевского, сделанная им для себя, действительно спровоцировала ответную акцию Страхова (то есть Страхов, допущенный вдовой писателя к бумагам покойного, мог увидеть оскорбительную заметку и задумать месть), то, будучи весьма искушенным литератором и журналистом, он не мог не предвидеть, что переписка Л.Н. Толстого имеет шанс увидеть свет намного раньше, чем черновые тетради Достоевского.

Добрый друг Достоевского, на всю жизнь сохранивший к нему самые теплые и искренние чувства, доктор С.Д. Яновский, в воспоминаниях своих предлагал «буквально верное описание наружности того Федора Михайловича, каким он был в 1846 году: роста он был ниже среднего, кости имел широкие и в особенности широк был в плечах и в груди; голову имел пропорциональную, но лоб чрезвычайно развитой с особенно выдававшимися лобными возвышениями, глаза небольшие светло-серые и чрезвычайно живые, губы тонкие и постоянно сжатые, придававшие всему лицу выражение какой-то сосредоточенной доброты и ласки; волосы у него были более чем светлые, почти беловатые и чрезвычайно тонкие или мягкие, кисти рук и ступни ног примечательно большие. Одет он был чисто и, можно сказать, изящно; на нем был прекрасно сшитый из превосходного сукна черный сюртук, черный каземировый жилет, безукоризненной белизны голландское белье и циммермановский цилиндр; если что и нарушало гармонию всего туалета, это не совсем красивая обувь и то, что он держал себя как-то мешковато, как держат себя не воспитанники военно-учебных заведений, а окончившие курс семинаристы»[1].

Приятель его юношеских лет, доктор Ризенкампф, одним из первых откликнувшийся в 1881 году на призыв О.Ф. Миллера предоставить издателям мемуары или записки о почившем писателе, добросовестно вспоминал: «Федор Михайлович... был в молодости довольно кругленький, полненький, светлый блондин, с лицом округленным и слегка вздернутым носом. Ростом он был не выше брата; светло-каштановые волосы были большею частию коротко острижены; под высоким лбом и редкими бровями скрывались небольшие, довольно глубоко лежащие серые глаза; щеки были бледные, с веснушками, цвет лица болезненный, землистый, губы толстоватые»[2].

Говоря о самочувствии молодого Достоевского,

[1] С.Д. Яновский. Воспоминания о Достоевском // Русский вестник. 1885. № 4. С. 797.

[2] Литературное наследство. Т. 86. С. 325.

которого он лечил в связи с постоянной болезненностью, педантичный воспоминатель добавлял: «Он был золотушного телосложения, и хриплый его голос при частом опухании подчелюстных и шейных желез, также землистый цвет его лица указывали на порочное состояние крови (на кахексию) и на хроническую болезнь воздухоносных путей. Впоследствии присоединились опухоли желез и в других частях, нередко образовывались нарывы, а в Сибири он страдал костоедой костей голенных»[1].

Боготворившая мужа Анна Григорьевна, описывая первую встречу с ним, упоминала о рыжеватых, сильно напомаженных волосах, бледном и болезненном лице и разных глазах. («Пожилой некрасивый мужчина, делающий предложение молодой девушке и не встречающий взаимности, может показаться смешным, а я не хотел быть смешным...»[2] – так, по словам Анны Григорьевны, рекомендовал себя сам Достоевский.)

Наружность Достоевского, описанная даже любившими его людьми, смотрелась естественно рядом с портретами из «Бесов»; так что, например, Шатов («Он был неуклюж, белокур, космат, низкого роста, с широкими плечами, толстыми губами, с очень густыми, нависшими белобрысыми бровями, с нахмуренным лбом, с неприветливым, упорно потупленным и как бы чего-то стыдящимся взглядом») вполне мог быть сопоставлен с молодым Достоевским из еще одного описания Ризенкампфа: «Мысли в его голове рождались подобно брызгам в водовороте; в это время он доходил до какого-то исступления, природная прекрасная декламация выходила из границ артистического самообладания; сиплый от природы голос его делался крикливым, пена собиралась у рта, он жестикулировал, кричал, плевал около себя. Притом ему вредили испорченные от постоянной привычки к курению трубки зубы»[3]. (Доктор Яновский, правда, оста-

[1] Литературное наследство. Т. 86. С. 331.
[2] А.Г. Достоевская. Воспоминания. С. 114.
[3] Литературное наследство. Т. 86. С. 325.

вил другое впечатление: «Успокоившись, он быстро менял свою физиономию и свой юмор: сосредоточенный и как бы испуганный взгляд исчезал, сильно сжатые в ниточку губы открывали рот и обнаруживали его здоровые и крепкие зубы; он подходил к зеркалу, но уже для того, чтобы посмотреть на себя как на совсем здорового...»[1])

Страхов упрекал Достоевского в том, что он считал себя образцом людей. «Достоевский, создавая свои лица по своему образу и подобию, написал множество полупомешанных и больных людей и был твердо уверен, что списывает с действительности»[2]. Если это раздраженное замечание понять буквально, можно бы согласиться с критиком: лицо Достоевского, его физический облик вполне могли быть обнаружены в его сочинениях.

«Когда все стихло, на эстраде появился маленький человек, бледный, болезненного вида, с мутными глазами, и начал слабым, едва слышным голосом чтение».

«Вся зала разом притихла, все взгляды обратились к нему, иные с испугом. Нечего сказать, умел заинтересовать с первого слова».

«Даже самые строгие старички изъявили одобрение и любопытство, а дамы так даже некоторый восторг. Аплодисмент, однако, был коротенький, и как-то недружный, сбившийся».

Три фразы, процитированные подряд, вполне могли прочитываться как один текст – однако первая была фрагментом из воспоминаний С.В. Карчевской о литературном чтении 1880 года в зале Благородного собрания с участием Достоевского, вторая и третья – фрагментами романа «Бесы» (о том, как на литературном празднике в пользу гувернанток зал внимал Степану Трофимовичу Верховенскому и писателю Кармазинову).

Кажется, любые описания облика Достоевского, сделанные разными людьми в различное время, по-

[1] Русский вестник. 1885. № 4. С. 791.

[2] Цит. по: Л.Н. Толстой. Полное собрание сочинений. В 90-та тт. М.–Л., 1928–1964. Т. 66. С. 253–254.

явись они в каком угодно его сочинении, выглядели бы в нем вполне уместно и не выбивались бы из общего стиля. В каком-то смысле Достоевский, как почти всякий писатель, мог оказаться персонажем своих сочинений: появление такого героя в мире Достоевского было бы эстетически и стилистически приемлемо.

«Взгляните на лицо Достоевского, – писал в 1888 году к Ницше датский критик Георг Брандес, знавший лицо Достоевского лишь по фотографиям и портретам, – наполовину лицо русского крестьянина, наполовину – физиономия преступника, плоский нос, пронзительный взгляд маленьких глаз под нервно подрагивающими веками, этот высокий, рельефно очерченный лоб, выразительный рот, который говорит о безмерных муках, неизбывной скорби, о болезненных страстях, о беспредельном сострадании и ярой зависти. Гений-эпилептик, одна уже внешность которого говорит о приливах кротости, заполнявших его душу, о приступах граничащей с безумием проницательности, озарявшей его голову; наконец, о честолюбии, о величии стремлений и о недоброжелательстве, порождающей мелочность души. Его герои не только бедные и отверженные, но и наивные, тонко чувствующие души; благородные проститутки, люди, часто подверженные галлюцинациям, одаренные эпилептики, одержимые искатели мученичества – те самые типы, которых нам следует предполагать в апостолах и учениках раннехристианской поры»[1].

Если, во-первых, признать этот словесный портрет хотя бы отчасти похожим на оригинал, если, во-вторых, прокомментировать высказывание Страхова («Достоевский, создавая свои лица по своему образу и подобию...») близко к смыслу письма Брандеса к Ницше, пасьянс сойдется: писатель и его герои в их человеческом измерении покажутся людьми, вылепленными из одного теста, – здесь будет и Подпольный («Я случайно погляделся в зеркало. Взбудораженное лицо мое мне показалось до крайности отвратительным: бледное, злое, подлое, с лохматыми волосами»), и румяный

[1] Литературное наследство. Т. 86. С. 686.

женолюб Свидригайлов («самый пустейший и ничтожнейший злодей в мире»), и Мармеладов («с отекшим от постоянного пьянства, желтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками, из-за которых сияли крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые глазки»).

И только одно лицо явилось сюда будто из другого мира, вылепленное из иного, неведомого материала, с нездешней красотой и силой. Достоевский творил Ставрогина как эстетический вызов и самому себе, и своей привычной среде. Помещая Князя, «героя-солнце», в сумрачный мир «Бесов», Достоевский отважился на самое свое рискованное литературное приключение: на роман автора с супергероем-сверхчеловеком. Отношения, метафизически связавшие автора и героя, явились для романиста как бы соблазном иного существования.

III

МУЧИТЕЛЬНО долго подбирая тона и краски для героя, Достоевский создавал экзистенциального антипода – существо (или сверхсущество) другой породы и другого порядка. Во всех подробностях своего бытия непохожее на автора, оно вызывало не зависть и раздражение, а любовный восторг, будто воплощало мечту о богатом, полноценном существовании.

Достоевский бился в нищете и зарабатывал на жизнь тяжким литературным трудом, беря деньги в долг и вперед, – его герой был обеспечен и независим. Достоевский был тяжело нездоров – его герой отличался чрезвычайной физической и телесной силой. Еще в ранней юности Достоевский остался сиротой и роднею имел лишь московских купцов – его герой вращался в высшем петербургском обществе, в которое молодого Достоевского пустили как новую знаменитость лишь раз-другой.

Он сочинил для своего красавца, богача и аристократа Ставрогина завидную, а главное – ни в чем не похожую на свою биографию.

В том самом возрасте, когда Достоевский носил

кандалы и куртку каторжника, расплачиваясь за увлечения молодости, его герой провел в путешествиях – был в Египте, изъездил всю Европу, побывал в Иерусалиме и Исландии. Достоевскому было запрещено читать и писать – его герой получал образование в немецких университетах.

Герой, бесстрашный барин, мог позволить себе роскошные причуды и изысканные шалости – просто так, для развлечения. Литературный пролетарий Достоевский даже на рулетку ездил, мечтая о спасительном выигрыше.

Герой, с его победительным мужским обаянием, имел феноменальный успех у женщин – у всех женщин; его триумфы были тем бесспорнее, чем большим «хищником» и «кровопийцей» хотел себя показать любовник. Автор в своей интимной жизни поневоле играл роль не «хищную», а «смирную» и был чаще всего не столько любовником, сколько «другом и братом», не адресатом любовных посланий, а почтальоном и конфидентом: в мире инфернальных романов ему никогда бы не досталась роль инфернального героя.

Ставрогин, «обворожительный, как демон», согласно замыслу автора, обольщал, околдовывал и порабощал всех, кто имел роковую неосторожность им увлечься и кто подошел к нему слишком близко; мужской мир «Бесов» претерпел в этом смысле ничуть не меньше, чем женский.

«Ставрогин, для чего я осужден в вас верить во веки веков? Разве мог бы я так говорить с другим? Я целомудрие имею, но я не побоялся моего нагиша, потому что со Ставрогиным говорил. Я не боялся окарикатурить великую мысль прикосновением моим, потому что Ставрогин слушал меня... Разве я не буду целовать следов ваших ног, когда вы уйдете? Я не могу вас вырвать из моего сердца, Николай Ставрогин!» – кричал ему пламенный, но бесталанный Шатов.

«Вспомните, что вы значили в моей жизни, Ставрогин», – признавался маниакальный Кириллов, будто подслушавший Шатова: «Вы так много значили в моей жизни».

«Вы значили столько в судьбе моей!.. Я же имею теперь великие страхи, и от вас одного только и жду и совета и света», – открывался Ставрогину капитан Лебядкин.

«Ставрогин, вы красавец!.. Знаете ли, что вы красавец!.. Я люблю идола! Вы мой идол!.. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк... – неистовствовал Петр Верховенский, бросаясь целовать руку своему кумиру. – Мне вы, вы надобны, без вас я нуль. Без вас я муха, идея в стклянке, Колумб без Америки».

И хотя каждый потерпевший смотрел на обольстителя Ставрогина как на своего собственного персонального демона, Ставрогин оказывался демоном для всех.

«Мы два существа и сошлись в беспредельности... в последний раз в мире» – эти пронзительные слова Шатова, требовавшего к себе уважения только на короткое время исступленного монолога, с гораздо большим основанием могли быть сказаны самим Достоевским: он и его звездный герой сходились в беспредельности романического вымысла первый и последний раз. В этом призрачном диалоге Достоевскому выпадала роль Шатова.

Как мало кому другому, ему ведомо было шатовское слепое обожание, восторженная, мистическая влюбленность, доходящая до экстаза жажда рабского преклонения перед высшим существом. Он пережил истинное потрясение в страстной юношеской дружбе с Шидловским и знал не понаслышке, что значит целовать следы ног обожаемого существа.

«У меня льются теперь слезы, как вспомню прошедшее. Он не скрывал от меня ничего, а что я был ему?.. Эта дружба так много принесла мне и горя и наслажденья! Теперь я вечно буду молчать об этом», – писал юный Достоевский о странной своей привязанности к Шидловскому, человеку бурной природы и сильных страстей. «Непременно упомяните в вашей статье о Шидловском, нужды нет, что его никто не знает и что он не оставил после себя литературного име-

ни. Ради Бога, голубчик, упомяните – это был большой для меня человек, и стоит он того, чтоб его имя не пропало...»[1] – просил много позже Достоевский своего биографа, Вс. С. Соловьева.

«Я не могу вас вырвать из моего сердца», – твердил Шатов своему кумиру. «Я из сердца взял его», – будто повторял Достоевский.

Так же как и Шатов, познал Достоевский гибельный холод одиночества и тот ужас безнадежности, который охватывает самозабвенно увлеченного человека, когда ответом на сердечное признание оказывается гримаса высокомерного безразличия. Автор настойчиво повторял эпизоды, в которых герой-обольститель резко порывал с очередной жертвой. «Шатова он околдовал и с презрением бросает», – записывалось в черновиках, а в самом романе колдовство и презрение питались еще и энергией глаз, магией жестов и музыкой голоса. «Мне жаль, что я не могу вас любить, Шатов, – холодно проговорил Николай Всеволодович».

Как, должно быть, волновали Достоевского и этот холодок, и эта надменная сдержанность воспитанного русского барина. «Вы никого не оскорбляете, и вас все ненавидят; вы смотрите всем ровней, и вас все боятся, это хорошо. К вам никто не подойдет вас потрепать по плечу».

Никогда не имел Достоевский такого великолепия манер, никогда не мог он усвоить такого безмятежного спокойствия и взять за образец невозмутимость тона, немногословность стиля. Он писал огромные, горячечные письма, он вынужден был излагать свои частные обстоятельства с унизительными мелкими подробностями, он был мнителен и недоверчив, он мучился невыдержкой тона не только на бумаге, но и на людях. Он появлялся в гостиных «как-то сгорбившись, мрачно поглядывая, сухо раскланиваясь и здороваясь, будто все это были его враги или по меньшей мере очень неприятные ему люди...»[2].

Близкие знакомые запомнили его болезненным,

[1] Исторический вестник. 1881. № 3. С. 608.
[2] Исторический вестник. 1881. № 4. С. 846.

раздражительным, нервным и крайне обидчивым. Принимая посетителя, он мог молча и мрачно протянуть ему руку и тотчас же сделать вид, будто совсем не замечает его присутствия. Его потрясенные нервы, его странности были притчей во языцех. «Придет он, бывало, ко мне, – вспоминал Вс. С. Соловьев, – войдет как черная туча, иногда даже забудет поздороваться и изыскивает всякие предлоги, чтобы побраниться, чтобы обидеть; и во всем видит и себе обиду, желание дразнить и раздражать его»[1].

«Он не вполне знал себе цену, – писала его старинная приятельница Е.А. Штакеншнейдер, – ценил себя не довольно высоко. Иначе он был бы высокомернее и спокойнее, менее бы раздражался и капризничал и более бы нравился. Высокомерие внушительно. Он не вполне сознавал свою духовную силу... иначе так виновато не заглядывал бы в глаза, наговорив дерзостей, и самые дерзости говорил бы иначе. Он был больной и капризный человек и дерзости свои говорил от каприза, а не от высокомерия... Меня всегда... поражала его скромность. Отсюда и происходила его чрезвычайная обидчивость, лучше сказать, какое-то вечное ожидание, что его сейчас могут обидеть. И он часто и видел обиду там, где другой человек, действительно ставящий себя высоко, и предполагать бы ее не мог. Дерзости, природной или благоприобретенной вследствие громких успехов и популярности, в нем тоже не было, а... минутами точно желчный шарик какой-то подкатывал ему к груди и лопался, и он должен был выпустить эту желчь, хотя и боролся с нею всегда...»[2]

Он, по словам своих литературных и светских знакомцев, не был создан для общества, для гостиной. Он не знал тонкостей светского обращения – этой холодной вежливости и любезной привычки смотреть через плечо, – которые неподготовленного новичка могли довести до обморока. Он не знал и того, что зовется (или тогда называлось) «светом», его правил и предпочтений, его меняющейся моды и иерархии. Пу-

[1] Исторический вестник. 1881. № 4. С. 847.
[2] Е.А. Штакеншнейдер. Дневник и записки. С. 458.

стой, формальный вопрос о здоровье, заданный Достоевскому в «свете», мог так оскорбить его, что он замыкался в глухом молчании на весь вечер.

Но с каким любовным тщанием, с каким молодым вдохновением придумывал он светский почерк для Ставрогина, когда тот играл роль comme il faut и завсегдатая гостиных[1] .

«Замечу, что он был необыкновенно сдержан и вежлив, но, откинув вежливость, имел совершенно равнодушный вид, даже вялый». Появляясь в «свете», даже если это была гостиная его матери, он казался веселым и спокойным, довольным и добродушным, бегло осматривался, неспешно обходил всех присутствующих и с каждым здоровался, выслушивая собеседника лениво и рассеянно, «с своей официальной усмешкой».

Достоевский сочинял легкие как дым диалоги в «светском» ключе – в них его Nicolas был верхом совершенства.

«– Я думал еще повеселить вас Лембками, – весело вскричал он (Петр Верховенский. – *Л.С.*).

– Нет уж, после бы. Как, однако, здоровье Юлии Михайловны?

– Какой это у вас у всех, однако, светский прием: вам до ее здоровья всё равно, что до здоровья серой кошки, а между тем спрашиваете. Я это хвалю. Здорова и вас уважает до суеверия, до суеверия многого от вас ожидает... Впрочем, вы теперь загадочное и романическое лицо, пуще, чем когда-нибудь, – чрезвычайно выгодное положение».

[1] Аристократический предшественник Ставрогина, герой петербургских гостиных старший князь Валковский («Правильный овал лица несколько смуглого, превосходные зубы, маленькие и довольно тонкие губы, красиво обрисованные, прямой, несколько продолговатый нос, высокий лоб, на котором еще не видно было ни малейшей морщинки, серые, довольно большие глаза – всё это составляло почти красавца, а между тем лицо его не производило приятного впечатления»), не мог конкурировать с Николаем Всеволодовичем даже как красавец с красавцем, так как был изображен интриганом, искателем больших состояний и отъявленным карьеристом. «Это лицо именно отвращало от себя тем, что выражение его было как будто не свое, а всегда напускное, обдуманное, заимствованное, и какое-то слепое убеждение зарождалось в вас, что вы никогда и не добьетесь до настоящего его выражения. Вглядываясь пристальнее, вы начинали подозревать под всегдашней маской что-то злое, хитрое и в высочайшей степени эгоистическое».

Достоевский точно знал, как нужно повернуть мнение света в пользу героя, когда у того случались скандальные неприятности. Отворяя дверь общественному нетерпению, жаждавшему поскорее понять суть происходящего, какой-нибудь осанистый генерал с бесподобным образом мыслей где-нибудь на приеме, собиравшем «весь город», замечал: «Вдруг слышу, что его оскорбляет здесь какой-то студент, в присутствии кузин, и он полез от него под стол; а вчера слышу... что Ставрогин дрался с этим.... Гагановым. И единственно с галантною целью подставить свой лоб человеку взбесившемуся; чтобы только от него отвязаться... Это в нравах гвардии двадцатых годов». Тут же включалась и Губернаторша (в романе она уже не «бросала все», чтобы уехать со Ставрогиным): «Разве возможно удивление, что Ставрогин дрался с Гагановым и не отвечал студенту! Не мог же он вызвать на поединок бывшего крепостного своего человека!»

Приговор света был знаменателен: объявлялось лицо новое, с почти идеальной строгостью понятий, и, «когда наконец появился сам Николай Всеволодович, все встретили его с самою наивною серьезностью, во всех глазах, на него устремленных, читались самые нетерпеливые ожидания. Николай Всеволодович тотчас же заключился в самое строгое молчание, чем, разумеется, удовлетворил всех гораздо более, чем если бы наговорил с три короба. Одним словом, всё ему удавалось, он был в моде».

Как выразился о нем один из клубных старичков, – «тут не о молодежи вопрос; тут звезда-с».

IV

Казалось: путь звезды, триумфально блистающей в свете, Достоевский готов был расчислить, даже невзирая на свой личный отрицательный опыт. Автор, обычно столь далекий от бытового любопытства, для звездного героя подбирал гардероб и обставлял кабинет, каких никогда не имел сам.

«Я прошел через темную комнату, отпер дверь и

очутился в его кабинете, – вспоминал Вс. С. Соловьев свое первое посещение Достоевского в 1873 году. – Но можно ли было назвать кабинетом эту бедную, угловую комнатку маленького флигелька, в котором жил и работал один из самых вдохновенных и глубоких художников нашего времени! Прямо, у окна, стоял простой старый стол, на котором горели две свечи, лежало несколько газет и книг... старая, дешевая чернильница, жестяная коробка с табаком и гильзами. У стола маленький шкаф, по другой стене рыночный диван, обитый плохим красноватым репсом; этот диван служил и кроватью Федору Михайловичу, и он же, покрытый все тем же красноватым, уже совсем вылинявшим, репсом, бросился мне в глаза через восемь лет, на первой панихиде... Затем несколько жестких стульев, еще стол – и больше ничего»[1].

«Обстановка всех комнат была очень скромная, – сообщал другой воспоминатель, бывший типографский служащий, М.А. Александров, – мебель в залегостиной была относительно новая, но так называемая рыночная; в остальных комнатах она была еще проще и притом старее»[2].

Мемуаристы вспоминали простые письменные столы, какие обычно стояли в казенных присутственных местах, старые кресла без мягких сидений, потертое пальто (просторный длинный пиджак из черного сукна), служившее писателю домашней одеждой много лет подряд, его грубоватое, некрасивое и на первый взгляд простое лицо. Их поражала чисто народная русская типичность его наружности, его руки с уродливыми ногтями на пальцах, носивших следы грубого, тяжелого труда, его изнуренный, мрачный вид, напоминавший тюрьму, больницу и солдат из разжалованных[3].

Достоевский и сам страдал от дерзкого предубеждения к нему новых или малоизвестных лиц и не мог

[1] Исторический вестник. 1881. № 3. С. 606.

[2] Русская старина. 1892. № 4. С. 182.

[3] В «Воспоминаниях» Страхова наружность Достоевского, когда он только вернулся из Твери в Петербург, описана так: «Он носил тогда одни усы и, несмотря на огромный лоб и прекрасные глаза, имел вид совершенно солдатский, то есть простонародные черты лица» (Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 171).

забыть, например, оскорбления, полученного им от «подлой гадины m-me Дюбюк», приемщицы закладов в Саксон ле Бэн. «Я снес кольцо; она кольцо взяла, но с большим отвращением, и денег мне не дала, потому что, говорит, *нет*...»

...Но звезде, аристократу и красавцу Ставрогину были предназначены иные впечатления, иные переживания, иное ощущение жизни. Николай Всеволодович являлся читателю в излюбленной своей комнате, «высокой, устланной коврами, уставленной несколько тяжелою, старинного фасона мебелью». Упоминался прибывший из Петербурга (от модного портного Шармера) ящик с фраками, панталонами и бельем – впрочем, мало его интересовавший. Выходя из дому, он менял легкий бархатный пиджак на суконный сюртук, употреблявшийся для церемонных вечерних визитов. Степенный старик камердинер подавал ему незапечатанные записки карандашом на серебряной тарелочке; Николай Всеволодович таким же образом, через камердинера и на тарелочке, отсылал ответы: они предназначались Даше, жившей в этом же доме, в своих комнатах, и посещавшей его по ночам. На столе под абажуром лежало роскошное издание с картинками – кипсек «Женщины Бальзака». Для дуэлей у Николая Всеволодовича имелось легкое пальто и белая пуховая шляпа. «Наши франты смотрели на него с завистью и совершенно пред ним стушевывались».

«Безмерная высота», на которую Достоевский поднимал героя-звезду, была оборудована, кажется, на пределе авторского представления об аристократической роскоши, комфорте, утонченном вкусе. Повальное преклонение перед изысканной красотой и гордой силой Ставрогина явилось для населения «Бесов» гибельным соблазном.

Самое главное, однако, что искусно возведенная звездная высота, на которую вместе со всеми «маленькими» персонажами «Бесов» взирал снизу и «маленький» автор, вводила в соблазн прежде всего именно его. Одна из проницательнейших мемуаристок, Е.А. Штакеншнейдер, в своих воспоминаниях о

Достоевском оставила замечание, относящееся к 1880 году и представляющее для нас особый интерес. «...Он мещанин. Да, мещанин. Не дворянин, не семинарист, не купец, не человек случайный, вроде художника или ученого, а именно мещанин. И вот этот мещанин – глубочайший мыслитель и гениальный писатель. Теперь он часто бывает в аристократических домах, и даже в великокняжеских, и, конечно, держит себя везде с достоинством, а все же в нем проглядывает мещанство. Оно проглядывает в некоторых чертах, заметных в интимной беседе, а больше всего в его произведениях. И знакомство с большим светом все-таки не научит его рисовать аристократические типы и сцены, и дальше генеральши Ставрогиной в «Бесах» он, верно, в этом отношении не пойдет, равно как для изображения большого капитала огромной цифрой всегда будет для него шесть тысяч рублей»[1].

Сойдясь со своим демоном в метафизическом пространстве, на границе романического вымысла и собственной жизни, Достоевский будто бросал вызов: кто ты и кто я? Я – бедный, изнуренный работой, тщедушный, некрасивый «мещанишко», с грубым и простым лицом, измученный нездоровьем и дурным бытом. Ты? Тебя я вижу бесконечно сияющим, обольстительным красавцем; я придумал тебя, отдав все лучшее, достойное беспредельного восхищения. Сотворив тебя таким, я дал тебе шанс, какого никогда не было у меня. Что ты сделаешь с ним и с собой?

Приглашение к дуэли было тем более парадоксальным, что вызываемый к барьеру герой сам был мучим видениями и призраками.

Достоевский смотрел в зеркало сочиняемого романа и видел своего демона грозным светоносным красавцем. Грозный красавец Николай Всеволодович Ставрогин имел обыкновение устремлять неподвижный взор в одну точку в углу комода. Оттуда ему являлся его демон – «маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся». В великодушном порыве самозабвенный автор готов был зара-

[1] Е.А. Штакеншнейдер. Дневник и записки. С. 438.

зить гаденького бесенка, привидевшегося герою, своими физическими недугами.

Предстояла фантастическая дуэль, в которой двое из трех участников оказывались фантомами, чистым вымыслом. Получившему огромную фору Ставрогину выпадало начинать первым.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Свой Мефистофель

I

Когда О.Ф. Миллер первым из биографов Достоевского прочел записки, воспоминания и рассказы лиц, близко знавших писателя в ту или иную пору его жизни, он сделал для себя неожиданное открытие. Он увидел, что уже десять лет читаемый в России роман «Бесы», во-первых, странно не понят и, во-вторых, является сочинением автобиографическим «в психологическом смысле»[1].

Это означало, что искать точных аналогий с реальной жизнью Достоевского в романе бесполезно, но в нем с автобиографической определенностью присутствует история его духовных увлечений.

Ни один из воспоминателей и товарищей Достоевского, кто передал или продиктовал биографу свои воспоминания, – доктор Яновский, петрашевцы Кашкин, Момбелли, Пальм и др. – мысль Миллера никогда не опровергал. Имея в виду, что «Бесы» – это в значительной степени история революционной молодости Достоевского, а не только «почти исторический этюд» о нечаевских событиях 1869 года, интерпретаторы более позднего времени обнаружили в нем – наряду с хроникой былого и политической злобой дня – даже личные мемуары[2].

Однако оттого что автор последовательно и преднамеренно (как это видно по черновым заготовкам) вводил в антинигилистический памфлет «петрашевские» краски, роман еще не становился автобиографическим – тем более в психологическом смысле.

[1] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 82.

[2] См.: Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений. В 30-ти тт. Т. 12. С. 218.

Пронзительно личные, обжигающе интимные интонации замысел начал обретать тогда, когда его герой, пройдя через невероятную череду превращений, приблизился наконец к той черте, за которой взрывался памфлет и вырастала трагическая мистерия.

23 июня 1870 года, заполняя «фантастическую страницу» в черновой тетради и пробуя то один, то другой сценарий для Князя, Достоевский вдруг (наверное, это действительно случилось внезапно) набросал несколько строк, которые высветили героя с весьма неожиданной стороны. Прежде скучающий, но чрезвычайно словоохотливый, Князь вдруг сделался странно молчаливым.

«Князь слушает жадно, но молчит и хоть ничего не говорит, но видно, что он господин разговора. Он прислушивается и приглядывается. Угрюм и важен... Иногда молчаливо любопытен и язвителен, как Мефистофель. Спрашивает как власть имеющий, и везде как власть имеющий».

Эта заметка появилась, скорее всего, «под пером»: повинуясь какому-то импульсу, какому-то неясному намеку, Достоевский заставил еще достаточно аморфного Князя встретить страстные речи Шатова «о России, об антихристе и подвиге» многозначительным мефистофельским молчанием.

Ни в тот, ни в последующие дни лета 1870 года, когда работа над Князем покатилась наконец к финальному решению, в тетрадях Достоевского так и не появилось имя, которое – будь оно там – с непреложностью доказало бы точный источник мефистофельских ассоциаций. Однако в том, что Князь, внезапно напомнивший Достоевскому о Мефистофеле, а затем за полтора летних месяца доведенный до полной демонической кондиции, так и не получил в черновиках (по примеру других персонажей) имя возможного прототипа, заключался особый смысл.

Странно было бы признаваться в записной тетради, что маска Мефистофеля, мелькнувшая вдруг в облике Князя, магически воскресила память. Нечто глубоко в ней спрятанное вспыхнуло и загорелось – и этот огонь

придал мучительным и до того бесплодным поискам чудодейственную энергию и целеустремленность.

Явленная автору цель санкционировала право на молчание – тем более что имелись на это причины и сугубо личного свойства.

II

Достоевский – и тогда, когда молодым попал в кружок Петрашевского, и когда после каторги вышел сумрачным и нервным нелюдимом – не был человеком открытым; товарищи его юности замечали в нем истый тип заговорщика: он был молчалив, любил говорить один на один, был скорее скрытен, чем откровенен. За двадцать семь лет, протекших после каторги до кончины, он никогда публично или печатно не приводил имен и фактов, связанных с давно прошедшей историей. А главное – он не оставил никаких автобиографических свидетельств о душевных переживаниях своей мятежной молодости.

Когда же увидели свет (1885) воспоминания доктора Яновского с сенсационными подробностями на эту тему, прокомментировать их было некому: двух главных героев, о которых повествовал Яновский, уже не было в живых.

Рассказ Яновского, реконструированный в хронологической последовательности, складывался в фантастический сюжет.

Осенью 1848 года Достоевский посещал кружок Петрашевского, о чем рассказывал доктору Яновскому, сочувственно отзываясь о Дурове, Пальме, Момбелли и др. И только об одном из участников кружка – Спешневе – Достоевский «или ничего не говорил, или отделывался лаконическим: «„Я его мало знаю, да, по правде, и не желаю ближе с ним сходиться, так как этот барин чересчур силен и не чета Петрашевскому”»[1]. Непонятное нерасположение Достоевскому к Спешневу Яновский объяснял самолюбием приятеля: знать, нашла коса на камень.

В конце года Достоевский сблизился со Спешне-

[1] Русский вестник. 1885. № 4. С. 799. Далее – с. 796–819.

вым, взяв у него в долг 500 рублей серебром на покрытие самых необходимых расходов. «Получил он их в одно воскресенье, отправившись от меня около двенадцати часов пополудни к Спешневу, а вечером у Майковых сообщил мне о том, как Спешнев деньги ему дал и взял с него честное слово никогда о них не заговаривать».

Спустя две-три недели Яновский стал замечать странные перемены во внешности и в поведении своего пациента и друга. «Федор Михайлович... сделался каким-то скучным, более раздражительным, более обидчивым и готовым придираться к самым ничтожным мелочам и как-то особенно часто жалующимся на дурноты». Как врач Яновский, видя у Достоевского «скучное расположение духа», искал органические расстройства, но, не находя их, уверял друга, что дурнота, не имея медицинских причин, пройдет бесследно.

Но однажды, в ответ на эти успокоения, Достоевский сказал: «Нет, не пройдет, а долго и долго будет меня мучить, так как я взял у Спешнева деньги (при этом он назвал сумму около пятисот рублей серебром) и теперь я с *ним* и *его*. Отдать же этой суммы я никогда не буду в состоянии, да он и не возьмет деньгами назад, такой уж он человек».

«Вот разговор, который врезался в мою память на всю жизнь», – писал Яновский. Он запомнил, что в течение их беседы Достоевский несколько раз повторил: «Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель».

И тогда, в 1848 году, и тридцать пять лет спустя Яновский «инстинктивно верил, что с Федором Михайловичем совершилось что-то особенное», и придавал признанию о Мефистофеле «фатальное значение».

«Я знаю, – продолжал Яновский, – что Федор Михайлович, по складу его ума и по силе убеждений, не любил подчиняться какому бы там ни было авторитету... После же займа денег у Спешнева он поддался видимым образом авторитету последнего. Спешнев же, как говорили тогда все, был безусловный социалист».

Увидев, как именно подчинился Достоевский своему Мефистофелю, Яновский почуял опасность. «...Я

заметил только одно новое для меня явление: прежде, когда, бывало, Федор Михайлович разговаривает со своим братом Михаилом Михайловичем, то они бывали постоянно согласны в своих положениях и выводах, но после визита Федора Михайловича к Спешневу Федор Михайлович часто говорил брату: „Это не так: почитал бы ты ту книгу, которую я тебе вчера принес (это было какое-то сочинение Луи Блана), заговорил бы другое"».

Достоевский, подчинившись авторитету (или требованию?) Спешнева, открыто и на глазах близких стал вдруг заниматься революционной агитацией – хотя сам пренебрежительно называл Петрашевского «агитатором и интриганом».

III

Даже если заподозрить воспоминателя в стремлении обелить Достоевского, показав его благостным, добрым христианином, а не мрачным заговорщиком (к воспоминаниям Яновского как к «лакировочным» принято было поэтому относиться с осторожным недоверием), вряд ли в сюжете со Спешневым он мог выдумать факты.

Воспоминания Яновского были заказаны и взяты О.Ф. Миллером сразу после смерти Достоевского; спустя год (1882) умер и Спешнев. Фауст и его Мефистофель уже не могли ни подтвердить, ни опровергнуть якобы существовавшей между ними фатальной связи.

На этот счет имелись, однако, некоторые косвенные доказательства.

В Описи бумаг, отобранных у Спешнева при аресте, упоминалось заемное письмо Достоевского, в котором он «прибегает с просьбою о денежном пособии; упоминает о литературных занятиях у Краевского». И хотя само письмо не сохранилось, его видели полицейские чиновники, включившие документ в Опись под номером 71 от 20 мая 1849 года[1].

[1] См.: Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений. В 30-ти тт. Т. 30. Кн. 2. С. 27. Заемное письмо Достоевского к Спешневу, упомянутое в Описи, указано И.Л. Волгиным.

В Объяснении Достоевского по делу петрашевцев[1], где он должен был рассказать все, что ему известно о самом Петрашевском и о тех людях, которые бывали на его «пятницах», имя Спешнева странно отсутствовало. Достоевский признавался: «Я не люблю говорить громко и много даже с приятелями, которых у меня очень немного, а тем более в обществе, где я слыву за человека неразговорчивого, молчаливого, несветского. Знакомств у меня очень мало... Для приятелей и знакомых остается очень немного времени». Давая показания на формальном допросе по поводу своих близких и коротких знакомств, он вновь не упомянул Спешнева. Он «забыл» о нем, даже отвечая на вопрос: «Сколько бывало людей на вечерах этих и кто из них постоянно посещал эти вечера?». И лишь на прямой вопрос Следственной комиссии: «Бывали ли вы на собраниях у Спешнева?..» – Достоевский ответил: «Со Спешневым я был знаком лично, езжал к нему, но на собраниях у него не бывал и почти в каждый приезд мой к нему я заставал его одного».

В показаниях Достоевского Спешнев представал лицом, наименее называемым и наиболее выгораживаемым («<Вопрос.> Вы были на обеде у Спешнева. Объясните, что происходило замечательного за этим обедом? <Ответ.> ...Утро было самое скучное и вялое... Момбелли предложил собраться у Спешнева, и Спешневу навязали сделать утро... Спешнев решительно объявил некоторым, что ему навязали этот обед и что ему неудобно звать в другой раз. Толковали и ничего не решили».)

Между тем Достоевскому было что скрывать. Утаенная правда о его истинных отношениях со Спешневым частично была приоткрыта в письме Майкова к Висковатову, написанном уже после смерти Достоевского, в 1885 году. Майков, один из самых близких Достоевскому людей, считал, что дела петрашевцев «никто до сих пор путно не знает; что видно из «дела», из показаний – всё вздор; главное, что в нем было серьез-

[1] См.: Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений. В 30-ти тт. Т. 18. С. 117–176.

ного, до Комиссии и не дошло»[1]. И как бы в доказательство своего тезиса Майков приводил эпизод не менее фантастический, чем в рассказе Яновского: оба свидетельства, таким образом, получали независимое и убедительное подтверждение.

«Раз... приходит ко мне Ф.М. Достоевский, остается ночевать – я жил один на своей квартире – моя кровать у стены, напротив диван, где постлано было Достоевскому. И вот он начинает мне говорить, что ему поручено сделать мне предложение: Петрашевский, мол, дурак, актер и болтун; у него не выйдет ничего путного, а что люди подельнее из его посетителей задумали дело, которое Петрашевскому неизвестно, и его туда не примут, а именно: Спешнев, Павел Филиппов (эти умерли, так я их называю, другие, кажется, еще живы, потому об них все-таки умолчу, как молчал до сих пор целые 37 лет обо всем этом эпизоде) и еще пять или шесть, не помню, в том числе Достоевский. И они решили пригласить еще седьмого или восьмого, то есть меня. А решили они завести тайную типографию и печатать и т.д. ...И помню я – Достоевский, сидя как умирающий Сократ перед друзьями, в ночной рубашке с незастегнутым воротом, напрягая всё свое красноречие о святости этого дела, о нашем долге снасти отечество, и пр. – так что я наконец стал смеяться и шутить. «Итак, – нет?» – заключил он. «Нет, нет и нет». Утром после чая, уходя: «Не нужно говорить, что об этом ни слова». – „Само собою"».

Письмо Майкова дополнялось деталями устного рассказа, записанного позже, в 1887 году, А.А. Голенищевым-Кутузовым. Достоевский, явившись к Майкову, возбужденно заявил, что имеет к нему важное поручение. Из кружка Петрашевского несколько серьезных людей решились выделиться, чтобы «образовать особое тайное общество с тайной типографией, для печатания разных книг и даже журналов, если это будет возможно».

«– ...В вас мы сомневались, ибо вы слишком самолюбивы... (это Федор-то Михайлович меня упрекал в самолюбии!)

[1] Цит. по: Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений. В 30-ти тт. Т. 18. С. 191. Далее – с. 192–196.

– Как так?

– А вы не признаете авторитетов, вы, например, не соглашаетесь со Спешневым (проповедовавшим фурьеризм).

– Политической экономией особенно не интересуюсь. Но, действительно, мне кажется, что Спешнев говорит вздор; но что же из этого?

– Надо для общего дела уметь себя сдерживать. Вот нас семь человек: Спешнев, Мордвинов, Момбелли, Павел Филиппов, Григорьев, Владимир Милютин и я – мы осьмым выбрали вас; хотите ли вы вступить в общество?

– Но с какой целью?

– Конечно, с целью произвести переворот в России. Мы уже имеем типографский станок; его заказывали по частям в разных местах, по рисункам Мордвинова; все готово.

– Я не только не желаю вступить в общество, но и вам советую от него отстать. Какие мы политические деятели? Мы поэты, художники, не практики, и без гроша. Разве мы годимся в революционеры?

Достоевский стал горячо и долго проповедовать, размахивая руками в своей красной рубашке с расстегнутым воротом».

Впоследствии Достоевский не только не отрицал своего участия в тайном обществе заговорщиков, но и говорил о беспомощности следствия. Ознакомившись с изданной в Лейпциге в 1875 году книгой «Общество пропаганды в 1849 г.» – первым изложением следственного дела петрашевцев, он сказал жене (со слов Анны Григорьевны узнал об этом Миллер), что книга «верна, но не полна. Я не вижу в ней моей роли... Многие обстоятельства совершенно ускользнули; целый заговор пропал». (От себя Миллер добавлял: «В памяти самого Ф.М. очевидно сохранилось, что в *замысле* заговор существовал – т. е. существовал в будущем»[1].)

Только в том случае, если Достоевский имел отношение к ускользнувшему от следствия заговору, он

[1] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 90.

мог сказать в 1873 году, комментируя свой только что вышедший отдельным изданием роман «Бесы»: «Я сам старый „нечаевец"». Хотя по справедливости он должен был бы сказать: спешневец.

Косвенные доказательства, не только подтверждающие, но и усугубляющие рассказ Яновского, позволяют, вслед за мемуаристом, сделать вывод: между Достоевским и Спешневым действительно существовали тяготившие писателя отношения духовной зависимости и подчиненности чужой воле. Однако тот факт, что формальной причиной таких отношений были деньги, взятые в долг на весьма странных условиях, требует особого комментария.

IV

НА ПРОТЯЖЕНИИ всей своей жизни Достоевский нуждался и брал в долг; но деньги, взятые даже у брата, даже у самых близких друзей (Майкова, Плещеева, Яновского, Врангеля), были рано или поздно им возвращаемы – никто из них не давал ему денег даром или в подарок. Между тем Достоевский брал деньги у «чересчур сильного барина», перед которым явно робел, чтобы рассчитаться в числе прочих долгов и с долгом Mich-Mich, старшему брату.

Среди новых знакомых Достоевского из кружка фурьеристов состоятельными были не только Спешнев, но и другие, с кем он был много ближе. Почему же он обратился к Спешневу, которого (как вспоминал Яновский) мало знал и ближе сходиться не желал? Но, может быть, Достоевский и не обращался к Спешневу сам, а инициатива помочь нуждающемуся товарищу принадлежала кредитору?[1]

Если Спешнев, дав деньги в долг, взял с Достоевского честное слово никогда о них не заговаривать (то

[1] «Уместно предположить,– пишет в этой связи И.Л. Волгин, – что в декабре 1848 года Достоевского со Спешневым связывает какое-то *дело*. А возможно – и *слово*. Очевидно, при этом действительно получена взаймы известная сумма: тогда положение того, кто ее взял, становится весьма деликатным» (И. Волгин. Метаморфозы власти. Покушения на российский трон в XVIII–XIX вв. М.: Интерпракс, 1994. С. 79).

есть фактически подарил 500 рублей серебром малознакомому и малоразговорчивому кружковцу), почему он принял от него заемное письмо и хранил его среди своих бумаг?

Если представить себе, что выданные Достоевскому деньги с неоговоренными сроками отдачи (хотя и под заемное письмо) были бескорыстной помощью богатого филантропа бедствующему товарищу, то он, этот товарищ, должен был бы именовать филантропа благодетелем и ангелом-хранителем. Между тем Достоевский, если верить Яновскому, назвал Спешнева «своим Мефистофелем» и таким человеком, который деньгами не примет назад взятую у него сумму. Слова Достоевского: «...теперь я с *ним* и *его*», – врезавшиеся в память Яновскому, безошибочно указывали, что истинным векселем, который был выдан Спешневу под сумму в 500 рублей серебром, оказывалась воля и духовная независимость должника.

Даже если Достоевский излишне драматизировал (демонизировал!) свою подчиненность Спешневу и их отношения не соответствовали формуле: Фауст продал душу Мефистофелю за 500 рублей серебром, – важно, что субъективно он относился к своему долгу именно так. Значит, мог рассуждать должник, если Спешнев не берет деньгами, он захочет взять «отработками». Рассказ Яновского о политических спорах Достоевского с братом, которых прежде не было, и письмо Майкова, повествующее, как Достоевский агитировал и вербовал своего друга буквально от имени Спешнева, означали, что Фауст начал служить Мефистофелю, став его порученцем («...начинает мне говорить, что ему поручено сделать мне предложение»).

Показания Майкова, видевшего Достоевского в роли вдохновенного вербовщика и агитатора, дополнялись свидетельствами Яновского, которому очевидна была вторая сторона медали: вдохновение сменялось длительными дурнотами и тошной скукой – «скучным расположением духа». Достоевский переживал свою несвободу как физическую болезнь – всем своим есте-

ством – и имел предчувствие, что она не пройдет, а долго и долго будет его мучить.

Уже после каторги, в марте 1856 года, Достоевский писал графу Тотлебену, что перед арестом и судом был болен странной, нравственной болезнью. «Я впал в ипохондрию. Было даже время, что я терял рассудок. Я был слишком раздражителен, с впечатлительностию, развитою болезненно, со способностию искажать самые обыкновенные факты и придавать им другой вид и размеры».

Даже если признать, что странная история о взятых у Спешнева деньгах была именно тем обыкновенным, рядовым фактом, которому Достоевский с его болезненной впечатлительностью придал другой вид и размеры, непонятно, почему он годами хранил тайну своих отношений с кредитором. Лишь однажды глухим полунамеком он заговорил о хитрецах, «изучивших именно великодушную сторону души человеческой, всего чаще юной души, чтоб уметь играть на ней, как на музыкальном инструменте» (вряд ли «хитрецом» Достоевский мог считать Петрашевского, не имевшего на него никакого духовного влияния»).

«Тогда я был слеп, верил в теории и утопии, – писал Достоевский графу Тотлебену. – Когда я отправлялся в Сибирь, у меня, по крайней мере, оставалось одно утешение: что я вел себя перед судом честно, не сваливал своей вины на других и даже жертвовал своими интересами, если видел возможность своим признанием выгородить из беды других. Но я повредил себе: я не сознавался во всем и за это был наказан строже». «Другим», ради которого Достоевский жертвовал своими интересами, мог быть только один персонаж драмы 1849 года, чья тайна так и не была раскрыта: Спешнев. И если действительно Следственная комиссия проглядела истинный смысл союза Спешнева с Достоевским, под влиянием которого молодой писатель загорелся утопической идеей настолько, что пошел вербовать Майкова в тайное общество, случилось это благодаря глухому молчанию участников союза – не только перед судом, но и на протяжении всей остальной жизни.

V

ИСТОРИЯ ЛИ, судьба ли каждого из них или что-то еще распорядились, чтобы этот союз не оставил никаких документальных улик.

Не сохранилось то самое заемное письмо-вексель, где Достоевский просил Спешнева о денежном пособии.

Все следственное дело Спешнева, в котором находилось и это письмо, и рукописи подследственного, и его показания на допросах, и якобы имевшее место «добросовестное признание» (упоминавшееся в заключении генерал-аудиториата), загадочным образом исчезло из архива; те из исследователей, кто первым приступил к изучению документов петрашевской истории, бумаг Спешнева среди них уже не обнаружили[1].

Совершенно непонятна и судьба долга в 500 рублей серебром.

Судя по тому, в каком безденежье пребывал Достоевский в феврале – апреле 1849 года, он вряд ли мог вернуть Спешневу долг до ареста. Скорее всего, спешневские деньги действительно были истрачены сразу, в декабре-январе: уже в феврале Достоевский в длинном объяснительном письме к Краевскому просил у издателя «немедленных» ста рублей, а брату Андрею признавался, что сидит с двумя копейками серебром. В марте он просил у Краевского уже хотя бы десять рублей в уплату квартирной хозяйке, после чего намекнул: «У меня долгов столько, что московских денег (то есть денег, которых он ждал от опекуна, П.А. Карепина. – *Л.С.*) и не хватило бы уплатить Ваш».

Никаких следов, что его заботили большие долги, не было и в письмах Достоевского из Петропавловской крепости: он просил у братьев то десять, то двадцать пять рублей на свои личные нужды и в уплату малых долгов, которые были сделаны уже здесь. Между тем

[1] Когда в 1905 году историк В.И. Семевский одним из первых получил доступ к секретным архивам петрашевцев, следственное дело Спешнева уже считалось утерянным. Не повезло и работавшему параллельно с Семевским В.М. Саблину, издавшему в 1907 году первый сборник материалов «Петрашевцы».

Спешнев находился в одной из соседних камер. Вообще, «скучное расположение духа» спешневца Достоевского в сравнении с его самочувствием после многих месяцев заключения в Петропавловке выглядело так, будто у арестанта упала гора с плеч и он может наконец свободно вздохнуть. «Я, слава Богу, здоров и хотя тоскую, но далек от уныния. Во всяком состоянии есть свои утешения... Я только и желаю, чтоб быть здоровым, а скука дело переходное, да и хорошее расположение духа зависит от одного меня. В человеке бездна тягучести и жизненности, и я, право, не думал, чтоб было столько, а теперь узнал по опыту... Мне опять позволили гулять в саду, в котором почти семнадцать деревьев. И это для меня целое счастье. Кроме того, я теперь могу иметь свечу по вечерам, и вот другое счастье... Право, брат, грешно впадать в апатию... Я ожидал гораздо худшего и теперь вижу, что жизненности во мне столько запасено, что и не вычерпаешь».

Никаких следов денежных расчетов между бывшими каторжниками Достоевским и Спешневым не удалось обнаружить и десять лет спустя, когда они оба едва ли не в один день оказались в Петербурге: даже если разговор о старом долге и возник, отдать его в тот момент Достоевский никак не мог. И опять – единственный, кто свидетельствовал об этой их встрече, был все тот же доктор Яновский, написавший в 1884 году вдове писателя: «В Петербурге мы все были у него тотчас по приезде его; были на его новоселье: тут были Аполлон Николаевич Майков, Александр Петрович Милюков, брат Михаил Михайлович с семейством, много других, а также и Спешнев, в тот только день приехавший в Петербург...»[1]

Ни Майков, ни Яновский (лица «посвященные») ничего никогда об этом свидании Достоевского со Спешневым не писали; письма Достоевского, где он непременно должен был упомянуть о Спешневе[2], не

[1] Литературное наследство. Т. 86. С. 377.

[2] В декабре 1859 года Плещеев спрашивал у Достоевского в письме из Москвы: «Ради Бога, сообщи ты мне – правда ли, что Спешнев в Петербурге? Видел ли ты его – и что он – переменился ли? Если он тут, то, пожалуйста, поклонись от меня усердно». В марте 1860 года Плещеев вновь интересовал-

сохранились; никаких сведений, что Фауст и Мефистофель встречались вновь, не осталось.

Анна Григорьевна Достоевская, которой Спешнев за месяцы перед своей кончиной диктовал воспоминания о ее покойном муже, ни разу не отозвалась об этом товарище-однодельце ни единой строкой.

Сама рукопись с текстом воспоминаний, переданная Анной Григорьевной О.Ф. Миллеру и цитируемая им в «Материалах для жизнеописания...», почему-то не была целиком опубликована, а затем куда-то бесследно исчезла.

Никаких признаков того, что Спешнев читал роман Достоевского, посвященный их общей молодости, и кого-нибудь в нем опознал, рукопись, по-видимому, не содержала – или Миллер почему-либо не захотел приводить спешневский отзыв, если все-таки он был записан вдовой писателя.

Время старательно заметало следы.

Однако, когда доктор Яновский опубликовал свои мемуары, где был фрагмент о Спешневе-Мефистофеле, он никак не мог знать, что в черновиках к «Бесам», хранимых вдовой писателя, содержатся строки, поразительно созвучные той фатальной фразе, которую воспоминатель хранил в памяти всю свою жизнь.

То же и Достоевский: когда после многих проб и вариантов явились ему строки о Князе-демоне, молчаливом и язвительном, как Мефистофель, он никак не мог предполагать, что через много лет они причудливо отзовутся в мемуарах старого друга.

Фантазия писателя на страницах рукописей и поразительное свидетельство мемуариста соединялись в беспредельности творческого пространства, чтобы явить собою х у д о ж е с т в е н н у ю у л и к у.

ся Спешневым: «Что Спешнев? Долго ли пробудет в Петербурге и где поселится?» (Ф.М.Достоевский. Материалы и исследования. Л., АН СССР, 1935. С. 450, 452). Ответные письма Достоевского Плещееву были утрачены адресатом.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Преображение прототипа

I

Первая часть «Бесов» заканчивалась драматической сценой пощечины, которую «снес» Ставрогин, не убив обидчика на месте, и сопровождалась ошеломляюще откровенным признанием Хроникера относительно главного героя романа: «Николая Всеволодовича я изучал всё последнее время и, по особым обстоятельствам, знаю о нем теперь, когда пишу это, очень много фактов».

Если принять во внимание, что Хроникер как биограф Ставрогина как бы замещал в этой роли автора, то тема «особых обстоятельств» должна вызывать законное недоумение. Благодаря каким обстоятельствам Хроникер мог знать всю, так сказать, подноготную Николая Всеволодовича? (И это при том, что на протяжении романа они ни разу не заговорили друг с другом.)

...В тот момент, когда в черновых записях к «Бесам» внезапно появилась мефистофельская тема, Достоевский, видимо, понял, на кого должен быть похож «обворожительный», как демон, Князь А.Б. и что связывает с ним автора романа. По особым обстоятельствам этой связи автор действительно знал «очень много фактов» и хотел сказать о них хотя бы намеком.

«Я, пожалуй, сравнил бы его (Ставрогина. – *Л.С.*) с иными прошедшими господами, о которых уцелели теперь в нашем обществе некоторые легендарные воспоминания, – продолжал откровенничать Хроникер. – ...Сомнения нет, что эти легендарные господа способны были ощущать, и даже, может быть, в сильной степени, чувство страха, – иначе были бы гораздо спокойнее и ощущение опасности не обратили бы в потребность своей природы. Но побеждать в себе трусость – вот что, разумеется, их прельщало. Беспрерывное упо-

ение победой и сознание, что нет над тобой победителя, – вот что их увлекало».

И хотя Хроникер упомянул при этом декабриста Лунина, скорее всего, Лунин подвернулся случайно и оказался кстати[1]: другой образ занимал воображение автора, о других «беспокойных в своей деятельности господах» думал он. Лунин как «ссыльный старого времени» принадлежал истории; но был Спешнев, легендарный современник, который по особым обстоятельствам имел к автору романа о Князе А.Б. самое близкое и непосредственное отношение.

Личность Николая Александровича Спешнева, ровесника Достоевского, была овеяна духом романтической легенды уже к моменту их первой встречи – скорее всего, действительно, Спешнев был выше, ярче и значительнее всех, кого успел встретить Достоевский к своим двадцати семи годам. И разумеется, дело было не в пяти сотнях рублей серебром, взятых в долг: должник в полной мере смог ощутить то завораживающее очарование, которое исходило от Спешнева.

Уже первый биограф Спешнева, В.Р. Лейкина-Свирская, собравшая в 20-е годы большой архив документальных материалов и мемуарных свидетельств, поняла, что он был из тех «редких людей, одаренных талантом личного влияния, к которым обычно притягиваются события чужих жизней». Факты, многие из которых впервые попали в руки исследователей, убеждали: личность Николая Спешнева подверглась художественной переработке и послужила прототипом Николая Ставрогина. «Неясность, загадочность характера Ставрогина, может быть, зависит от того, что в нем слишком много сырой реальности, не до конца оформ-

[1] Известно, что Достоевский в марте 1871 года мог прочесть февральский номер «Русского архива» и использовать для окончания первой части романа (отосланной в двадцатых числах марта в «Русский вестник») статью декабриста П.И. Свистунова о М.С. Лунине, где, в частности, говорилось: «В нем проявлялась та особенность, что ощущение опасности было для него наслаждением... Впоследствии, будучи в Сибири на поселении, Лунин один отправлялся в лес на волков, то с ружьем, то с одним кинжалом, и с утра до поздней ночи наслаждался ощущением опасности, заключающейся в недоброй встрече или с медведем, или с беглыми каторжниками» (Русский архив. 1871. № 2. С. 346–347).

ленной искусством, – утверждалось в биографии Спешнева, написанной к 75-летию дела петрашевцев. – Его бесстрастие, холодность, неудовлетворенный скептицизм, его красота и сила, обаяние, на всех производимое, и ореол какой-то тайны – всё это реальные элементы в образе Ставрогина»[1].

Участник знаменитого в 20-е годы спора о Бакунине и Достоевском, Вяч. П. Полонский, возражая своему оппоненту, Л.П. Гроссману (доказывавшему, что прототипом Ставрогина был Бакунин), риторически восклицал: «И разве в нашем споре из этих двух фигур – Бакунина, с которым Достоевский так и не поинтересовался познакомиться, хотя жил с ним рядышком, и Спешнева, учителя юности Достоевского, – не следует отдать предпочтение последнему, совершенно оставив в покое первого?»[2]

«Уж если говорить о прототипе Ставрогина, то никак не о Бакунине, – утверждал Полонский. – Этого деятеля Достоевский не знал, ни прямых, ни косвенных сношений с ним никогда не имел и никаких следов своей заинтересованности этой личностью не оставил, тогда как со Спешневым не только был знаком, не только был вместе с ним членом тайного общества, но даже находился под обаянием его личности, был вовлечен им в его собственный тайный кружок и столь был предан задачам кружка, что даже вербовал в этот кружок Майкова для устройства тайной типографии»[3].

Под давлением неоспоримых фактов вынужден был признать правоту оппонента и Гроссман, согласившись, что «Спешнев произвел на Достоевского в молодости совершенно неотразимое впечатление», являя «идеальное воплощение поразившего Достоевского типа «аристократа, идущего в демократию». «Творческие натуры, – заключал Гроссман, – склонны в пору своих исканий подпадать подчас под влияние противоположной духовной организации, скептицизм ко-

[1] В.Р. Лейкина-Свирская. Петрашевец Н.А. Спешнев. – Былое. 1924. № 25. С. 24.

[2] Спор о Бакунине и Достоевском. С. 134.

[3] Там же. С. 133.

торой производит на них впечатление какой-то чарующей демоничности... У Пушкина свой «демон» – Раевский, у Достоевского – свой Мефистофель – Спешнев. И тот и другой отражаются в творчестве своих младших друзей. В лирике Пушкина это тайно навещающий его «злобный гений», в романах Достоевского – Ставрогин... Это увлечение властной натурой одного из самых замечательных русских революционеров 40-х годов не могло пройти бесследно для Достоевского. Он навсегда запомнил свое духовное подчинение Спешневу, неодолимость исключительного очарования его личности и проповеди, и, когда перед ним возникло художественное задание изобразить вождя русской революции, он вспомнил прельстительный образ своего Мефистофеля»[1].

Наверное, все-таки дело обстояло ровно наоборот. Можно бы, полемизируя с Гроссманом, напомнить слова Достоевского, сказанные им еще в 1861 году, за десятилетие до «Бесов»: «Были у нас и демоны, настоящие демоны; их было два, и как мы любили их, как до сих пор мы их любим и ценим! Один из них всё смеялся; он смеялся всю жизнь и над собой и над нами, и мы все смеялись за ним, до того смеялись, что наконец стали плакать от нашего смеха. Он постиг назначение поручика Пирогова; он из пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужасную трагедию... О, это был такой колоссальный демон, которого у вас никогда не бывало в Европе... Другой демон – но другого мы, может быть, еще больше любили. Сколько он написал нам превосходных стихов... Он проклинал и мучился, и вправду мучился. Он мстил и прощал, он писал и хохотал – был великодушен и смешон. Он любил нашептывать странные сказки заснувшей молодой девочке и смущал ее девственную кровь, и рисовал перед ней странные видения... Он рассказывал нам свою жизнь, свои любовные проделки: вообще он нас как будто мистифицировал; не то говорит серьезно, не то смеется над нами. Наши чиновники знали его наизусть, и вдруг все начали корчить Мефистофелей, только что вый-

[1] Спор о Бакунине и Достоевском. С. 165–167.

дут, бывало, из департамента. Мы не соглашались с ним иногда, нам становилось и тяжело, и досадно, и грустно, и жаль кого-то, и злоба брала нас... Но мы не смеялись. Нам тогда было вообще не до смеху. Теперь дело другое... Мы как-то вдруг поняли, что всё это мефистофельство, все эти демонические начала мы как-то рано на себя напустили, что нам еще рано проклинать себя и отчаиваться...»

За двадцать лет, разделивших Спешнева и Ставрогина, в жизни Достоевского произошло слишком много событий, преобразивших и его самого, и мефистофельскую тему, и тех, кто на его глазах любил «корчить Мефистофеля». Поэтому, как только Князь А.Б., блуждая в потемках своего Я, вышел на «мефистофельскую» тропу, на помощь автору явился Спешнев как зеркало для героя. Соблазн продолжить и завершить прерванный арестом 1849 года роковой дуэт, в котором первая партия исполнялась Мефистофелем, заставил Достоевского отказаться от уже готового варианта «Бесов» в пятнадцать листов и начать работу заново: это был уникальный шанс встретиться со своим демоном не на его, а на своей территории.

II

«По странной случайности облик Спешнева, его личные особенности и биографические черты как нельзя более близко совпадают с характеристикой Ставрогина»,[1] – иронизировал Полонский, возражая Гроссману.

К тому моменту, когда у Достоевского созрел наконец окончательный план «Бесов» и судьба Николая Всеволодовича Ставрогина была предопределена, прототип, пятидесятилетний Николай Александрович Спешнев, был жив, относительно здоров, проживал в Петербурге, занимался антропологией и статистикой, а также сотрудничал с печатными изданиями. Уже хотя бы по той причине, что автор романа и прототип героя были людьми более или менее одного круга и име-

[1] Спор о Бакунине и Достоевском. С. 132.

ли общих знакомых, невозможно было даже и в благородных художественных целях воспользоваться чужой биографией как фотографией или маскарадным костюмом.

Были, однако, и другие причины, почему Достоевский обращался со знакомой ему фактурой не столь бесцеремонно, как казалось первооткрывателям спешневской темы в творческой истории «Бесов»: представление о «как нельзя более близком совпадении» личных особенностей и биографических черт героя и прототипа основывалось всего лишь на общем и первом впечатлении.

Что же все-таки отражало «зеркало» – биография и личность Спешнева, – когда в него смотрелся Ставрогин?

Оказалось, ему пришлись ровно впору обстоятельства «первоначальной биографии» Спешнева – Достоевский действительно хорошо знал своего Мефистофеля с точки зрения документа и факта.

Николай Александрович Спешнев (как и Николай Всеволодович Ставрогин) родился в богатой дворянской помещичьей семье: отец его, Александр Андреевич Спешнев, отставной подпоручик и помещик из старинного дворянского рода, владел несколькими имениями в разных губерниях[1]. Семейный архив, сохранивший письма Спешнева к матери, Анне Сергеевне Спешневой, урожденной Беклешовой, запечатлел многие обстоятельства его первоначальной биографии. В 1840 году умер отец (в заметках внучки Спешнева, Н.А. Спешневой, говорится, что он был убит своими крепостными[2]), и сын получил свою часть наследства: имения в двух уездах Курской губернии, собственный дом в Петербурге и 500 крепостных душ мужского пола.

Воспитывавшийся в Петербурге, во Француз-

[1] См.: В.Р. Лейкина-Свирская. Петрашевец Н.А. Спешнев в свете новых материалов // История СССР. 1978. № 4. С. 129.

[2] См. там же. Неизвестно, говорил ли Спешнев с кем-нибудь из своих приверженцев об этом печальном событии и знал ли Достоевский, что он и «его Мефистофель» потеряли своих отцов при одинаково трагических обстоятельствах и почти одновременно.

ском пансионе (по другим сведениям, в одной из петербургских гимназий), он был принят 29 января 1835 года – вместе с М.В. Петрашевским и В.А. Энгельсоном – своекоштным воспитанником в Александровский Царскосельский лицей (куда, по шестнадцатому году, отвезли и Ставрогина). Спешнев, однако, курса не окончил, а был отчислен из-за конфликта с преподавателями. В единственном пока опубликованном письме Спешнева к отцу (от 22 октября 1838 года) он рассказывал, что в лицее за ним шпионят и подозревают в «революционных планах». «Велено было исследовать мой характер исподтишка, а я не имел охоты открывать своей души всем и каждому – заметив особенно, qui j'étais espionné, – да и притом я меланхолик и оттого уже меня очень трудно узнать: мои чувства и страсти горят внутри и ничего не видно снаружи. Меня стали опасаться, потому что не могли понять, мне инспектор заговорил: «Мало есть на свете людей, которых я не могу понять, а вы из числа таких... вы человек странный, ходите всегда мрачным, непонятным, как будто человек, который развивает планы – и планы революционные, потому что, будь ваши планы хороши, и вы б открыли их всем...» Мне ставили в вину все, что случалось в классе...»[1]

В те самые осенние дни 1838 года, когда семнадцатилетний кондуктор Достоевский, жалуясь на подлость училищного начальства, которая «низложила» его и оставила на второй год в классе, писал брату в Ревель о назначении философии («поэт в порыве вдохновения разгадывает Бога»), его сверстник Спешнев тоже исповедовался в письме к отцу – и уже во многом был таким, каким десять лет спустя он появился в кружке петрашевцев.

«В каждом обществе, каково бы оно ни было, есть своя глава, свой центр, около которого становится все общество – и если я в своем классе есть такая глава, то должен ли винить себя за то, что природа дала мне *может быть* более умственных способностей, чем дру-

[1] Н.А. Спешнев о себе самом / Публикация Б.П. Козьмина // Каторга и ссылка. 1930. № 1. С. 96.

гим, дала более характера и такое свойство, что я невольно имею влияние на тех, с кем обхожусь; вы видите, что я говорю откровенно, – совершенно как с самим собою. Мне было 16 лет, когда я понял, что такое наука; до тех пор я учился по невольному влечению, без любви, для того, что мне хотелось иметь более балов, – не ставьте их, и я тогда, может быть, не учился бы или не учился б из страху; в 16 лет сделалось другое, сделался переворот – сперва я полюбил одну науку, углубился в нее и зашел так далеко, что понял вполне и ясно, что все науки одно целое – как одна истина. С тех пор раскрылся во мне ум, мыслительность; до тех пор была почти одна память – с тех пор я стал рассуждать и оценивать, что худо, что добро, то есть стал действовать сам. Я открыл божественную книгу Евангелия; из нее, из этих слов Спасителя научился я, что такое человек; там нашел подтверждение своей любви к науке и стал учиться усердно, забывался иногда над книгой, плакал над страницей, молился Богу; я жил в другом мире, я жил рознь от моих товарищей, мало с кем говорил, хотя я не мизантроп, а, напротив, я любил и теперь люблю всех людей и в своей душе не знаю ни к кому ненависти...»[1]

В семнадцать лет лицеист Спешнев не был еще ни атеистом, ни социалистом, но, имея дар влияния на тех, с кем его сталкивала жизнь, уже как бы репетировал свою главную роль.

«Кругом меня шли мелочи нашей жизни, кругом меня класс, в котором я жил, распадался на части, дробился на партии, все ссорились, враждовали промеж себя, наговаривали друг на друга! И эти ссоры задевали меня в моей спокойной жизни, от меня требовали, чтобы я брал участие в какой-нибудь партии, участие в спорах, и эти споры ежедневные мешали мне в моих занятиях, хотя я и говорил, что принадлежу ко всем партиям, то есть избирал самую трудную роль. Мне надоели эти споры, мне надоело, что над ними смеются все, мне надоели ежедневные выговоры то одной, то другой партии; – я встал, стал говорить со всеми, заставил

[1] Каторга и ссылка. 1930. № 1. С. 95.

всех любить себя и после двинул решительно, сломил все партии и помирил, соединил весь класс, сделал все общим и с удивлением увидал себя главою класса, с удивлением увидал, что прежние начальники партий обращаются ко мне, действуют моим словом – и я не мог не сознаться, что я имею влияние на всех, даже на самых умных»[1]. Но уже тогда Спешнев убедился, что талант «заставить всех любить себя» имеет оборотную сторону: как глава класса и главный зачинщик неповиновения он был «за нарушение правил подчиненности пред гувернером» сначала посажен в карцер, а затем (в апреле 1839 года) исключен из лицея.

Не окончив курса, Спешнев лишался права на чин – в том случае, если бы он хотел поступить на государственную службу. Однако он попытался вновь продолжить учение и убеждал отца, что нисколько не потеряет в карьере, если станет вольным слушателем восточного факультета в университете и через короткое время выдержит экзамен на степень кандидата.

Но, несмотря на страстное желание стать ученым-ориенталистом или дипломатом, несмотря на личное и близкое знакомство еще с лицея со знаменитым путешественником, блестящим востоковедом и писателем О.И. Сенковским (Бароном Брамбеусом), несомненно повлиявшим на выбор Спешневым факультета[2], несмотря на усердные занятия арабским, турецким, персидским, татарским, молдавским языками, а также санскритом («Начинаю бегло читать по-арабски и выучился спрягать глаголы»[3], – писал он матери, оправдываясь, что не может приехать на свадьбу сестры, так как это связано с пропуском нескольких уроков), окончить курс в Петербургском университете ему не удалось по причинам весьма романтического свойства.

Во всяком случае, в конце 40-х годов, когда после головокружительных приключений, прервавших образование, Спешнев появился в Петербурге, он называл-

[1] Каторга и ссылка. 1930. № 1. С. 95–96.
[2] См.: История СССР. 1978. № 4. С. 130.
[3] Там же.

ся в официальных документах неслужащим и не имеющим чина помещиком. «В их лета шататься по белому свету, вместо службы, и стыдно, и недостойно благородного звания, за сим ехать могуд (так в оригинале. – *Л.С.*), ежели хотят»[1], – начертал император Николай Павлович на докладе шефа жандармов графа Орлова о Спешневе и его приятеле В.А. Энгельсоне, подавших в 1844 году прошение о заграничных паспортах.

Неурядицы в карьере прототипа, со всей определенностью сказавшиеся на судьбе персонажа, под пером Достоевского обдуманно получали совершенно иной вектор: блестящее, но тоже прерванное поприще Ставрогина имело куда более скандальный финал. «Кончив курс, он, по желанию мамаши, поступил в военную службу и вскоре был зачислен в один из самых видных гвардейских кавалерийских полков». Затем Николай Всеволодович «имел почти разом две дуэли, кругом был виноват в обеих, убил одного из своих противников наповал, а другого искалечил и вследствие таковых деяний был отдан под суд. Дело кончилось разжалованием в солдаты, с лишением прав и ссылкой на службу в один из пехотных армейских полков... В шестьдесят третьем году ему как-то удалось отличиться; ему дали крестик и произвели в унтер-офицеры, а затем как-то уж скоро и в офицеры... После производства молодой человек вдруг вышел в отставку».

Первые шаги по служебной лестнице, сделанные Ставрогиным, были не просто отнесены на двадцать лет вперед, в другой, тоже, кстати, весьма точный исторический контекст (что отвечало задачам злободневного политического романа), но и резко криминализированы. Юность и первая молодость Ставрогина, «буйные порывы слишком богатой организации» героя на порядок превосходили соответствующий этап биографии прототипа именно по части буйства, скандалов и беспорядка. Намерение автора «испортить» репутацию героя – по сравнению с реальной биографической канвой прототипа – было особенно заметно,

[1] Цит. по: В.И. Семевский. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы. Ч. I. М.: Задруга, 1922. С. 191.

когда рассказ касался деликатной любовной сферы, в которой и Спешнев и Ставрогин имели необыкновенный успех.

III

«А вот женились бы... на хорошенькой да на молоденькой, так, пожалуй, от нашего принца двери крючком заложите да баррикады в своем же доме выстроите!» – намекал на выдающиеся амурные способности Ставрогина пострадавший «в чести своей» Липутин.

В «обществе пропаганды», к которому принадлежал Достоевский, была хорошо известна драматическая любовная история Спешнева, относящаяся к его студенческим годам и вынудившая начинающего востоковеда оставить университет. «Когда ему был 21 год, – вспоминал П.П. Семенов-Тян-Шанский, близкий знакомый многих петрашевцев, – он (Спешнев. – *Л.С.*) гостил в деревне у своего приятеля, богатого помещика С., и влюбился в его молодую и красивую жену. Взаимная страсть молодых людей начала принимать серьезный оборот, и тогда Спешнев решил покинуть внезапно дом С–х, оставив предмету своей страсти письмо, объясняющее причины его неожиданного отъезда. Но г-жа С. приняла не менее внезапное решение: пользуясь временным отсутствием своего мужа, она уехала из своего имения, разыскала Спешнева и отдалась ему навсегда... Уехали они за границу без паспортов и прожили несколько лет во Франции до той поры, пока молодая и страстная беглянка не умерла, окруженная трогательными попечениями своего верного любовника»[1].

Романтическое приключение, в котором Спешнев выглядел рыцарски достойным и благородным героем, имело, видимо, и какие-то неясные оттенки, не прошедшие мимо внимания тех, кто его биографией интересовался специально.

«В 1848 году, в первых порах западной революции, прибыл к ним Спешнев, человек замечательный

[1] П.П. Семенов-Тян-Шанский. Мемуары. Т. 1. С. 198.

во многих отношениях, – писал своим друзьям, Герцену и Огареву, М.А. Бакунин. – История его молодости целый роман. Едва вышел он из лицея, как встретился с молодою, прекрасною полькою, которая оставила для него и мужа, и детей, увлекла его за собой за границу, родила ему сына, потом стала ревновать его и в припадке ревности отравилась. Какие следы оставило это происшествие в его сердце, не знаю, он никогда не говорил со мною об этом»[1].

Биографы Спешнева дополняли таинственную и скандальную историю точными именами и подробностями. «Прекрасная полька», Анна Феликсовна Савельева, урожденная Цехановецкая, была женой соседа-помещика, старшего брата лицеиста Савельева, исключенного вместе со Спешневым из университета. Полюбив чужую жену, «все взвесив и имея 5 месяцев на решение», восемнадцатилетний Спешнев предложил ей бежать с ним и организовал побег весной 1840 года.

Родственники Спешнева писали о ней: «Небольшого роста, очень изящная шатенка с сверхъестественно большими зелеными глазами на смуглом лице, блестящего ума, совершенно исключительного обаяния и доброты». Сам Спешнев, хлопоча о разводе Анны Феликсовны с мужем и добиваясь согласия матери на брак с ней, убеждал мать в глубине и серьезности своего чувства, в высоких моральных качествах любимой женщины, опровергал многочисленные сплетни вокруг ее имени, трагически рисовал собственное немыслимо фальшивое положение «подлеца, мошенника, труса и негодяя», оскорбившего якобы всех и отказывающегося жениться, возлагал на мать ответственность за гибель его счастья, угрожал неизбежностью дуэли. „Я клянусь, – писал Спешнев, – что мне нужна такая мать, как Вы, такая жена, как она, и такой друг, как Владимир Энгельсон. Помимо моего счастья, мне нужна слава, наука и поэзия"»[2].

[1] Письма М.А. Бакунина к А.И. Герцену и Н.П. Огареву. СПб., 1906. С. 158–159.

[2] История СССР. 1978. № 4. С. 131.

Как сообщали биографы, беглецам пришлось жить полулегально в Гельсингфорсе, тщательно заботясь о тайне пребывания и давая взятки полиции, пока наконец Анна Феликсовна не была принята матерью Спешнева, а затем с большими предосторожностями не отправлена в Вену, куда вслед за ней выехал Спешнев и где в октябре 1842 года родился его сын Николай. Только в конце 1843 года было получено согласие Савельева на развод с требованием уплатить ему двадцать тысяч рублей серебром, но, пока Спешнев просил мать достать деньги, пока собирался выслать своим друзьям доверенность на заклад имения, пока пытался наладить и узаконить свой брак («Мне по уши надоела эта бродяжная жизнь, где я убиваю деньги, вдали от всех, скитание без цели, неизвестность и издержки»[1]), родился его второй сын, Алексей, после чего (весной 1844 года) Анна Феликсовна скоропостижно скончалась: по семейному преданию, у ее смертного одра был совершен обряд венчания.

Легенды приписывали ей двух детей от законного брака, которых она оставила, бежав со Спешневым, а также самоубийство: ходили слухи, что Анна Феликсовна отравилась в припадке ревности к Изабелле Цехановецкой (урожденной баронессе Кобылинской), которой якобы увлекся Спешнев. После смерти Анны Феликсовны Спешнев приезжал в Россию, чтобы устроить двух своих маленьких незаконнорожденных сыновей в витебском имении их дяди с материнской стороны. «У меня железное здоровье и железная душа»[2], – писал он матери в августе 1844 года.

Любовная драма Спешнева, в которой он был представлен мемуаристами как человек могучих и благородных страстей, под пером Достоевского приобретала совсем иное звучание. «Рассказывали... о зверском поступке с одною дамой хорошего общества, с которою он был в связи, а потом оскорбил ее публично. Что-то даже слишком уж откровенно грязное было в этом деле».

[1] История СССР. 1978. № 4. С. 132.
[2] Там же.

Вряд ли что-то откровенно грязное, если оно и имело место в таинственной «польской» истории Спешнева, могло быть доподлинно известно Достоевскому: Спешнев, как рассказывали о нем многочисленные воспоминатели, был удивительно неразговорчив. А самое главное: те, кто знал его близко, относились к его любовным приключениям почти с благоговейным сочувствием.

М.А. Бакунин писал: «Знаю только, что оно (романтическое происшествие. – *Л.С.*) немало способствовало к возвышению его ценности в глазах женского общества, окружив его прекрасную голову грустно-романтическим ореолом. В 1846 году он слыл львом иностранного, особливо же польско-русско-дрезденского, общества. Я знаю все эти подробности от покойной приятельницы моей, Елизаветы Петровны Языковой, и от дочери ее: и матушка, и дочки, и все их приятельницы, даже одна 70-летняя польская графиня были в него влюблены... Но не одни дамы, молодые поляки, преимущественно аристократической партии Чарторыйского, были от него без ума»[1]. (О подробностях заграничной жизни Спешнева писали и его позднейшие биографы: «С декабря 1844 года до возвращения в Россию в июле 1846 г. Спешнев почти безотлучно прожил в Дрездене. Он возобновил свои занятия, много и целеустремленно читал. Это не мешало ему иметь знакомства и романы, посещать концерты, восхищаться итальянской оперой в Вене, где он провел три недели в апреле 1845 г. Он признавался матери, что «жил как король» и что „немножко-таки жаль расставаться с Европой"»[2].)

Вспоминала Н.А.Огарева-Тучкова: «Рассказывали, что он только что вернулся из чужих краев, где недавно похоронил женщину, для которой в продолжение нескольких лет оставлял свою страну, свою престарелую мать. Он вернулся убитый этой потерею, с двумя детьми, которых его мать взяла на свое попечение»[3] (встреча, запомнившаяся мемуаристке, при-

[1] Письма М.А. Бакунина к А.И. Герцену и Н.П. Огареву. С. 158–159.

[2] История СССР. 1978. № 4. С. 133.

[3] Н.А. Огарева-Тучкова. Воспоминания. 1848 – 1870. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1903. С. 67.

шлась как раз на вечер 22 апреля 1849 года, в канун ареста, когда в одну ночь взяли и Спешнева и Достоевского).

Дамское сочувствие к романтическому страдальцу Спешневу, повернутое в сторону Ставрогина, удивительно ужесточалось: Достоевский, которому в пору писания «Бесов» были неизвестны ни мемуары Огаревой-Тучковой, ни письма Бакунина к Герцену и Огареву (так как в виде книг их тогда еще не существовало), будто пародировал и передразнивал воспоминателей, карикатуря прекрасное изображение. «Все наши дамы были без ума от нового гостя», – констатировал, как мы помним, Хроникер, перед тем как смешать с грязью и этих дам, и их гостя; «одних особенно прельщало, что на душе его есть, может быть, какая-нибудь роковая тайна; другим положительно нравилось, что он убийца». На романтическую тайну Спешнева, которой очаровывались в свое время и Семенов, и Огарева-Тучкова, и Бакунин, и – наверняка – Достоевский, была брошена тень опасной сомнительности; за героем и «новым гостем» тянулся длинный шлейф в багровых тонах.

Слухи вокруг Спешнева рисовали его возвышенным и одухотворенным паладином – слухи вокруг Ставрогина полнились темным безобразием. Там, в таинственном заграничном прошлом Спешнева, были изысканные салонные дамы и поляки-аристократы, здесь – петербургское отребье, безумные хромоножки и весноватые девчушки за ширмами. Обаяние тайны из разряда благородно-возвышенного опускалось до значений низких и постыдных; Ставрогину надлежало признаваться не только в зверином сладострастии, которым он «был одарен и которое всегда вызывал», но и в упоении позором и подлостью.

Лицо героя писалось как будто поверх другого изображения; не трогая рисунок, оставляя без изменения контуры и линии, неистовый художник «портил» живопись: перемешивал краски, менял оттенки, сгущал тени.

Огарева-Тучкова говорила о Спешневе: «Он был

высокого роста, имел правильные черты лица, темно-русые кудри падали волнами на его плечи, глаза его, большие, серые, были подернуты какой-то тихой грустью»[1]. О необыкновенно эффектной наружности Спешнева вспоминал и Бакунин: «Прибыл к нам Спешнев, человек замечательный во многих отношениях: умен, богат, образован, хорош собой, наружности самой благородной, далеко не отталкивающей, хотя и спокойно-холодной, вселяющей доверие, как всякая спокойная сила, джентльмен с ног до головы... Женщины, молодые и старые, замужние и незамужние, были и, пожалуй, если он захочет, будут от него без ума. Женщинам не противно маленькое шарлатанство; а Спешнев очень эффектен: он особенно хорошо облекается мантиею многодумной спокойной непроницаемости»[2].

Маленькое шарлатанство, завистливо заподозренное Бакуниным в поведении Снешнева, под пером Достоевского не просто выросло и окрепло, но и опасно усложнилось: за «самым изящным джентльменом», привыкшим «к самому утонченному благообразию», таился зверь; за «порядочно образованным», «с некоторыми познаниями» и «чрезвычайно рассудительным» человеком укрывался опасный безумец.

«Н.А. Спешнев отличался замечательной мужественной красотою, – писал человек беспристрастный, обладавший точной и обширной памятью ученого, Семенов-Тян-Шанский. – С него прямо можно было рисовать этюд головы и фигуры Спасителя»[3]. И если только столь ответственное сравнение имело хождение в том кружке, к которому принадлежали и Семенов и Достоевский, последнему оно было особенно мучительно: человека с обликом Спасителя он считал и называл про себя *своим Мефистофелем*.

С каким-то странным, суровым упрямством герою, списанному с безупречного красавца Спешнева и поднятому на «безмерную высоту», где обитают небо-

[1] Н.А. Огарева-Тучкова. Воспоминания. С. 67.
[2] Письма М.А. Бакунина к А.И. Герцену и Н.П. Огареву. С. 158.
[3] П.П. Семенов-Тян-Шанский. Мемуары. Т. 1. С. 198.

жители, вменялась демоническая двойственность, коварная и злокачественная двусмысленность: так за фигурой Спасителя тенью вставал Мефистофель, а перед глазами Ставрогина маячил маленький золотушный бесенок с насморком.

IV

22 ДЕКАБРЯ 1849 года, только что пережив вместе со всеми осужденными обряд приготовления к казни, Достоевский писал брату из Петропавловской крепости: «Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольется!.. Осталась память и образы, созданные и еще не воплощенные мной. Они изъязвят меня, правда!»

Когда спустя двадцать лет один из самых блистательных, волнующих образов, когда-либо «выжитых» и пережитых сердцем автора, стал обретать плоть, художественный прогноз Достоевского полностью подтвердился: его память о Спешневе была отравлена, его потрясенная душа изъязвлена и изранена. «Отравой в крови» разлились воспоминания о роковом, загадочном барине, прекрасном, как Спаситель, и обворожительном, как Мефистофель. «...Я *с ним* и *его*», – сказал когда-то Достоевский о своем демоне; теперь эту связь предстояло творчески обнаружить и разорвать: пришло время заплатить старинный долг.

Поразительнее всего, что к прототипу, реальному Спешневу, Достоевский вряд ли мог предъявить какие-либо серьезные моральные претензии. Они оба были арестованы в одну ночь; по стечению обстоятельств вечер накануне ареста Спешнев провел в компании людей, которых Достоевский уже давно избегал.

Вспоминала Панаева: «В апреле месяце, не могу припомнить, какого числа, я была с Панаевым в гостях у одних приезжих знакомых; там между прочими лицами был Спешнев. Я его мало знала, но здесь долго разговаривала с ним. Из гостей мы втроем отправились домой, часу во втором ночи; мы шли пешком, ве-

село разговаривая; ночь была светлая, и уже начинало всходить солнце. Спешнев был в очень веселом настроении духа и проводил нас до самого нашего дома; мы были уверены, что скоро увидимся, потому что он обещался прийти обедать к нам на неделе. Но на другой же день мы узнали, что Спешнев в эту самую ночь был арестован, следовательно, как только вернулся домой, проводив нас»[1].

Вряд ли Достоевский когда-нибудь смог узнать об этом факте – после ареста он не видел Спешнева восемь месяцев: очных ставок между собой эти арестанты не имели, в тюремный дворик на положенные четверть часа их выводили поодиночке, на Семеновском плацу обоим было уже не до светских дам, даже таких прелестных, как Панаева, в которую один из них был когда-то безнадежно влюблен.

Между тем романтический красавец, барин и богач Спешнев не откупился от следствия и суда, а разделил общую судьбу арестованных: так же как Достоевский, сидел в одиночной камере Петропавловской крепости, так же просил родных присылать книги (арабские, еврейские, китайские, санскритские и монгольские лексиконы и грамматики, сочинения римских и греческих историков), так же был лишен всех прав состояния и осужден на смертную казнь. Еще во время следствия Комиссия намеревалась «наложить на него оковы» (то есть надеть кандалы) «для доведения его к прямому понятию о важности преступления»[2], в котором он обвинялся.

Петрашевец Д.Д.Ахшарумов запомнил, чтó сделала Петропавловская крепость с «головой и фигурой Спасителя», стоявшего у эшафота вместе с другими приговоренными к смертной казни. «Особенно поразило меня лицо Спешнева: он отличался от всех замечательною красотою, силою и цветущим здоровьем. Исчезли красота и цветущий вид; лицо его из округ-

[1] А.Я. Панаева (Головачева). Воспоминания. С. 177. Именно на этом вечере встретила Спешнева и Н.А. Огарева-Тучкова, указав, что к Н.П. Огареву его привел К.Д. Кавелин.

[2] Доклад генерал-аудиториата по делу петрашевцев // Петрашевцы: Сб. материалов / Под ред. П.Е. Щеголева. Т. 3. М.–Л.: Госиздат, 1928. С. 54.

ленного сделалось продолговатым; оно было болезненно, желто-бледно, щеки похудалые, глаза как бы ввалились, и под ними большая синева; длинные волосы и выросшая большая борода окружали лицо»[1]. (Как установил впоследствии тобольский врач, из крепости к эшафоту Спешнев вышел с начинающейся чахоткой.)

Надо полагать, не слишком много демонического мог заметить Достоевский в лице такого же страдальца, как и он сам.

Так же как и Достоевского, везли Спешнева в открытых санях, закованного в кандалы, через всю Россию из Петербурга в Тобольск. По этапу отправили в Иркутск, а оттуда в Александровский завод Нерчинского округа, на десятилетнюю каторгу, полученную по конфирмации. В ноябре 1853 года мать Спешнева безуспешно просила государя императора послать ее сына в действующую армию, безответной осталась и ее просьба о помиловании. В 1855 году было отказано в прошении на имя графа Орлова о помещении двух мальчиков, незаконнорожденных сыновей Спешнева, в какое-нибудь учебное заведение – как не принадлежащих к податному сословию.

Петрашевец Момбелли, вместе со Спешневым назначенный в Александровский завод, уже в 60-х годах рассказывал о тяжести перенесенных ими испытаний: «Каждый день меня приковывали к тачке, с которою я и должен был работать целый день, с небольшим отдыхом для обеда, а кормили каторжников крайне дурно, так как приходилось неизменно есть одну только похлебку с требухой и плохим черным хлебом; спали каторжники почти на голых нарах в общеарестантской палате, отдавая свое тело на съедение всяких паразитов!»[2]

Когда в январе 1854 года Достоевский вышел из каторги, он смог узнать первые подробности о судьбе своих ссыльных товарищей-однодельцев. Спешневу

[1] Д.Д. Ахшарумов. Из моих воспоминаний (1849 – 1851). СПб.: Общественная польза, 1905. С. 104.

[2] Цит. по: Н.Н. Хитрово. Воспоминания об одном из петрашевцев (Н.А. Момбелли) // Русская мысль. 1909. № 7. С. 99.

еще предстояло шесть лет каторги, но Достоевский смог узнать, что его учитель не пал духом; в сибирском климате прошла чахотка, и, устроив вместе с Момбелли и Петрашевским на Александровском заводе подготовительный пансион для детей, он давал ученикам обоего пола уроки иностранных языков.

Уже невозможно установить, что именно и от кого именно услышал Достоевский о Спешневе в Омске в первые же недели по выходе из острога, – скорее всего, о судьбе каторжников-петрашевцев мог знать К.И. Иванов, женатый на О.И. Анненковой, дочери декабриста И.А. Анненкова, и принимавший в Достоевском горячее участие («Если б не нашел здесь людей, – писал Достоевский брату из Омска, – я бы погиб совершенно. К.И. Иванов был мне как брат родной. Он сделал для меня всё что мог... Чем заплатить за это радушие, всегдашнюю готовность исполнить всякую просьбу, внимание и заботливость как о родном брате...»).

Однако, судя по тому, чтó Достоевский написал об этом тогда же, сведения были удивительные. «Спешнев в Иркутской губернии приобрел всеобщую любовь и уважение. Чудная судьба этого человека! Где и как он ни явится, люди самые непосредственные, самые непроходимые окружают его тотчас же благоговением и уважением». Даже если в этом отзыве и было хоть сколько-нибудь невольной зависти или горечи, то было ведь и восхищение; как один из благоговевших, Достоевский не мог не считаться с фактом всепокоряющего обаяния Спешнева, способного быть объектом обожания и в доме Панаевой, и в каторжном остроге.

Только десять лет спустя после Тобольска Достоевский увидел Спешнева вновь. Как запомнил Семенов-Тан-Шанский, «он (Спешнев. – *Л.С.*) казался, несмотря на то что был еще в цвете лет (ему было 42 года), глубоким, хотя все еще величественным, старцем»[1]. Встретясь со Спешневым накоротке, дома, у себя на новоселье, Достоевский, хотя бы в самых общих чертах, должен был узнать, что по царскому манифесту

[1] П.П. Семенов-Тян-Шанский. Мемуары. Т. 1. С. 199.

1856 года Спешнев, как и другие, был досрочно освобожден и выпущен на поселение, что о возвращении ему гражданских прав и дворянского звания ходатайствовал сам Н.Н. Муравьев-Амурский, генерал-губернатор Восточной Сибири, который и привез изгнанника в Петербург.

Почему-то та часть реальной биографии Спешнева, где он как аристократ, пошедший в демократию, был осужден и понес наказание, Достоевскому совершенно не понадобилась. Герою (Ставрогину) его причастность к обществу заговорщиков должна была аукнуться не каторгой, как прототипу (Спешневу) и автору (Достоевскому), а испытаниями совсем другого порядка. От них не могли спасти ни царские манифесты, ни ходатайства либеральствующих и добросердечных генерал-губернаторов, ни снисходительность гражданских властей, сострадающих обаятельным злоумышленникам.

«Это ли подвиг...»

I

Чиновник по особым поручениям при министерстве внутренних дел, действительный статский советник И.П. Липранди, чьими стараниями «процесс о стремлениях»[1] был доведен до смертных приговоров его главным участникам, так комментировал различия между петрашевцами и декабристами: «Обыкновенные заговоры бывают большею частью из людей однородных, более или менее близких между собою по общественному положению. Например, в заговоре 1825 года участвовали исключительно дворяне, и притом преимущественно военные. Тут же, напротив, вместе с гвардейскими офицерами и чиновниками министерства иностранных дел рядом находятся не кончившие курс студенты, мелкие художники, купцы, мещане, даже лавочники, торгующие табаком»[2].

Неслужащего и не имеющего чина дворянина Спешнева в этом сравнении смущало другое.

«Декабристы дрались на площади, в народе, а мы только говорили в комнате»[3], – цитировал О.Ф. Миллер запись А.Г. Достоевской, сделанную со слов Спешнева: бывший заговорщик даже и спустя тридцать лет сетовал на почти комическую незначительность своих давних усилий, а власти будто благодарили арестантов за то, что «преступные их начинания не достигли вредных последствий, быв своевременно предупреждены мерами со стороны правительства»[4].

[1] По мнению М.В. Петрашевского и Ф.Н. Львова, следствие интересовали не факты, а образ мыслей заключенных; судья стремился уяснить, «какой бы вред эти молодые люди впоследствии сделали бы государству по примеру Франции и Германии» (Первые русские социалисты. Л.: Лениздат, 1984. С. 53).

[2] Особая записка действительного статского советника Липранди // Петрашевцы. Сб. материалов. Под ред. П.Е. Щеголева. Т. 1. С. 277.

[3] Цит. по: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 99.

[4] Спешнев, по его собственным воспоминаниям, вызвал со стороны

№ 55.

Часть 26-я

Следственное дело

об

Отставном Инженер-Поручике

Достоевском

[illegible] 1849 г.

На 130-ти листах.

4 Отд. 1 ст.

Св. 387

Обложка Следственного дела Ф.М. Достоевского в III Отделении

Между тем Следственная комиссия смотрела на Спешнева как на главного злоумышленника; приговор по его делу клеймил красавца аристократа как крайнего революционер-радикала. За Спешневым числилась заграница, где он в течение четырех лет после смерти возлюбленной, весь отдавшись политической мысли, изучал историю тайных обществ и, опираясь на опыт древнейших заговорщиков, составлял программу новейших закрытых организаций применительно к России. (В канун 1846 года он писал матери: «Еще несколько дней, и 1845 год тю-тю, пропал. Бедовый год, занимательный год, этот год я никогда не забуду – все, что в моей молодости так прекрасно обещало развернуться во мне, – все это в этом году получило свою положительную печать – теперь интрига завязана – актеры на сцене – теперь каждый шаг вперед – два к развязке»[1].)

За границей произошел перелом, действительно подвинувший его жизнь к развязке: теперь в своих устремлениях он обращался не к Евангелию, как в юности, а к сочинениям социалистов и коммунистов, которые упорно изучал. «Жизнь не лежит передо мной загадкой, – писал он матери, – теперь я знаю, на что я живу – что я хочу – как надо сделать, что я хочу, сколько на то надо примерно времени – а посреди моей работы встанет ветер и унесет меня прежде, чем я кончил». Он словно предчувствовал трагический финал: «В действия приношу какую-то лихорадочность, как будто не хватит жизни, чтоб проглотить все, что написано, а уж пора поприостановиться на чем-нибудь и делать...»[2]

При обыске у него был найден «Черновой проект обязательной подписки»; нижеподписавшийся член Русского тайного общества брал на себя суровые обязательства, которые надлежало исполнять в точности. «Когда Распорядительный комитет общества, сообразив силы общества, обстоятельства и представляющий-

члена Следственной комиссии замечание: «Я вижу тут одни фразы и фразы, а не вижу дела» (Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 107).

[1] История СССР. 1978. № 4. С. 134.

[2] Там же. С. 135.

ся случай, решит, что настало время бунта, то я обязываюсь, не щадя себя, принять полное и открытое участие в восстании и драке, т. е. (что) по извещению от комитета обязываюсь быть в назначенный час в назначенном мне месте, обязываюсь явиться туда и там, вооружившись огнестрельным или холодным оружием, или тем и другим, не щадя себя, принять участие в драке и, как только могу, споспешествовать успеху восстания»[1].

Спешнев написал речь, которую читал в собрании у Петрашевского (текст ее также был захвачен при обыске), с возмутительными антигосударственными призывами. «С тех пор как стоит наша бедная Россия, в ней всегда и возможен был только один способ словесного распространения – изустный... так как нам осталось одно изустное слово, то я и намерен пользоваться им без всякого стыда и совести, без всякого зазора, для распространения социализма, атеизма, терроризма, всего, всего доброго на свете и вам советую то же»[2].

Спешнев предлагал развернуть широкое книгопечатание за границей запрещенных в России книг, совещался с другими о создании домашней литографии и даже решился учредить тайно у себя в доме типографию – на его деньги были приобретены необходимые для этого материалы. Спешнев обсуждал возможности восстания в Сибири и на Урале, и если Петрашевский был скорее усердным пропагандистом социальных учений, рассчитывая увидеть на своем веку фаланстеру и пожить в ней, а также высказывался против бунта и восстаний черни, то Спешнев, напротив, держался самых радикальных воззрений.

«Есть три способа для достижения какой-либо политической цели, – по свидетельству Львова и Петрашевского, говорил Спешнев на их совещании, – иезуитский, тайной интриги, как предлагают Момбелли, Львов и отчасти Петрашевский, явной пропаганды, как предлагает Дебу, и открытою силою. Если бы мне нужно было действовать, я бы избрал последний, а средством к тому – бунт крестьян!»[3]

[1] Доклад генерал-аудиториата... С. 52.
[2] Там же. С. 53.
[3] Первые русские социалисты. С. 48.

Достоевский сблизился со Спешневым в тот момент, когда репутация «замечательно образованного, культурного и начитанного» (Петрашевский) человека, «обрекшего себя на служение гуманитарным идеям» (Семенов), уже устоялась: он слыл и сам себя называл коммунистом, он рассуждал о национализации земли и промышленности, об уравнении в правах всех сословий и уничтожении сословных привилегий. Его имя было замешано во всех опасных начинаниях петрашевцев, он старался поддержать все попытки, которые могли бы привести к реальному революционному делу. «Везде он, Спешнев, был вроде почетного гостя, – докладывали судьи, – оттого всегда его приглашали, зная, что он социалист, а социализм был в моде в этом обществе. Спешнев... должен был казаться очень интересным»[1].

Вряд ли, впрочем, он мог увлечь молодого Достоевского только тем, что читал сочинения социалистов и коммунистов – Теодора Дезами, Вильгельма Вейтлинга, Карла Маркса (известно, что Спешнев брал из общественной библиотеки Петрашевского «Нищету философии»). Слова Достоевского – «этот барин чересчур силен и не чета Петрашевскому» – значили много больше, чем только комплимент эрудиции: Спешнев с первого мгновения приковывал к себе внимание людей, весьма далеких от художественной экзальтации. «Его наружность и постоянное безмолвие поразили меня»[2], – показывал на следствии привлеченный к судебному разбирательству золотопромышленник Р.А. Черносвитов.

Эта манера вдумчивого, остронаблюдательного, но молчаливого присутствия на многолюдных «пятницах» Петрашевского; это бесстрашное, скрыто-напряженное и спокойное внимание, которым он дарил избранных собеседников, никогда не смешиваясь с ними; этот великолепный тон светской любезности и сдержанной простоты, который действовал обезоруживающе на тех, кого он приближал к себе, – все было в нем

[1] Доклад генерал-аудиториата... С. 60.
[2] Там же. С. 241.

естественно и давалось ему без всяких усилий. «Он стоял посреди означенных лиц совершенно самостоятельно, ни в ком не нуждался, тогда как иные в нем нуждались; говорил мало, проводил большую часть времени у себя за книгами и должен был казаться таинственным человеком; бывал иногда резок на слова, так что перед ним не скрывались, и успевал узнавать все задние мысли, чтобы самому узнать, с кем он состоит в сношениях»[1]. В этом отрывке из всеподданнейшего доклада на имя государя за сухими протокольными фразами проглядывало невольное уважение суда к дару личного влияния, которым обладал подсудимый.

Когда Спешнев захотел выказать приязнь Достоевскому, это было воспринято, по-видимому, с тревожным и восторженным волнением; однако очень скоро избранник предстал перед патроном именно в той роли, какая и была ему назначена: агитатором, пропагандистом, вербовщиком.

Один из первых исследователей данной темы резонно задавался вопросом: «Кто из нас решится в точности определить тот комплекс чувствований и дум, который волновал Достоевского во время ночной сцены, описанной Майковым? Об одной ли типографии думал он, сидя на кровати в сократовской позе, «в ночной рубашке с незастегнутым воротом»? В чем видел он «святость» дела и «долг» спасать отечество?»[2]

Список вопросов стоило бы, наверное, продолжить. Почему Достоевский сам всю жизнь хранил об этом глухое молчание? Почему не захотел оставить записки или воспоминания? Почему личность и даже имя Спешнева стали – по факту биографии писателя – как бы запретной темой? Ведь здесь был как раз тот случай, когда Достоевский мог с полным основанием (как его персонажи, Шатов и Кириллов) воскликнуть: «Вспомните, что вы значили в моей жизни, Спешнев».

Но Спешнев – если исходить из заданной аналогии – на подобные призывы должен был отвечать ску-

[1] Доклад генерал-аудиториата... С. 60.

[2] П.Н. Сакулин. Русская литература и социализм. М.: Госиздат, 1924. С. 375.

но и сдержанно; именно таким, по-видимому, он и предстал уже в преклонные лета перед А.Г. Достоевской, конечно же не подозревавшей о мефистофельских сюжетах в жизни ее покойного мужа. И Спешнев, от которого резонно было бы ждать каких-то уникальных подробностей об их общей молодости, только и смог сказать: «Ф.М. никогда не казался молод, так как имел болезненный вид»[1]. Как свидетельствовали в своей «Записке» Львов и Петрашевский, «Спешнев впоследствии вообще отказывался от всех разговоров, касающихся до дела», и «был закутан в плащ таинственности»[2].

В феврале 1860 года А.Н. Плещеев, ближайший друг Достоевского, принадлежавший вместе с ним к узкому кругу счастливцев, кому Спешнев дарил свое внимание и расположение, писал в Петербург Н.А. Добролюбову: «Сегодня я для своих именин был порадован не одним Вашим письмом, но еще приездом одного очень дорогого моему сердцу человека – Спешнева; он едет из Сибири с Муравьевым и будет непременно у Чернышевского, с которым желает познакомиться. Я дал ему и Ваш адрес. Рекомендую Вам этого человека, который, кроме большого ума, обладает еще качеством – к несчастью, слишком редким у нас: у него всегда слово шло об руку с делом. Убеждения свои он постоянно вносил в жизнь. Это в высокой степени честный характер и сильная воля. Можно сказать положительно, что из всех наших – это самая замечательная личность»[3].

Очевидно: Плещеев и десять лет спустя после ареста оставался в тех же самых мыслях и переживаниях и предполагал, что неизменную верность кумиру молодости сохранил и Достоевский. По-видимому, он сильно ошибался.

В течение всего десятилетия с того момента, когда Достоевский возвратился в Петербург, образ «очень дорогого его сердцу человека» (эти слова о Спешневе Достоевский мог сказать в 1849 году с куда

[1] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 95.
[2] Первые русские социалисты. С. 48.
[3] Русская мысль. 1913. № 1. С. 142.

большим основанием, чем его друг Плещеев), казалось, был надежно спрятан в глубинах памяти – так, как если бы на это воспоминание был наложен запрет.

Но, может быть, от преждевременных воспоминаний его как раз и берегло чутье художника, не позволившее до срока и без творческой цели тратить редчайшее и драгоценнейшее впечатление. Когда же такой срок настал и появилась цель, пленительный образ, хранимый в душе, заявил о себе сам; тогда-то Достоевский и смог сказать: «Я из сердца взял его».

II

В СТАРИННОМ и уже упоминавшемся споре между Гроссманом и Полонским о прототипе Ставрогина был один пункт, на котором безусловно сошлись оба оппонента, – само понятие прототипа. «Живые лица глубоко не схожи с теми романическими образами, которые ими порождены, – утверждал Гроссман, в чем с ним охотно соглашался Полонский. – Они дают только первый толчок фантазии художника, которая действует затем автономно, преображает жизненный зародыш, дает ему самобытное развитие и выводит из него, наконец, художественный образ, столь самобытный и новый, что жизненный первоисточник совершенно отступает и сходство между реальностью и фикцией сглаживается подчас до неузнаваемости. Художник действует здесь по какому-то высшему произволу, которым являются категорические законы его творческого замысла, его общего стиля, его философских или иных тенденций; он берет у живого лица те черты, которых требуют эти законы творческого процесса, отбрасывая остальные и свободно преображая личность, судьбу и характер живого и подлинного оригинала»[1].

Это выразительное определение тем не менее не помогло Гроссману доказать, что прототипом Ставрогина был Бакунин, – может быть, потому, что биограф Достоевского любил во всем искать (и находить!) сходство. Но в случае со Спешневым, где сходство бы-

[1] Спор о Бакунине и Достоевском. С. 90.

ло трудно оспорить, интересней оказалось другое. Интересен был автор, творящий произвол над реальностью; интересна тенденция, ради которой реальность искажалась или преображалась. Интересен и сам произвол – то насилие, которое мог вершить Достоевский над личностью и судьбой своего Мефистофеля, когда почувствовал, что такой эксперимент ему по силам.

Фундаментальное различие между прототипом, Спешневым, и героем, Ставрогиным, которое было зафиксировано в процессе преображения оригинала в фантазию, стало средством овладения демонически хищным типом и – освобождения от него.

Одновременно это было и освобождением от себя – того, о котором Достоевский писал брату в день гражданской казни: «Как оглянусь на прошедшее да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неуменье жить; как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, – так кровью обливается сердце мое».

«Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен!» – провозглашал в романе Петр Верховенский.

За двадцать лет до событий «Бесов» этого мнения держался и Достоевский – видя перед собой Спешнева. И это была ошибка, фундаментальное заблуждение.

Оставляя за Ставрогиным все обаяние аристократизма, весь роскошный букет из мужской красоты, чувственной энергии и демонического очарования, Достоевский подверг тотальной ревизии его статус революционера-заговорщика: от коммуниста Спешнева его художественному двойнику не досталось почти ничего.

С уважением сообщали историки, что после выхода из лицея Спешнев читал только социальную и политико-экономическую литературу. С еще большим почтением исследовалось возможное влияние на него марксистских сочинений: «Коммунистический манифест», вышедший в начале 1848 года, гипотетически мог быть уже ему знаком. То есть, если бы Спешнев был в момент выхода «Манифеста» в Европе, а не у се-

бя в курском имении по хозяйственным хлопотам, он бы непременно прочел самый революционный документ эпохи.

Ставрогин, покончивший с собой октябрьским вечером 1869 года, двадцать лет спустя после гражданской казни над Спешневым и Достоевским, марксизмом уже не интересовался: товарищ по «общему делу», навестив Николая Всеволодовича в его доме, вместо Маркса, Фурье или хотя бы Луи Блана (которого Достоевский, под влиянием Спешнева, читал сам и предлагал читать брату Михаилу) обратил внимание только на альбом с картинками «Женщины Бальзака» – шикарный кипсек, задетый вертлявым нигилистом, с шумом упал на пол.

Из обширного приговора по делу Спешнева, содержавшего самые тяжкие обвинения («умысел произвести бунт», «покушение к учреждению с этой целью тайного общества», «составление предположений к произведению восстания»)[1], в досье Ставрогина попало также весьма немногое. Близко сойдясь за границей с сыном своего гувернера, Петром Верховенским, основавшим некий политический кружок, он «отчасти участвовал в переорганизации общества по новому плану, и только».

Туманное выражение «отчасти участвовал» определялось одним-единственным пунктом: организацией был принят устав, написанный лично Николаем Всеволодовичем – при том что навык составлять уставные политические документы был как бы унаследован им от прототипа.

Сопоставление образа действий и мотивов революционного поведения Спешнева и Ставрогина, двух аристократов, пошедших в демократию, обнаруживало, что Достоевский был значительно более осведомленным петрашевцем – вернее, спешневцем, – чем он это показал на следствии.

Ставрогин в ночной сцене с Шатовым объяснял: «В строгом смысле я к этому обществу совсем не принадлёжу, не принадлежал и прежде и гораздо более вас

[1] См.: Доклад генерал-аудиториата... С. 71.

имею права их оставить, потому что и не поступал. Напротив, с самого начала заявил, что я им не товарищ, а если и помогал случайно, то только так, как праздный человек».

Теперь уже невозможно установить, что именно мог слышать Достоевский от Спешнева, часто бывая у него и почти в каждый свой приезд заставая его одного (как утверждал в следственных показаниях Достоевский). Тем более невозможно доказать (или опровергнуть), что он слышал он Спешнева, революционера номер один, коммуниста и радикала, признания, подобные ставрогинскому. Скорее всего, он их действительно не слышал, потому что Спешнев ничего похожего ему сказать не мог.

Но вот как в пересказе генерал-аудиториата звучали показания Спешнева, написанные им под давлением следствия: «Он, Спешнев, никакой обязательности (в сношениях с обществом. – *Л.С.*) никогда и не допустил бы, не желая быть связан ни с кем; он всегда старался резко выставлять этот вопрос, и когда уверялся, что останется совершенно свободным и что это простое приглашение, то и соглашался посещать то или другое общество»[1]. И вот какое особое мнение о Спешневе и мотивах его поведения высказала Следственная комиссия: «Спешнев, гордый и богатый, видя самолюбие свое неудовлетворенным, желал играть роль между своими воспитанниками (то есть лицейскими товарищами). Он не имел глубокого политического убеждения, не был исключительно пристрастен ни к одной из систем социалистических, не стремился, как Петрашевский, постоянно и настойчиво, к достижению либеральных своих целей; замыслами и заговорами он занимался как бы от нечего делать; оставлял их по прихоти, по лени, по какому-то презрению к своим товарищам, слишком, по мнению его, молодым или малообразованным, – и вслед за тем готов был приняться опять за прежнее, приняться, чтоб опять оставить»[2].

Между тем в «Бесах» содержалось убедительное

[1] Доклад генерал-аудиториата... С. 60.
[2] Былое. 1924. № 25. С. 15.

доказательство того, что спешневский «Проект» был хорошо известен Достоевскому: будто издеваясь над самой сутью понятия «аффилиация», вербовщики романа действовали публично, на глазах людей случайных и почти незнакомых. «Я еще ровно никого не аффильировал, и никто про меня не имеет права сказать, что я аффильирую, а мы просто говорили о мнениях», – оправдывался Петр Верховенский.

Но, предположим, «Проект» Спешнева Достоевский так или иначе сумел прочесть – или еще до ареста, или во время допросов, когда подсудимым предъявляли документ для опознания, или позднее, в 1861 году, когда он был опубликован Герценом в «Полярной звезде». Но откуда автор «Бесов» мог знать о том, что́ происходило между Спешневым и Петрашевским наедине?

Давая показания Следственной комиссии о Черносвитове, Спешнев подробно описал одну чрезвычайно любопытную сцену. «Петрашевский пришел что-то очень не в духе, не пошел далее моей передней, спросил: «Что такое?» И, когда мы вышли на улицу, я ему сказал, что Черносвитов хочет переговорить со мной и с ним. «Только я буду представляться, что я глава целой партии, – прибавил я, – пожалуйста, и ты сделай то же, а то он ничего не скажет». – «Ну да на что это?» – отвечал мне несколько с сердцем Петрашевский. «Ну, как хочешь», – сказал я ему. Мое положение становилось затруднительно. Мы молчали всю дорогу, и уж под конец я спросил у Петрашевского: он имеет что против меня? Он отвечал, что никогда ни против кого ничего не имеет»[1].

Петрашевский показания Спешнева подтвердил, и вся сцена – в пересказе – вошла в доклад генерал-аудиториата. «По приходе Петрашевского к нему, Спешневу, когда они вышли на улицу, он, Спешнев, объявив Петрашевскому о желании Черносвитова переговорить с ними, сказал, что он, Спешнев, будет представляться, что он глава целой партии, и предложил и Петрашевскому сделать то же, в том предположении, что

[1] Первые русские социалисты. С. 113.

Черносвитов в этом случае выскажется перед ними. Но Петрашевскому это предложение не понравилось»[1].

Если Спешнев никогда прежде и никому (кроме следователей и судей) не говорил о себе как о революционере по прихоти и коммунисте из праздности, то и Достоевский знать об этом никак не мог: ни следственных показаний Спешнева, ни выводов комиссии, ни доклада генерал-аудиториата на имя государя он не читал и читать не мог ввиду секретности документов. Значит: или обычно безмолвный Спешнев был-таки в какой-то миг так же откровенен с Достоевским, как Ставрогин с Шатовым, или «благоговевший» избранник, допущенный на опасно близкое расстояние, угадал мучительную тайну холодно-молчаливого барина, чьи политические капризы он, как человек зависимый, принужден был исполнять.

III

В «ЧЕРНОВОМ проекте обязательной подписки» для вступающих в Русское тайное общество, составленном Спешневым, содержался весьма выразительный третий пункт об аффилиациях, то есть о присоединении к обществу новых членов. Слово «афильяция» (так у Спешнева), употребленное им пять раз в одном абзаце (афильировать, афильированного, афильятор и т. п.), не могло бы забыться членом общества, знакомым с «Проектом», – тем более что в нем содержалась важная инструкция: «Обязываюсь с каждого, мною афильированного, взять письменное обязательство, состоящее в том, что он перепишет от слова до слова сии самые условия, которые и я здесь даю, все с первого до последнего слова, и подпишет их. Я же, запечатав оное его письменное обязательство, передаю его своему афильятору для доставления в Комитет, тот – своему и так далее. Для сего я переписываю для себя один экземпляр сих условий и храню его у себя, как форму для афильяции других»[2].

Однако Спешнев, признавшись, что «Проект» на-

[1] Доклад генерал-аудиториата... С. 237.
[2] Там же. С. 53.

писан был им собственноручно, категорически утверждал, будто найденная у него крамольная бумага не копия, а оригинал, точнее, даже эскиз оригинала. Он клялся, что никогда ни с кем этот «Проект» не обсуждал и никому его не показывал «и только он один во всем мире может дать об этой бумаге объяснение»[1].

«В бумагах прочих обвиняемых по сему делу лиц копии обязательной подписки, найденной у подсудимого Спешнева, ни у кого не оказалось, и при расспросах тех из них, которые имели с Спешневым более близкие сношения, они отозвались, что вовсе не знали о существовании этой бумаги»[2], – комментировалось в аудиторском докладе.

Сохранив почти в точности сценарий эпизода (Верховенский приходит к Ставрогину, а затем они вместе идут к Виргинскому, на собрание «наших»; по дороге между ними возникает спор), Достоевский предоставлял Верховенскому, а не Ставрогину унизительную инициативу.

«– Вы, конечно, меня там выставили каким-нибудь членом из-за границы, в связях с Internationale, ревизором? – спросил вдруг Ставрогин.

– Нет, не ревизором; ревизором будете не вы; но вы член-учредитель из-за границы, которому известны важнейшие тайны, – вот ваша роль... Довольно, пришли. Сочините-ка вашу физиономию, Ставрогин; я всегда сочиняю, когда к ним вхожу. Побольше мрачности, и только, больше ничего не надо; очень нехитрая вещь».

Если, допустим, Достоевский слышал историю от одного из трех ее участников (третьим стал Черносвитов, которому Петрашевский рассказал, что «Спешнев, желая более заинтересовать его, Черносвитова, намерен был представиться пред ним главою партии коммунистов в России, а это он, Черносвитов, считал неблагонамеренным и возмутительным»[3]), почему он радикально изменил в ней роль Спешнева, фактически обелив его? Или он намеренно не хотел так примитив-

[1] Доклад генерал-аудиториата... С. 66.
[2] Там же. С. 55.
[3] Там же. С. 242.

но ронять достоинство аристократа, связавшегося с революционным сбродом, даже если этот аристократ сам замарал себя попыткой постыдного фарса?

В «Записке о деле петрашевцев», составленной Львовым и Петрашевским, содержалось важное замечание относительно Спешнева и его поведения на следствии. «Тон его показаний был тон насмешки – презрения ко всем почти участвовавшим в этом деле. Он хотел показать, что серьезного дела нельзя было и замышлять с такими ничтожными людьми и что он один только между ними имел преступные намерения, а отвернулся от этой молодежи потому, что не находил в них опоры. Он предполагал, может быть, что спасет этим других и один сделается интересной жертвою»[1].

Общество, собиравшееся у Петрашевского, Спешневу не нравилось и, как он признался на следствии, казалось ему каким-то грубоватым и необразованным. Визит к Спешневу Плещеева и Достоевского, явившихся однажды с предложением сходиться узким кругом знакомых в другом месте, а не у Петрашевского, где, по их мнению, полно шпионов, Спешнев интерпретировал как страх перед полицией; мысль о таких безопасных сходках, считал Спешнев, «родилась у людей робких, которые желали просто разговаривать, но боялись, что им за каждое слово может достаться»[2].

Вряд ли Достоевский совсем избежал участи презираемого, хотя и состоял при Спешневе его агитатором; однако, хорошо зная мотивы спешневского высокомерного обращения с робкими и трусливыми кружковцами, радикально изменил эти мотивы, лишив их какого бы то ни было геройства и революционной романтики. Вообще, выходило так, что роль аристократа, затесавшегося среди политических пропагаторов и агитаторов, за двадцать лет, разделивших петрашевцев и нечаевцев, претерпела болезненные изменения: измельчала, опошлилась, приблизилась к чистой уголовщине.

Или – в корне изменилось отношение бывшего

[1] Первые русские социалисты. С. 55.
[2] Доклад генерал-аудиториата... С. 59.

спешневца Достоевского к столь обаятельной когда-то для него фигуре.

Ставрогин, освобожденный от коммунистических иллюзий Спешнева и его радикальных планов, сильно корректировал образ прототипа; лишенный ореола героя-мученика за правое дело, он утрачивал и значительную долю спешневского уникального обаяния.

Ставрогин в предсмертном письме к Даше признавал: «Знаете ли, что я смотрел даже на отрицающих наших со злобой, от зависти к их надеждам? Но вы напрасно боялись: я не мог быть тут товарищем, ибо не разделял ничего. А для смеху, со злобы, тоже не мог, и не потому, чтобы боялся смешного, – я смешного не могу испугаться, – а потому, что все-таки имею привычки порядочного человека и мне мерзило. Но если б имел к ним злобы и зависти больше, то, может, и пошел бы с ними».

Давая показания Следственной комиссии, Достоевский, избавленный от каких бы то ни было внешних влияний камерой-одиночкой, говорил почти о том же и в тех же словах. Отрицая за собой вину как радикала и революционного экстремиста, но и не клеймя за это других, ему хорошо известных лиц, он утверждал: «Не думаю, чтобы нашелся в России любитель русского бунта... Всё, что только было хорошего в России, начиная с Петра Великого, всё то постоянно выходило свыше, от престола, а снизу до сих пор ничего не выказывалось, кроме упорства и невежества. Это мнение мое известно многим из тех, кто меня знает».

Интересно, однако, было ли известно Спешневу это мнение Достоевского?

На вопрос следствия: «С которых пор и по какому случаю проявилось в вас либеральное или социальное направление?» – Достоевский, уверяя, что никогда не был социалистом, а лишь любил изучать социальные вопросы, ответил прямо-таки по-ставрогински: «*Злобы и желчи во мне никогда не было*».

Личность Спешнева под пером Достоевского преображалась таким образом, чтобы крайний радика-

лизм аристократа-коммуниста был или психологически невозможен, или попросту смешон. И Ставрогин, втянувшись в общество заговорщиков по праздной прихоти, оказывался едва ли не главным обличителем «наших»; открыто презирая их, демонстрируя неповиновение политическому вождю и протестуя против террористической акции, он задним числом исправлял ошибки – те, которые признавал Достоевский и за собой, и за Спешневым.

Однако просто умерить революционные амбиции Ставрогина-Спешнева и дегероизировать Сюжет Достоевскому казалось недостаточным. Требовалась более масштабная сатисфакция, более решительный пересмотр «давнопрошедшей истории», как называл Достоевский историю петрашевцев. Авторская фантазия вторгалась в реальные события прошлых лет и перекраивала их, приписывая участникам такие поступки, на которые тогда они были неспособны – по робости, слабости или недомыслию.

И вот Шатов, ученик и приспешник Ставрогина (на эту пару явно были ориентированы реальные взаимоотношения Достоевского и Спешнева), в сильнейшем потрясении, почти умопомрачении выкрикивал в лицо своему кумиру немыслимые, неслыханные слова: «Вы, вы, Ставрогин, как могли вы затереть себя в такую бесстыдную, бездарную лакейскую нелепость! Вы член их общества! Это ли подвиг Николая Ставрогина! – вскричал он чуть не в отчаянии. Он даже сплеснул руками, точно ничего не могло быть для него горше и безотраднее такого открытия».

Надо полагать, в тот момент, когда написались столь мучительные для Достоевского-спевшневца строки, они, может быть, явились сюрпризом для него самого. Надо полагать, что в те времена, когда он был еще вместе со своим Мефистофелем и был *его*, он не осмеливался на подобные дерзости. Но он смог выговорить эти слова, находясь в другом измерении, в другой точке времени и пространства – там, где сходились вместе Спешнев и Ставрогин, Шатов и он, Достоевский, бывший участник малого спешневского кружка,

куда он по поручению Спешнева вербовал Майкова, чтобы «произвести переворот в России».

«Это ли подвиг Николая Ставрогина!» – восклицал Шатов; по логике событий и справедливости ради Достоевский мог бы, имея в виду историю с прототипами, продолжить список имен, включив в него как минимум и Спешнева, и самого себя. Этого требовал долг памяти и то понимание Сюжета, которое возникло на пересечении двух замыслов и двух заговоров – романа о своей революционной молодости и памфлета о политической злобе дня.

IV

ЗНАМЕНАТЕЛЬНО, что в «Бесах» отыскались и следы старинного денежного долга.

«–...Мне известно, – объяснял Шатову Ставрогин, – что вы вступили в это общество за границей, два года тому назад, и еще при старой его организации, как раз пред вашею поездкой в Америку и, кажется, тотчас же после нашего последнего разговора, о котором вы так много написали мне из Америки в вашем письме. Кстати, извините, что я не ответил вам тоже письмом, а ограничился...

– Высылкой денег; подождите, – остановил Шатов, поспешно выдвинул из стола ящик и вынул из-под бумаг радужный кредитный билет, – вот, возьмите, сто рублей, которые вы мне выслали; без вас я бы там погиб. Я долго бы не отдал, если бы не ваша матушка: эти сто рублей подарила она мне девять месяцев назад на бедность, после моей болезни».

Важно, что нищий Шатов отдал из последних денег, фактически из подаяния, ту самую сумму, которую в крайнюю минуту брал в долг, – для него сто рублей были такие же гигантские деньги, как для Достоевского пятьсот. Важно, что Ставрогин долги своих должников принимал деньгами, а не услугами. Роман исправлял действительность: герои, наученные горьким опытом прототипов, в особо щепетильных случаях старались вести себя строже и осмотрительнее.

Громко аукнулась в романе и еще одна таинственная история, восходящая к событиям двадцатилетней давности.

Из показаний подсудимого Спешнева: «Под влиянием разговоров в обществе Дурова он, Спешнев, решился было устроить у себя типографию и упросил подсудимого Филиппова заказать разные части типографского станка. Впрочем, как и всегда, едва приступил к исполнению худого намерения, стал раздумывать и старался только получить от Филиппова все вещи, чтобы они не оставались в его руках»[1].

Спешневу возражал Филиппов. «Он, Филиппов, недели за две до ареста вознамерился устроить уже не литографию, а типографию и действовать независимо и в тайне от других, предполагая собирать и распространять печатанием такие сочинения, которые не могут быть напечатаны с дозволения цензуры. С этой целью он, Филиппов, занял у Спешнева денег и заказал для типографии нужные вещи, из коих некоторые уже привезены были к Спешневу и оставлены, по его вызову, в квартире его. Сей умысел не касается никакого кружка и никаких лиц, кроме его, Филиппова, и Спешнева, ибо оба они положили хранить это дело в величайшей тайне»[2].

Спешнев все же настаивал, что мысль о заведении типографии принадлежит именно ему, а не Филиппову и что Филиппов напрасно в этом случае берет на себя вину.

О степени искренности признаний и Спешнева и Филиппова можно было судить но письму Майкова, уже частично здесь цитированному. «Впоследствии я узнал, что типографский ручной станок был заказан по рисунку Филиппова в разных частях города и за день, за два до ареста был снесен и собран в квартире одного из участников, Мордвинова... Когда его арестовали и делали у него обыск, на этот станок не обратили внимания, у него стояли в кабинете разные физические и другие инструменты и аппараты, но дверь опечатали.

[1] Доклад генерал-аудиториата... С. 64.
[2] Там же. С. 194.

8/ Отставнаго Поручика Достоевскаго, за такое же участіе въ преступныхъ замыслахъ, распространеніе письма литератора

74

Бѣлинскаго, наполненнаго дерзкими выраженіями противъ Православной церкви и верховной власти и за покушеніе, вмѣстѣ съ прочими, къ распространенію сочиненій противъ Правительства посредствомъ домашней литографіи, — лишить всѣхъ правъ состоянія и сослать въ каторжную работу въ крѣпостяхъ на четыре года, а потомъ опредѣлить на службу рядовымъ.

Заключение генерал-аудиториата по делу Ф.М. Достоевского

По уходе Комиссии и по уводе Мордвинова – домашние его сумели, не повредив печатей, снять двери с петель и выкрали станок. Таким образом, улика была уничтожена. Обо всем этом деле Комиссия ничего не знала, не знал и Петрашевский, и изо всех избегших ареста только я один и знал»[1].

Типография, не найденная при обыске, не отяготившая вины Спешнева (давшего деньги на ее изготовление), Филиппова (сделавшего чертежи и для конспирации заказавшего детали станка в разных мастерских Петербурга), Мордвинова (на чьей квартире станок был собран), Достоевского (в числе других участников спешневской семерки посвященного в суть дела), тем не менее вопреки утверждению Майкова не была уничтожена. Ее следы обнаружились гораздо раньше, чем было написано (1885) и тем более впервые опубликовано (1922) знаменитое письмо Майкова к Висковатову[2] с сенсационными подробностями по делу спешневца Достоевского.

Выкраденная семьей сенатора Мордвинова из комнаты его сына, участника дуровского и спешневского кружков, типография в течение двадцати лет пребывала в нетях, чтобы всплыть по воле одного из кружковцев при особых обстоятельствах. Собранный в 1849 году, но ни разу так и не использованный ручной станок, повинуясь художественной фантазии Достоевского, стал в его романе средством шантажа и поводом к политическому убийству.

«Вам... поручили принять здесь, в России, – объяснял Ставрогин Шатову, предупреждая о грозящей опасности, – от кого-то какую-то типографию и хранить ее до сдачи лицу, которое к вам от них явится... Вы же, в надежде или под условием, что это будет последним их требованием и что вас после этого отпустят совсем, взялись... Но вот чего вы, кажется, до сих пор не знаете: эти господа вовсе не намерены с вами расстаться».

[1] Цит. по: Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений. В 30-ти тт. Т. 18. С. 192.

[2] Письмо впервые было опубликовано в статье Е.Б. Покровской «Достоевский и петрашевцы» // Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А.С. Долинина. Пг., 1922. С. 266–277.

И Шатову, дерзнувшему порвать с «этими господами», предстояло «сдавать станок и буквы и старые бумажки». «Господам» же надлежало «завлечь Шатова, для сдачи находившейся у него тайной типографии, в то уединенное место, где она закопана», чтобы там уже «распорядиться». Юноша Эркель, явившись к Шатову, чтобы его «завлечь», объявлял ему: «У вас станок, вам не принадлежащий и в котором вы обязаны отчетом, как знаете сами». В контексте давно прошедшей истории слова фанатичного кружковца звучали как тяжелая улика против подсудимого Достоевского.

Уже не только уликой, а фактическим признанием в соучастии при сборке станка на квартире Мордвинова мог служить и другой фрагмент диалога Шатова и Эркеля.

«– Как же вы возьмете (станок. – *Л.С.*)? Ведь это нельзя зараз взять в руки и унести.

– Да и не нужно будет. Вы только укажете место, а мы только удостоверимся, что действительно тут зарыто. Мы ведь знаем только, где это место, самого места не знаем. А вы разве указывали еще кому-нибудь место?

Шатов посмотрел на него.

– Вы-то, вы-то, такой мальчишка, – такой глупенький мальчишка, – вы тоже туда влезли с головой, как баран? Э, да им и надо этакого соку!»

За всех, кому удалось тогда избежать наказания, или, обманув следствие, уменьшить его размеры, должен был теперь расплачиваться Шатов. В тот самый момент, когда он, завлеченный в «уединенное место», указал, где копать, и воскликнул: «Ну, где же у вас тут заступ и нет ли еще другого фонаря?» – трое сбили его с ног и придавили к земле; за минуту до акции между ее исполнителями действительно решался вопрос о судьбе станка.

«– Если не ошибаюсь, сначала произойдет передача типографии?..

– Ну разумеется, не терять же вещи... Пусть он укажет только вам точку, где у него тут зарыто; потом сами выроем...»

Почему-то, однако, заговорщики, заметая следы, так и не вырыли ценную «вещь»; давая откровеннейшие показания следствию, они даже не упомянули о типографском станке – будто его никогда и не было.

Собственно говоря, здесь его и в самом деле не было; существовал фантом, тайна, когда-то, видимо, немало измучившая Достоевского, скрывшего от судей, вслед за другими спешневцами, опаснейший сюжет. Теперь, за давностью лет, тайна была уже не столь опасна; к тому же художественную улику вряд ли можно было бы законным путем использовать против автора или его бывших однодельцев. С чистой совестью он мог бы теперь воскликнуть вслед за членом пятерки Виргинским, почти обрадовавшимся при аресте: «С сердца свалилось».

...О.Ф. Миллер писал об удивительном благодушии, с которым Достоевский, заключенный в крепость, отнесся к своему положению. «По собственным словам Ф.М., он сошел бы с ума, если бы не катастрофа, которая переломила его жизнь. Явилась идея, перед которой здоровье и забота о себе оказались пустяками»[1].

Если под спасительной идеей подразумевалось покаянное отрешение от тяжелых ошибок молодости, ему нужно было научиться не сожалеть о прошлом, а художественно преобразить его. Лишь здесь, в беспредельности романного вымысла, где он был хозяином положения и господином разговора, являлся шанс не только уплатить, но и получить по счетам.

«Поймите же, – кричал Петр Степанович Николаю Всеволодовичу, – что ваш счет теперь слишком велик, и не могу же я от вас отказаться! Нет на земле иного, как вы!»

У Достоевского имелись и собственные резоны для подобных заявлений. Его счет Ставрогину был также слишком велик – намного больше, чем того стоили одни лишь политические «подвиги» Николая Всеволодовича и его прототипа.

[1] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 112.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Соус из зайца

I

НЕМНОГОСЛОВНЫЙ мемуар-рассказ Спешнева, записанный А.Г. Достоевской, содержал одну поразительную – в «психологическом смысле» – подробность. «На Федора Михайловича, – сообщил ей Спешнев, – Петрашевский производил отталкивающее впечатление тем, что был безбожник и глумился над верой»[1].

Ничего особенно нового эта подробность не содержала – об отношении Достоевского к Петрашевскому можно было судить по другим мемуарным источникам и по собственным высказываниям писателя – хотя бы в письме к брату Михаилу из Омска («Петрашевский по-прежнему без здравого смысла»).

Но о кощунственном богоотрицании, так возмущавшем Достоевского отнюдь не только в Петрашевском, высказывал мнение не кто иной, как Спешнев, воинствующий атеист номер один, в чьем судебном приговоре перечень провинностей начинался с богохуления.

Психологическое потрясение, которое пережил Достоевский 22 декабря 1849 года на Семеновском плацу, должно было навсегда сохранить в его памяти не только обряд приготовления к казни, но и сцены прощания с товарищами. «Я успел тоже обнять Плещеева, Дурова, которые были возле, и проститься с ними», – писал он брату вечером того же дня, когда все было уже позади.

Однако за считанные минуты до начала казни Достоевский, если верить другому воспоминателю из числа приговоренных, «успел» не только обнять стоявших рядом Дурова и Плещеева. Он – ввиду экстраор-

[1] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 91.

динарности события – решился переговорить со Спешневым.

По-видимому, это случилось уже тогда, когда приговор полевого уголовного суда был прочитан, осужденным была выдана их предсмертная одежда – саваны и колпаки – и священник с Евангелием и крестом обратился к ним со словами: «Братья! Пред смертью надо покаяться... Кающемуся Спаситель прощает грехи. Я призываю вас к исповеди...»[1] В тот самый момент, когда К.И. Тимковский, единственный из всех пожелавший исповедаться, обратился к священнику, Достоевский подошел к Спешневу.

«Достоевский, – писал спустя десятилетие после событий 1849 года петрашевец Львов, – был несколько восторжен, вспоминал «Последний день осужденного на смерть» Виктора Гюго и, подойдя к Спешневу, сказал: «Nous serons avec le Christ» («Мы будем вместе со Христом»). «Un peu de poussiére» («Горстью праха»), – отвечал тот с усмешкою»[2].

Через минуту первую тройку – Петрашевского, Момбелли и Григорьева – повели, привязали к столбам и завязали глаза. «Момбелли, подымите ноги выше, – по версии Львова, сказал Петрашевский, – а то с насморком придете в царство небесное»[3].

Душевный порыв восторженного и, по отзыву Львова, как бы излишне торжественного Достоевского был встречен холодно и насмешливо: даже за минуты до смерти ни Спешнев, ни Петрашевский не смогли воздержаться от привычного атеистического эпатажа.

«Момент этот был поистине ужасен, – вспоминал не столь экзальтированный, как Достоевский, петрашевец Ахшарумов. – Видеть приготовление к расстрелянию, и притом людей, близких по товарищеским от-

[1] Д.Д. Ахшарумов. Из моих воспоминаний. С. 108.

[2] Записка о деле петрашевцев. Рукопись Ф.Н. Львова с пометками М.В. Буташевича-Петрашевского // Литературное наследство. Т. 63. Наука, 1956. С. 188. Львов, отбывавший каторгу вместе с Петрашевским, Спешневым и Момбелли на Александровском заводе, а затем сотрудничавший (с Петрашевским и Спешневым) в иркутских газетах, имел возможность, составляя текст «Записки» для пересылки ее в герценовский «Колокол», проверить свою память. Может быть даже, этот эпизод он записал со слов Спешнева.

[3] Там же.

ношениям, видеть уже наставленные на них, почти в упор, ружейные стволы и ожидать – вот прольется кровь и они упадут мертвые, было ужасно, отвратительно, страшно...»[1] Одернуть в такой момент товарища, превозмогающего страх смерти спасительной мыслью о Христе, было не совсем великодушно.

Между тем у Достоевского была возможность здесь, у эшафота, дать естественный выход своему религиозному чувству, обратившись к священнику. Однако вместе с двадцатью другими товарищами он, не внимая призывам и увещаниям батюшки, отказался от исповеди и покаяния, ограничившись, как и все, целованием креста.

Зная, однако, что Спешнев – скептик и атеист, зачем все-таки Достоевский подошел в такую минуту именно к нему? В надежде на сердечное утешение? Затем, что душа Спешнева заботила его больше, чем своя собственная? Или с безотчетным стремлением художника воочию увидеть нераскаявшегося вольнодумца, презирающего самую мысль о бессмертии души и божественной благодати?

За три года общения с петрашевцами Достоевский не раз сталкивался с богохульством в самых грубых его формах. «Особенно обращал на себя внимание обычай разговляться в Страстную пятницу, и это происходило (как говорили тогда) уже несколько лет посреди Петербурга»[2], – вспоминала Н.А. Огарева-Тучкова. «В пятницу на Страстной неделе, – писал о Петрашевском и П.П. Семенов-Тян-Шанский, – он выставлял на столе, на котором обыкновенно была выставляема закуска, кулич, пасху, красные яйца и т. п.»[3]. Религия вредна, говорилось на собраниях у Петрашевского, потому что подавляет образование ума и заставляет человека быть добрым не по собственному убеждению, а из страха наказания. Петрашевский вместе с другими «доказывал недостоверность всех книг Священного писания Ветхого и Нового завета и, называя

[1] Д.Д. Ахшарумов. Из моих воспоминаний. С. 108.
[2] Н.А. Огарева-Тучкова. Воспоминания. С. 65.
[3] П.П. Семенов-Тян-Шанский. Мемуары. Т. 1. С. 197.

их изданиями апокрифными, говорил, что все наши четыре Евангелия писаны не апостолами, слушавшими учение Иисуса Христа, а позднейшими мыслителями, принадлежащими к касте духовенства, жаждавшего забрать в свои руки власть»[1].

На собраниях у Петрашевского толковали, что путем разума и с помощью науки нельзя положительно доказать ни бытия Божия, ни его небытия – и то и другое останется только гипотезой. Принято было издеваться над духовенством; богословие называлось бреднями, вышедшими из монашеских клобуков. Утверждалось, что сам Иисус Христос не Бог, а простой человек, «такой же, как и мы, но гениальный и посвященный в таинства наук, нововводитель, умевший воспользоваться своим положением»[2]. В одной из найденных у Петрашевского речей Иисус Христос был назван демагогом, несколько неудачно кончившим свою карьеру.

Согласно законам Российской империи времен Николая Павловича, такие речи не сулили ничего хорошего. Военный суд над петрашевцами в приговоре своем опирался на статью 142 Свода Военных постановлений, гласившую: «Кто возложит хулу на Господа Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа, или на Пресвятую Матерь Божию, деву Марию, или на честный крест, или поносит службу Божию и церковь православную и ругается Св. писанию и Св. таинствам и в том явно изобличен будет, тот подвергается лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу, а сверх того и публичному церковному покаянию». Статья 144 добавляла: «Кто, слыша таковое хуление, благовременно о том не донесет, тот почитается участником в сем преступлении и подлежит наказанию, смотря по вине». Статьи 183 и 184 «Уложения о наказаниях» разъясняли: учинивший преступление не в церкви, но в публичном месте или при собрании, более или менее многолюдном, приговаривается к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжную работу на за-

[1] Доклад генерал-аудиториата... С. 125.
[2] Там же. С. 21.

водах на время от шести до восьми лет. Учинивший же преступление хотя и «не публично, но при свидетелях, с намерением поколебать их веру или произвести соблазн», также приговаривался к лишению всех прав состояния и к ссылке на поселение в отдаленнейших местах Сибири[1].

По признанию петрашевца Тимковского, он впал в бездну неверия и злочестия, будучи доведен до нее всеми тонкостями самой хитрой и лукавой диалектики; причем главным искусителем тридцатичетырехлетнего титулярного советника назывался не Петрашевский, а Спешнев. Среди бумаг Спешнева, взятых при обыске, были найдены три письма к нему Тимковского, где автор, впавший в атеистический соблазн, сообщал о тяжелых жертвах, принесенных им на алтарь истины. Он, в частности, писал, что отказался говеть вместе со своей глубоко верующей женой, и объяснял ей, что не видит в том никакой необходимости. Описывая свои страдания вследствие разрушенного семейного счастия, Тимковский заключал, что «все это может служить для Спешнева мерилом относительно доверия, которое он может оказывать ему (Тимковскому. – *Л.С.*), имевшему варварскую решимость пожертвовать столь драгоценным для него сердцем дикой любви своей к истине»[2].

Ни на одно из своих писем к Спешневу ответа Тимковский, разумеется, не получил; проклинал почту, принимал меры предосторожности и на конвертах писал обратный адрес своего брата; задавал множество вопросов и выспрашивал мнение Спешнева о самых разных предметах, рассчитывая хоть на малую моральную помощь. В последнем письме он не выдержал и пожаловался: «Поистине я не могу объяснить себе Вашего молчания. – Да напишите же мне несколько строк, на кого ж полагаться, если мы не можем положиться на нас троих позднее, а теперь на двух. Во всяком случае в начале лета я приеду на несколько дней в Петербург. Все меня оставляют, а Вы в особенности»[3].

[1] Цит. по: Петрашевцы: Сб. материалов. Т. 3. С. 288–289.
[2] Там же. С. 112.
[3] Там же. С. 113.

Вместо ожидаемого спешневского Тимковский получил темное и вычурное письмо от Петрашевского – с подозрениями в приверженности к религиозным поверьям, мистике и магнетизму. На следствии, вынужденный давать показания в связи с найденными письмами, Спешнев заявил, что Тимковский – человек горячий, восторженный, с расстроенными нервами, совершенно откровенный и религиозный и что на его письма он, Спешнев, не отвечал по лености.

II

В ПОЛОЖЕНИИ Тимковского, напрасно пожертвовавшего семейным спокойствием ради самолюбивой надежды услышать от Спешнева слова сочувствия и одобрения, мог оказаться каждый, кто не избежал его исключительного влияния. В том числе и Достоевский – неизвестно, случалось ли ему в угоду крайнему атеизму Спешнева и в его присутствии скрывать собственную религиозность, а также молча сносить вспышки богохульства своего кумира. Как бы то ни было, двадцать лет спустя автор «Бесов» настойчиво добивался реванша: Шатов, такой же горячий и восторженный богоискатель, как в молодые годы Достоевский, восставал на Ставрогина за его насмешливое богохульство.

«–...Чтобы сделать соус из зайца, надо зайца, чтобы уверовать в Бога, надо Бога... Ваше же подлое выражение... Это вы в Петербурге, говорят, приговаривали, как Ноздрев, который хотел поймать зайца за задние ноги.

– Нет, тот именно хвалился, что уж поймал его. Кстати, позвольте, однако же, и вас обеспокоить вопросом, тем более что я, мне кажется, имею на него теперь полное право. Скажите мне: ваш-то заяц пойман ли аль еще бегает?

– Не смейте меня спрашивать такими словами, спрашивайте другими, другими! – весь вдруг задрожал Шатов.

– Извольте, другими, – сурово посмотрел на него

Николай Всеволодович, – я хотел лишь узнать: веруете вы сами в Бога или нет?»

«Соус из зайца», «с насморком в царство небесное», «мы будем со Христом горстью праха» – все это были фразы одного лексикона, болезненно знакомого Достоевскому (и, по-видимому, болезненно ему ненавистного) еще по тем временам, когда он посещал вместе со Спешневым «пятницы» Петрашевского даже и на Страстной неделе: факт своего присутствия в Страстную пятницу 1 апреля 1849 года, на собрании с разговлением и пасхальным угощением, был подтвержден на следствии им самим. Так что, если бы задним числом он решился следовать логике Шатова, ему пришлось бы по-шатовски же и одернуть Спешнева в том фантастическом разговоре у эшафота – это был именно такой случай, когда абсолютно необходимы были слова из будущего романа: «Мы два существа и сошлись в беспредельности... в последний раз в мире. Оставьте ваш тон и возьмите человеческий! Заговорите хоть раз в жизни голосом человеческим. Я не для себя, а для вас».

В глазах судей, однако, и он, Достоевский, негодовавший от грубых атеистических выходок Петрашевского, был таким же богохульником: свой смертный приговор он получил за чтение «преступного письма» Белинского, полного (как было сказано в «деле») дерзких выражений против православной церкви и верховной власти. Собственно говоря, он поплатился за свою страсть и пафос, с которыми читал письмо, вызывая у слушателей пылкий энтузиазм. На следствии он вынужден был скрывать и свою страсть, и восторги товарищей. «Я его прочел, стараясь не выказывать пристрастия ни к тому, ни к другому из переписывавшихся. По прочтении письма я не говорил об нем ни с кем из бывших у Петрашевского. Мнений об этой переписке тоже не слыхал. При чтении слышны были иногда отрывочные восклицания, иногда смех, смотря по впечатлению, но из этого я не мог заметить чего-нибудь целого. К тому же, быв занят чтением, я не могу даже сказать теперь, чьи были восклицания и смех, ко-

торые были слышны». «Я прочел эту статью ни более ни менее как литературный памятник, твердо уверенный, что она никого не может привести в соблазн», – настаивал он. «Я не поджигал кругом меня никого...»

Он никогда и не принял бы на свой счет обвинений в атеистической агитации; хотя товарищи его говорили, что для пропаганды идей страстная натура автора «Бедных людей» представлялась идеальной, ибо ошеломляла. Над его нервным лицом потешался Белинский: «Мне умилительно смотреть на него... каждый-то раз, когда я вот так (то есть с пренебрежением. – *Л.С.*) помяну Христа, у него все лицо меняется, точно заплакать хочет». Неудивительно, что именно в разгар работы над «Бесами», когда нахлынули на него воспоминания о «грустном, роковом времени», он поделился со Страховым самым своим болезненным впечатлением молодости: «Этот человек (Белинский. – *Л.С.*) ругал мне Христа по-матерну...»

На каторгу он шел без злобы и желчи и готов был обнять «хоть кого-нибудь из прежних» – лишь сокрушался, что столько раз «грешил против сердца своего и духа». Но, едва выйдя из каторги с Евангелием, подаренным ему на тобольской пересылке Н.Д. Фонвизиной, женой «ссыльного старого времени», он буквально исповедался перед ней – как перед духовником. Была причина, по которой он не побоялся выглядеть в глазах участливой и доброй дамы навязчиво откровенным. «Я слышал от многих, что Вы очень религиозны, Наталья Дмитриевна. Не потому, что Вы религиозны, но потому, что сам пережил и прочувствовал это, скажу Вам, что в такие минуты жаждешь, как «трава иссохшая», веры, и находишь ее, собственно потому, что в несчастье яснеет истина. Я скажу Вам про себя, что я – дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных».

Страшные мучения терзали его, видимо, и на кощунственной Страстной пятнице у Петрашевского

1 апреля 1849 года, где разговлялись, как в пасхальное воскресенье; и на политическом обеде у Спешнева в Страстную субботу 2 апреля 1849 года; и во время программного атеистического выступления Спешнева, в котором докладчик рекомендовал всем «без всякого стыда и совести, без всякого зазора» распространять социализм, атеизм и терроризм как истинно доброе дело; и у эшафота, когда жажда веры опять была в нем, благоговевшем ученике, насмешливо унижена. И был только один способ радикально избавиться от дурной бесконечности сомнений и этого вечного «соуса из зайца», которые доводили его в те времена до тошной тоски. В «Бесах» душевное смятение автора, оплаченное столь дорогой ценой, было обозначено точными словами и реализовалось в сюжет.

«– Я верую в Россию, я верую в ее православие... Я верую в тело Христово... Я верую, что новое пришествие совершится в России... Я верую... – залепетал в исступлении Шатов.

– А в Бога? В Бога?

– Я... я буду веровать в Бога.

Ни один мускул не двинулся в лице Ставрогина. Шатов пламенно, с вызовом смотрел на него, точно сжечь хотел его своим взглядом».

Вряд ли в тот роковой 1849 год между Достоевским и его Мефистофелем мог состояться подобный диалог; вряд ли отношения между учеником и учителем были уже столь обнаженно обострены. И если только могучее влияние и в самом деле имело место, пять лет спустя оно вполне могло ослабеть – хотя бы потому, что было резко и насильственно прервано. «Бог посылает мне иногда минуты, – писал он Н.Д. Фонвизиной из Омска, – в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто

мне доказал, что Христос вне истины, и *действительно* было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».

Это был не пламенный вызов, а осознанный выбор: тот, кто доказывал и как будто действительно доказал (может быть, и впрямь трактат Спешнева об атеизме содержал, как тогда казалось Достоевскому, некие «неотразимые аргументы»), что пресловутый заяц так и не пойман, терял своего преданного ученика и пропагандиста. Мысленно продолжая тот почти нереальный разговор у расстрельных столбов, Достоевский наконец нашел симметричный ответ. «Мы будем вместе со Христом», – сказал он тогда. Но даже если за чертой жизни ему действительно оставалось быть лишь горстью праха, то и в таком случае сейчас он готов был верить в обратное. Он исправлял свою тогдашнюю оговорку «Мы будем...», не поддержанную его атеистическим учителем. Он готов был – пусть учитель и окажется прав – отказаться и от учителя и от истины. «Мне лучше хотелось бы оставаться со Христом...»

III

ОСТАНЕТСЯ великой художественной загадкой, почему символ веры, высказанный в исповедальном частном письме к выдающейся женщине, подарившей каторжанину Достоевскому Евангелие, спустя много лет он «отдал» персонажу, в чьих устах религиозное откровение автора должно было выглядеть как дерзкая профанация. «Не вы ли говорили мне, – спрашивал бедный, обманутый Шатов у атеиста Ставрогина, – что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной? Говорили вы это? Говорили?»

Достоевский будто примерял свое кредо, добытое тяжкой духовной работой и годами испытаний, на испорченном барине – закоренелом безбожнике и неисправимом грешнике; и выходило так, что даже и откровеннейшая религиозная исповедь могла стать веро-

ломной игрой. Выходило так, что герой, уже избравший как будто путь «со Христом», вновь и уже необратимо терял веру – пусть бы даже ему математически доказали, что истина как раз-таки в ней.

«Дело в вас, а не во мне... – кричал Шатов Ставрогину в той фантасмагорической ночной сцене. – Я об вас говорю, я вас два года здесь ожидал...» В тот момент, когда сочинялся роман о демоне, дело и было именно в нем – праздном и развратном барине, потерявшем веру и связь с родной почвой. Дело было в том религиозном задании, которое поставил перед собой Достоевский.

«Факт показал нам тоже, – писал он Майкову, когда еще надеялся задание выполнить, – что болезнь, обуявшая цивилизованных русских, была гораздо сильнее, чем мы сами воображали, и что Белинскими, Краевскими и проч. дело не кончилось. Но тут произошло то, о чем свидетельствует евангелист Лука... Точь-в-точь случилось так и у нас. Бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, т.е. в Нечаевых, в Серно-Соловьевичей и проч. Те потонули или потонут наверно, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисусовых. Так и должно быть. Россия выблевала вон эту пакость, которою ее окормили, и, уж конечно, в этих выблеванных мерзавцах не осталось ничего русского».

Грандиозная задача по исцелению одержимых и бесноватых, а также скорейшему потоплению «выблеванных мерзавцев» выглядела в реальности как грандиозная же, но неосуществимая мечта: Ставрогин упрямо отказывался садиться «у ног Иисусовых». На него – в его доромановом существовании – примерялись самые разные роли и маски; для него проектировалось героическое будущее – пойти в мужики, монахи или раскольники, наложить на себя суровую аскезу, заняться скромной, но полезной деятельностью, стать новым человеком, прошедшим через все искушения и избравшим путь покаяния и самоисправления.

Однако каждый новый план спасения Ставрогина наталкивался на непреодолимое препятствие, иду-

щее как бы изнутри личности героя-демона, радикально изменить которую не удавалось. Автор мог сочинить для героя обольстительную внешность, изысканный костюм, биографию, полную влекущих тайн, мог наделить его неотразимым чувственным обаянием и поднять на безмерную высоту. Он мог бросить под ноги своему победительному красавцу всех и всё – отчаянную и самозабвенную любовь женщин, роковую привязанность мужчин и даже свой собственный символ веры, рожденный в муках религиозного сомнения.

Но какие бы подвиги ни совершал герой, какие бы пламенные проповеди он ни произносил, насаждая в сердцах «паствы» «Бога и родину» или, напротив, заражая ее гордыней своеволия, он сам ничему этому не верил и поверить не мог. Тайной героя-демона, тайной романа о нем и прежде всего тайной автора оказывался вопрос: не смог или не захотел Достоевский направить своего героя на путь христианского спасения? Да и кто на самом деле распоряжался судьбой дьявольски обворожительного Ставрогина – автор или он сам, образ-фантом, пленивший писателя, а затем заявивший ему свои права и свою волю?

В своем исследовании о Достоевском К.В. Мочульский высказал в этой связи удивительное предположение. «Когда в первоначальной туманности вспыхивает огненная точка его (Ставрогина. – *Л.С.*) духа, начинается борьба творца с творением. Ставрогин, как Протей, принимает различные формы, прячется под всевозможными масками, но никогда не теряет неукротимой силы своего Я. В гордом своеволии он отстаивает свободу и не повинуется своему творцу. Невольно кажется, что, раз возникнув, он идет своим собственным путем, не считаясь с заданиями и намерениями автора. В нем жуткая, таинственная жизнь, и трудно поверить, что его личность – только литературный вымысел»[1].

Демон Достоевского и не был только литературным вымыслом, причудливой фантазией хотя бы даже и благородного романтического толка. Перед творцом

[1] К. Мочульский. Достоевский. Жизнь и творчество // К. Мочульский. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М.: Республика, 1995. С. 432.

Ставрогина была судьба прототипа, которой тот распорядился по своему усмотрению и – насколько об этом мог судить Достоевский – ни от кого не ждал и, скорее всего, не думал о религиозном спасении.

«– Вы атеист? Теперь атеист?

– Да.

– А тогда?

– Точно так же, как и тогда.

– Я не к себе просил у вас уважения, начиная разговор; с вашим умом вы бы могли понять это, – в негодовании пробормотал Шатов».

Очень может быть, что такого или подобного диалога между Достоевским и Спешневым в ту их единственную встречу десять лет спустя после эшафота, когда по фантастическому совпадению оба они едва ли не в один день оказались в Петербурге и Достоевский принимал Спешнева у себя на новоселье, никогда не было. Но Достоевский не мог бы не увидеть, не мог бы не почувствовать, не мог бы не узнать, что его прежний учитель «всё еще в тех же мыслях», что – по всем внешним признакам – он равно чужд и неистовой жажде верить, и страшным мучениям религиозного неверия. Спешневу, прошедшему те же лишения, те же испытания, что и Достоевский, заслужившему всеобщее уважение на каторге и в ссылке (Достоевский сам писал об этом брату), нашедшему себя в достойной и полезной деятельности уже на свободе, его безверие никак не мешало жить и вовсе не побуждало к самоистреблению.

Всего за год до этой невообразимой встречи, случившейся по столь радостному для обоих поводу, на глазах у близких друзей, но не оставившей никаких свидетельств, имел место другой эпизод, в котором с большой выразительностью было зафиксировано умонастроение бывшего Мефистофеля и будущего прототипа: видимо, именно таким увидел Достоевский Спешнева год спустя.

Мемуаристка, встречавшаяся осенью 1858 года в Иркутске с тремя изгнанниками, Спешневым, Петрашевским и Львовым, вспоминала: «Они все трое здесь приняты, видимо, очень хорошо. Странно мне, петер-

бургской жительнице, было видеть этих людей. Чувство боязни, негодования, досады и в то же время жалости являлось во мне... Я вглядывалась в них пристально. Петрашевский и Львов были на вид очень веселы, смеялись, толковали и врали разную чушь, как будто бы над головами их никогда не проходили страшные события; как будто бы не высидели они 9 месяцев в крепости, не были приговорены к смертной казни и не стояли у столба против солдат с заряженными ружьями... Все это, казалось мне, должно было бы оставить на них неизгладимые следы!.. Впрочем, на Спешневе и видна печать несчастия: он молчалив, задумчив; улыбки не видно на этом прекрасном лице, уже покрытом преждевременной сединой и морщинами; ему теперь около 40 лет. Он среднего роста, тонок; продолговатое бледное лицо, правильные черты, черные длинные волосы придают какую-то внешнюю прелесть этому изгнаннику. Жаль его и хотелось бы утешить, исцелить его и довести до раскаяния; хотелось бы по сердцу поговорить с ним, чтобы обратить к Богу эту заблудшую душу... Но они все трое ни во что не веруют. Грустно видеть их, и мне всегда жаль подобных людей: их взор, как неверующих, ни на минуту не отрывается от земли, и нет им отрады вне тесной, чувственной жизни. На небе они не ищут ничего...

Львов и Спешнев были и на вечере у графа. Спешнев на вид – le type du comme il faut, не изменял себе, молчал и там, как везде. Львов, напротив, болтал без умолку, извивался между молодежью и с увлечением полькировал. Он и меня старался убедить в своем злобном безверии. Львов – опасный человек: очень умен, много читал и страшный материалист. По уму он мне нравится.

Отрицают самообольщенно эти господа чистейшие и высокие наслаждения жизни, но что же они могли бы дать взамен отнятых благ? Чем вознаградят они потерю святых и подкрепляющих нас верований? На это ни один из них не ответил»[1].

[1] В.П. Быкова. Записки старой смолянки (1858 – 1876). Ч. 2. СПб., 1899. С. 34–35.

Вопрос – что же они, закосневшие в злобном безверии прежние товарищи Достоевского, могли бы дать взамен – был поставлен в романе еще более категорично. Но, предъявляя господам атеистам такой ультиматум, Достоевский прежде всего «пропустил» через Ставрогина, умом как бы признающего существование Бога и необходимость религии, но сердцем не верующего, все свои главные христианские интуиции.

Можно ли веровать, будучи цивилизованным, то есть европейцем, и веровать безусловно в божественность Сына Божия Иисуса Христа? Поскольку цивилизация на этот вопрос отвечает фактами, что нельзя, можно ли существовать обществу без веры, на одной только «научной» нравственности? Если православие невозможно для просвещенного человека, если невозможно серьезно и абсолютно веровать, то «вовсе не так неизвинительно, если кто потребует, что лучше всего всё сжечь. Оба требования совершенно одинаково человеколюбивы (медленное страдание и смерть и скорое страдание и смерть. Скорое, конечно, даже человеколюбивее)».

IV

Откровеннейшие, глубочайшие мысли Достоевского о вере и неверии, его религиозный опыт и его «осанна» проверялись на совместимость с натурой человека, которому было отказано в великом даре веры и который оставлен был «на одни свои силы». Ставрогин – на предварительном этапе этого беспрецедентного эксперимента – рассуждал: «Нечаев потому и спокоен, что верует, что христианство не только необходимо для живой жизни человечества, но и положительно вредно и что если его искоренить, то человечество тотчас оживет к новой *настоящей* жизни. В этом их страшная сила. Западу не справиться с ними, увидите: всё погибнет перед ними... Другие же устраивают себе разные пищеварительные философии в том смысле, что христианство совместимо даже с бесконечным ходом цивилизации, не только с нынешним. Но ведь мы

с вами знаем, что всё это вздор и что есть только две инициативы: или вера, или жечь. Нечаев взял последнее, – и силен и спокоен. Я только приглядываюсь к нему и хочу разыскать, что в его силе от убеждения, а что просто от натуры?»

В тот момент, когда Достоевский, пристально вглядывавшийся в свое прошлое, полное неверия и сомнений, «разыскал» и понял, что его герой – «мрачный, страстный, демонический и бепорядочный характер, безо всякой меры» – от века обречен на безверие, что оно неискоренимо и неисправимо в нем, судьба Ставрогина была решена и борьба за его спасение закончена. Личность и биография Спешнева, не искавшего путей к Богу, не каявшегося и не мучившегося своим безверием, оставались частным фактом: после возвращения ему дворянства в 1860 году он поселился в имении своей матери в Псковской губернии, а после освобождения крестьян был назначен и стал мировым посредником первого призыва в своем уезде. «Спешнев твердо стоит за интересы крестьян и очень равнодушен к интересам помещиков, – доносил в мае 1862 года местный жандармский чин столичному начальству. – Усиленно хлопочет о сближении с простым сословием и очень сух и холоден в обращении с помещиками. Дворянство, за весьма малыми исключениями, ненавидит его, но крестьяне любят и довольны»[1]. Бывшие крепостные крестьяне Островского уезда, как сообщали газеты, получили самый большой земельный надел во всей России; своим крестьянам Спешнев отвел надел в 15 десятин земли, то есть $^2/_3$ своего обширного имения[2].

Аристократ, пошедший в демократию, оставался верен всем прежним убеждениям и стремился в этом своем качестве быть полезным обществу: занимался земской деятельностью, был почетным мировым судьей, гласным уездного земского собрания. При этом он считался неисправимым атеистом («на небе не ищет ничего») и, скорее всего, отверг бы альтернативу «или

[1] Былое. 1924. № 25. С. 31.
[2] См. там же.

верить, или всё сжечь». В глазах Достоевского такой поворот судьбы Спешнева-Мефистофеля никак не рифмовался с судьбой Ставрогина-демона. Если прототип жил, и не веруя и не «посягая», то герой, все более мертвея в холодном неверии, приговаривался к самоистреблению – поэтому автор судил своего героя значительно строже, чем жизнь обходилась с прототипом. Судьба Спешнева, таким образом, виделась его прежнему ученику как частный случай, исключение («Чудная судьба этого человека!..»); участь Ставрогина – как правило и общий закон.

От трагической дилеммы, ультимативно и с каким-то суровым отчаянием поставленной Достоевским, зависела не только судьба героя, которого он «взял из сердца». «Если православие невозможно для просвещенного (а через 100 лет половина России просветится), то, стало быть, всё это фокус-покус, и вся сила России временная. Ибо чтоб была вечная, нужна полная вера во всё. Но возможно ли веровать?.. В этом всё, весь узел жизни для русского народа и всё его назначение и бытие впереди».

Или европейски просвещенная и одновременно православная Россия – или «фокус-покус» с пресловутым «соусом из зайца», в котором нет и никогда не будет «зайца»: только таким мог быть экзистенциальный выбор для трагической личности исполинского масштаба. Любой другой вариант превращал живую жизнь в «дияволов водевиль» и зловещий, святотатственный маскарад. На риторический вопрос, заданный в Иркутске трем изгнанникам старой аристократкой, пожалевшей их заблудшие души, «что же они могли бы дать взамен святых и подкрепляющих нас верований?», роман об обворожительном атеисте Николае Ставрогине отвечал пламенным обличением самозванческого блуда.

«Боже! Петруша двигателем! В какие времена мы живем! – поражался и недоумевал отец Петра Верховенского, Степан Трофимович. – ...О карикатура! Помилуй, кричу ему, да неужто ты себя такого, как есть, людям взамен Христа предложить желаешь?» Случай

Верховенского («Я вместо Христа») как кощунственное посягательство на чужой статус и чужое имя фиксировал крайнюю степень космического самозванства, когда самозванец приобретал маску «обезьяны Бога», его карикатурного, фальшивого двойника: «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «я Христос», и многих прельстят»[1]. Однако маска, самоутверждающаяся в качестве духовного руководителя, с присущей ей «пошленькой жаждишкой поднимать шум вокруг своего имени», могла функционировать только в обстановке маскарада, где сновали и кружились помощники, порученцы, сотрудники – свита, самозванческая мелкота.

Чтобы удержать бразды правления над многочисленной свитой, верховному самозванцу нужна была особая тактика: злобного, глумливого и скандального безверия с обязательными кощунствами и «всеобщим сбивчивым цинизмом». «Придерживаться более типа Петрашевского, – записывал Достоевский в черновой программе в связи с Петром Верховенским. – НЕЧАЕВ – ОТЧАСТИ ПЕТРАШЕВСКИЙ»: автор «Бесов» прекрасно помнил, что в его давно прошедшей истории первая роль, даже формально, по закрепившемуся названию организации, принадлежала шумному хозяину «пятниц», который торопился «сеять семена» и глумился над Христом, «известным демагогом с неудачной карьерой». «Дряннейшие людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать всё священное, тогда как прежде и рта не смели раскрыть, а первейшие люди, до тех пор так благополучно державшие верх, стали их слушать, а сами молчать...»

Тот же, кто бесстрастно молчал, соблюдая дистанцию и никогда не смешиваясь с серыми персонажами маскарада, скорее всего, заблуждался относительно своей подлинной маски и своей истинной роли; во всяком случае, Достоевский, который, как и другие посетители «пятниц», знал о странном и ревнивом соперничестве между Петрашевским и Спешневым, только позже понял его настоящее значение. Случай

[1] Мф. 24: 5.

Верховенского обязательно подразумевал случай Ставрогина: тот, кто мнил предложить себя взамен Христа, любой ценой хотел заполучить того, кто без Христа. «Червяк», «муха», «нуль», Петруша нуждался в «предводителе» и «солнце» как в красивой вывеске. Поэтому в иерархии религиозного самозванства и в политической программе Верховенского ослепительный Ставрогин с его брезгливостью к «нашим» и привычками порядочного человека оказывался фигурой бутафорской, а его миссия – служебной: как бы и высокой, но вместе с тем фальшивой, липовой. Николай Всеволодович, «дрянной, блудливый, изломанный барчонок», который канонически смог уверовать лишь в своего беса, слышит уже почти команду: «Я вас никому не покажу, никому, так надо... Мне вы, вы надобны...»

«Если не Христос, то я»: таков случай Кириллова, которого «Бог всю жизнь мучил». «Если нет Бога, то я Бог... Если Бог есть, то вся воля Его, и из воли Его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие... Я обязан себя застрелить, потому что самый полный пункт моего своеволия – это убить себя самому... Для меня нет выше идеи, что Бога нет. За меня человеческая история. Человек только и делал, что выдумывал Бога, чтобы жить, не убивая себя; в этом вся всемирная история до сих пор. Я один во всемирной истории не захотел первый раз выдумывать Бога... Я три года искал атрибут божества моего и нашел: атрибут божества моего – Своеволие!» Использование Кириллова в служебных целях еще проще и результативнее, и он сам видит пружины хитроумной интриги: «свести меня на философию и на восторг и произвести примирение, чтобы разогнать гнев, и, когда помирюсь, упросить записку, что я убил Шатова».

Случай Шатова, который все еще ловит своего зайца, но сам поймать не может, все еще жаждет веры, но хочет получить ее из рук обожаемого учителя, ставит его в смертельно опасное положение безусловной жертвы. Свою духовную зависимость Шатов переживает как бесплодное и безблагодатное предчув-

ствие смерти. «Я несчастная, скучная книга и более ничего покамест, покамест... Но погибай мое имя!.. Я человек без таланта и могу только отдать свою кровь и ничего больше, как всякий человек без таланта... Погибай же и моя кровь!» Кровь Шатова, использованная самозванцами как политический клейстер в тот самый момент, когда он воскресает в любви и обретает веру, когда формула «если Христос, то и я» утрачивает свою условность, была ритуальна и мистически символична.

Однако Шатов, пламенный ученик Ставрогина, унаследовал от Достоевского не только внешность, не только бурный восторг при родах жены (здесь писатель буквально воспроизвел свои личные переживания), не только религиозно-национальный пафос, но и всю сладость благоговейного ученичества, всю муку преданного обожания, доходящего до идолопоклонства, всю боль духовного подчинения. Смерть Шатова оказывалась парадоксально автобиографична – в символическом смысле. Достоевский, не «пожалев» Шатова в канун его возрождения, решительно порывал с роковыми увлечениями молодости, выставлял истинную цену своим заблуждениям и ошибкам, религиозным исканиям и духовным учителям. Испытав на себе жестокий опыт атеистичеких и «мефистофельских» искушений, пройдя в своей жажде верить через страшные мучения и сомнения, он заставил и своих героев проделать тот же путь: каждый из них вынужден был самоопределиться через отношение к Христу.

«Я – взамен Христа» – это был случай Петра Верховенского. «Я – без Христа» – это был случай Ставрогина. «Если не Христос, то я» – это был случай Кириллова. «Если Христос, то и я» – это был случай Шатова.

Но был еще и случай Достоевского, его символ веры: «С ревнивою любовью говорю себе...» Тот духовный опыт, который пролегал между формулой «нет и не может быть ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа» и идеологемами «без Христа», обозначал истинную, сущностную дистанцию между автором «Бе-

сов» и персонажами автобиографического романа. Достоевский готов был жертвовать истиной, если Христу в ней не было места; его трагический герой, грешник и атеист, не мог отрешиться от своего credo «Я знаю, что если и уверую через 15 лет в Бога, то со мной всё равно произойдет ложь, потому Его нет. Я ведь знаю, что Его нет. Нет, лучше пусть я остаюсь несчастен, но с истиной, чем счастливый с ложью».

«Был на земле один день, и в средине земли стояли три креста. Один на кресте до того веровал, что сказал другому: «Будешь сегодня со мною в раю». Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдывалось сказанное. Слушай: этот человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета, со всем, что на ней, без этого человека – одно сумасшествие... А если так, если законы природы не пожалели и *Этого*, даже чудо свое же не пожалели, а заставили и *Его* жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты ложь и диаволов водевиль. Для чего жить, отвечай, если ты человек?»

Был на земле один день, и у эшафота в предсмертных одеждах стояли приговоренные к казни. Один был до того потрясен, что сказал другому: «Мы будем вместе со Христом», – но товарищ его только посмеялся над ним. Кончился день, казнь отменили, и оба остались живы.

«Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас.

Другой же напротив унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?

И мы *осуждены* справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли; а Он ничего худого не сделал.

И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!

И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю»[1].

[1] Лк. 23: 39–43.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«Листки, назначенные к распространению...»

I

В САМОЙ последней черновой записи к «Бесам», датированной 24 октября 1872 года, когда неопубликованными оставались лишь финальные главы романа, было помещено (но не реализовано) чрезвычайно любопытное рассуждение автора, касающееся Петра Верховенского: «Если б он был с литературным талантом, то был бы не ниже никого из наших великих критиков-руководителей начала шестидесятых годов. Он писал бы, конечно, другое, чем они, но эффект произвел бы тот же самый».

Даже при том, что Петр Степанович демонстративно презирал «эстетическое препровождение времени», публично издевался над сочинителями социальных романов и «канцелярским предрешением судеб человеческих на тысячи лет вперед на бумаге», претендуя скорее на роль политического цензора и инквизитора от литературы, такое предположение выглядело вполне корректным. «Наше поколение было слишком литературное, – считали либералы старой закваски из компании Степана Трофимовича. – В наше время действующий (передовой) человек мог быть только литератором или следящим за литературой. Теперь же поколение более действующее». Однако оба реальных прототипа «действующего» Петра Верховенского, относящихся к разным эпохам, – и Петрашевский и Нечаев – были не чужды литературного дела в уместных для партийных пропагандистов жанрах и «полезных» пределах (известно даже, что приговоренный к пожизненному заключению в Петропавловской крепости С.Г. Нечаев сочинял повести из великосветской жизни).

Да и сам роман-хроника, совместивший политическую злобу дня конца 60-х с автобиографической историей духовных исканий и трагических потрясений конца 40-х, был переполнен «литературой» – сочинительскими вожделениями персонажей, едва ли не все из которых оказывались или литераторами, или «следящими за литературой». Явление обворожительного героя-демона происходило на фоне не только повального увлечения литературой и пристрастного «слежения» за ней, но и в атмосфере безудержного делания ее. Плотным кольцом окружали Николая Всеволодовича графоманы и стихоплеты, крупные литературные знаменитости и мелкие окололитературные сошки, полные бездари и личности не вполне бесталанные; все это сочиняло, читало написанное вслух, поговаривало о публикациях или мечтало о собственном издательском деле.

Мать героя, Варвара Петровна Ставрогина, намеревалась издавать свой собственный литературный журнал и пыталась, специально приехав на зимний сезон в Петербург, открыть у себя литературный салон с публичными чтениями. Воспитатель героя, Степан Трофимович Верховенский, хоть и не писал ничего давным-давно, но «по обстоятельствам своей первоначальной карьеры» имел весьма привлекательную репутацию философа-вольнодумца и опального поэта. Тайная жена героя, Марья Тимофеевна Лебядкина, каждый вечер рассказывала ему в петербургских углах некие таинственные повести ее собственного сочинения. Шурин героя, Игнат Тимофеевич Лебядкин, сочинял стихи, которые «уважал и ценил безмерно, но тоже, по некоторой плутовской двойственности души, ему нравилось и то, что Николай Всеволодович всегда, бывало, веселился его стишками и хохотал над ними, иногда схватясь за бока». Обожающая героя светская барышня Лиза Тушина мечтала осуществить проект ежегодного издания книги фактов и происшествий, которая давала бы правдивый портрет русской общественной жизни. Бывшая любовница героя, беременная от него Марья Шатова, накануне родов делилась с мужем

планами открыть в городе переплетную мастерскую. Один из учеников-последователей героя, инженер Алексей Кириллов, собирал материал для статьи о причинах участившихся в России самоубийств. Второй, Иван Шатов, владел типографским делом и в любой момент мог развернуть печатание подпольной литературной продукции. Саму литературную продукцию в виде листовок и прокламаций изготовлял ближайший приятель и сподвижник героя, Петр Верховенский. На собрании общества, к которому герой формально принадлежал, один из его участников, Шигалев, читал фрагмент из своей книги, где была изложена система переустройства мира.

События романа происходили в городе, где правил губернатор Андрей Антонович Лембке, успевший за малый срок своего губернаторства сочинить повесть и роман, а также пописывавший стишки. Его ближайший помощник, чиновник Блюм, став жертвой несчастной слабости своего начальника к русской литературе, участвовал в секретных чтениях наедине по шести часов сряду. Супруга губернатора, Юлия Михайловна Лембке, содержала литературный салон и посылала в столичные газеты собственные заметки и корреспонденции, которые призваны были, разъяснив смысл предпринимаемых в губернии инициатив, умилить и очаровать высшее начальство, а затем разлететься по городам и весям, «возбуждая удивление и подражание». Всецело преданная прогрессу губернаторша рассчитывала осуществить издание независимой губернской газеты, проча в редакторы злобного городского сплетника Липутина, соавтора скандальных стихов для литературного праздника и опасного врага Николая Всеволодовича.

Светская, интимная, а также подпольная жизнь Ставрогина протекала в обстановке повального умоисступления от «книжных идей», литературных праздников и заезжих знаменитых писателей, под аккомпанемент бала для гувернанток с непременными чтениями и литературной кадрилью, на фоне салонной окололитературной суеты, плавно переходившей в собрания

заговорщиков, где также читались рукописи, обсуждались тексты, составлялись листовки и прокламации. В мире, перенасыщенном и потрясенном литературой, ее буднями и праздниками, соблазнами и провалами, любимцами и изгоями, Николай Всеволодович составлял странное исключение.

«– Я давно хотел прервать с вами, Даша... пока... это время. Я вас не мог принять нынче ночью, несмотря на вашу записку. Я хотел вам сам написать, но я писать не умею, – прибавил он с досадой, даже как будто с гадливостью». Хотя его тяготила эта связь, приходилось вновь объясняться с глазу на глаз, ибо даже простая записка с отменой ночного свидания ставила Николая Всеволодовича в тупик.

Европейское образование русского аристократа и барина таило обескураживающий изъян. «Я не литератор», – с вызовом заявлял он. Комментируя текст исповеди «От Ставрогина», Хроникер с чувством нескрываемого превосходства (есть-таки на солнце пятна!) замечал: «Я позволил себе лишь исправить орфографические ошибки, довольно многочисленные и даже несколько меня удивившие, так как автор все-таки был человеком образованным и даже начитанным (конечно, судя относительно). В слоге же изменений не сделал никаких, несмотря на неправильности и даже неясности. Во всяком случае явно, что автор прежде всего не литератор». Автор Хроники не смог удержаться от язвительной нотации даже в патетический момент получения Дашей предсмертного ставрогинского письма – и сопроводил его, несмотря на трагический смысл написанного, почти презрительной ремаркой: «Вот это письмо, слово в слово, без исправления малейшей ошибки в слоге русского барича, не совсем доучившегося русской грамоте, несмотря на всю европейскую свою образованность».

Отдавая герою самого «литературного» романа сильнейшее из своих личных впечатлений, каким жила память и каким была полна душа, – поражающую красоту, сверхчеловеческую силу, безмерную глубину и демоническое обаяние, – Достоевский оставлял его

не только без малейших литературных способностей, но даже и без простых навыков грамотной письменной речи, совершенно необходимых личности такого уровня. Нарочитость, преднамеренность автора бросалась в глаза: каких только путей не искал Достоевский для своего Князя, пытаясь направить его на путь добра и самоисправления, – но ни разу, ни в одном из многочисленных поворотов сюжета, ни в одном из самых фантастических вариантов судьбы Ставрогин, перепробовавший все «для себя и для показу», не «попробовал» занятий изящной словесностью. Отпусти автор своему герою хотя бы малую толику того литературного дарования, которым обладал сам, может, и не пришлось бы его как-то специально спасать? Ведь не мог же Достоевский, всего только в 1867 году писавший жене: «Трудно было быть более в гибели, но работа меня вынесла», – забыть свое собственное отчаяние и собственные надежды. И если он мог размышлять о литературной карьере Петра Верховенского, почему нельзя было и Николаю Всеволодовичу «оказать честь», испытав его на сочинительском поприще? На том самом поприще, где трудились многочисленные персонажи-сочинители Достоевского, будто охваченные эпидемией литературного творчества?

II

Творчество как жертвенное подвижничество и труд, радостный и спасительный, в том случае, если это творчество, – с таким критерием Достоевский-писатель подходил прежде всего к своему собственному литературному опыту; в его устах подобный девиз выглядел бы не как наставление или моральная проповедь, а как истина, добытая напряжением всех жизненных сил. На любых этапах писательского пути, в самые роковые моменты судьбы его хранило и «вытаскивало» творчество, ответственность перед призванием, верность предназначению. Его трагические герои сходили с ума, кончали с собой, погружались в демонический транс или в стихию игорных страстей, но сам он рабо-

тал до изнеможения, вынашивая и осуществляя грандиозные планы, преодолевая те же опасные соблазны, от которых погибали вымышленные или «взятые из сердца» персонажи.

Достоевский, профессиональный литератор и сочинитель, знал по себе, на каких путях заблудившегося человека ждет его единственный шанс. Увидеть свою жизнь и самого себя – больного, нуждающегося, неудачливого – глазами художника и фантазера; ощутить в своем страдании зародыш сюжета и в своем несчастье – мотив сочинения; испытать душевный трепет от скольжения пера по бумаге...

Знали об этом и его герои, писатели и сочинители. «Хочу теперь всё записать, – говорил один из них, – и, если б я не изобрел себе этого занятия, мне кажется, я бы умер с тоски. Все эти прошедшие впечатления волнуют иногда меня до боли, до муки. Под пером они примут характер более стройный; менее будут походить на бред, на кошмар... Один механизм письма чего стоит: он успокоит, расхолодит, расшевелит во мне прежние авторские привычки, обратит мои воспоминания и больные мечты в дело, в занятие...»

Итак, рецепт был известен издавна; знакомое и многократно испытанное лекарство действовало безотказно. Почему нельзя было так повернуть Сюжет о герое-демоне, жаждавшем будто бы раскаяния и исправления, чтобы и он с помощью целебного «механизма письма» обратил свои тягостные воспоминания и больные мечты в дело, в занятие? Ведь для подобного занятия у Николая Всеволодовича был поистине бесценный запас сильных впечатлений...

Испытывая атеиста Ставрогина подвигами смирения и веры, Достоевский останавливался перед непреодолимым барьером личности, «заявившей своеволие» и вышедшей из повиновения. Может быть, Ставрогин метафизически «не подчинялся» Достоевскому, поскольку существовал уникальный пример прототипа – опыт Спешнева как бы не позволял без ущерба для высших художественных целей обратить Ставро-

гина на путь веры... Однако, избери герой тяжкое, но верное дело припоминания и записывания, захоти он прибегнуть к спасительной помощи литературного занятия, прототип никак не стал бы ему мешать.

Литературный труд отнюдь не был противопоказан Спешневу: барин и аристократ не только не чурался литературной поденщины, а смог, будучи ссыльно-каторжным Нерчинского округа, благодаря замечательным способностям весьма облегчить свою участь. Сразу после царского манифеста 1856 года, выйдя на поселение, Спешнев был зачислен в Забайкальское областное правление канцеляристом низшего разряда, а еще через два месяца «по отличным способностям» переведен в Главное управление Восточной Сибири, где получил должность начальника газетного стола Иркутской губернии, редактора нового еженедельника «Иркутские ведомости» и смотрителя губернской типографии. «Несмотря на совершенную новость дела», – отмечалось в его служебных характеристиках, Спешнев «занялся им с таким усердием», что через полтора месяца после назначения его редактором газета начала выходить.

За два года редакторской деятельности Спешневу удалось сделать провинциальные «Иркутские ведомости» заметным общественно-культурным явлением: здесь публиковались историко-краеведческие изыскания, многочисленные материалы о жизни, быте и географии Сибири; своими статьями об истории Иркутска Спешнев положил начало печатанию обширной «Летописи...» края. В очередной раз выступая ходатаем за Спешнева, Муравьев сообщал о нем в Петербург: «Статьи... присылаются со всех концов Восточной Сибири, а отнюдь не составляются в редакции, и Петрашевский никакого влияния на издание газеты не имеет, а Спешнев истинный труженик, которому приходится с утра до вечера работать, чтобы разбирать эти статьи и очищать их от таких предметов, которые в печати не могут быть дозволены. Мне стало его жаль в эту зиму: он похудел, как чахоточный, и я решаюсь облегчить его занятия, переведя его в главное управле-

ние, где прекрасное перо его будет более полезно, чем в редакции, в которой ему приходилось только исправлять... Спешнева труды так полезны и нравственность его так высока, что я решился представить его опять к чину вне правил... Если я сколько-нибудь заслужил внимание комитета, то прошу вас убедительно дать ему этот чин в личное для меня обязательство»[1].

Весной 1859 года, за несколько месяцев до встречи с Достоевским в Петербурге, Спешнев стал правителем путевой канцелярии Муравьева, участвовал в экспедиции по Амуру и в поездке по Китаю и Японии; свои обширные этнографические и географические познания и свое прекрасное перо он использовал впоследствии, сотрудничая в «Настольном словаре» Ф.Г. Толля, своего товарища-однодельца. В рукописях Спешнева, по сообщению его биографа, «сохранились многочисленные заметки по географии и статистике России, по изучению языков северо-восточной Азии, по антропологии Азии и Африки, выписки из научных книг, статьи на французском и немецком языках, большое статистическое «описание города Петербурга» и т. п.»[2]. Правда, свои воспоминания о «деле Петрашевского» он спустя тридцать с лишним лет почему-то не записал, а всего только под диктовку рассказал вдове Достоевского...

Нет, биография прототипа – человека уважаемых литературных профессий, редактора, публициста, очеркиста, – его послужной и «сочинительский» список, равно как и его прекрасное перо, не могли быть препятствием для литературной судьбы героя: если тот редкостный человеческий тип, который так впечатлил Достоевского при создании Ставрогина, действительно соотносился со Спешневым, никаких внутренних, психологических помех существовать не могло. Сентенция о русском бариче, недоучившемся русской грамоте, несмотря на всю свою европейскую образованность, в случае Спешнева была бы вопиюще не-

[1] Былое. 1924. № 25. С. 30.
[2] Там же.

справедливой. Достоевский, лишая Николая Всеволодовича утешительной привычки к литературным занятиям, демонстративно «умаляя» его, чинил очевидный «произвол» – как будто хотел наказать своего демона или отомстить ему.

III

Что-то чрезвычайно нарочитое было в той торопливой категоричности, с которой клеймился не владевший пером Ставрогин; благо и сам Николай Всеволодович не стремился оправдаться. Между тем нечто по литературной части числилось и за ним.

Ставрогин – будто в опровержение своей репутации – был причастен, как и его прототип, к созданию некоего специального текста, требовавшего особых знаний и некоторой практики. «Там, куда мы идем, членов кружка всего четверо. Остальные, в ожидании, шпионят друг за другом взапуски и мне переносят. Народ благонадежный. Всё это материал, который надо организовать, да и убираться. Впрочем, вы сами устав писали, вам нечего объяснять», – напоминал Николаю Всеволодовичу Петр Степанович: уж он-то не преминул бы в случае необходимости заклеймить «предводителя», если бы тот, составляя уставной документ, не справился и провалился. Значит, устав отвечал требованиям жанра – и можно только приблизительно предполагать, какой именно документальный образец имел в виду Достоевский.

«Я хотел вам сам написать, но я писать не умею», – уверял, как помнится, Дашу Николай Всеволодович. Но в конце концов ему все же пришлось объясниться с ней письменно.

Странную игру затевал автор, изобретая такой эпистолярный стиль, который должен был подтвердить литературное бессилие героя. Порядок слов нарочито деформировался, традиционная гладкопись взрывалась, а вызывающее косноязычие лучше всего подтверждало тезис о недоучившемся бариче. Возникал своего рода литературный парадокс: письмо Ставроги-

на, обретая значение блистательно удавшегося стилистического эксперимента, призвано было доказать убожество и беспомощность его формального автора и одновременно демонстрировало виртуозное мастерство автора фактического. Вывихнутый синтаксис, «гнилостная фраза»[1] и судорожное косноязычие письменной манеры Ставрогина, изобретенные Достоевским с откровенно служебной целью, не могли не войти в некоторое противоречие с той мерой свободы, которую сумел получить от автора его своевольный герой.

«Прошлого года я, как Герцен, записался в граждане кантона Ури, и этого никто не знает. Там я уже купил маленький дом. У меня еще есть двенадцать тысяч рублей; мы поедем и будем жить вечно. Я не хочу никогда никуда выезжать», – писал Даше Николай Всеволодович, призывая ее к себе в сиделки; однако ничего вопиюще косноязычного или «гнилостного» этот фрагмент не содержал – если не считать двусмысленного словосочетания «жить вечно», означавшего здесь «жить безвыездно». «Ошибки в слоге», которые дали основание упрекнуть Ставрогина в безграмотности, были сосредоточены в следующем абзаце: «Место очень скучно, ущелье; горы теснят зрение и мысль. Очень мрачное. Я потому, что продавался маленький дом. Если вам не понравится, я продам и куплю другой в другом месте». «Я потому», подразумевавшее «я купил дом именно здесь потому...», обнажало прием грамматического упрощения фразы, свойственного устной речи и в ней вполне допустимого, – так и устные реплики Николая Всеволодовича, при его обычном немногословии, отличались парадоксальной выразительностью. «Положим, вы жили на луне... вы там, положим, сделали все эти смешные пакости... Вы знаете наверно отсюда, что там будут смеяться и плевать на ваше имя тысячу лет, вечно, во всю луну. Но теперь вы здесь и смотрите на луну отсюда: какое вам дело здесь до всего того, что вы там наделали и что тамошние будут плевать на вас тысячу лет, не правда ли?» Если бы

[1] См.: Л. Гроссман. Стилистика Ставрогина // Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А.С. Долинина. Сб. 2. С. 143.

этот пассаж был отшлифован согласно нормативам риторики и красноречия, утратилось бы нечто более ценное, чем верность грамматике...

Несколько нарочито вывихнутых строк в начале ставрогинского письма должны были внушить представление об ущербной «внелитературности» гражданина кантона Ури, об уродливом разложении его стиля. «Здесь синтаксис и общая манера свидетельствуют о нравственном крушении, о катастрофических сдвигах, о внутренней гибели, о наступившем уже небытии»[1], – полагал исследователь, одним из первых пытавшийся разгадать тайну сложнейшего стилистического эксперимента, предпринятого Достоевским для воссоздания «ставрогинских» текстов, и целиком доверившийся авторитетной оценке «традиционного стилиста» об «ошибках в слоге». Один, всего один абзац экспериментального косноязычия, резко бросавшегося в глаза, скрывал истинную тайну письма и его отправителя.

Письмо к Даше ни в коей мере не оправдывало своего прямого назначения. Если это был только призыв в «сиделки» – «и зову и жду», «в вашем ответе нуждаюсь, потому что надо ехать очень скоро», – человеку, чурающемуся «литературы», совершенно незачем было сочинять столь длинное послание. Между тем письмо-призыв включало в себя слишком много «лишнего»: здесь были признания в преступлениях «по совести», сделанные в манере следственных показаний («Подтверждаю, что совестью я виноват в смерти жены. Я с вами не виделся после того, а потому подтверждаю. Виноват и пред Лизаветой Николаевной...»); беспощадный, почти протокольный самоанализ («Я пробовал везде мою силу... Я всё так же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от того удовольствие; рядом желаю и злого и тоже чувствую удовольствие»); исповедь смятенного сознания («Я боюсь самоубийства, ибо боюсь показать великодушие...»); планы на будущее вдвоем («Мы поедем...»)

[1] Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А.С. Долинина. Сб. 2. С. 143.

и, наконец, прорвавшееся сквозь барьер брезгливой холодности любовное объяснение, исполненное трагического лиризма: «Друг милый, создание нежное и великодушное, которое я угадал!»

Письмо-призыв, которое на самом деле никуда не звало (уже наутро Николай Всеволодович «передумал» уезжать в Ури), письмо-исповедь, автор которого не сдержал ни одного своего обещания, письмо-признание, в котором имелся лишь слабый намек на страшную правду («Я вам рассказал многое из моей жизни. Но не всё. Даже вам не всё!»), маскировало одно-единственное желание, одну страстную потребность, в которых «не литератор» Ставрогин не смел признаться даже той, кого звал и ждал. В этом диковинном письме-жалобе («Никогда, никогда я не могу застрелиться!»), написанном за сутки до того, как повеситься, Николай Всеволодович имел неосторожность проговориться: «Мне вы милы, и мне, в тоске, было хорошо подле вас: при вас при одной я мог вслух говорить о себе. Из этого ничего не следует».

Но Николай Всеволодович был не прав: именно желанием человека вслух говорить о себе движима и управляема вся литература.

«Простите, что так много пишу. Я опомнился, и это нечаянно. Этак ста страниц мало и десяти строк довольно. Довольно и десяти строк призыва „в сиделки"», – вновь глухо намекал «опомнившийся» Николай Всеволодович: слухи о его дурной «внелитературности» оказались сильно преувеличены. Письмо к Даше накануне самоубийства, в котором он, однако же, не прощался с ней, а звал ее «жить вечно» в Ури, приоткрывало его сложные, запутанные, а также весьма запущенные обстоятельства чисто литературного свойства, которые, сложись они удачно, должны были обеспечить естественный выход тайному стремлению говорить о себе вслух.

IV

ЕСЛИ БЫ некто задался литературной целью поведать миру о своих страданиях или тайных пороках, он бы

мог сделать это, прибегнув к традиционному жанру рассказа «от Я».

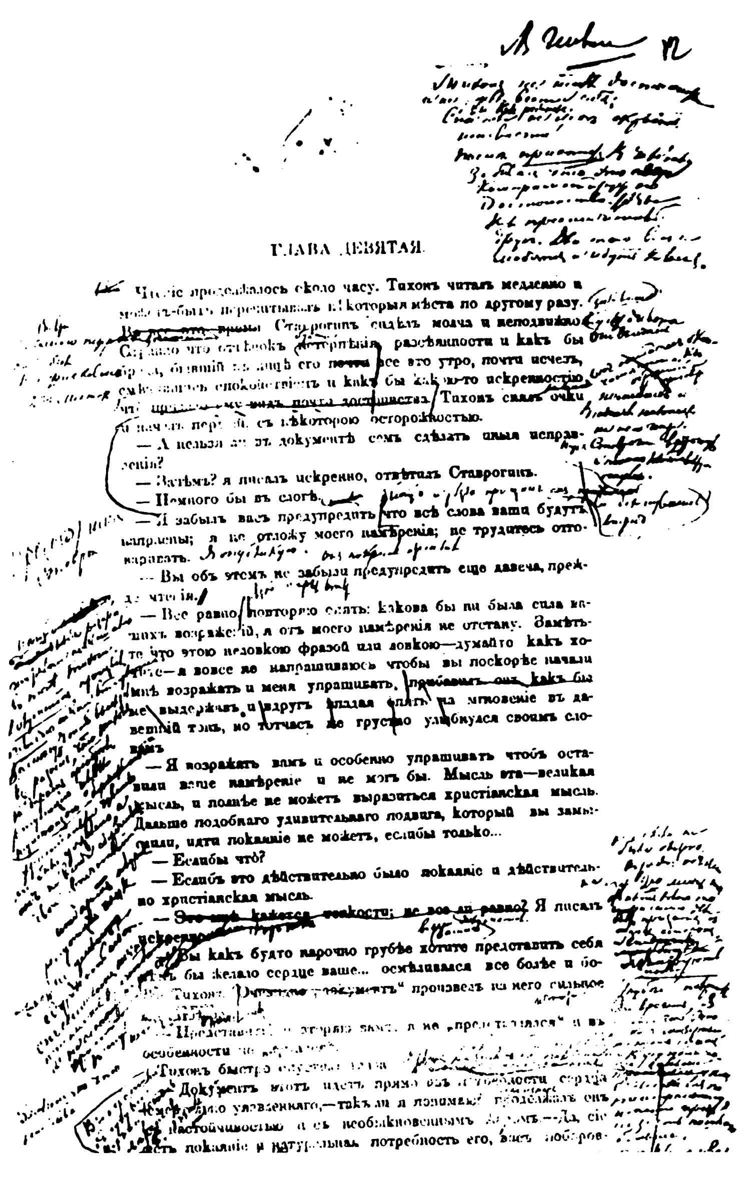
Если бы некто, тяготясь тайной своего злодеяния, захотел на себя донести, он бы совершил явку с повинной и там, где следует, дал бы письменные показания по всей форме с точным описанием места, времени и состава преступления.

Если бы некто, желая снять с души тяжкий грех, обратил свой покаянный взор к церкви, то, смиренно исполнив полагающиеся по канону приготовления, он пришел бы на исповедь к своему духовнику, полагаясь на высшее милосердие и тайну исповеди.

В случае Ставрогина эти три совершенно различных по своей сути намерения парадоксальным образом соединились в одном им написанном тексте.

Итак, под влиянием некоторых душевных движений, преследуемый зловещими галлюцинациями, одержимый воспоминаниями о «происшествии» с девочкой Матрешей, Николай Всеволодович – примерно за месяц до начала романных событий – создал за границей текст, названный им «От Ставрогина». «Я, Николай Ставрогин, отставной офицер, в 186- году жил в Петербурге, предаваясь разврату, в котором не находил удовольствия...»

Текст, оформленный как заявление в полицию, начинался с ответов на воображаемую следственную анкету и вполне соответствовал канцелярскому шаблону. Как бы давая показания о времени и месте совершенного преступления, заявитель сообщал: «Объявляю, что я забыл нумер дома. Теперь, по справке, знаю, что старый дом сломан, перепродан и на месте двух или трех прежних домов стоит один новый, очень большой. Забыл тоже имя моих мещан... Чьи они, откуда и куда теперь делись – совсем не знаю. Полагаю, что если очень начать их искать и делать возможные справки в петербургской полиции, то найти следы можно. Квартира была на дворе, в углу. Всё произошло в июне. Дом был светло-голубого цвета». Заканчивая свое пространное «заявление», податель его повторял показания о месте преступления и сверх того



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Чтеніе продолжалось около часу. Тихонъ читалъ медленно и можетъ-быть перечитывалъ нѣкоторыя мѣста по другому разу. Во все это время Ставрогинъ сидѣлъ молча и неподвижно. Странно что оттѣнокъ нетерпѣнія, разсѣянности и какъ бы бреда, бывшій на лицѣ его почти все это утро, почти исчезъ, смѣнившись спокойствіемъ и какъ бы какою-то искренностію, что придавало ему видъ почти достоинства. Тихонъ снялъ очки и началъ первый, съ нѣкоторою осторожностью.

— А нельзя ли въ документѣ семъ сдѣлать иныя исправленія?

— Зачѣмъ? я писалъ искренно, отвѣтилъ Ставрогинъ.

— Немного бы въ слогѣ.

— Я забылъ васъ предупредить что всѣ слова ваши будутъ напрасны; я не отложу моего намѣренія; не трудитесь отговаривать.

— Вы объ этомъ не забыли предупредить еще давеча, прежде чтенія.

— Все равно, повторяю опять: какова бы ни была сила ваших возраженій, я отъ моего намѣренія не отстану. Замѣтьте что этою неловкою фразой или ловкою—думайте какъ хотите—я вовсе не напрашиваюсь чтобы вы поскорѣе начали мнѣ возражать и меня упрашивать, прибавилъ онъ какъ бы не выдержавъ и вдругъ впадая опять на мгновеніе въ давешній тонъ, но тотчасъ же грустно улыбнулся своимъ словамъ.

— Я возражать вамъ и особенно упрашивать чтобъ оставили вы ваше намѣреніе и не могъ бы. Мысль эта—великая мысль, и полнѣе не можетъ выразиться христіанская мысль. Дальше подобнаго удивительнаго подвига, который вы замыслили, идти покаяніе не можетъ, еслибы только...

— Еслибы что?

— Еслибъ это дѣйствительно было покаяніе и дѣйствительно христіанская мысль.

— Это мелочи, какъ кажется, тонкости; не все ли равно? Я писалъ искренно.

— Вы какъ будто нарочно грубѣе хотите представить себя чѣмъ бы желало сердце ваше... осмѣливался все болѣе и болѣе Тихонъ. „Документъ“ произвелъ на него сильное впечатлѣніе.

— Представить? я повторяю вамъ: я не „представлялся“ и въ особенности не ломался.

Тихонъ быстро опустилъ глаза.

— Документъ этотъ идетъ прямо изъ потребности сердца смертельно уязвленнаго,—такъ ли я понимаю? продолжалъ онъ съ настойчивостью и съ необыкновеннымъ жаромъ.—Да, сіе есть покаяніе и натуральная потребность его, васъ побор-

Корректура главы «У Тихона» с правкой Ф.М. Достоевского

давал подписку о невыезде: «Я же никуда не уеду и некоторое время (с год или два) всегда буду находиться в Скворешниках, имении моей матери. Если же потребуют, явлюсь всюду».

Для полиции был предназначен и краткий перечень «старых воспоминаний»: «С одной женщиной я поступил хуже, и она оттого умерла. Я лишил жизни на дуэли двух невинных передо мною. Я однажды был оскорблен смертельно и не отмстил противнику. На мне есть одно отравление – намеренное и удавшееся и никому не известное. (Если надо, я обо всем сообщу.)»

Намерение заявителя выдать себя полиции, открывшись ей абсолютно во всем, было как будто решительное и бесповоротное – но какое все-таки было дело петербургским или губернским властям до того волнующего обстоятельства, что некий отставной офицер не смыл кровью нанесенное ему кем-то и когда-то смертельное оскорбление?

Документ «От Ставрогина», написанный вроде бы как донос на самого себя и предназначенный будто бы для официальных властей, содержал сведения и рассуждения, казенным ведомствам совершенно бесполезные. Ну зачем полиции было знать, что такой-то темпераментный повеса снимал некогда две квартиры для встреч с замужней дамой и ее горничной – и намеревался свести обеих так, чтобы они столкнулись при свидетелях? Зачем нужно было докладывать начальству, что повесившаяся в чулане Матреша была «белобрысая и весноватая, лицо обыкновенное, но очень много детского и... чрезвычайно тихого» – или что странная девочка, когда соблазнитель целовал ей ноги, обхватила его за шею руками и «начала вдруг ужасно целовать сама» и лицо ее выражало «совершенное восхищение»? Зачем нужно было оповещать полицейских чиновников о своих интимных привычках и склонностях («Я убежден, что мог бы прожить целую жизнь как монах, несмотря на звериное сладострастие, которым одарен и которое всегда вызывал. Предаваясь до шестнадцати лет, с необыкновенною неумеренностью, пороку, в котором исповедовался Жан-Жак Руссо, я

прекратил в ту же минуту, как положил захотеть, на семнадцатом году. Я всегда господин себе, когда захочу»)? Неужели заявитель всерьез мог полагать, что воображаемым следователям понадобится его интимная биография?

Документ «От Ставрогина», содержавший впечатляющие эротические сцены, тонкие описания путешествий и снов, живописные подробности приключений и даже красоту музейных полотен («Голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее прибрежье, волшебная панорама вдали, заходящее зовущее солнце – словами не передашь...»), зачем-то использовал форму безыскусного отчета об уголовном преступлении, имитировал откровенность следственных показаний, маскировал истинные намерения автора текста. Выходило так, что цели и задачи Николая Всеволодовича были связаны не столько с его криминальным прошлым, сколько с неясным настоящим – главным образом неясны были перспективы прохождения документа по тем или иным инстанциям.

Если бы текст и в самом деле назначался для полиции и мыслился – даже с учетом его «непрофильных» фрагментов – как добровольное и чистосердечное признание, достаточно было бы одного рукописного экземпляра, подписанного рукою автора. Если документ, имитирующий «судебную» направленность, тайно тяготел к художественному рассказу, а его автор – к роли сочинителя-дебютанта, его (также в количестве одного экземпляра) можно было предложить журналу или издателю.

Между тем «литературное поведение» Николая Всеволодовича дерзко попирало все общепринятые обычаи.

В финале документа фактически опровергалась его продекларированная цель. «Я решился отпечатать эти листки и ввезти их в Россию в трехстах экземплярах, – уведомлял он. – Когда придет время, я отошлю в полицию и к местной власти; одновременно пошлю в редакции всех газет, с просьбою гласности, и множеству меня знающих в Петербурге и в России лиц. Равно-

мерно появится в переводе за границей. Я знаю, что юридически я, может быть, и не буду обеспокоен, по крайней мере значительно; я один на себя объявляю и не имею обвинителя; кроме того, никаких или чрезвычайно мало доказательств. Наконец, укоренившаяся идея о расстройстве моего рассудка и, наверно, старание моих родных, которые этою идеею воспользуются и затушат всякое опасное для меня юридическое преследование... Но для меня останутся те, которые будут знать всё и на меня глядеть, а я на них. И чем больше их, тем лучше».

Итак, Николай Всеволодович, апеллируя в документе к столичной полиции и к местным властям, просто-напросто кокетничал, прекрасно понимая, что уголовная ответственность ему не грозит и что судом он «обеспокоен» не будет. Не ожидая для своего литературного дебюта зеленых огней или издательских чудес, он сам решал судьбу криминальной новеллы, так как издавал ее без какого бы то ни было редакционного вмешательства и в обход цензуры. «Печать была действительно заграничная – три отпечатанных и сброшюрованных листочка обыкновенной почтовой бумаги малого формата. Должно быть, отпечатано было секретно в какой-нибудь заграничной русской типографии, и листочки с первого взгляда очень походили на прокламацию». Лихо миновав беспокойную «рукописную» стадию, текст представал перед возможным читателем – в ореоле секретности и обаянии заграничности – как уже свершившийся литературный факт. И не нужно было лучшей рекламы для сочинения, чем та, которую придумал дебютант сочинитель, замаскировавший под следственный документ литературное естество своей исповеди.

Триста экземпляров текста дотоле неизвестного автора лавиной должны были обрушиться на «редакции всех газет» и – одновременно – по частным адресам знакомых ему в столице и в стране лиц. Предприимчивый сочинитель заблаговременно озаботился переводом своего произведения на европейские языки и изданием его за границей – зачем бы это было нужно

ему, если бы речь шла о церковном покаянии или явке с повинной в местный полицейский участок? Автор текста рассчитывал на широкий читательский круг и не скрывал, что надеется встретить «своего», понимающего читателя – «для меня останутся те, которые будут знать всё и на меня глядеть, а я на них». Он предполагал, что таких, «знающих всё», будет много – «и чем больше их, тем лучше». Он собирался обратиться к властям с искренней «просьбою гласности» – чтобы на волне грандиозного общественного скандала молниеносно и победительно ворваться в мир печатного слова. Вряд ли это было пустой забавой праздного человека – Николай Всеволодович относился к своему экстравагантному предприятию необычайно серьезно.

«Облегчит ли это меня – не знаю. Прибегаю как к последнему средству».

Страстное желание поведать всему миру историю своих тайных пороков и грехопадений, насущная потребность раскрыть человечеству (Петербургу, России и загранице) муки смятенного сознания, изнемогающего под грузом душевных заблуждений, отчетливо осознавались автором документа как попытка спасения и освобождения. Не то чтобы он действовал наверняка, но, кроме этого, никакого другого средства не знал. Ему не нужна была тайна исповеди – он добивался гласности и публичной известности. На пути к цели он прошел самый трудный этап – одинокого, подпольного существования, когда втайне от мира сочинял свою исповедь и потом печатал ее в секретной заграничной типографии, не решаясь ни перед кем открыться. На этом пути ему оставался один маленький шаг, не требовавший, казалось бы, никаких видимых усилий – и так приятно волнующий всякого автора.

Но Николай Всеволодович был бы, наверное, безмерно удивлен, если бы ему сказали (когда он отдавал рукопись в печать или нелегально провозил тираж в Россию), что это путь в литературу. Что «последнее средство» – это первая проба; что «пробовал» он – втайне от самого себя – писать; что мучился он – словом, которое, корячась и спотыкаясь, замечательно вы-

разило его страшный душевный разлад. Что сквозь рутину канцелярских клочьев проглядывали поразительная экспрессия описаний, исключительная зоркость к деталям и истинно художническое вдохновение, которое нельзя спутать ни с чем. Что его неровное, судорожное письмо, с изломанными, угловатыми фразами, невероятными нарушениями ритма и вызывающей деформацией повествовательного канона обещало литературе немалые потрясения.

V

Казалось, Ставрогин тщательно избегал каких бы то ни было литературных обозначений для своего текста. Когда он решился наконец встретиться со своим первым читателем, он постарался как «не литератор» обойтись без услуг специальной терминологии.

«Николай Всеволодович был несколько бледен, руки его немного дрожали. Несколько секунд он неподвижно и молча смотрел на Тихона, как бы решаясь окончательно. Наконец вынул из бокового кармана своего сюртука какие-то печатные листики и положил на стол.

– Вот листки, назначенные к распространению, – проговорил он несколько обрывающимся голосом. – Если прочтет хоть один человек, то знайте, что я уже их не скрою, а прочтут и все. Так решено. Я в вас совсем не нуждаюсь, потому что я всё решил. Но прочтите... Когда будете читать, ничего не говорите, а как прочтете – скажите всё...»

Ставрогин являлся к почтенному старцу, имея с собой некий текст, содержавший интимные откровенности, о котором не мог или не хотел сказать иначе, чем «листки». Исповедь, напечатанная как листовка и назначенная к распространению как прокламация, свидетельствовала и о литературной неискушенности автора, и о его чрезвычайной дерзости: он запрещал комментировать по ходу чтения, но потребовал, чтоб читали при нем. Ему важно было видеть, как это происходит, когда читают его «листки». «Странно, что от-

тенок нетерпения, рассеянности и как бы бреда, бывший в лице его всё это утро, почти исчез, сменившись спокойствием и как бы какой-то искренностию, что придавало ему вид почти достоинства». Он, безусловно, рассчитывал, что старец, дочитав до конца, с выражением гадливости и презрения заговорит о его страшной вине перед Богом и людьми, о спасительной силе покаяния – то есть обсудит с ним его «листки» в смысле содержания и «последнего средства».

Но он и думать не мог, что духовное лицо увидит в его «листках» прежде всего пробу пера.

Конечно, Николаю Всеволодовичу следовало быть осмотрительнее в выборе первого читателя. Не решившись сразу, как только был ввезен тираж, или спустя время, когда бы уже позволяли обстоятельства, послать «листки» в «редакции всех газет» и прибегая в лице Тихона к духовной цензуре, автор исповеди менее всего искал литературной оценки и менее всего ожидал ее здесь найти. Будь он повнимательней и поспокойней в то утро, он бы заметил странное для монаха убранство двух комнат, составлявших келью, – с богатейшим покойным креслом и письменным столом превосходной отделки, изящным резным книжным шкафом и дорогим бухарским ковром, гравюрами светского и мифологического содержания рядом с древними иконами. Ему бы приглядеться к книжному шкафу и к письменному столу, рассмотреть книги, окружавшие старца, почувствовать атмосферу особого монашеского комфорта, где протекает покойная, созерцательная жизнь тонкого эстета, наполненная изысканными художественными впечатлениями. Ему бы понять, что старец, увлекающийся сочинениями великих святителей наряду с театральными пьесами и историческими романами, прошел высокую школу словесного мастерства и сохранил неугасимый артистический инстинкт («Вековые традиции литургической поэтики и святоотеческих творений приучили его к изысканным и пышным облачениям византийского стиля даже во всевозможных покаяниях и душевных сокрушениях. Блистательное красноречие и узорно-

выразительный слог поэтов-богословов, искусившихся в многосторонней разработке эротической темы со всеми ее разжигающими соблазнами и темными провалами, сразу же обнаруживают пред этим зорким читателем Исаака Сирина или Василия Великого...»[1]). Ему бы заподозрить в Тихоне не «шпиона и психолога», из тех, что грубо лезут в душу, а многоопытного ценителя литературы...

Но почему и архиерей не захотел отнестись к «листкам» в соответствии с их прямым назначением? Почему стал «придираться» к их словесному несовершенству?

Перед Николаем Всеволодовичем, задумавшим удивить мир бездной своего греха, сидел старец, от которого он ждал неких духовных санкций. Перед старцем, «зорким читателем Исаака Сирина и Василия Великого», сидел взволнованный и до грубости нетерпеливый дебютант, сотворивший первое свое сочинение в традиционном исповедальном жанре. Это сочинение производило сильное впечатление, но было сырым и требовало доработки. Исповедник предлагал исповедующемуся редактировать исповедь!

«Тихон снял очки и начал первый, с некоторою осторожностью.

– А нельзя ли в документе сем сделать иные исправления?.. Немного бы в слоге».

Он заговорил с автором «листков» не как суровый цензор, не как строгий рецензент или критик, а как благожелательный редактор и литературный стилист. Он не стал клеймить Николая Всеволодовича за «жуткое убожество речевых примитивов», «бесформенность фразеологии», «страшную словесную нищету», а выстроил свои редакторские аргументы согласно требованиям того жанра, в котором был создан текст. Исповедник искусно втянул исповедующегося в литературно-эстетический диспут.

«Дальше подобного удивительного подвига, который вы замыслили, идти покаяние не может, если бы

[1] Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А.С. Долинина. Сб. 2. С. 140.

только... Если б это действительно было покаяние и действительно христианская мысль... Вы как будто нарочно грубее хотите представить себя, чем бы желало сердце ваше... Иные места в вашем изложении усилены слогом; вы как бы любуетесь психологией вашею и хватаетесь за каждую мелочь, только бы удивить читателя бесчувственностью, которой в вас нет. Что же это как не горделивый вызов от виноватого к судье?»

Тихон осторожно, будто тонким карандашом, отмечал избыточный психологизм, стилистические преувеличения, эмоциональный эпатаж и вызывающую скандальность тона; он упрашивал автора смягчить и сгладить дикое впечатление признаний и быть искуснее в выражении чувств. Он вынуждал Николая Всеволодовича обратиться к писательской кухне, приглашал обсудить качество художественного слога и средства выразительности. «Я писал искренно», – уверял Тихона Ставрогин. «Повторяю вам: я не «представлялся» и в особенности не „ломался"». «Я, может быть, вовсе не так страдаю, как здесь написал, и, может быть, действительно много налгал на себя», – сознавался Николай Всеволодович, заменяя понятие «фантазия» или «вымысел» нетерминологическим словом «налгал». «Укажите же, чем именно я смешон в моей рукописи», – уже требовал Ставрогин: он, казалось, действительно вынужден был считаться с мнением редактора. «Я знаю чем, но я хочу, чтоб указали вы вашим пальцем. И скажите поциничнее, скажите именно со всею тою искренностью, к которой вы способны».

Исповедь была слишком литературной – с психологическими эффектами, словесными преувеличениями, невыдержкой тона и вкуса, – чтобы опытный моралист и духовный пастырь Тихон мог принять ее за чистую монету. Но эта литература, оформленная в жанре исповеди, для него, знатока и мастера риторики, была слишком необычна, слишком лишена дисциплины. И он нашел безошибочный редакторский прием, чтобы «отклонить» рукопись.

«– Итак, вы в одной форме, в слоге, находите смешное? – настаивал Ставрогин.

– И в сущности. Некрасивость убьет, – прошептал Тихон, опуская глаза.

– Что-с? некрасивость? чего некрасивость?

– Преступления. Есть преступления поистине некрасивые. В преступлениях, каковы бы они ни были, чем более крови, чем более ужаса, тем они внушительнее, так сказать, картиннее; но есть преступления стыдные, позорные, мимо всякого ужаса, так сказать, даже слишком уж не изящные».

Поразительно, однако, что старец Тихон, так тонко разобравший текст исповеди с ее опасными и смешными местами, так глубоко проникший в ее литературное естество, совершенно забывал о художественной стороне дела, едва речь заходила о распространении «листков». Он мог бы сказать собеседнику, что над рукописью, для чего бы она ни предназначалась, надо работать, что без поправок ее нельзя отдавать в газеты, что в ней есть очень сильные места – а у ее автора определенные задатки; что в исправленном виде она произведет в публике более сильный эффект. Но Тихон – как эстет старой школы – забраковал рукопись и как духовник своим авторитетом воспрепятствовал распространению листков.

«– Вся просьба моя лишь в том, что вы... если огласите ваши листки, то испортите вашу участь... в смысле карьеры... Вас борет желание мученичества и жертвы собою; покорите и сие желание ваше, отложите листки и намерение ваше – и тогда уже всё поборете. Всю гордость свою и беса вашего посрамите! Победителем кончите, свободы достигнете...»

Победа, однако, не получалась. Николай Всеволодович терпел фиаско – «последнее средство» бездействовало. Непонятным образом все увязывалось вместе: рукопись – исповедь – искренность – покаяние – вера – неверие – гордыня – подпольная типография – «листки», назначенные к распространению, и их литературные достоинства, поставленные под сомнение взыскательным старцем. Рукопись решительно браковалась по причинам эстетическим, исповеди не давали хода в связи с ее «комическими местами», ис-

кренность была подпорчена нарочитой грубостью изложения, покаяние выглядело как презрительный вызов судьбе, подвиги веры и желание мученичества обессмысливались гордыней и предвкушением грандиозного скандала, который в случае обнародования подпольных «листков» грозил обернуться всего только посмешищем и позорищем.

«– Просто-запросто вам очень не хочется скандала, и вы ставите мне ловушку, добрый отче Тихон, – небрежно и с досадой промямлил Ставрогин...»

...Когда Достоевский сочинил для Ставрогина его «документ», а также сюжет, где затея с «листками» терпела полный крах, он и думать не мог, что готовит ловушку прежде всего для самого себя. Ибо его собственное право на распространение «листков» в составе печатающегося в «Русском вестнике» романа было вскоре категорически оспорено.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Законченный роман: кульминация и развязка

I

В КОНЦЕ ноября 1871 года была закончена, в середине декабря отправлена в Москву и к концу месяца уже набрана в типографии глава девятая второй части романа для двенадцатого номера «Русского вестника» – «У Тихона». В канун Нового года Достоевский узнал, что редакция журнала в лице М.Н. Каткова печатать главу отказалась, и спешно выехал для встречи с ним.

По-видимому, ни 30-го (в день его приезда в Москву), ни тем более 31 декабря, в разгар предпраздничной суеты, являться в редакцию смысла не было. Но уже 1 января Достоевский начал хлопоты, посетив Каткова на дому и оставив ему визитную карточку: на следующий день непременно нужно было увидеться в редакции. 2 января, поздно вечером, Достоевский написал жене: «Сегодня... несмотря на то, что Катков ужасно занят и, главное, что и без меня бездна людей поминутно мешают ему своими посещениями, – отправился в час к Каткову говорить о *деле*. Едва добился: в приемной комнате уже трое кроме меня ждали аудиенции. Наконец я вошел и прямо изложил просьбу о деньгах и о сведении старых счетов. Он обещал дать мне окончательный ответ послезавтра (4-го числа)... Кажется, Катков даст что-нибудь – и это верно. Я сужу по его тону, и не захотел бы он сам меня задерживать напрасно».

Дело, которое так беспокоило Достоевского, казалось ему вначале скорее денежного, чем цензурного свойства: он надеялся получить с редакции часть гонорара, но вторая часть романа не была закончена, и расчеты осложнились из-за отклоненной главы. Как всегда, деньги нужны были позарез: накануне, за две неде-

ли до Нового года, Коммерческий суд, слушавший дело по иску давних кредиторов о платеже по векселю в 500 рублей с процентами, составившими за пять лет еще 700 рублей, признал законными и сам иск, и взысканные проценты. 17 декабря постановлением суда ответчики лишались даже права на апелляцию: призрак долговой тюрьмы замаячил перед Достоевским вновь. Оставаясь в Москве на несколько лишних дней впредь до выяснения своих финансовых обстоятельств, он опять должен был считать каждую копейку и зависеть от благорасположения Каткова. Он докладывал жене, что обедает «на свой счет» и боится «прожиться», что у сестры Верочки, с которой встретил Новый год, проводит только вечера, а обедать совестится, «потому что у них, кажется, *очень тонко*, и это видно...».

Неизвестно, в какой из дней начала января и как именно произошел у Достоевского с Катковым разговор по поводу девятой главы. Во всяком случае, 4 января, когда Катков собирался дать окончательный ответ, дело денежное так и не сдвинулось с мертвой точки: редактор «Русского вестника» «извинялся и просил повременить», а также давал понять, что, хотя желает сделать для автора максимум из возможного, не все зависит от него и всеми выплатами распоряжается теперь другое лицо. В тот же день Достоевский сообщил Анне Григорьевне, что, каков бы ни был нынешний исход дела, «два последние забракованные ими листа романа в счет не вошли». Тон Каткова показался ему, видимо, гораздо менее обнадеживающим, чем два дня назад, настроение резко испортилось, и он в сердцах написал жене: «Я опять совсем не уверен, и, главное, если мне откажут, принужден буду с ними просто порвать, что уже очень худо». Хотя сейчас, когда роман, над которым он трудился уже два года, дошел до своей высшей точки, порвать с «Русским вестником» было еще труднее, чем когда-нибудь прежде. Понимая это и желая успокоить жену, он добавил в конце письма: «Признаюсь тебе, что я всё еще крепко надеюсь. Вот черта: я рассказал Каткову, глаз на глаз, сюжет моего будущего романа и слышал... что он уже рассказал

сюжет двум лицам. Если так, то не может же он относиться к моей просьбе пренебрежительно».

Судя по тому, что о намерениях редакции, так или иначе высказанных ему «глаз на глаз» в связи с забракованной главой, жене не было написано ни слова, он, видимо, и сам в тот момент считал их не слишком грозными. Он возвращался в Петербург, больше обеспокоенный долговыми обязательствами, чем неприятностью с приостановкой романа. И трудно даже представить, как бы решилось дело с его долгом в 1200 рублей, который нужно было немедленно платить по суду, если бы не «один случай», разом поправивший, казалось, безвыходное положение. «Получил денег и удовлетворил самых нетерпеливых кредиторов. Но совсем еще не расплатился, далеко до того, хотя сумму получил не малую», – писал он в начале февраля племяннице Сонечке в Москву; Сонечка, сотрудничавшая с «Русским вестником» и встречавшая Новый год вместе с дядей, должно быть, знала, что внезапные деньги пришли отнюдь не из журнала. За помощь, спасшую писателя «от большого бедствия», он благодарил в конце января его императорское высочество престолонаследника А.А. Романова...

В том же письме к Сонечке Достоевский заговорил наконец и о главе. «Вторая часть моих забот был роман. Правда, возясь с кредиторами, и писать ничего не мог; но по крайней мере, выехав из Москвы, я думал, что переправить забракованную главу романа так, как они хотят в редакции, все-таки будет не Бог знает как трудно...»

Чего же, однако, от него хотели в редакции?

Двенадцать лет спустя, обличая покойного Достоевского перед Л.Н. Толстым, об этом свидетельствовал Страхов: «Одну сцену из Ставрогина (растление и пр.) Катков не хотел печатать, но Достоевский здесь ее читал многим»[1]. Еще через тридцать с лишним лет после обличений Страхова с опровержениями выступила А.Г. Достоевская, дополнив свои «Воспоминания» специальной главой. «Федору Михайловичу для художе-

[1] Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. С. 308.

ственной характеристики Николая Ставрогина необходимо было приписать герою своего романа какое-либо позорящее его преступление. Эту главу романа Катков действительно не хотел напечатать и просил автора ее изменить. Федор Михайлович был огорчен отказом и, желая проверить правильность впечатления Каткова, читал эту главу своим друзьям: К.П. Победоносцеву, А.Н. Майкову, Н.Н. Страхову и др., но не для похвальбы, как объясняет Страхов, а прося их мнения и как бы суда над собой. Когда же все они нашли, что сцена «чересчур реальна», то муж стал придумывать новый варьянт этой необходимой, по его мнению, для характеристики Ставрогина сцены»[1].

Судьба девятой главы, которая должна была стать кульминацией романа Достоевского, непостижимым образом решалась по аналогии с «листками» Ставрогина, забракованными первым же читателем при первой же попытке обнародования. Даже по тем скудным сведениям, которые содержались в свидетельствах Страхова и А.Г. Достоевской, можно судить, что претензии Каткова к автору главы удивительно напоминали (если не повторяли!) редакторские советы старца Тихона Николаю Всеволодовичу. Попытка апелляции Достоевского к ближайшим друзьям для «суда над собой» как бы реализовывала намерение героя обратиться с «просьбой гласности» к множеству знающих его «в Петербурге и в России лиц». Когда Достоевский, для которого это «множество» состояло из узкого и исключительно мужского кружка петербургских знакомых, прочел им главу (разумеется, не скрывая конфликта с Катковым), мнение кружка было единодушно отрицательным.

Трудно сказать, при каких обстоятельствах происходили пробные чтения. Вряд ли это были встречи один на один с каждым из авторитетных лиц, упомянутых Анной Григорьевной: скорее всего, фразу Страхова «читал ее (главу. – *Л.С.*) здесь многим» следует понимать как «читал главу при всех» – то есть читал вслух, в присутствии некоторого числа гостей. Может

[1] А.Г. Достоевская. Воспоминания. С. 424.

быть, первое такое чтение имело место на вечере по случаю именин Достоевского (которое он отмечал в день Федора Тирона 17 февраля), когда собрались те самые ближайшие друзья; может быть, он повторно читал главу в доме своего родственника, М.И. Владиславлева, где встретился «со многими лицами из ученого мира», или в доме князя В.П. Мещерского, с которым сошелся в эту зиму и через которого познакомился с К.П. Победоносцевым, Т.И. Филипповым и «всем кружком». Как бы то ни было, но «все они» (то есть все те, кто присутствовал на авторских чтениях главы) вынесли решение, что сцена «чересчур реальна». «Все они» вместе с Катковым постарались убедить Достоевского в необходимости смягчить слишком сильное и как бы натуралистическое впечатление от «листков», назначенных к печати в декабрьском номере «Русского вестника».

«В отношении к обидам он вообще имел перевес над обыкновенными людьми, и всего хуже то, что он этим услаждался, что он никогда не каялся до конца во всех своих пакостях. Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими»[1], – «разоблачал» Достоевского Страхов.

«Иные места в вашем изложении усилены слогом; вы как бы любуетесь психологией вашею и хватаетесь за каждую мелочь, только бы удивить читателя бесчувственностью, которой в вас нет», – укорял Тихон Ставрогина; и Николай Всеволодович, как и всякий другой автор на его месте, пытался выяснить, о каких именно «иных местах» идет речь. «То есть, – подхватил в волнении Ставрогин, – вы находите весьма смешною фигуру мою, когда я целовал ногу грязной девчонки... и всё, что я говорил о моем темпераменте и... ну и всё прочее... понимаю. Я вас очень понимаю».

Понимал ли Катков, что, запрещая главу «У Тихона» из-за сцены с Матрешей, он как бы «цитирует» старца? Что замечания цензурного свойства, сделанные автору «Бесов», очевидно, «глаз на глаз», оказываются литературным плагиатом, а редакторские советы (Катков, как и Тихон, читал не рукопись, а типограф-

[1] Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. С. 308.

ский набор) – чисто ритуальным жестом? Что эстетический подход церковного иерарха к изломанному стилю исповедального «документа» он, редактор литературного журнала, автоматически применяет к роману, где этот «документ» работает художественно? И что вольно или невольно на место великого грешника и смиренного праведника из отвергнутой журналом главы он ставит Достоевского и себя?

«Федору Михайловичу... необходимо было приписать герою своего романа какое-либо позорящее его преступление» – именно так выразилась, как мы помним, Анна Григорьевна. «Этим страшным преступлением я казнил Ставрогина в „Бесах"»[1]. – так, по свидетельству З.А. Трубецкой, говорил сам Достоевский. Теперь ему приходилось брать на себя заботы по спасению «листков», согласившись (в отличие от Николая Всеволодовича) «в документе сем сделать иные исправления», которые, по примеру Тихона, потребовал от него Катков.

II

«Когда я принялся за дело, то оказалось, что исправить ничего нельзя, разве сделать какие-нибудь перемены самые мелкие, – сообщал Достоевский племяннице Сонечке 4 февраля, почувствовав, что его намерение легко и быстро, одними лишь поправками «в слоге», отделаться от настояний «Русского вестника» практически неосуществимо. – И вот в то время, когда я ездил по кредиторам, я выдумал, большею частию сидя на извозчиках, четыре плана и почти три недели мучился, который взять. Кончил тем, что все забраковал и выдумал перемену новую, то есть, оставляя сущность дела, изменил текст настолько, чтоб удовлетворить целомудрие редакции. В этом смысле пошлю им ultimatum. Если не согласятся, то уже я и не знаю, как сделать».

Одним из четырех планов был, по-видимому, тот,

[1] Цит. по: З.А. Трубецкая. Достоевский и А.П. Философова // Ф.М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. СПб.: Андреев и сыновья, 1993. С. 26.

о котором вспоминала Анна Григорьевна. «Варьянтов было несколько, и между ними была сцена в бане (истинное происшествие, о котором мужу кто-то рассказывал). В сцене этой принимала преступное участие «гувернантка», и вот ввиду этого лица, которым муж рассказывал варьянт (в том числе и Страхов), прося их совета, выразили мнение, что это обстоятельство может вызвать упреки Федору Михайловичу со стороны читателей, будто он обвиняет в подобном бесчестном деле «гувернантку» и идет таким образом против так называемого „женского вопроса"»[1].

Чем больше Достоевский советовался с «лицами», тем меньше шансов у него оставалось для того, чтобы «удовлетворить целомудрие» советчиков и в Петербурге и в Москве: им всем, видимо, очень нравилось, в подражание отцу Тихону, демонстрировать непогрешимость литературного вкуса. Никто из них, ближайших литературных друзей Достоевского, не взял его сторону; «некрасивость» преступления, которое «приписал» своему герою Достоевский, чтобы «казнить» его, вся комически постыдная история, о которой печалился старец Тихон, прочитав «листки» Ставрогина, убивали теперь не только идею покаяния великого грешника, но – по инерции – ставили под угрозу и судьбу романа. Какое бы иное преступление ни изобрел для «бедного, погибшего юноши» автор романа, оно было обречено – и на «некрасивость», и на «нецеломудренность», – а иначе в чем бы грешнику было каяться? Ведь даже о той истории из «листков» умудренный старец заметил: «Что же до самого преступления, то и многие грешат тем же, но живут со своей совестью в мире и в спокойствии, даже считая неизбежными проступками юности. Есть и старцы, которые грешат тем же, и даже с утешением и с игривостью».

Когда осенью 1871 года Достоевский написал эти слова, он и представить себе не мог, насколько опасны они лично для него.

В самом начале марта 1872 года, изложив сотруднику «Русского вестника» Н.А. Любимову новый план

[1] А.Г. Достоевская. Воспоминания. С. 424.

окончания «Бесов» и высказав пожелание, чтобы главой «У Тихона» открывалось печатание третьей части романа, Достоевский начал сражение за право героя на экстравагантные поступки и за их общую свободу слова. Еще через месяц, отправив в Москву текст, переделанный по «целомудренному» плану, он писал в «Русский вестник»: «Мне кажется, то, что я Вам выслал (глава 1-я «У Тихона», 3 малые главы), теперь уже можно напечатать. Всё очень скабрезное выкинуто, главное сокращено, и вся эта полусумасшедшая выходка достаточно обозначена, хотя еще сильнее обозначится впоследствии».

К ключевым словам московской и петербургской моральной цензуры, осудившей сцену с Матрешей за «реальность», «нецеломудренность», а также политическую недальновидность в «женском вопросе», теперь можно было прибавить еще и «скабрезность» – вряд ли Достоевский употребил бы этот эпитет от себя, если бы он не прозвучал из уст Каткова и его единомышленников. Оказывается, упреки Достоевскому по поводу его «слога» со стороны блюстителей литературных нравов были куда строже и суровей, нежели осторожная эстетическая критика, высказанная знатоком словесных ценностей архиереем Тихоном по поводу «листков» Ставрогина. К тому же у Николая Всеволодовича было некое бесспорное преимущество, которое давало ему свободу непослушания и маневра, если бы он все же решился обнародовать «листки» в том самом виде, в каком их читал Тихон. «Я в вас совсем не нуждаюсь... Я умею сам обойтись», – с вызовом подчеркивал строптивый автор документа.

Автор романа, однако, не мог, по примеру героя, сказать издателю: «Я забыл вас предупредить, что все слова ваши будут напрасны... не трудитесь отговаривать... Какова бы ни была сила ваших возражений, я от моего намерения не отстану». Как не мог он опубликовать третью часть «Бесов» вместе с запрещенной главой где-нибудь отдельно, «тонкой, заграничной печатью». Он не просто нуждался в Каткове и «Русском вестнике», но – связанный системой всегдашнего дол-

га – крайне зависел от них. Когда пять лет спустя «Русский вестник» попытался навязать свою волю независимому и обеспеченному автору «Анны Карениной», ничего не вышло; в мае 1877 года Л.Н. Толстой писал Страхову: «Оказывается, что Катков *не разделяет моих взглядов*, что и не может быть иначе, так как я осуждаю именно таких людей, как он, и, мямля, учтиво прося смягчить то, выпустить это, ужасно мне надоел, и я уже заявил им, что если они не напечатают в таком виде, как я хочу, то вовсе не напечатаю у них, и так и сделаю». Когда же Л.Н. Толстой действительно издал восьмую часть романа отдельной книжкой (в чем ему усердно помогал Страхов), сопроводив издание специальной справкой об истинных причинах такой акции, «Русский вестник» со своей стороны поместил заявление «От редакции», оповещавшее, что «со смертью героини, собственно, роман кончился», и пересказывавшее в пяти строках «небольшой эпилог»[1].

Достоевскому его ultimatum не удавался. Он не мог поставить под удар дело трех лет, все его советчики были против него, и никто из них не стал бы ему говорить тех слов, которыми утешал Л.Н. Толстого Страхов: «С журналами связываться – и не стоит мараться». Тон его письма в «Русский вестник», адресованного даже не Каткову, а всего только ничего не решавшему соредактору Н.А. Любимову, совсем не походил на ультимативный. Теперь, когда переработанный вариант главы был в руках редакции, Достоевский знал, что спасти ее может хотя бы некоторая авторская реабилитация героя.

Позже интерпретаторы романа напишут о нем много эффектных и энергичных фраз: грядущий Антихрист, Князь мира сего, ложь и отец лжи, самозванец, живой мертвец. Но тогда, в апреле 1872 года, добиваясь от редакции положительного цензурного решения, Достоевский был весьма далек от таких формул. У него в главе, еще до чтения «листков», Ставрогин говорил Тихону: «Знаете, я вас очень люблю». «И я вас», – отвечал ему Тихон и шептал, «чуть-чуть до-

[1] См.: Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. С. 118–121.

тронувшись пальцем до его локтя и как бы сам робея: „Не сердись...”». А после «листков» они прощали друг друга «за вольная и невольная» – по монастырской формуле, как не совсем точно выразился Николай Всеволодович.

Горячо убеждая Любимова в своем намерении найти компромисс, Достоевский писал: «Клянусь Вам, я не мог не оставить сущности дела, это целый социальный тип (в моем убеждении), *наш* тип, русский, человека праздного, не по желанию быть праздным, а потерявшего связи со всем родным и, главное, веру, развратного *из тоски*, но совестливого и употребляющего страдальческие судорожные усилия, чтоб обновиться и вновь начать верить. Рядом с нигилистами это явление серьезное. Клянусь, что оно существует в действительности. Это человек, не верующий вере наших верующих и требующий веры полной, совершенной, иначе...»

Рисовалась личность мощная и глубокая, масштабная и максималистски честная, нравственные преступления которой имеют, помимо личных, и серьезные социальные причины. Ханжей и святош из «Русского вестника» Достоевский подводил к мысли: совестливый герой, употребляющий страдальческие, судорожные усилия в поисках веры и обновления, такую исповедь, как в главе, и должен был написать судорожно, ибо все его преступление есть не что иное, как судороги и конвульсии праздного, потерявшегося человека. Достоевский, который уже казнил Ставрогина, сделав его насильником и растлителем малолетней Матреши, теперь выступал как его общественный защитник. Он не оправдывал поступков героя, чья великая праздная сила ушла «нарочито в мерзость», но как бы сопереживал его несчастью и жалел его. Он проводил разницу между брутальными нигилистами и героем «листков» – в пользу героя. Куда-то исчезал обворожительный демон-Мефистофель, исчадие ада, и являлся человек – страдающий и гибнущий. На мгновение мелькнула тень прототипа – другого страдальца, за которым, надо полагать,

ставрогинских мерзостей не числилось, хотя он тоже ни во что не верил; и Достоевский клялся, что как явление человек, «требующий веры полной, совершенной, иначе...», существует в действительности.

Злоключения с отвергнутой главой дали творческой истории романа неожиданный поворот: если два года назад автор, во имя великой художественной идеи, демонизировал героя, то теперь, ради спасения всей работы, он должен был очеловечить его. Разворачивалась многомесячная драма цензурных смягчений.

III

«Документ этот, по-моему, – дело болезненное, дело беса, овладевшего этим господином. Похоже на то, когда страдающий острою болью мечется в постели, желая найти положение, чтобы хотя на миг облегчить себя. Даже и не облегчить, а лишь бы только заменить, хотя на минуту, прежнее страдание другим. И тут уже, разумеется, не до красивости или разумности положения» – этой вставкой-объяснением от Хроникера начинался длинный ряд смысловых, стилистических и цензурных поправок. Главным мотивом документа выставлялся факт страдания: корчился от острой боли и метался не «отец лжи», не «живой мертвец», не самозванец, «язвительный, как Мефистофель», а человек, больной и несчастный. Неотразимый аргумент отца Тихона о «некрасивости» исповеди упреждался и даже как бы извинялся: «Тут уже не до красивости...» Редакторы, цензоры, критики и рецензенты – все, кто противодействовал появлению главы в «Русском вестнике», – должны были внять убедительной силе пространного предисловия, поставленного теперь перед документом «От Ставрогина»: «Основная мысль документа – страшная, непритворная потребность кары, потребность креста, всенародной казни». А потребность креста в человеке, не верующем в крест, не может не вызывать уважения, ибо «составляет идею».

Но превратить грешника в великомученика значило не просто уступить цензуре, а изменить существу

замысла; видимо, поэтому в предисловии к документу рядом с первым присутствовал и второй мотив: больной мечется и хватается «за удобный случай к новому буйству»; в самом факте подобного документа, «буйного и азартного», «предчувствуется новый, неожиданный и непочтительный вызов обществу».

Смягчая общее впечатление от «листков» Ставрогина в глазах цензуры, предисловие попыталось дезавуировать саму документальность исповеди и подлинность преступления. Тем малозаметным деталям, позволяющим заподозрить в «листках» первую пробу пера подпольного сочинителя, неожиданно придавались вес и значение – как еще одного возможного мотива их появления. Знаменательно: спасая главу и ее героя, Достоевский вопреки своей прежней писательской практике не уничтожал неопределенность мотивов, а, напротив, добивался ее. «А кто знает, может быть, всё это, то есть эти листки с предназначенною им публикацией, опять-таки не что иное, как то же самое прикушенное губернаторское ухо в другом только виде? Почему это даже мне теперь приходит в голову, когда уже так много объяснилось, – не могу понять. Я и не привожу доказательств и вовсе не утверждаю, что документ фальшивый, то есть совершенно выдуманный и сочиненный. Вероятнее всего, что правды надо искать где-нибудь в средине...»

В другом варианте акцент с предисловия переносился на диалог Ставрогина и Тихона до чтения «листков». «А правда ли то, что здесь написано?» – спрашивал Тихон. Улыбаясь ему в ответ «длинной, длинной улыбкой», Ставрогин намекал, что идея весьма оригинальна и даже натуральна, и предлагал Тихону прочесть «листки» «как литературную вещь». Ставрогин-сочинитель брался выручить Ставрогина-злодея: если бы удалось провести мотив «выдуманности» и «сочиненности» документа, выходило бы, что преступления вообще не было и герой оболгал себя ради литературного эпатажа и общественного скандала. Но что же взять с сочинителя – тем более такого, который хочет кары и креста при отсутствии состава преступления?

Все это, однако, были пока слова и слова. А Катков и компания придирались не столько к словам, сколько к сценам. И даже если Николай Всеволодович в сочинительском азарте оговорил себя, оставались слишком откровенные, «скабрезные» (непристойные, грязные, циничные – какие еще из эпитетов этого ряда называл Катков?) следы его разнузданной фантазии.

Прежде всего решительно сокращался список негодяйств Николая Всеволодовича, независимо от того, были ли они им сочинены для пущего скандала или имели место в действительности. Ставрогин более не воровал в номерах, при виде экзекуции Матреши испытывал не «наслаждение», а только «некоторое удовольствие» и полностью лишался «старых воспоминаний» – об отравлениях, оскорблениях, дуэлях и убийствах. Устранялись «нецеломудренные» подробности, слишком «реальные» детали; что же касается сцены растления, из-за которой не проходила в печать глава, был придуман новый и оригинальный ход: цензором «скабрезной» исповеди назначался... сам Николай Всеволодович.

«Листков всего было пять, один в руках у Тихона, только что им дочитанный и прерывавшийся на полуфразе, а четыре оставались в руках у Ставрогина. На вопросительный взгляд Тихона тот, уже ожидавший, мигом подал ему продолжение.

– Но и тут пропуск? – спросил Тихон, всматриваясь. – Ба! Да это уже третий листок, нужен второй.

– Да, третий, но тот листок... тот второй листок пока под цензурой, – быстро отвечал Ставрогин, неловко усмехаясь... – Вы получите потом, когда... удостоитесь, – прибавил он с неудавшимся фамильярным жестом. Он смеялся, но на него жалко было смотреть.

– Ведь уже теперь что второй номер, что третий, – всё одно, – заметил было Тихон.

– Как всё одно? Почему? – азартно и неожиданно рванулся вперед Ставрогин. – Совсем не одно. А! Вам бы сейчас по-монашески, то есть самую что ни на есть мерзость прежде всего заподозрить. Монах был бы самым лучшим уголовным следователем!»

Тихон, на поведение которого также распространилась авторская цензура, и впрямь заметно посуровел; теперь он разговаривал с собеседником «как человек, не желающий себя сдерживать»; осторожная и деликатная критика «слога» уступала место раздражению, негодованию и страстной непреклонности. Он резко порицал Ставрогина за «бесчувственность и глупость», был строг, нравоучителен и назидателен. В одном из поучений он выговаривал Николаю Всеволодовичу: «Видно, даром иностранцами не делаются. Есть одна казнь, преследующая оторвавшихся от родной земли, – скука и способность к бездельничеству, даже при всем желании дела. Но христианство признает ответственность даже и при всякой среде...» Суровый и непримиримый монах-аскет теснил тонкого ценителя изящной словесности, каким был Тихон в первой редакции главы; в присутствии такого исповедника Николай Всеволодович как-то сникал и терялся – в одну из таких неверных минут он, «взяв в руки маленькое распятие из слоновой кости, начал вертеть его в пальцах и вдруг сломал пополам».

Вся эта совокупная правка должна была, по мнению Достоевского, убедить цензуру в искренности и существенности авторского компромисса. «Нет, не после обнародования, а еще до обнародования листков, за день, за час, может быть, до великого шага, вы броситесь в новое преступление как в исход, чтобы только *избежать* обнародования листков!» – пророчествовал Тихон; но, в отличие от Николая Всеволодовича, Достоевский не намеревался усугублять ситуацию, так как боролся за свой великий шаг. Может быть, сердечное побуждение автора смягчить «буйный вызов» сверхчеловека вновь вызвало из памяти дорогую тень. В том месте главы, где герой дрожащими руками вынимал из бокового кармана своего сюртука «какие-то печатные листики», Достоевский, продолжая черкать и править, вписал на полях: «Длинная, длинная улыбка, улыбка [как бы потер<янного>] придавленного человека, улыбка за минуту до эшафота выдавилась в лице Ставр<огина>...»

Проработав весну и лето 1872 года над другими главами третьей части без подтверждения о принятии к публикации исправленного фрагмента (Любимов сообщал, что в отсутствие Каткова, пребывавшего за границей, он «не может ни на что решиться»), Достоевский тем не менее дописывал роман, твердо уверенный в том, что его герой у старца побывал и «листки» свои ему показал. Каждый номер «Русского вестника», выходивший после отсылки в Москву нового варианта главы, он встречал с надеждой увидеть ее наконец «обнародованной». «В весьма большом беспокойстве о том, начнется ли печатание в июльском номере? – спрашивал он Любимова. – Иначе не пойму, какие намерения редакции насчет этой третьей части. Нахожусь тоже в недоумении, доходят ли мои письма в редакцию (и посылки романа)?»

Июльский, августовский, сентябрьский номера вышли без главы. В конце сентября он пытался разузнать через московских родственниц, вернулся ли из-за границы Катков, и в начале октября выехал в Москву для переговоров; но за ту неделю, которую провел в Москве, правя рукописи, без движения лежавшие в «Русском вестнике», и все еще надеясь на благоприятный исход дела, видался только с Любимовым. 24 октября, уже в Петербурге, записывая в черновой тетради свой последний «ОБЩИЙ ПЛАН» к роману, он продолжал править эпизод из главы: Тихон горячо убеждал гостя во избежание новых преступлений не делать никаких публичных объявлений.

Если бы Достоевский с самого начала понял, что Катков (который вернулся в Москву только в первых числах ноября) поступит с его главой так, как того хотел Тихон в отношении «листков», он, быть может, нашел бы спасительный выход. Но он слишком понадеялся на то, что его ходатайство по делу героя, которого он так возвышал и так унижал, которого казнил и спасал и с которым так сжился за три года, возымеет действие и их общая работа над «листками» пойдет во благо им обоим.

Сразу по приезде Катков распорядился печатать

третью часть романа без главы, и 14 ноября, после перерыва в целый год, одиннадцатый номер «Русского вестника» с продолжением «Бесов» вышел в свет. Когда Достоевский в спешном порядке приводил содержание последних глав в соответствие с тем сценарием, из которого визит Ставрогина к Тихону был уже изъят, он рассчитывал закончить роман словами: «После Николая Всеволодовича оказались, говорят, какие-то записки... Я очень ищу их...» В окончательный вариант эти слова не попали, и герой его уходил из жизни, оставив после себя не «записки» и не «листки», а всего только карандашный набросок с самым лаконичным из своих текстов: «Никого не винить, я сам». По этому клочку бумаги можно было положительно утверждать, что ее автор, конечно же, не литератор.

IV

Между тем магия двойного авторства сообщала «листкам» удивительную энергию: даже и не обнародованные, они обладали даром воздействия и на тех, кому их довелось прочесть, и на тех, кто их рискнул написать.

Странную для монаха просьбу «представил» Тихон, ознакомившись с «листками». «Если огласите ваши листки, то испортите вашу участь... в смысле карьеры, например, и... в смысле всего остального... К чему бы портить? К чему бы, казалось, такая непреклонность?» – уговаривал он Николая Всеволодовича. Невероятным образом отеческое предупреждение проницательного старца, содержавшее не столько угрозу, сколько предвидение, стало актуальным лично для Достоевского.

Даже если в переговорах «глаз на глаз» Катков и намекал Достоевскому на угрозу скандального осложнения «карьеры и всего остального» в случае опубликования «нецеломудренной» главы, Достоевский эти намеки проигнорировал, сражаясь за нее до последнего. Предвидение Тихона, однако, не замедлило подтвердиться: преступление перед девочкой, в котором

каялся герой «листков», было переадресовано и инкриминировано автору.

По словам Анны Григорьевны, Достоевский приписал Ставрогину позорящее его преступление. По ее же словам, «эту гнусную роль Ставрогина, Страхов, в злобе своей, не задумался приписать самому Федору Михайловичу, забыв, что исполнение такого изощренного разврата требует больших денег и доступно лишь для очень богатых людей»[1]. Большому художнику благодаря его таланту, резонно замечала Анна Григорьевна, не нужно самому проделывать преступления, совершенные его героями, «иначе пришлось бы признать, что Достоевский сам кого-нибудь укокошил, если ему удалось так художественно изобразить убийство двух женщин Раскольниковым»[2].

Однако, объединяясь с героем в акте двойного авторства, «приписывая» ему не только сам факт преступления, но и письменный отчет о нем, «сочинение», Достоевский рисковал быть отождествленным с «соавтором»: герой, «заявивший своеволие», будто мстил автору за навязанный ему сюжет. Тем не менее исполненная риска художественная игра, безбоязненное предчувствие опасности, гипнотическая сила фантазии создавали тот тонкий мир, в котором герой-растлитель воплощал преследовавший автора многолетний кошмар, а автор, сочинивший «за» героя его исповедь, готов был разделить с ним «некрасивость» и позор преступления. Та настойчивость, с которой Достоевский возвращался к теме насилия над девочкой, то бесстрашие, с которым он пытался освободиться из плена цензуры, те исправления, которые он готов был внести в корректуру главы ради ее спасения, и тот риск «испортить карьеру», который он осознал еще прежде своих редакторов и критиков, обнаруживали азарт художника и страстность мастера, а не грязь извращенца, маскирующего «случай из жизни» декорациями пикантной беллетристики.

Судьба «листков», как и судьба их действитель-

[1] А.Г. Достоевская. Воспоминания. С. 424.
[2] Там же. С. 425.

ного автора, удивительным образом просвечивалась в самих «листках». «Если прочтет хоть один человек, то знайте, что я уже их не скрою, а прочтут и все. Так решено», – убеждал «проклятого психолога» Николай Всеволодович. Почему-то Катков, сыгравший роль редактора-цензора в подражание старцу Тихону, этих слов не расслышал или не придал им значения. Почувствуй Катков всю серьезность условия: «Если прочтет хоть один человек...», он должен был бы отнестись к нему с почтительным фатализмом и не препятствовать публикации главы в «Русском вестнике». Раз в этом необыкновенном тексте утверждалось, что его «прочтут все», противиться «решению» не имело смысла: рогатки и барьеры, преграждавшие доступ к запрещенной и «усекновенной» главе, творили легенду и обеспечивали легендарному сочинению долговременный неиссякаемый интерес.

Когда Достоевский еще в 1861 году доказывал Каткову целомудрие «Египетских ночей», он писал: «Нет, никогда поэзия не восходила до такой ужасной силы, до такой сосредоточенности в выражении пафоса! От выражения этого адского восторга царицы холодеет тело, замирает дух... и вам становится понятно, к каким людям приходил тогда наш Божественный Искупитель. Вам понятно становится и слово: искупитель... И странно была бы устроена душа наша, если б вся эта картина произвела бы только впечатление насчет клубнички!»

Когда Д.С. Мережковский первым из исследователей Достоевского прочел исключенную из романа главу, получив ее в рукописи из рук вдовы писателя в начале нынешнего столетия, он повторил почти то же самое: «Это одно из могущественнейших созданий Достоевского, в котором слышится звук такой ужасающей искренности, что понимаешь тех, кто не решается напечатать этого даже после смерти Достоевского: тут что-то, действительно, есть, что́ переступает «за черту» искусства: это *слишком живо*»[1]. Потрясение, которое

[1] Д. Мережковский. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М.: Республика, 1995. С. 63.

пережил Мережковский, а вслед за ним и первые публикаторы главы, было подготовлено атмосферой легенд и темных слухов, окружавших демонического сладострастника Ставрогина в течение тридцати лет подпольного существования его исповеди.

Но только «обнародование» криминальных «листков», а также всей их многослойной истории могло положить предел другой легенде: о Достоевском – «маркизе де Саде», которого, «при животном сладострастии», «тянуло к пакостям». Слагатель легенды, Страхов, на основании беспримерной клеветы, предложил Л.Н. Толстому, для которого и был создан миф о «злом, завистливом и развратном» Достоевском, свою собственную концепцию творчества автора «Бесов»: «Все его романы составляют *самооправдание*»[1].

Это значило, по Страхову, что Достоевский мерзко грешил, а каяться в грехах поручал героям и в освобождающем акте творческого преображения избавлялся от угрызений совести. Это значило, по Страхову, что акт и процесс литературного творчества был для Достоевского удобным прикрытием собственной похоти, а также универсальным гигиеническим средством: каждый новый роман и каждый новый вымышленный грешник брали на себя грязные похождения автора, морально раскрепощая его для свежих впечатлений и свежих творческих идей. «Это был истинно несчастный и дурной человек, который воображал себя счастливцем, героем и нежно любил одного себя»[2] – так аттестовал Страхов своего покойного друга.

История, в которой Достоевский, немолодой, нездоровый, незнатный и неимущий, отягощенный воспоминаниями о злоключениях юности, унизительно зависимый от кредиторов и издателей, создал герояантипода «безмерной высоты», которого наградил молодостью, красотой, мужским обаянием, знатностью, богатством, безграничной силой воли и которого наказал духовным, нравственным и творческим бесплодием за барственное равнодушие «ко всему родному», –

[1] Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. С. 308.
[2] Там же. С. 309.

эта история опровергает страховскую аттестацию во всех пунктах. Достоевский казнил демонического грешника ужасами, которыми «наполнен весь мир», но, выполняя «за него» его исповедальную акцию, работал с профессиональным риском, далеко превышающим известные в литературной профессии границы.

Он вообще рисковал, как никто другой. На «Бесах» этот риск принес самый поразительный для него результат. Он приступал к роману о демоне, полагая, что всякий грех случаен и из всякого грехопадения, как и из всякой бездны, есть путь к Богу. Но он создал героя, греховность которого была устойчива и трагически необратима; человеческих усилий было недостаточно для ее просветления и преображения. В эксперименте с исповедью заигравшегося и запутавшегося грешника он увидел, что первоначальные художественно-религиозные цели невыполнимы: грешник сочинял покаянный документ, намеревался вынести его на суд мирской и суд церковный, не страшась всеобщего поношения и осмеяния, – а роман о нем все равно заканчивался неотвратимым: «Гражданин кантона Ури висел тут же за дверцей».

Спустя три года, в марте 1875-го, уже работая над «Подростком», Достоевский записал конспект предисловия к своему новому роману: «Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться! Что может поддержать исправляющихся? Награда, вера? Награды – не от кого, веры – не в кого! Еще шаг отсюда, и вот крайний разврат, преступление (убийство). Тайна».

В подтвержение своего тезиса о трагической тайне подполья Достоевский привел два примера. «Болконский исправился при виде того, как отрезали ногу у Анатоля, и мы все плакали над этим исправлением, но настоящий подпольный не исправился бы». «Говорят, что Оля (в «Подростке». – *Л.С.*) недостаточно объяснила, почему она повесилась. Но я для глупцов не пишу».

«Подполье, подполье, *поэт подполья* – фельетонисты повторяли это как нечто унизительное для меня. Дурачки. Это моя слава, ибо тут правда». Так писал Достоевский, художественно овладевший тайной подполья, а затем и осознавший размеры своих владений: постичь тайны подполья значило постичь и одолеть его демонов. Только после «Бесов» он почувствовал, что на этом поле он полный хозяин, «господин разговора». Только после «Бесов» он со всей ясностью зафиксировал свое потрясающее открытие, которым не мог не гордиться: «Страстность и огромная *широкость*. Самая подлая грубость с самым утонченным великодушием. И между тем, тем и *сила* этот характер, что эту бесконечную широкость преудобно выносит, так что ищет, наконец, груза и не находит. И обаятелен, и отвратителен (красный жучок, Ставрогин)».

Обворожительный демон более не составлял для него тайны; он был разгадан и изображен – и отныне виделся не роковой личностью, а характером, доступным творческому освоению. И почему-то только после «Бесов», обдумывая перспективы «настоящего хищного типа» для романа 1875 года, Достоевский, впервые за два десятилетия, дважды и бегло, в рабочем порядке, в черновиках, упомянул Спешнева: старый долг, как и предполагалось, был возвращен не деньгами.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

«Я могу написать теперь более светлое...»

I

«Даю сию подписку в том, что в случае утверждения меня редактором журнала «Гражданин» я, Федор Михайлович Достоевский, принимаю на себя все обязательства по сему изданию в качестве ответственного редактора». Этот документ был подписан Достоевским 15 декабря 1872 года – в тот самый день, когда вышел наконец двенадцатый номер «Русского вестника» с окончанием «Бесов». С этого момента можно было вплотную заняться подготовкой отдельного издания романа – и попробовать, как он мечтал еще в юности, самому печатать, объявлять и продавать свои книги.

«Роман раскупается. *Никитенко* предсказывает успех. Притом любопытство возбуждено. 300 экземпляров окупают все издержки печати. Пусти весь роман в 8 томах по целковому, у нас барыша 7000. Книгопродавцы уверяют, что книга раскупится в 6 месяцев» – так писал он об одном своем «предприятии» еще в 1843 году. Теперь, тридцать лет спустя, его мечта сбывалась.

При расчете с «Русским вестником» он получил гонорар в 245 рублей 88 копеек: впервые, закончив большую работу, он был свободен от долгов издателю и мог не просить у него новых – спасительных и кабальных – авансов под предстоящее сочинение. Кажется, система всегдашнего долга больше не держала его в железных тисках. Ежемесячное редакторское жалованье в «Гражданине» и гонорары за статьи давали около пяти тысяч в год; чтобы получить такую сумму у Каткова, нужно было немедленно садиться за новый роман размером с «Бесы», закончить его и опубликовать в течение года. Он же «так был измучен работой

над «Бесами», что приниматься тотчас же за новый роман ему казалось невозможным... Федор Михайлович, согласившись на уговоры симпатичных ему лиц принять на себя редактирование «Гражданина», не скрывал от них, что берет на себя эти обязанности временно, в виде отдыха от художественной работы...»[1]

За месяц и неделю, которые прошли с момента выхода декабрьской книжки «Русского вестника» до получения из типографии тиража отдельного издания романа, нужно было внести в текст минимум самых необходимых исправлений и успеть вычитать корректуры. О каких бы то ни было серьезных переделках не могло быть и речи – помимо новых цензурных осложнений (в случае опубликования другой версии «Бесов») был еще фактор времени: книге имело смысл поступить в продажу в момент чтения подписчиками журнала заключительных глав романа, в разгар читательского спроса и критического бума. Знаменательный день, когда в «Голосе» появилось частное объявление писателя Достоевского о выходе в свет его нового романа, наступил 22 января 1873 года: первые 115 книг из тиража в 3500 экземпляров Анна Григорьевна собственноручно продала в первое же утро на своей квартире. «А с четырех часов пошли опять звонки: являлись новые покупатели, являлись и утренние за новым запасом. Издание, видимо, имело большой успех, и я торжествовала, как редко тогда случалось»[2].

Многострадальный роман, с которым было связано столько мучительных воспоминаний, которому было отдано столько труда и страсти, оказался поистине благодарным литературным «предприятием». Достоевский был безмерно счастлив, когда приказчики книжных магазинов передавали ему, что «публика давно уже спрашивает роман», а Анна Григорьевна, ведя строгий учет проданным экземплярам, имела право написать впоследствии: «Наша издательская деятельность началась блистательно, и три тысячи экземпляров были распроданы до окончания года. Продажа остальных пяти-

[1] А.Г. Достоевская. Воспоминания. С. 266–267.
[2] Там же. С. 272.

БѢСЫ

РОМАНЪ

Ѳедора Достоевскаго.

ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

С.-Петербургъ.

Типографія К. Замысловскаго, Бол. Мѣщ., д. № 33.

1873.

Титульный лист первого издания романа «Бесы»

сот экземпляров затянулась на дальнейшие два-три года. В результате, за вычетом книгопродавческой уступки и за уплатою всех расходов, очистилось в нашу пользу более четырех тысяч, что и дало нам возможность уплатить некоторые тревожившие нас долги»[1].

Книга, которая придумывалась так трудно, писалась так рискованно, называлась так опасно (оптовые покупатели, приходя на квартиру Достоевских, просили отпустить им «вражью силу», «дюжину чертей» или «десяточек дьяволов»), дала ее автору желанную передышку и ощутимый материальный просвет. Теперь и он был признателен своему роману. Когда в августе 1873 года, приехав из Старой Руссы, где летом находилась семья, в Петербург по делам «Гражданина», Достоевский узнал, что на книгу по-прежнему есть покупательский спрос, он дал ей трогательно-ласковое прозвище – «бесочки». «Вчера, когда я спал, приходил (приказчик? – *Л.С.*) от Вольфа с требованием 25 экземпляров «Бесов» и оставил бумажку, то есть требование... Значит, бесочки-то опять пошли и ведь без малейшей публикации...»

В те первые месяцы «бесочки» и в самом деле не нуждались в оплаченной рекламе. Доброжелательная критика, называвшая «Бесы» лучшим романом года, талантливейшим явлением литературы последних лет и признавшая за ее автором право занимать независимую общественно-политическую позицию, так как это право выстрадано годами каторги, соперничала с отзывами крайне резкими и истерично-оскорбительными. Уже в январе, накануне выхода отдельного издания «Бесов», у Майкова были все основания утверждать, что на автора романа «залаяла вся свора прогресса». «Господи, как ругаются! Но ругательства бы еще ничего: как клевещут!»[2] (Страхов, которому было адресовано письмо, считал, что Достоевский придает «стае прогресса» все еще слишком много важности[3].)

Свора (или стая) прогресса называла «Бесы» «литературным уродом», «случаем мрачного помеша-

[1] А.Г. Достоевская. Воспоминания. С. 273.
[2] Литературное наследство. Т. 86. С. 428.
[3] См. там же. С. 421.

тельства», «скотным двором Авгия», «скабрезно-рокамбольной беллетристикой», «мистическим бредом». Объявив автора слепым, завистливым безумцем, который «созерцает собственные внутренности», «свора» уличала его в том, что «новые люди» изображены в виде «страшных чудовищ». «Помимо желания автора, – писал в те дни критик «Нового времени», – мы все-таки склонны гораздо более симпатизировать безнравственному, положим, но умному, энергичному и упорно стремящемуся к своей цели Верховенскому-младшему, чем дряблому, бесхарактерному приживальщику отцу... После «Бесов» нам остается только поставить крест на этом писателе и считать его деятельность законченной»[1], – гневался критик.

Достоевского уговаривали не читать неприличную и грубую брань, не пачкаться ею. Но каждый день он покупал газеты, где его ругали и оскорбляли, читал, перечитывал, нервничал и злился, не позволяя себе, однако, ни малейшего слова в ответ. И только 31 января 1873 года, по просьбе О.А. Козловой, жены поэта-переводчика П.А. Козлова, он сделал запись в ее альбоме, где выразил иной взгляд на перспективы своей деятельности: «...несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо; люблю жизнь для жизни, и, серьезно, всё чаще собираюсь *начать* мою жизнь. Мне скоро пятьдесят лет, а я всё еще никак не могу распознать: оканчиваю ли я мою жизнь или только лишь ее начинаю. Вот главная черта моего характера; может быть, и деятельности».

Ему шел уже пятьдесят второй – вряд ли он намеренно уменьшил свои годы, оставляя автограф в альбоме молодой дамы. Но, пролистав ее роскошную памятную книжку, увидев имена тех, кто сделал свои надписи до него, он захотел сказать и о странном свойстве своей памяти. «Я сохраняю несколько фотографий людей, которых наиболее любил в жизни, – и что же? я никогда не смотрю на эти изображенья: для меня, почему-то, – воспоминание равносильно страданию, и даже чем счастливее воспоминаемое мгновение, тем более от него и мучения».

[1] Новое время. 1873. № 61. 16 января.

Только теперь, закончив роман, заставивший его испытать подлинное потрясение памяти, он сознавал всю глубину горьких слов: воспоминание равносильно страданию. Теперь, после «Бесов», груз воспоминаний и опыт страдания стали, как ни странно, легче; и вопреки рекомендациям критиков из «своры» автор не собирался ставить на себе крест. Что же касается людской злобы, заушения и заплевания, которые обрушились на него из-за «Бесов», он был, как оказалось, и «приготовлен» и «закален»; к тому же чудной старец из запрещенной главы вдохновенно предрекал: «Всегда кончалось тем, что наипозорнейший крест становился великою славой и великою силой, если искренно было смирение подвига. Даже, может, при жизни вашей уже будете утешены!..»

5 февраля 1873 года, в самый разгар «военных действий» либерально-прогрессистской критики, публично выражавшей сомнения в психической полноценности Достоевского или без обиняков объявлявшей его сумасшедшим, в «Гражданине» вышел рассказ «Бобок». Автора «Бесов» записывали в душевнобольные? Ставили на нем крест? Приглашали любопытствующих посетить Академию художеств, где выставлен его портрет кисти известного живописца, запечатлевший всем известный «тяжкий недуг»? («Голос» в этой связи призывал даже почувствовать к г-ну Достоевскому «жалостливость»[1]). «Бобок» отвечал сразу всей «своре».

II

Рассказ начинался вызывающе кратким вступлением. «На этот раз помещаю «Записки одного лица». Это не я; это совсем другое лицо. Я думаю, более не надо никакого предисловия».

«Записки одного лица» принадлежали не прославленному автору «Записок из Мертвого дома» или «Записок из подполья». Иван Иваныч, «одно лицо», представал перед публикой словно по заказу улюлюкаю-

[1] См.: Голос. 1873. № 14. 14 января.

щей критики – спившимся до галлюцинаций литератором-неудачником, с заметными психическими отклонениями, измененной речью и неповинующимся слогом. Ему неоткуда и не от кого было ждать снисхождения; ни текущая деятельность, ни литературная биография не оставляли никаких надежд на будущее, а список сочинений, который паче чаяния он бы мог предъявить любопытствующим, являл собой самое жалкое зрелище. «Написал повесть – не напечатали. Написал фельетон – отказали. Этих фельетонов я много по разным редакциям носил, везде отказывали: «Соли, говорят, у вас нет...» Перевожу больше книгопродавцам с французского. Пишу и объявления купцам... За панегирик его превосходительству покойному Петру Матвеевичу большой куш хватил. «Искусство нравиться дамам» по заказу книгопродавца составил. Вот этаких книжек я штук шесть в моей жизни пустил. Вольтеровы бонмо хочу собрать, да боюсь, не пресно ли нашим покажется. Какой теперь Вольтер; нынче дубина, а не Вольтер! Последние зубы друг другу повыбили! Ну вот и вся моя литературная деятельность».

И вот этот-то жалкий, карикатурно ничтожный Иван Иваныч вдруг объявлялся в «Гражданине» со своими «Записками». «Я не обижаюсь, я человек робкий; но, однако же, вот меня и сумасшедшим сделали. Списал с меня живописец портрет из случайности: «Все-таки ты, говорит, литератор». Я дался, он и выставил. Читаю: «Ступайте смотреть на это болезненное, близкое к помешательству лицо». Оно пусть, но ведь как же, однако, так прямо в печати? В печати надо всё благородное; идеалов надо, а тут... Скажи по крайней мере косвенно, на то тебе слог. Нет, он косвенно уже не хочет. Ныне юмор и хороший слог исчезают и ругательства заместо остроты принимаются. Я не обижаюсь: не Бог знает какой литератор, чтобы с ума сойти».

Это была дерзость, которой не ожидали от него даже самые яростные из «своры». Его называли сумасшедшим? Ждали, что, оболганный и оклеветанный, он втравится в публичную склоку? Что, защищаясь,

станет малодушно перечислять прошлые литературные заслуги? Да нет же! Он знал свое место и был преисполнен смирения: почему же свободному сочинителю и не прикинуться графоманом Иван Иванычем? Хотели сумасшедшего – пусть изучают Иван Иваныча, гадая, какой такой кладбищенский «бобок» ему в белой горячке примерещился.

А незадачливый и пьяненький Иван Иваныч тем временем ходил между могилок и наблюдал «жизнь» в самых ее «непредвиденных» формах, почти автоматически повинуясь спасительной привычке запоминать и записывать. Даже и в столь плачевном состоянии надеялся он накопать факты о случайно открывшейся ему тайне «последних упований», которые, оказывается, чудесным образом посылаются «дряблым и гниющим трупам». Потрясенный увиденным, трезвел Иван Иваныч и в негодовании силился осмыслить тот растленный ужас, который вселялся в погибшие души. «Разврат в таком месте... и – даже не щадя последних мгновений сознания! Им даны, подарены эти мгновения и... А главное, главное в таком месте! Нет, этого я не могу допустить...» Теперь было у Иван Иваныча дело, занятие, было сильное впечатление, явился замысел и кураж. «Побываю в других разрядах, послушаю везде. То-то и есть что надо послушать везде, а не с одного лишь краю, чтобы составить понятие. Авось наткнусь и на утешительное. А к тем непременно вернусь... непременно пойду; дело совести!»

И был только один способ для маленького и скромного литератора исполнить дело совести: писать – несмотря на болезнь, скверный характер, «рубленый слог», которым попрекали в редакциях. «Бобок» заканчивался еще одной неподражаемой дерзостью: «Снесу в «Гражданин»; там одного редактора портрет тоже выставили. Авось напечатает».

Анонимные рецензенты снова и снова «горько сожалели» об авторе, «провалившемся» с «Бесами», а теперь еще и с одиозным «Гражданином», где был помещен ни на что не похожий «Бобок»; назидательно объясняли, к каким плачевным результатам приводит ре-

негатство, как необратимо в нынешних «мистически-забористых» сочинениях падение писателя, как тягостно и болезненно в этом писателе падение человека.

А автор – автор мог только изумляться разительному несовпадению внешних оценок того, что было делом его совести, и своего внутреннего состояния в момент, когда дело уже было близко к завершению. Ровно за год до рассказа об Иван Иваныче, в феврале 1872 года, Достоевский, отвечая на письмо С.Д. Яновского, друга юности, свидетеля и поверенного роковых увлечений, рассказывал о себе: «Вы один из «незабвенных», один из тех, которые резко отозвались в моей жизни, и с именем Вашим связаны мои воспоминания. Нам, Степан Дмитриевич, нельзя не свидеться перед старостью. Что же, надо признаться, старость подходит, а меж тем и не думаешь, всё еще располагаешь писать новое, что-нибудь создать, чем бы наконец сам остался доволен, ждешь еще чего-то от жизни, а меж тем, может быть, уже всё получил. Я про себя Вам повествую: что ж, я почти счастлив...»

Именно об этом времени – как времени умиротворения, развития христианских чувств и мыслей – с нежностью вспоминала Анна Григорьевна: «Все друзья и знакомые, встречаясь с нами по возвращении из-за границы, говорили мне, что не узнают Федора Михайловича, до такой степени его характер изменился к лучшему, до того он стал мягче, добрее и снисходительнее к людям. Привычная ему строптивость и нетерпеливость почти совершенно исчезли»[1]. И даже Страхов, который, составляя свои «Воспоминания» о Достоевском, не предполагал, что, едва они появятся, он решит в частном письме Толстому сказать об авторе «Бесов» «настоящую правду», почему-то именно с этим романом связал «особенное раскрытие того христианского духа, который всегда жил в нем»[2]. Страхов писал об удивительной перемене, которая обнаружилась в Достоевском по приезде из-за границы: «Он стал беспрестанно сводить разговор на религиозные

[1] А.Г. Достоевская. Воспоминания. С. 222.

[2] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 294.

темы. Мало того; он переменился в обращении, получившем большую мягкость и впадавшем иногда в полную кротость. Даже черты лица его носили след этого настроения и на губах появлялась нежная улыбка». Страхов не мог забыть, как однажды в общественном месте, в людской толчее, Достоевский сказал ему («искренность и теплота так и светились в нем при этих словах»): «Да все люди – существа прекрасные!»[1]

И тот же Страхов – каким бы неискренним он ни был и какое бы «отвращение» к покойному Достоевскому ни чувствовал, когда писал «Воспоминания», – захотел употребить эти, а не другие, более сдержанные (или более двусмысленные), восхищенные слова: «Ему досталось на долю все неустройство литературной жизни, десятки лет неверного, непостоянного заработка, забиранья денег вперед, выжиданья, выпрашиванья, нерасчетливых трат и сиденья без копейки. Все он перенес, все победил, не изменяя своей цели, не покидая своего поприща, не теряя ни бодрости, ни пламенного желания высказаться, оставаясь себе верным... Это не простой литератор, а настоящий герой литературного поприща»[2].

III

Итак случилось, что утешение, посылаемое тем, у кого, по слову старца Тихона, «искренним было смирение подвига», действительно не замедлило явиться. Еще при жизни «герою литературного поприща» довелось изведать то состояние власти над умами и душами, которое, в отличие от бренной славы, имеет отсвет бессмертия. В тот декабрьский день 1872 года, когда в петербургских газетах вышло объявление о новом редакторе «Гражданина», его слово неожиданно было услышано.

«Я думал, что он все еще за границей; но вот он здесь, в одном городе со мною, я могу его видеть, говорить с ним. Меня охватила радость, волнение. Я был

[1] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 295.
[2] Там же. С. 320–321.

ужасно молод и не стал задумываться: сейчас же отправился в редакцию «Гражданина» узнать адрес нового редактора. Мне дали этот адрес. Я вернулся к себе, заперся и всю ночь напролет писал Достоевскому»[1]. Двадцатидвухлетний Вс. С. Соловьев, сын известного историка, признавался, что уже несколько лет ждет случая говорить с писателем.

«Вы играете в моей жизни громадную роль – бывают минуты, когда я дышу Вами. Как часто обращался я к Вам за решением трудных вопросов, и Вы всегда отвечали мне; бывали случаи, когда я додумывался до некоторых мыслей, не имея, однако, силы выразить их словами, и потом находил эти мысли в творениях Ваших, выраженными Вашим могучим словом... Вас ставят в числе лучших русских писателей... но все же оценка Вашего таланта еще впереди, Вы еще не поняты как следует русским обществом, оно еще не доросло до этого понимания и слушает слова Ваши, широко раскрыв глаза, в недоумении и смущении. Отчего же им трудно понимать Вас?.. Вы зовете его на серьезные мысли, на зрелища, потрясающие нервы, в атмосферу тяжкого страдания, среди которой сияют любовь и прощение, так давно понятые Вами, и *все это* начинает дрожать за свое блаженство, и боится Вас, и открещивается, и говорит, что слова Ваши непонятны. Ведь тяжело сознаться, что все, о чем Вы пишете, существует, потому что тогда нужно очнуться и действовать; ведь приятно себя успокоить тем, что его не существует, что оно только фантазия писателя...»[2]

Письмо восторженного юноши было датировано 28 декабря; Достоевский, получив его в самый канун Нового года, должен был отнестись к нему как к дорогому подарку. Впервые обращенное к нему читательское послание было столь пламенным, впервые ему были адресованы волнующие строки, которых жаждет сердце каждого автора: «Я повторяю, что Вы имеете на мою жизнь огромное влияние, что я никогда не ставил Вашего имени рядом с другими современными имена-

[1] Исторический вестник. 1881. № 3. С. 602–603.
[2] Цит. по: Ф.М. Достоевский. Письма. Т. III. С. 299–300.

ми, что я вижу в творениях Ваших яркий пламень гения, и преклоняюсь перед Вами, и глубоко люблю Вас. У меня еще все впереди и, быть может, и мне удастся сказать свое слово; но мне нужна опора, и за этой опорой обращаюсь я к Вам, гениальный учитель. Если для Вас могут что-нибудь значить восторг мой и любовь моя, то позвольте мне прийти к Вам»[1].

В увлечении своем Вс. С. Соловьев вряд ли сознавал, что почти дословно цитирует один пламенный монолог из только что законченного романа любимого писателя, где преданный ученик умолял учителя выслушать его, а потом клялся, что будет целовать следы ног своего кумира, когда тот уйдет. Но и Достоевский, «гений и гениальный учитель», даже если взволнованный голос молодого человека и напомнил ему что-то знакомое, радикально изменил ответную реплику. Три дня спустя после получения письма, 1 января 1873 года, он навестил молодого человека и оставил визитную карточку с приглашением: отныне он устанавливал собственные правила в дружбе между учителем и учеником.

Тем же вечером, обнаружив дома исписанную визитную карточку Достоевского, пылкий юноша писал матери: «Взглянул на карточку – и мое сердце так задрожало, что я едва не упал; я прочел, что на ней написано, и с горячими слезами благодарил Бога, услышавшего мою молитву. Еще никогда я не был так счастлив – на карточке стоит имя человека, которого я признаю́ гениальным, перед которым я благоговею, о знакомстве, о дружбе которого я несколько лет мечтал как о недосягаемом счастье... Я... знал, что он поймет меня. Я слишком хорошо его сам понимаю. Я не ошибся в человеке...»[2] В своем дневнике он развил мысль подробнее: «Я так часто ошибался, так часто ожидал от людей того, что они не могли мне дать, и получал от них то, чего они не должны были давать мне. Прошел день, другой, третий – и он сам приехал ко мне. Я в нем не обманулся. Это одна из немногих удач моих. Много

[1] Цит. по: Ф.М. Достоевский. Письма. Т. III. С. 300.
[2] Литературное наследство. Т. 86. С. 421–422.

значит для меня привет его – да пошлет ему Бог счастия! Вперед! Вперед! Что-то начинает светлеться...»[1]

Десять лет спустя, в посмертных воспоминаниях о Достоевском, Вс. С. Соловьев, ставший к тому времени известным историческим романистом, вспоминал, как он, взволнованный и счастливый, не спал всю ночь, как едва дождался вечера 2 января, чтобы ехать к учителю: «Я замирал от восторга и волновался, как страстный любовник, которому назначено первое свидание»[2]. Он вспоминал, как нашел дом, как позвонил в дверь, как в бедной угловой комнатке с старой и дешевой мебелью увидел своего кумира.

«Я назвал себя. Достоевский ласково, добродушно улыбаясь, крепко сжал мою руку и тихим, несколько глухим голосом сказал:

– Ну, поговорим...

...Через несколько минут моего смущения как не бывало. Мы встретились, будто старые и близкие знакомые после непродолжительной разлуки»[3].

«Я не могу вас любить, Шатов», – холодно выговаривал своему ученику герой романа. Молчаливым и до крайности сдержанным запечатлен был в памяти романиста незабываемый прототип героя. Но сам романист, проживший и выстрадавший фантастические судьбы и ученика, и учителя, и героя, и прототипа, в своей реальной жизни откликался на любовь с такой благодарностью, открывал сердце с такой готовностью, стремился приблизить полюбившегося человека с таким бескорыстием – и так сильно способен был привязаться сам...

«Я спешил к нему в каждую свободную минуту, и если мы не виделись с ним в продолжение недели, то он уж и пенял мне... – писал Вс. С. Соловьев. – Он говорил с таким горячим убеждением, так вдохновенно и в то же время таким пророческим тоном, что очень часто я начинал и сам ощущать восторженный трепет, жадно следил за его мечтами и образами и своими во-

[1] Литературное наследство. Т. 86. С. 300.
[2] Исторический вестник. 1881. № 3. С. 605.
[3] Там же. С. 604.

просами, вставками подливал жару в его фантазию. После двух часов подобной беседы я часто выходил от него с потрясенными нервами, в лихорадке. Это было то же самое, что и в те годы, когда, еще не зная его, я зачитывался его романами. Это было какое-то мучительное, сладкое опьянение, прием своего рода гашиша»[1].

При всей своей восторженности новый друг Достоевского ничуть не преувеличивал их взаимного увлечения: уже в конце января 1873 года, меньше чем через месяц после знакомства, писатель просил свою московскую племянницу Сонечку принять молодого человека как родного. «Я с ним недавно познакомился и при таких особенных обстоятельствах, что не мог не полюбить его сразу. Его прошу я побывать у Вас и уговорить Вас приготовить ко времени его отъезда из Москвы письмо ко мне подлиннее и посердечнее. Люблю Вас, милый инок мой Соня, так, как моих детей, и еще, может быть, немного более... Если б Всев. Соловьев был из обыкновенных моих знакомых, я бы к Вам не прислал его лично. Он довольно теплая душа».

IV

В ТЕ САМЫЕ дни декабря-января, когда так романтично и стремительно складывалась дружба Достоевского с начинающим литератором, еще одна молодая душа с восторгом и благоговением внимала любимому писателю. Корректор типографии, в которой печатался «Гражданин», двадцатитрехлетняя Варвара Васильевна Тимофеева, тридцать лет спустя вспоминала о своих встречах с редактором журнала как о «редком счастье», выпавшем ей на долю: «...в течение целого года не только часто видеть и слышать Федора Михайловича Достоевского, но и работать с ним вместе за одним и тем же столом, при свете одной и той же типографской лампы»[2]. Конечно, мемуары воспоминательницы были написаны тогда, когда значение Достоевского давно перестало быть величиной переменной и

[1] Исторический вестник. 1881. № 3. С. 606.

[2] В.В. Т-ва (О. Починковская). Год работы с знаменитым писателем // Исторический вестник. 1904. № 2. С. 488. Далее – с. 500–542.

могли – вольно или невольно – утерять дневниковую достоверность. Но мемуаристка утверждала, что обычно, придя домой после многочасового сидения над корректурами, всегда тут же записывала и содержание бесед с Достоевским, и свои собственные переживания...

Странное это было сотрудничество – за одним столом и при одной лампе. С журналом «Гражданин» В.В. Тимофееву связывала, по ее словам, «только необходимость в заработке», так понятная Достоевскому; постоянная же и самостоятельная работа у нее была в «Искре», где молодая журналистка вела бытовую хронику. В те самые месяцы, когда как корректор «Гражданина» она правила статьи Достоевского из «Дневника писателя», в ее «родном» журнале культивировались не только другие мысли и другие взгляды, но и враждебная, оскорбительная неприязнь к лагерю «Гражданина» вообще и к Достоевскому, писателю и публицисту, в частности.

Если в «своре прогресса», о которой, сочувствуя Достоевскому, писал Майков, были свои вожаки и свои рядовые, то, бесспорно, «Искра» и ее сотрудники занимали позиции далеко впереди прогресса. Закрытый в конце 1873 года за «превратные и совершенно неуместные суждения о правительственной власти», сатирический журнал радикального революционно-демократического толка в первые месяцы года, совпавшие с выходом «Бесов» и дебютом «Дневника писателя», казалось, поставил своей целью раз и навсегда покончить с «помешанным» автором «контрреволюционных» сочинений. «Столпником всероссийского застоя» называли Достоевского сотрудники «Искры», писавшие о нем чаще всего анонимно (исключение составлял лишь Д.Д. Минаев); и наверняка Тимофеева хорошо знала, кто скрывается за анонимной статьей, утверждавшей, что «Бесы» оставляют такое же скорбное впечатление, как «посещение дома умалишенных»[1]. В фельетонах «Искры» сюжет романа («Оборотни») карикатурно изображался как примитивное и вульгарное чтиво («духовидцы и «красные» мазурики,

[1] Искра. 1873. № 6. 21 февраля.

фурьеризм и синильная кислота, прокламации, револьверы и доносы, Женева и «Малинник», принципы 1789 года и грабеж во время пропаганды, мохнатые люди и девственницы, развращенные духом. Миллион действующих лиц и поголовное истребление их в конце романа...»[1]), а «Дневник писателя» пародировался «Дневником прохожего», в котором некий надворный советник Девушкин жаловался, что, читая «Бесов», ничего не понимает. «Ведь простой роман, кажется... слова все понимаю в отдельности, а к чему вот все сочинение клонится, хоть гром меня разрази – не постигаю»[2].

Должно быть, Достоевский предполагал, что типографский корректор, с которым ему приходилось работать по «Гражданину», отнюдь не разделяет его настроений; Тимофеева не скрыла в своих мемуарах, что самый дух «Дневника» был в те времена ей чужд и антипатичен. «В либеральных литературных кружках и в среде учащейся молодежи, где были у меня кое-какие знакомства, его бесцеремонно называли «свихнувшимся», а в деликатной форме – «мистиком», «ненормальным» (что, по тогдашним понятиям, было одно и то же). Это было время только что замолкнувшего процесса Нечаева и романа «Бесы» в «Русском вестнике». Мы, молодежь, читали речи знаменитых защитников в «Голосе» и «С.-Петербургских ведомостях», и новый роман Достоевского казался нам тогда уродливой карикатурой, кошмаром мистических экстазов и психопатии... А то, что автор «Бесов» принял редакторство в «Гражданине», окончательно восстановило против него многих из прежних его почитателей и друзей».

Ничего хорошего ни это знакомство, ни это сотрудничество как будто не сулили. Когда Тимофеева впервые увидела в типографской конторе невысокого господина в меховом пальто и калошах, услышала его тихий, глухой голос и, подняв глаза, встретила «неподвижный, тяжелый, точно неприязненный взгляд», она потупилась и старалась больше не смотреть на уг-

[1] Искра. 1873. № 19. 15 апреля.
[2] Искра. 1873. № 17. 1 апреля.

рюмого человека с землистым лицом и бескровными губами, напомнившего ей солдат из разжалованных... К тому же первый визит Достоевского в типографию был откомментирован ее владельцем, обруселым немцем А.И. Траншелем, в лучших тогдашних либеральных традициях. «Знаете, кто это? – сказал мне Траншель, когда захлопнулась дверь. – Новый редактор «Гражданина», знаменитый ваш Достоевский! Этакая гниль! – вставил он с брезгливой гримасой». И Тимофеева, для которой слова «литература», «писатель» означали тогда «жизнь, мысль, свет, упование», глубоко возмутившаяся «грубым, невежественным кощунством», не посмела что-либо сказать по этому поводу своему прогрессивному хозяину.

И все-таки история молодой литсотрудницы Достоевского, если судить по ее мемуарам, развивалась в течение всего 1873 года как бы по нотам ее любимого «Преступления и наказания» – как романическая история постепенного обновления и перерождения человека, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью. И конечно, это была очень женская история.

Вначале были ожидания – ведь «Достоевский так волшебно и сладостно расширял нам сердце и мысли»; ожидание рождало надежды. «Кто знает, думалось мне теперь, под впечатлением первой встречи с знаменитым писателем, может быть, именно он *вывел* нас всех *из нормы* и до того пронизал нам душу любовною жалостью, состраданием ко всему страдающему, что нам сделалось тесно в семье, и все больное, забитое и приниженное стало нам близко и родственно, как свое!» В его присутствии, пока оно не стало привычным, она чувствовала «неестественно гнетущую робость», «бессознательное смущение»; она не смела шевельнуться и свободно вздохнуть, боялась оглянуться в его сторону. «Все время, пока он сидел, мне чувствовалось что-то строгое, властное, *высшее*, какой-то контроль или суд над всем моим существом».

Частые встречи на почве корректурных правок неминуемо должны были обернуться спорами и ссора-

ми, а также взаимным раздражением. Первым раздражался он, требуя, чтобы она угадывала его индивидуальную орфографию: «У каждого автора свой собственный слог, и потому своя собственная грамматика... Мне нет никакого дела до чужих правил!.. Корректор должен *уметь* угадывать!» Она возражала, обижалась, пыталась что-то угадывать, но однажды, вконец запуганная его постоянными напоминаниями о «непреложности» авторских и редакторских корректур, не посмела исправить несомненную описку в его статье, где роман Чернышевского назывался «Кто виноват?»: мнительный Достоевский тут же заподозрил подвох...

«Я... внутренне испытывала что-то вроде разочарования. Ни повелительный тон, к которому я совершенно тогда была непривычна, ни брюзгливо-недовольные замечания и раздражительные тревоги по поводу какой-нибудь неправильно поставленной запятой никак не мирились с моим представлением об этом писателе-*человеке*, писателе-*страдальце*, писателе-*сердцеведе*». Порой она начинала бунтовать – когда он заговаривал с ней тоном, над которым так зло иронизировали знакомые ей «либералы»; скептически улыбаясь в ответ на его «прорицания», она давала ему понять, что не может разделять его мыслей и его пафоса. И тогда он надолго замолкал, а она в отчаянии записывала в свою тетрадь: «И так было всегда и во всем. Ничего вполовину. Или предайся во всем его Богу, веруй с ним одинаково, йота в йоту, или – враги и чужие! И тогда сейчас уже злобные огоньки в глазах, и ядовитая горечь улыбки, и раздражительный голос, и насмешливые, ледяные слова...» Она страдала от его мрачности и раздражительности, от его молчания и от его ледяного голоса и пробовала объяснять себе, что это он ей «знаменитость свою доказывает». Но – «потом взглянешь, бывало, на его худые, бледные, точно *святые* какие-то руки, с этим желобком вокруг кисти, всегда напоминавшем мне цепи и каторгу, и снова поймешь, что он не может сделаться похожим на всех «знаменитых», которых я видывала до сих пор в моей жизни».

Он предъявлял ей десятки претензий – за увлече-

ние «либеральной жвачкой» («Возьмитесь-ка лучше за математику, да и прите годика три! Думать по-своему станете»), за намерение стать «психологической писательницей» («...писательниц во всем мире только одна, достойная этого имени... Это Жорж Санд! Можете ли вы сделаться чем-нибудь вроде Жорж Санд?»), за венскую лаковую шляпку и нарядный шелковый зонтик («Откуда вы деньги берете? Я всю жизнь мечтаю о таком зонтике – и всё купить никак не могу. А вы щеголяете, точно у вас ренты какие!»), за опоздание на работу – в тот раз, когда она с компанией из «Искры» ходила смотреть на встречу персидского шаха («Ну, и как вам не стыдно?.. Разве можно интересоваться подобными пошлостями?»). «Ничто не проходило для него бесследным и незамеченным – раз обратил он на вас внимание. И по временам мне казалось, что я нахожусь как бы под непрестанным надзором его художнической проницательности. И не скажу, чтобы это было всегда приятно... Художник-наблюдатель смахивал иногда на духовника-инквизитора».

Но и она пристально и пристрастно наблюдала за ним – особенно когда в типографию приходили посетители. Достоевский неизменно знакомил ее со всеми авторами «Гражданина», известными литераторами; к одному из своих новых знакомцев она почувствовала странную ревнивую неприязнь. «Помню также Всеволода Соловьева, «милого и замечательного юношу», как называл его заочно Федор Михайлович, пророча ему «блестящую будущность». На меня, впрочем, этот юноша произвел впечатление не «милого», но скорее очень занятого собой и своей «блестящей будущностью». Он держал себя чопорно, сидел не снимая перчаток, говорил звонким, высокопарным голосом и смотрел куда-то вверх, улыбаясь восторженно-счастливой улыбкой, как будто думал при этом о всех присутствующих в типографии: „Какие они счастливые! – *видят меня*, и так близко!"»

С начала лета, когда семья Достоевского переехала в Старую Руссу, он стал бывать в типографии ежедневно. Ради него Тимофеева изменила часы своих за-

нятий в Публичной библиотеке – так чтобы он, поздно вставая и появляясь в типографии только после трех, уже заставал ее на месте. Она больше всего дорожила теми вечерами, иногда длившимися далеко за полночь, когда корректуры номера приходили только к концу дня и к утру должны были быть готовы. Достоевский «перестраивал» комнату, ставя стол так, чтобы сидеть друг против друга, и посылал в трактир за чаем – «и мы с Федором Михайловичем пили чай как товарищи».

Ей все труднее было общаться с искровцами – она не умела и не хотела скрывать свое сочувственное увлечение «Дневником писателя» и его автором. Ее настроения были восприняты там как измена не только журналу, но и целому направлению: подозрительным оказывалось уже одно то, что она читала – хотя бы только в корректуре – издание другого лагеря. Ей говорили ядовитые колкости и передразнивали, когда она произносила слово «талант»: «Прямо в белой горячке из сумасшедшего дома». «Только тут я впервые почувствовала «тиски» *направления*; только тут вполне поняла, почему Достоевский язвительно кривит губы, когда произносит слова: «они», „либералы"».

Достоевский говорил с ней о Христе и христианстве – так, как давно уже не принято было разговаривать в ее кругу. Знакомые ей литераторы, восхищаясь «Тайной вечерей» Н.Н. Ге, будто радовались, что все апостолы на картине похожи на современных социалистов, а Христос – просто «хороший, добрый человек с экстатическим темпераментом». Когда она пересказывала Достоевскому этот «либеральный вздор», слишком хорошо известный ему еще с молодости, он страстно возражал: «Где же тут восемнадцать веков христианства? Где идея, вдохновлявшая столько народов, столько умов и сердец? Где же мессия, обетованный миру Спаситель, – где же Христос?»

Тридцать лет спустя Тимофеева вспоминала: «Голова моя кипела в огне его мыслей. И мысли эти казались мне так понятны, они так проникали меня насквозь, что казалось, они – мои собственные. Было в

них что-то и еще мне особенно близкое: эти слова о Христе и Евангелии напомнили мне мою мать – женщину пламенной веры, когда-то так страдавшую за мое «неверие»... и я точно возвращалась теперь из Петербурга *домой*, и этот *дом* мой были *христианские* мысли Ф.М. Достоевского».

Отныне она верила и не сомневалась, что ей посчастливилось увидеть его настоящее лицо, лицо великого человека, подлинного гения. «Как бы озаренное властной думой, оживленно-бледное и совсем молодое, с проникновенным взглядом глубоких потемневших глаз, с выразительно-замкнутым очертанием тонких губ, – оно дышало торжеством своей умственной силы, горделивым сознанием своей власти... Это было не доброе и не злое лицо. Оно как-то в одно время и привлекало к себе, и отталкивало, запугивало и пленяло...»

Этой молодой особе, которая, при всей своей независимости, с восторгом и благоговением приняла его веру и его убеждения, считала себя ученицей, получившей из рук учителя нравственный мир и духовную свободу, Достоевский говорил весной 1873 года, что больше не хочет писать о подполье и «подпольных». «Слишком уж мрачно. Es ist schon überwundener Standpunkt[1]. Я *могу* написать теперь более светлое, примиряющее...»

По свидетельству собеседницы, Достоевский добавил: «Я пишу теперь одну вещь...»

Не было и нет ничего отраднее для писателя, чем доверить избранной душе в счастливую минуту такую тайну.

[1] Это уже преодоленная точка зрения (*нем.*).

СОДЕРЖАНИЕ

ББК 83 3Р7

Сараскина Л.И.

С 20 Фёдор Достоевский. Одоление демонов. – М.: Согласие, 1996. 462 с.

ISBN 5-86884-048-8

«Трудно было быть более в гибели, но работа меня вынесла...» Литературное призвание Достоевского, воспринятое им со всей страстностью, со всем присущим ему фанатизмом и нарушением чувства меры, в конечном счете спасло его – дало силы выжить, не затерявшись в трагическом хаосе бытия, высвободило энергию сопротивления житейским невзгодам и страшным ударам судьбы, помогло преодолеть роковые соблазны и заблуждения.

Центральным сюжетом биографической истории, рассказанной в книге Л.И. Сараскиной, стал эпизод знакомства Ф.М. Достоевского с Н.А. Спешневым, вдохновившим писателя на создание одного из самых загадочных образов мировой литературы – Николая Ставрогина. «Он романтически влюблен в своего героя, пленен и обольщен им. Никогда ни в кого он не был так влюблен, никого не рисовал так романтично. Николай Ставрогин – слабость, прельщение, грех Достоевского...» (Н.А. Бердяев).

С $\frac{4603020101 - 022}{8Д1 (03) - 96}$ Без объявл.

Людмила Ивановна Сараскина
ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЙ.
ОДОЛЕНИЕ ДЕМОНОВ

Корректор
И.В. Леонтьева

Сдано в набор 01. 06. 96. Подписано к печати 01. 08. 96.
Формат 84×108 1/32 Печать офсетная.
Усл. печ. л. 22,5. Уч.-изд. л. 24,36.

АО «Согласие»
113054, Москва, ул. Бахрушина, 28

Заказ № 2953. Тир. 3000 экз.
АО «Типография „Новости"»
107005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46

Людмила Сараскина

Доктор филологических наук

Людмила Сараскина – личность незаурядная в современном российском литературоведении. В ее работах, посвященных главным образом познанию художественного наследия Ф.М.Достоевского, счастливым образом сочетаются высокий профессионализм, академическая добротность и живое, сердечное проникновение в обстоятельства жизни и духовный мир писателя. Точность мысли, напряженный динамизм повествования, страстность и выразительность языка, умение увидеть проблему с неожиданной точки зрения, обнаружить в хорошо известном факте новый смысл снискали ей авторитет и признание не только среди коллег-филологов, но и у многочисленных любителей отечественной словесности.

Замечательный русский писатель Б.Можаев в свое время заметил: «Л.Сараскина продолжает оборвавшуюся было блистательную отрасль литературной и философско-нравственной деятельности, начатую В.Розановым и подхваченную С.Булгаковым, Г.Федотовым, Н.Бердяевым».

Автор книг:

«Не мечем, а духом»
Русская литература о войне и мире
(1989)

«Бесы»: роман-предупреждение
(1990)

Возлюбленная Достоевского.
Аполлинария Суслова:
биография в документах, письмах, материалах
(1994)